

Н О В Ы Й
М И Р

Н О В Ы Й
М И Р

1960

3

1960

НОВОЫЙ И МИР

ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Год издания XXXVI

№ 3

Март, 1960 г.

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
В. ТЕНДРЯКОВ — Тройка, семерка, туз, повесть	3
ЯРОСЛАВ СМЕЛЯКОВ — Новые стихотворения	33
НАТАЛЬЯ ДАВЫДОВА — Любовь инженера Изотова, роман Окончание	38
АЛЕКСАНДР БЕК — Несколько дней, повесть. Окончание	92
ИЗ СТИХОВ ФРАНЦУЗСКИХ ПОЭТОВ. Жюль Сюпервьель. Из цикла «Военные невзгоды». — Луи Арагон. Рождественские розы. — Люк Дэкон. Ответы. — Клод Сернэ. Человек. — Тристан Кээнгор. Песенка про спящих конек. — Абель Жакэн. Береги свою голову. Перевел с французского М. Кудинов	142
НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ	
БОРИС БАБОЧКИН — Немножко Франции	147
ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ	
<i>К 90-летию со дня рождения В. И. Ленина</i>	
ЕК. ЯМПОЛЬСКАЯ — В те памятные годы	169
АДАМ ЭГЕДЕ-НИССЕН — У Ленина в Смольном	172
ЛУИЗА БРАЙАНТ (РИД) — Мое знакомство с Лениным	174
ПУБЛИЦИСТИКА	
Академик С. СТРУМИЛИН — Всобщее разоружение и экономика	176
ЛЕОНИД ИВАНОВ — В поход на сорняки!	187
ОТКЛИКИ И КОММЕНТАРИИ	
<i>По страницам иностранных литературных журналов</i>	
А. М. Послесентябрьские раздумья.	196
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
Д. ДАНИН — Жажда ясности (Что же такое научно-художественная литература?)	207
<i>Обсуждаем проблемы современного романа</i>	
А. БЕРЗЕР — Общественный вкус к изящному	227

(См. на обороте.)

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР»
Москва

СОДЕРЖАНИЕ (продолжение)

	Стр.
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	236
З. Паперный. Хорошо! — Инна Соловьева. Намерения были самые добрые... — А. Анастасьев. Искусство критика — Л. Осповат. Поэзия Габриелы Мистраль. — А. Лебедев. Антонио Грамши об искусстве.	
<i>Политика и наука</i>	250
Кандидат исторических наук Ю. Шарапов. Путеводитель по ленинскому литературному наследию. — И. Пешкин. Дыхание семилетки. — А. Ханьковский. Дела и люди хлебного Алтая. — Кандидат исторических наук А. Ефремов. Опасный перекресток. — С. Эпштейн. Новая форма социальной демагогии.	
Трибуна Читателя	
«КАЖДОМУ ПО ТРУДУ»	263
МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ	272
Л. Зонина. Письма Роже Мартен дю Гара.	
КОРОТКО О КНИГАХ	284
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	287

В. ТЕНДРЯКОВ

★

ТРОЙКА, СЕМЕРКА, ТУЗ

Повесть

1

Сотни, а может, тысячи (кто считал!) речек, речонок и упрямых ручейков, протачиваясь сквозь прель опавшей листвы и хвои, прорывая путь в корневищах деревьев, несут из ржавых болот воду в эту большую реку. Потому-то вода в ней темна, отливает рыжей накипью. Потому-то в ненастье у реки особый цвет, не просто свинцовый, а лежало-свинцовый, древний.

Река всегда полноводна. Песчаные отмели у берегов — редкость. Выписывая привольные петли, течет она по необжитому, дикому краю к полярному морю. А по самой реке — день и ночь безмолвное шествие. День и ночь по реке плывут бревна.

Их путь нелегок. Отмели (они встречаются на любой реке, даже на полноводной), тихие заводи, просто закраины у берегов — все ловушки, всюду можно застрять. Неторопливо течение, медлительно движение вперед. Многие из речных паломников не выдерживают. Набухает водой древесина — у бревна утопает один конец, над водой торчит лишь тупая макушка. Но бревно упрямится, ползет вперед, тащит по дну отяжелевший конец, пока не огрузнет совсем и тихо не ляжет на дно. Вялые налимы будут прятаться под ним в летние дни, занесет его песком и илом. А другие бревна-паломники поплывут все дальше и дальше, пока не попадут в запань перевалочной базы. Там их выкатят из воды, начнут сортировать: это строительный — на лесопильный, это баланс — пойдет на бумагу, это крепежник — на шахты, это резонанс — из него можно сделать музыкальные инструменты. Расписаны по графам, разложены по штабелям — забвение лежащим на дне покойникам, новая жизнь тем, кто сумел дойти до конца.

Течет северная река — великая артерия молевого сплава. Местами она свой лениво суровый характер меняет на яростный — кипит среди камней, брызжет, несет хлопья желтой пены. Здесь пороги. Их несколько по всей реке. И самые крупные — Острожья.

2

Собственно, это два порога: первый — Большая Голова; чуть ниже, метров на двести, — Малая. Над затопленными огромными валунами вечно, никогда не прекращающееся волнение, в сыром воздухе немолкающий рев.

Как раз напротив Большой Головы разместился крошечный поселок — всего пять домов, считая маленький магазин, где торгуют хлебом, сахаром и консервами.

Лес, тесно прижавший дома к бергугу, серое небо и кипящая на порогах река... Эта река — единственная дорога, по ней раз в неделю на лодке подвозят продукты.

Пять домов — мастерский сплавучасток Дубинина. Население — тридцать два человека: двадцать пять рабочих-сплавщиков, уборщица, продавщица Клаша, моторист Тихон, трое девчат в столовой и сам мастер Дубинин — глава поселка.

Плывут россыпью бревна, трутся друг о друга, тесно сбиваются в заводях, садятся на отмелях.

Каждое утро с баграми и топорами сплавщики рассаживаются по лодкам и разъезжаются по пикетам. Занесенные в кусты бревна скатываются обратно в воду, освобождаются заводи, очищаются отмели... Население маленького поселка существует для того, чтобы бесконечное шествие леса по реке не останавливалось.

3

Мастер Дубинин живет прямо в конторе. Рядом с колченогим столом, на котором он выписывает наряды, стоит койка. На стене висит телефон. Звонит этот телефон хрипло, рычаше. А так как на одной линии таких телефонов навешано, что наживы на перемет, то рычащие звонки раздаются ежеминутно. Один звонок — значит, кто-то добивается до коммутатора, два — вызывают мастерский участок Кротова, три — лесозаготовительная организация... А есть еще участок Горшкова, Дымченко... Дубинин не обращает внимания на чужие звонки, может крепко спать под хриплое рычание телефона. И если раздается четыре звонка, просыпается — его!

Дубинин невысок и неширок в плечах, ходит медлительно, враскачку. Сплавщики — все дюжие ребята, целые дни проводящие на окатке бревен, — в один голос уважительно отзываются о его силе: «Любому вязы скрутит...»

Все зовут его Сашей, хотя он самый старший по должности да, пожалуй, и по возрасту. Маленькие, под насупленными бровями глаза сонно угрюмоваты, в крепкой рыжеватой щетине массивный подбородок, нижняя губа отвисает, к ней всегда приклеена тлеющая сигарка, резиновые сапоги с завернутыми голенищами, мешковатый, неопределенного цвета пиджак, натянутая на брови кепка... И, как бы дополняя нелюдимый вид, из-под полы пиджака выглядывает финка в кожаных ножнах. Финка для Дубинина не оружие, ею он потрошит рыбу, режет хлеб, выстругивает рогульки для жерлиц, нарезает ивняк для морд, которые сам плетет. В маленьком поселке, где живут тихо и дружно, никому и в голову не придет обзаводиться оружием.

В субботу обычно поселок пустеет. Сплавщики сменяют высокие резиновые сапоги на яловые, переезжают в лодках на другой берег и по глухим лесным тропинкам идут в свои деревни. Все они из ближайших деревень — Куренево, Закутное, Яремное. Вечером в воскресенье они возвращаются — попарившиеся в банях, обласканные женами, большинство довольные, кое-кто озабоченный домашними неурядицами. У многих, случается, не совсем выветрился праздничный хмелек. На участке не пьют — продавщица Клаша спиртным не торгует.

У Дубинина тоже дом в деревне Закутное. Один день в неделю он проводит с женой и детьми, шесть дней — на участке. Дома он гость, а настоящая его жизнь — среди сплавщиков.

Только Ступнин, младший брат Ивана Ступнина, славившийся среди сплавщиков книгочием, отпросился в город на учебу. Дубинин выхлопотал ему на дорогу премиальные, подарил совсем не ношенные яловые

сапоги, писал письма, сам тайком высылал деньги, заставлял помогать старшего брата.

Сплавщики отзывались о мастере:

— Саша-то — ничего мужик... Свой в доску.

4

Рабочие жили в общежитии. Двадцать шесть коек, разделенных фаянсовыми тумбочками, окружали громоздкую печь. В непогожие дни эту печь так усердно топили, что нельзя было прислониться — обжигала.

Работа сплавщика — грубая работа. Своротить с места набухшее водой бревно, столкнуть его в воду, чтоб плыло себе дальше, — какая уж, кажись, хитрость. Нужны багор, топор, прочная слега и крепкие мускулы. Но и среди сплавщиков есть свои артисты.

Как-то продавщица Клаша, вопреки правилу не торговать спиртным, завезла в свой магазин ящик шампанского. Купили в складчину бутылку. Иван Ступнин поставил ее на конец бревна, сам встал на него и, орудуя багром, переехал за реку, вернулся обратно, не дав себя утащить напористому течению в кипение Большой Головы, не обронив в воду бутылки. Забава — рискованная сама по себе; кроме того, Иван Ступнин, всю жизнь кормившийся рекой, едва-едва умел плавать.

Эту бутылку он распил один, поминутно сплевывая.

— Перипетия одна — квас. Только и славы, что в нос шибает. Стоило из-за этого спектакль показывать.

Любое состояние своей души — будь то радость, огорчение, удивление, пренебрежение — он выражал одним непонятным ему словом: перипетия.

— Запань Ощеринскую прорвало. Будет нам работки.

— Эхма, перипетия...

— По радио передавали: новый спутник в небо забросили, больше тонны весом.

— Ишь ты, перипетия.

— Под Куреневом медведь бабу заломал. В больницу отвезли, неизвестно, жива ли будет.

— Ну и ну, пе-ри-петия.

Кроме Ивана Ступнина, было еще два артиста — Егор Петухов и Генка Шамаев.

У Егора рыхлое, бабье лицо с торчащим острым носом. И голос у него тонкий, бабий, несолидный. Когда Егор одет, он неприметен, даже кажется каким-то пришибленным. Но разденется — широкие, налитые плечищи, лепная, играющая от малейшего движения мускулами грудь, тугие бицепсы, перекатывающиеся под кожей.

Егор славится своей скупостью. Ему постоянно кажется, что в столовой воруют.

— Пять рублей берут за обед, а дают что?.. Водичку.

— Ты, поди, за пятерку-то из-под себя есть готов?

— Может, кто и богат, а я пятерки-то не печатаю. Мне каждую копейку считать приходится.

Он хороший сплавщик и зарабатывает много, больше мастера. Все знают, что Егор бездетен, что его жена работает при леспромхозе, живет на свою зарплату. Деньги, что не успел положить на книжку, Егор хранит в чемодане. Этот чемодан, похожий на сундук, запирается на большой висячий замок, хотя воровства на участке не помнят даже такие старожилы, как Иван Ступнин.

Странно было видеть Егора, когда он, чуть сутуловатый, со скучным, даже брюзгливым выражением, проходил на бревне «малую кипень» —

место перед порогом. Бурлит вода, раскачивается бревно, а Егор цепко стоит на нем, лениво вскидывает багром, не спеша отталкивается от камней, от наползающих бревен. И уж он не промахнется, не оступится, причалит к берегу, буднично, со сварливым страданием начнет жаловаться:

— Эвон перекатали-то сколько, а вот уж посмотрим — столько ли запишут... Вот уж, я зна-аю...

Генка Шамаев высок, плечист, разлохмаченная шевелюра падает на брови, лицо обветренное, дерзкое. Девчата в столовой всегда подставляют ему ши и погуще и пожирней. Но Генка каждый вечер садится в лодку, заваливаясь на веслах, резкими толчками гонит ее к другому берегу, оставляет лодку и скрывается в лесу. Километрах в шести — лесопункт, там работает Катя, ей лет двадцать пять, не больше, но уже вдова. Как рассказывают, муж ее из поморов, погиб прошлой весной в море.

Случалось, что Генка задерживался на окатке, и тогда видели её. Она выходила на берег, кутаясь в платок, до темноты ждала под моросящим дождем.

Генка возвращался всегда поздно. На койку под простыни ему клали поленья и палки, он выбрасывал, ложился и спал как убитый.

А утром все густо ржали, отпускали такие шуточки, от которых, казалось, должны бы пунцоветь потолочные балки. Генка снисходительно улыбался, с хрустом лениво потягивался — белотелый, гибкий и довольный собой.

На участке ходили легенды о каком-то старом сплавщике Терентии Кляпе, который будто бы проходил, стоя на бревне, насквозь Большую Голову. Генка как-то раз тоже решил съехать на матером кряже прямо в порог. Но его при первом же нырке сбило, накрыло волной. Думали, что закрутит, насмерть изобьет о камни, но он vyplыл босой, мокрый, злой — резиновые сапоги тянули ко дну, пришлось сбросить.

— Врали, сволочи, про Кляпа. Не проскочишь...

5

Всем троим втайне завидовал Лешка Малинкин. Ему недавно исполнилось двадцать лет, на участке работал всего полтора года. Пришел из соседней деревни по-мальчишески круглоголовый, неуклюжий, страшно робел перед Дубининым. За последнее время раздался вширь, перенял дубининскую походку враскачку. И не только походку... В разговоре старался быть скупым на слова, как Саша, сурово и многозначительно хмурил лоб, как Саша, мечтал: «Вот поработаю год-другой, отпрошусь на курсы, вернусь обратно таким же мастером...» Представлял: дюжие сплавщики станут слушаться его слова, уважительно за глаза отзываться «свой в доску», будет ходить он по участку справедливым и строгим хозяином, как Саша. Нет для Лешки выше человека!

Впервые в жизни Лешка почувствовал в руках силенку. Она удивляла и восхищала его. Если кто-нибудь замечал, что слегка, которую подхватил Лешка, слишком тяжела, и кричал: «Эй вы! Помогите парню! Надорвется!» — обычно тихий Лешка с ребячьей злостью начинал ругаться:

— Идите вы с подмогой!.. Я сам...

Вечерами, когда Генка Шамаев перебирался на лодке на другой берег и исчезал в лесу, Лешка забирал свой багор и, воровато оглядываясь, шел к берегу за столовую, к дамбе. Там он дотемна, в одиночку, упрямо учился держаться на бревнах, как держатся Иван Ступнин и Генка Шамаев. Возвращался в общежитие мокрый по пояс и обескураженный.

Раз вечером, держа на весу багор, перепрыгивая с валуна на валун, он направился к дамбе.

Солнце скрылось за высоким лесистым берегом, но облака над черными зубчатыми вершинами пламенели, пена, прибиваемая с Большой Головы, казалась розовой.

А на том берегу, почти у начала кипени, накренившись на один бок, покоилась полувытащенная из воды Генкина лодка.

Лешка вдруг остановился, удивленно раскрыл рот, стал всматриваться: оскальзываясь, спотыкаясь, хватаясь руками за кусты, прямо к Генкиной лодке спускался по крутому берегу человек.

Кто ж может быть? Из деревни, должно, или с лесопункта. Без нужды в эту глушь не заглядывают.

Едва незнакомец оттолкнул от берега лодку, неумело стал вставлять весла в уключины, Лешка понял — плохо гребет, не знает реки, его сразу же снесет на пороги. Большая Голова не страшна для лодки — покидает, припугнет, но всегда благополучно пронесет, только надо отдаться течению, подправляя чуть-чуть веслом, чтоб не занесло корму. Боже упаси бороться с порогом — развернет, захлестнет, быть в воде, а уж тогда не выкарабкаешься.

Лодка с неожиданным гостем заплясала на волнах, тот начал судорожно грести, брызгая, срываясь по воде веслами.

— Брось весла! — закричал ему Лешка. — Эй ты! Смерти хочешь? Брось весла, говорю!

Но за шумом порога Лешкин голос глух, не долетая до середины реки. Незнакомец барахтался, лодку сносило туда, где гуляли яростные буруны.

— Э-эй!! Ве-есла-а!! Эх!..

Лодку развернуло, раз-другой беспомощно взметнулись весла, украшенная разводами розовой пены волна навалилась на борт, приподняла лодку — на закате тускло блеснуло днище...

Лешка, похолодев от ужаса, секунду оторопело глядел, как крутит и подбрасывает перевернутую лодку, сорвался, хлюпая широкими отверстиями сапог, спотыкаясь о валуны, бросился к поселку.

Одна из лодок стояла под столовой. Лешка с ходу столкнул ее, черпнув сапогом воду, ввалился через корму, судорожно стал разбирать весла...

Само течение гнало лодку на Большую Голову. Запрокидываясь назад, Лешка греб, трещали от натуги уключины...

Каменная дамба, лес на берегу, зубчатой грядой врезавшийся в горячий закат, — все закачалось, зашаталось, то втягиваясь вверх, то оседая. Лодка врезалась в пороги...

Лешка поднял весла и до ломоты в шее стал оглядываться: направо, налево, назад — ничего не видно, даже лодки. Брызги обдавали лицо, плечи, грудь. Сразу насквозь промок пиджак. Берега поднимались и опускались, рев бушующей воды туманил мозг...

Трудно что-нибудь сообразить, ничего не видно, даже лодки... Хотя нет, вон она — лоснится мокрое днище на закате. Уже проплыла буруны, течение сносит ее к Малой Голове.

Мягче водяные ухабы, ниже подпрыгивает корма, брызги уже не бьют в лицо. Минута-две — и Большая Голова выплонула Лешкину лодку. Можно браться за весла.

Нервно покачиваясь, словно все еще переживая неожиданную встряску, плыли по воде бревна. Вода под лодкой мрачная, черная, крутятся клочья желтой пены. Попалось на глаза весло...

И при виде этого сиротливого весла Лешке стало жутко. Был человек — и нет его! Где-то в глубине, под темной водой, что несет сейчас на

себе разбросанные бревна, течение лениво ворочает безжизненное тело. Ничем не поможешь. Конец. На твоих глазах. Холодно...

Впереди — кипень Малой Головы. Там уже бросает перевернутую лодку.

И вдруг на горбатой и скользкой спине одного из бревен Лешка увидел мокрый рукав, желтую кисть руки.

— Эй!.. — крикнул он, но голос хрипло осекся. Он схватился за весла...

Черная, сведенная судорогой небритая физиономия, широко раскрытые безумные глаза, бесцветные, словно слинявшие от ужаса.

— Эй, друг! Отпускайся! Подхватчу... Эй!

Но человек, прижавшийся небритой щекой к бревну, глядел из-под слипшихся на лбу волос, не отвечал. Костлявая кисть руки судорожно держалась за бревно.

— Да отпускайся, черт! — плача, закричал на него Лешка. — Отпускайся! Сейчас снова в пороги попадем...

Малая Голова приближалась, лодку снова стало покачивать. Если ее развернет, то и в Малой Голове можно обоим найти могилу.

Прыгая в лодку, Лешка по привычке бросил в нее свой багор. Без багра он не вытащил бы утопленника. Подтянул к себе бревно, с сердцем ударил по окостеневшей руке, схватил за волосы...

Незнакомец лежал без сознания, откинув голову на резиновый сапог Лешки, неловко подвернув под себя ногу.

На берегу он пришел в себя, ваялся на земле, и его долго рвало водой...

6

Его положили в общежитии на ту койку, где раньше спал Толя Ступнин, Лешкин дружок, уехавший в город на курсы.

Голова откинута на подушке, небритый подбородок торчит вверх, под щетиной возле кадыка бьется жилка, глаза закрыты, тонкие руки вытянуты вдоль тела, пальцы безвольно согнуты — усталые руки. В общежитии жарко, одеяло накинули только на ноги, плоская, ребристая грудь обнажена, на ней вытатуирована надпись: «Года идут, а счастья нет».

Сплавщики толпились вокруг, перекидывались вполголоса замечаниями:

— Видать, мужик тюремной жизни понюхал. Ишь, украсился: «счастья нет»...

— Тут-то, считай, счастлив. Не подвернись на берегу Лешка, кормил бы рыб.

— И то цепок — из такой кипени выкрутиться.

— Случалось, видать, попадать в переделки...

Егор Петухов озабоченно произнес:

— Ненадежный человек. Как бы он за нашу доброту того... Не обчистил.

— Ну, ему теперь не до твоего сундука. Эту ночь спи спокойно.

В углу Лешка, приглушив таинственно голос, в который уже раз рассказывал:

— ...Гляжу: мать честна — развернуло. Я кричать. Мать честна, а порог-то шумит...

Засунув глубоко руки в карманы, упершись в грудь подбородком, из-под надвинутой на лоб кепки разглядывал нежданного гостя Дубинин.

Тонкая кадыкастая шея, устало вытянутые руки, мокрые грубые башмаки, брошенные под койку, и эта надпись... Дубинин жевал потухшую сигарку, разглядывал и чем дальше глядел, тем сильнее испытывал жалость к этому незнакомому человеку.

Встретится такой на дороге — пройдешь мимо, не оглянешься вслед. Есть ли у него родня, есть ли хоть на свете человек, который бы искренне, от души пожалел его? Не подвернись под руку бревно — был и исчез, не оставил ни имени, ни смутной по себе жалости, ничего. Вот он, увильнувший от смерти, — на чужой койке, чужие люди с бесцеремонной жалостью разглядывают его...

Дубинин с трудом оторвал взгляд от надписи, наколотой на костлявой груди.

— Ребята, — спросил он, — кто раздевал? Документы-то есть ли?

— Есть. Поразмокло все. На печи разложили сушиться. Пятнадцать рублей было в кармане — не богат.

— Давай все сюда.

Дубинин осторожно взял мокрые бумаги, раздвинул плечами рабочих и вышел.

7

Был сплавщиком, стал мастером; не богато событиями, не омрачено трагедиями, даже на фронт не попал — скромно прожил жизнь Александр Дубинин. Книг не приучился читать, не зажигался от них благородными порывами, не открывал для себя высоких идей, не знал (а если и знал, то очень смутно, понаслышке), что существовали на свете люди великой души, которые ради счастья других поднимались на костры, выносили пытки, сквозь стены казематов заставляли потомков прислушиваться к своему голосу.

Был сплавщиком, стал мастером — только и всего.

Лет шестнадцать тому назад произошла неприятность...

На каменной быстрине неподалеку от сумрачного Лобовского плеса случился затор — пара бревен заклинилась среди камней, течение наворотило на них кучу леса.

Место было не слишком опасное, затор «не запущен», и Александр (он был за старшего) не пошел сам, а послал трех пареньков, чтоб «обрушили». Авось справятся, не полезут на рожон... Среди них был Яша Сорокин, мальчишка, которому едва исполнилось семнадцать лет, — скуластый, с широко расставленными у переносицы синими глазами. Ему раздробило сорвавшимися бревнами обе ноги...

Александр вез его на лодке в больницу. Яша Сорокин всю дорогу плакал, не только потому, что больно, а что отец погиб на фронте, на руках у матери остались две его, Яши Сорокина, сестренки, старшей всего десять лет, мать постоянно хворает. Кто теперь ей поможет, когда он, единственный кормилец, стал калекой?

Александр молчал и казнил: послал, отмахнулся — авось справится... Вот оно — «авось»! Что теперь делать? Взять на свою шею целую семью — мать-старуху, сына-инвалида, двух маленьких девчонок, жить ради них, а у него у самого — жена и сын... Как быть?

Никому и в голову не пришло обвинить Александра Дубинина. Случилось несчастье, что ж поделаешь... Вызывали, расспрашивали, вникали в подробности, сожалели, даже упрекали слегка: «Как ты, друг, недосмотрел...» В конце концов Александр и сам уверился — ни в чем он не виноват, его совесть чиста, что ж поделаешь...

Как-то очищали от бревен косу под деревней Костры. Сели артельно обедать, варили уху, разложили хлеб, соль, картошку, крутые яйца на разостланном платке. Рядом оказалась девчонка — босые ноги, побитые пыткой, нечесаные, выгоревшие на солнце волосы, рваное платье, сквозь прорехи просвечивает костлявое тельце, — глядит заворуженно на платок со снедью.

— Есть, поди, хочешь? — окликнул девчонку Александр. — На вот, не бойсь.

Он протянул кусок хлеба, пару холодных картофелин и яйцо, взгляделся и замер... С чумазого, истощенного лица глядели широко расставленные синие глаза, нос пуговицей, тупые скулы...

Девчонка прижала к грязному платью хлеб — руки темные, тонкие, цепкие, как лапы лесной зверюшки, — не сказав спасибо, бросилась бегом к деревне. Александр смотрел ей вслед...

Сплавщики уселись в кружок, принялись за еду, рассуждая о том, что война подмела всех мужиков, бабы не управляют на полях, голодный ребенок возле деревни — не редкость...

До боли в глазах сверкала на солнце река, в свежем воздухе пахло наваристой ухой, пышный ивняк у заводи склонялся к воде. И в этом слепящем сверкании, в сытном запахе ухи, в кустах, пригнувшихся к плотам кувшиночных листьев, чувствовался какой-то нерушимый покой, прочная, здоровая жизнь. А в эту минуту где-то далеко и без того истерзанную землю рвут мины, стелется вонючий дым пепелищ, на полях и лугах валяются мертвые, которых не успевают хоронить. Где-то далеко... А близко, за спиной, в деревне, — голодные дети.

Не притронувшись к ложке, Александр встал, прошел к своему мешку, вынул весь хлеб и, не сказав ни слова, зашагал в деревню. Возле первой же избы спросил: здесь ли живет Яков Сорокин? Да, здесь. Указали на пятистенок, добротный и благополучный с виду...

Ему думалось, что попадет в рабство, что станет изо дня в день ломать спину на две семьи, а пришлось воевать. Он воевал в райсобесе за пособие Якову, воевал в колхозе, чтобы помогли семье погибшего фронтовика, а больше всего пришлось воевать с самим Яшкой.

— А, испугался! Откупиться хочешь! Совесть-то не чиста! Ты мне своими грошами ног не вернешь! Ты у меня теперь попляшешь!..

Нежданно-негаданно, сам собой явился виновник несчастья, исковеркавшего жизнь. Что бы он ни делал, как бы ни извинялся — нет прощения!

— Давай, сволочь, деньги! Давай все, сколько есть! Мне теперь одно осталось — погибать. Уж погибать, так весело. Пить буду, гулять буду!

И раз Александр взял его за шиворот.

— Дерьмо! Привык, чтоб на тебя, как на собаку, смотрели, человеческого добра не понимаешь. Вот мое слово: сестренки твоих к себе в дом беру, будут вместо дочерей. Живи один, как хочешь.

И парень притих, согласился поехать от колхоза на курсы счетоводов.

Работать, чтоб быть сытым, чтоб радоваться в одиночку — есть прочная крыша над головой, тепло возле печи, ласковая жена, — радоваться и трусливо оглядываться, чтоб кто-то со стороны не позавидовал, не позарился на твое теплое счастье. А ведь можно, оказывается, жить иначе. Поднять упавшего, успокоить отчаявшегося, защитить слабого, чувствовать при этом, что ты способен радовать других, ты щедрый, ты сильный — это ли не счастье!

Давно уже Яков Сорокин работает в колхозе счетоводом, женился, имеет двоих детей. Его сестры выросли, уехали из деревни, одна замужем, другая учится на фельдшерицу.

Александр Дубинин живет в будничных заботах: надо следить, чтобы работа распределялась равномерно, чтоб расчет за работу был справедлив, чтоб в столовой кормили сытно, чтоб в общежитии было чисто, чтоб простыни менялись каждую неделю...

Пять домов, прижатых лесом к шумящей на порогах реке, — маленький кусочек необъятного мира. Здесь трудятся люди, и труд их тяжел,

но крохотный поселок напротив Большой Головы — все-таки по-своему счастливый край. Угрюмоватый, неразговорчивый человек, ходящий по поселку с легкой раскачкой, — законодатель этого края.

У себя в конторе он разложил на столе размокшие документы незнакомца. Какие-то справки превратились в пригоршню бумажной каши. Паспорт сохранился лучше. Паспорт есть — значит, его хозяин ходит под законом.

Концом ножа Дубинин осторожно расклеил слипшиеся листки паспорта, прочитал: «Бушуев Николай Петрович, год рождения 1919». В конце паспорта — штамп, чернила расплылись, можно только догадываться, что хозяин паспорта судился, отбыл положенный срок.

На чужой койке, среди чужих людей, во всем облике усталое оцепенение — ускользнул от смерти... Должно быть, путаная и неуютная жизнь за спиной у этого человека. Где-то в молодые годы хотел, видать, ухватить счастье — грошовое, такое, что можно купить за десятку. Потянулся в чужой карман за этой десяткой, схватили за руку, сволокли куда надо. Пусть даже простили по первому разу, но счастья-то нет, надо искать. Искал... Шли годы, и не было счастья...

8

Утром, после того как рабочие разъехались, Дубинин заглянул в общежитие. Койка, на которой спал незванный гость, была заправлена.

«Живуч: Уже сорвался. Не отправился ли дальше блукать? Но паспорт-то у меня, без документов не сорвется...» Дубинин не спеша направился к себе.

Дом, где находилась контора, был единственным двухэтажным домом на участке. Внизу — контора и комната, где жил моторист Тихон Мазаев с женой Настей, уборщицей в общежитии. Вверху — красный уголок, где стоял приемник, полка с книгами и стол, накрытый вылинявшим кумачом. Здесь по вечерам собирались сплавщики, слушали радио и стучали костяшками домино.

Проходя мимо лестницы, ведущей в красный уголок, Дубинин услышал мужской голос, певший негромко под гитару:

Почему у одних жизнь прекрасна
И полна упоительных грез,
У других она просто ужасна,
Много горя, отчаянья, слез...

Дубинин поднялся. В чистой рубахе с чьих-то чужих широких плеч — тощая шея жалко высовывается из просторного воротника, — по-прежнему небрит, сидел он, придерживая на коленях гитару, которая уже много лет без дела висела над приемником.

Почему же одним удается
Обойти все удары судьбы...

При виде мастера проворно вскочил на ноги.

— Здравия желаю, начальник, — с наигранной развязностью поприветствовал он.

Лицо узкое, взгляд ускользающий, при улыбке в мелких плотных зубах видна шербаatina.

Дубинин опустил на стул:

— Садись, как там тебя... Николай Бушуев. Поговорим.

— Верно, Николай Петрович Бушуев собственной персоной. Хотел

ниже, в Торменьгу, податься, да вот к вам попал. Прошу прощения, не предупредил, чтоб встретили...

— Брось дурочку ломать. Откуда к нам пожаловал?

— В лесопункте работал...

— И сбежал?..

— Начальник там — сволочь. За человека, видишь ли, не считал. Ты, мол, после отсидки, уголовный элемент, жулье, отбросы. Не сошлись мы с ним характерами.

— Уж так-таки дело в характерах?

— Вдруг да из-за этого гада пришлось бы обратно поворачивать. Подальше от греха... Рублей двести было заработанных, и те не взял...

— За что сидел?

— Говорят, за дело. Да я и не отказываюсь: за дело так за дело.

— По мокрому?

— Упаси бог.

— За воровство?

— Не будем уточнять, начальничек. Одно скажу: завязал.

— Ой ли?

— Верь не верь, а мне уж не двадцать лет. Что-то нет охотки дальше в казачки-разбойнички играть.

— А родом откуда? Почему в лесопункт нанялся, домой не поехал?

— У меня дом под шапкой. Где ее надел — там и дома.

— Уж и в родные края не тянет?

Светлые, со стеклянным блеском глаза Николая Бушуева прикрылись веками, на секунду бледное небритое лицо стало неподвижным, замкнутым, скучным. Случайный вопрос сбил наигранную веселость.

— Что толку? — ответил он, помедлив. — Знаю, как в родное место с пустой мощной приезжать.

— А я слышал: и там работают, с деньгами выходят.

— Шелестело чуток в кармане, да только в поезде с одним в картишки простучал...

Дубинин прочно сидел на стуле, в распахнутом пиджаке, в надвинутой низко кепке, со своим обычным угрюмоватым спокойствием разглядывал гостя.

— И куда теперь? — спросил он.

— Куда?.. В Торменьгу. Там на перевалочной базе работа найдется.

— Специальность имеешь?

— На все руки мастер: пни корчевал, ямы под фундаменты рыл, лес валил...

— Значит, нет специальности? — Дубинин пошевелился на стуле, отвернулся. — Вот что, — проговорил он в сторону, — можешь остаться у нас. Будешь работать, как все. Каждый сплавщик плохо-бедно в месяц тыщи две выколачивает. Ты без семьи, на питание да на одежду у тебя из заработка станет уходить рублей пятьсот от силы. За год накопишь тысяч пятнадцать—восемнадцать. Тогда — хошь у нас живи, хошь езжай на все четыре стороны. Тебя, дурака, жалеючи, говорю. Не хочешь — держать и упрашивать не будем.

— А чего ж не хотеть. У вас так у вас, мне все одно, где землю топтать.

Дубинин выкинул на стол короткую руку, сжал маленький, покрытый ржавым волосом, увесистый, как голыш, обкатанный рекой, кулак.

— Топтать? Нет, дружок, работать придется. Денежки-то за топтание не платят. Не надейся, на чужой хребтине не выедешь. Место у нас глухое, до милиции далеко, сами порядки устанавливаем. Ты видел наших ребят? Любому кости прощупают. И не убежишь — кругом леса да болота, местные жители глубоко-то не залезают. Три пути отсюда: в лесо-

пункт, где, должно быть, тебя не ласково встретят, в деревни, где любому в глаза бросишься, и вниз по реке через сплаваучастки. Стоит мне позвонить, как тебя, голубчика, придержат до времени. Заруби на носу — лучше не шалить. Беру к себе не потому, что особо верю, а потому, что не опасуюсь — у нас не развернешься. Так-то, друг.

Дубинин поднялся.

9

Николай Бушуев занял в общежитии койку Толи Ступнина. По утрам он с топором за поясом и багром в руке вместе с другими сплащиками шагал к лодкам. Дубинин расспрашивал ребят: как работает? Пожимают плечами — ковыряется.

Лешка Малинкин спал рядом с Бушуевым, работал с ним в одном пикете. К человеку, который стал причиной значительного, даже героического, события в жизни (шутка ли, спас от смерти!), нельзя относиться равнодушно. Лешка на работе старался быть рядом, учил, помогал, ворочал за слабосильного соседа по койке тяжелые кряжи.

Гитара, которая висела в красном уголке, — ее купили потому, что на культурно-массовое обслуживание были отпущены деньги, — теперь перекочевала в общежитие. И по вечерам Бушуев, развалясь на койке, пощипывая струны, пел о тоске в неволе, о любовных изменах, об убийствах из ревности.

Может, фраер в галстучке атласном

Тебя целует в губы у ворот...

Сплавики были не слишком привередливы, если грустно — покачивали головами, казалось смешным — похохатывали, и в знак благодарности время от времени чья-нибудь тяжелая рука хлопала по плечу Бушуева.

— Сукин ты сын! И откуда набрался?..

Приходил послушать и Дубинин, присаживался, курил, молчал, но, кажется, молчал одобрительно.

Когда Бушуев откидывал в сторону надоевшую гитару, к ней робко тянулся Лешка. Он долго ерзал на койке, пристраиваясь поудобней, низко пригнув голову, начинал огрубевшими, негнушимися пальцами бережно пощипывать струны, но гитара издавала лишь робкие, бессвязные звуки. Лешка почтительно откладывал ее, шевелил плечами, простосердечно удивлялся:

— Гляди-ко, не работал — сидел, а спину ломит.

По-прежнему вечерами Генка Шамаев перегонял лодку на другой берег и исчезал в лесу. По-прежнему Егор Петухов, покопавшись в своем чемодане, замкнув его тяжелым замком, садился и начинал плаксиво рассуждать:

— Поживу здесь еще немного и брошу вас. Ковыряйтесь себе по берегам. Дом куплю в райцентре, огороды с парниками заведу, на всяк случай подыщу работку — не бей лежачего. Хоть, к примеру, ночным сторожем куда. Само стариковско дело...

На него не обращали внимания или лениво прикрикивали:

— Завел... Хватит зудить-то!..

Как всегда, на воскресные дни сплавики расходились по деревням. На участке становилось тоскливо. Бушуев коротал время с мотористом Тихоном Мазаевым. У Тихона всегда была припрятана на такой случай бутылочка.

Тихон — маленький, узкоплечий, на обветренном сморщенном лице вислый нос — никогда не был доволен. Сердитым голосом он ругал все — и погоду, и реку, и участок, на котором киснет в мотористах пятый год.

— Эх, милоч! — откровенничал он, хватая Бушуева за отворот пиджака. — Я ведь, считай, механик, комбайнером работал, трактористом... И кой черт загнал меня в эту дыру? Ведь дыра! Оглянись — лес, лес да в небо продушина.

Бушуев в такие минуты был вял и молчалив, глядел на слезящееся под дождем окно, за которым, не умолкая, ровно и тяжело шумела Большая Голова, вздыхал:

— Да-а, в заключении и то веселее.

Иногда, из-за выпитой ли водки, просто ли находило минутное откровение, начинал вспоминать:

— Я-то сам из Курской области. Там у нас солнца много и все поля, лесов-то, считай, нет. Забыл я уже свое село. Только здесь нет-нет да и придавит сердце...

Неожиданно добавлял:

— Не выдержу, сбегу от вас. Пять лет свободы ждал. Сво-бо-да...

10

Однажды вечером Бушуев снял с гвоздя гитару, пощипал струны, придавил их ладонью.

— Ну ее! Перепето, сыграно... — Добавил в рифму непотребную фразу, вынул из кармана потрепанную колоду карт, ловко перетасовал ее, предложил Лешке Малинкину: — Стукнем, что ли, в очко для забавы? Лешка смущенно пожегился.

— Да не умею я.

— Не играл — научу. Свеженькому всегда фартит. Не бойсь, обдирать не стану. Вот в банк кладу рубль, можешь бить хоть на гривенник...

Никто потом не мог сказать, откуда появилась колода карт у Бушуева. После того как его вытащили из порога, в карманах пиджака ничего не было, кроме раскисших документов и пятнадцати рублей мелкими бумажками.

Рассевшись на Лешкиной койке, Бушуев терпеливо учил:

— Не зарывайся, не зарывайся, миляга. Карты горячих не любят. Будешь или нет прикупать?.. Будешь. Даю... Смотри ты, и тут взял. Говорил, что тебе фартить станет поначалу...

Лешке шла карта, он розовел от возбуждения. Подошел Иван Ступнин, помигал желтыми ресницами, покачал головой.

— Греховное дело... Сколько в банке? Восемьдесят копеек всего-то! Ну-ко, для любопытства дай карту, ударю по ним.

Взял, с сомнением взгляделся, протянул:

— Пе-ри-пе-етия! Сразу две давай. Ага!.. Ну-ко, бери себе... Моя!

Потянулись другие, с соседних коек, плотно обсели. Егор Петухов провожая глазами карты, сердито сводил губы:

— По гривеннику, по гривеннику — глядишь, и вылетит в красный рублик. Век за эти карты не брался.

— И не берись, — поддакнул Бушуев. — Игра скупых не любит.

Часам к десяти «простучали» последний «банк». Подсчитали: Лешка выиграл двадцать рублей, Иван Ступнин и остальные проиграли и выиграли по мелочи. Бушуев расплачивался.

— Фарт — великое дело, браточки. — Заглянув в лицо Лешке своими прозрачными глазами, с чуть приметной насмешечкой добавил: — Только за мной, мой мальчик, не гонись — могу до косточек обглодать. Ви-дишь?

Он показал Лешке карту. Тот, смущенный тем, что пришлось взять у Бушуева деньги, еще не остывший от удачи, подавленно кивнул головой: «Вижу».

— Запомнил карту? Хорошо запомнил?.. Учти, я в нее не заглядывал. Клади ее в колоду. Тасуй!.. Да шибче, душечка. Эх у тебя руки — что грабли... Перетасовал? Подними. Еще раз подними... А теперь давай всю колоду сюда...

Небольшие, ловкие, с плоскими белыми ногтями, со свежими ссадинами, полученными во время окатки, руки Бушуева быстро перебрали карты, один глаз насмешливо прищурился.

— Эта?..

У Лешки удивленно отвалилась челюсть.

— Эт-та.

Все кругом, ухмыляясь, закачали головами.

— Мастак...

— То-то,— закончил Бушуев,— я карты наскрозь вижу. Со мной не садись.

11

И все-таки на следующий вечер сели играть на бушуевской койке — чтоб убить время, не всерьез — пять человек: Лешка, Иван Ступнин, сам Бушуев и еще двое — долговязый Харитон Козлов и рыжий Петр Саватеев. Вокруг встали любопытные, среди них Егор Петухов, которого всегда волновало, когда деньги переходили из одного кармана в другой.

Ставки были маленькие, копеечное счастье приходило то к одному, то к другому. Снова заметно везло Лешке. Он сорвал банк. Егор Петухов крикнул:

— Бывают же такие везучие!

Иван Ступнин вздыхал:

— Перипетия... Ну-кось, кто по гривенничку, а я на все стукну. Удача небось рискованных любит.

Мало-помалу игра стала расти, на смятом одеяле зашуршали не только рублевки, а десятки, четвертные, даже сотни.

Выигрывал Лешка, выигрывал Иван Ступнин. Бушуев спокойно вынимал из кармана деньги, небрежно бросал.

— Это что!.. Разве ж игра?.. Помню, деточки, по десяти тысяч в банке стояло.

Начали подсаживаться и другие. На днях выдали зарплату, все были при деньгах, каждый считал, что можно позволить себе удовольствие — проиграть или выиграть по мелочи.

Один только Егор Петухов, поджав скопчески губы, следил за картами, провожал глазами руки, прячущие деньги в карманы, осуждающе качал головой, но от играющих не отходил. Никто не обращал на него внимания.

После того как распаренно-красный, торжествующий Иван Ступнин наложил свою широкую лапу на банк, Егор подтолкнул в бок Лешку.

— Ну-ко, подвинься. У меня ноги не железные.

— Уж не сыграть ли хочешь? — спросил Бушуев.

— А что, я хуже тебя?

— Прогоришь. Карты скупых не любят.

Еще долго Егор не решался, сидел, смотрел, поджимал губы, наконец не выдержал.

— Подбрось, что ли, и мне карту.

Но Бушуев, показывая щербатину в зубах, насмешливо оскалился в лицо:

— Положь на кон шкурку.

Егор вскипел.

— Шпана безродная! Не доверяет! Уж кому бы не верить, то тебе.

— Зачем лезешь, коль не веришь?

— Дай карту! Побогаче тебя, урка приبلудная, расплачусь, коль проиграю.

— Деньги на кон или катись!

— У-у, висельник. Плевал я на твою игру. Тьфу!

Егор поднялся, прошел на свою койку, лег.

— Ты зря человека обижаешь,— упрекнул Бушуева Иван Ступнин.— У нас промеж собой пакости не водится. Проиграет — отдаст.

— Отдаст? Я, браток, знаю таких живодеров. Удавится. Достается им, когда попадают в холодные места. Требуху-то быстро из них вышибают.

— Я б твою требуху пощупал, да рук пачкать не хочется,— проворчал Егор, не поднимая головы.

— Иль схлестнемся? У тебя же кулаки пудовые, чего робеешь?

— Хватит вам, дети малые! Ты глянь, не перебрал ли? Четвертую карту тянешь.

— Перебрал, долбани его петух в зад...

Шла игра, раздавались голоса, то сдержанно-выжидающие, то насто-роженные, то удивленные. Шла игра, доносился шелест денег. Егор слез с койки, вытащил свой чемодан, отпер замок.

Расправив плечи, с выражением какого-то кислого пренебрежения на лице подошел к играющим.

— Вот, приبلудный, не лист с веника — деньги. Дай карту.

Бушуев хохотнул.

— Вот так отломил! Сколько же ты на этот пятерик червончиков обрать хочешь?

— Поскалься у меня, поскалься! Сколько хочу, столько и выкладываю. Давай карту.

— На всю бумажку?

— Рубь ставлю.

— Не мельчись, все равно прогоришь.

— Рубь ставлю,— со злым упрямством повторил Егор.

— Эх, расчетлива девка, да принесла в подоле.

Бушуев принялся ловко раздавать карты.

Карта, брошенная Егору, утонула в его красной, с обломанными ногтями ручище, глаза остро уставились в ладонь, губы свело, казалось— вот-вот Егор изумленно свистнет. Бушуев с издевочкой щурил свои порочно-чистые глаза, показывал щербатину в плотных зубах.

Как только Егор сел, игра сразу же изменилась. До сих пор шутили, перекидывались незначительными замечаниями, похохатывали, проигрывали легко. чувствовалось, что, несмотря на поднявшиеся ставки, играют для удовольствия. С появлением Егора ставки не возросли, а, наоборот, уменьшились, но шутки как-то сразу увяли, все вдруг стали серьезны, на скомканные деньги глядели не прямо, а как-то стыдливо, искоса.

Бушуев все еще ухмылялся, но нет-нет да прикусывал нижнюю губу, и тогда на худощавом, вытянутом, с плоским подбородком лице появлялось что-то стремительное, острое, напоминающее выражение кошки перед прыжком на воробья.

Егор Петухов, напряженно приподняв плечи, стал метать банк. Но как-то быстро этот банк у него разобрали. Бушуев, пригребая к себе кучу мятых бумажек, бросил взгляд на Егора.

— Отчаливай. Кончилась твоя пятерка.

Те пять рублей с которыми вошел в игру Егор Петухов, проиграны были незамедленно, без особой боли. Осталось только ощущение неухваченного счастья.

Сердито посопев, Егор встал.

— Обождите, не начинайте.

Снова вытащил чемодан, погромел замком, выложил на койку бумажку. Иван Ступнин ухмыльнулся во всю физиономию.

— Перипетия ты, а не человек. Опять пятерку вынес, как нищим на показ.

Бушуев ничего не сказал, только перетасовал карты и бросил на койку сто рублей.

— Кто смелый? Можно на все.

Запахло крупной игрой. Кто-то из стоявших попросил:

— Ну-ко, ребята, выдвинем в проход койку, мы присядем.

— Зачем мебель трогать, давай прямо на пол.

— И верно, чего в тесноте-то! Не в праздничных одежах, не попачкаемся.

12

Расселись в круг, одни, упираясь спинами в печь, другие, подобрав под себя ноги, прямо в проходе. Ни один человек не лежал на койке — играло больше половины. Банк рос. Доставались из карманов, из за-гашников смятые десятки, двадцатипятирублевки, полусотенные.

— Стучу! — объявил Бушуев.

По общежитию пронесся вздох, играющие зашевелились, распрямили затекшие спины. Последний круг. Если не разберут банк, Бушуеву достанется куча денег.

Егору Петухову до сих пор везло. Отрывал от банка по пятерке, по десятке, ни разу не промахнулся. Сейчас в потной ладони у него лежал туз червей — хорошая карта. Даже если придет валет или дама, можно без опаски добрать. А вдруг повезет — второй туз или десятка! Хорошая карта в руке!

Егор глядел на кучу денег — желтые рублевки, отливающие зеленью полусотенные. Пестрая куча! В ней выделяются величиной и благородством расцветки сторублевые бумажки.

У Бушуева, мечущего банк, прикушена губа, глаза прищурены, руки, как всегда, ловко выбрасывают карты. Куча денег и эти руки! Ловкие, со свежими садинами на костяшках, длинные пальцы словно обрублены у концов, ногти плоские, белые. Кто знает этого человека с руками, не вызывающими никакого доверия? От него можно ждать всякого. Мошенник, и сидел, должно быть, за мошенничество.

Но, о господи! Сколько возле него на полу денег! И карта хорошая — туз червей. Вот уже пятый раз к нему, Егору Петухову, приходит красная масть. Четыре раза выигрывал. Не было промашки. А тут упустить...

Куча денег. Эта куча красива, от ее близости по телу проходит озноб. Все на нее бросают скользящие взгляды... Хорошая карта!

— Тебе?.. На сколько бьешь? — отрывисто спрашивает Бушуев, и его глаза сквозь редкие ресницы глядят холодно, без насмешки, Егору кажется — враждебно.

— А сколько тут? — глухо спросил он, чувствуя, что карта в руке становится мокрой от пота.

— Уж не по всему ли бить собираешься?

— Не твоего ума дело. Сколько, спрашиваю?

— Не считал.

— Посчитай.

— Лешка, — кивает небрежно Бушуев, — сосчитай, сколько сейчас в банке. Я что-то не упомню.

Лешка, нахмурившись, стоя на коленях, неловко начал считать, пере-кладывая бумажки с одного места на другое.

Все кругом молчали. Егор вытирал рукавом пот с лица.

— Семьсот сорок пять рублей.

Еще раз проводит по лицу рукавом Егор, еле шевелит пересохшим языком:

— На все.

— Шалишь, папа! — Бушуев дергает щекой. — Вот положи сюда при всех на уголок семьсот сорок пять — тогда поверю.

— Положу, чего ты... — не совсем уверенно возражает Егор.

— Вот и клади. Не задерживай игру. Распотроши свой сундучок. — Глаза Бушуева глядят без обычного прищура.

Егор чувствует, что он должен подняться. Этого ждет Бушуев, ждут все — настороженно, молчаще.

— Ну!..

Егор тяжело поднимается. Он отсидел ноги, трудно двигать ими, колет в икрах. Потная рука мнет карту. Карта хорошая, но при любой карте можно срезаться. Если сразу придет шестерка?.. Бушуев хвалился, что карты насквозь видит. И карты-то... Кто их проверял?

Егор идет к своей койке, выдвигает чемодан. Тяжелый, добротный замок, стальная дужка всунута в толстые кольца. Сам эти кольца приклеивал. При одном прикосновении к замку у Егора пропадает всякое желание играть. Но чемодан уже открыт, рука привычно лезет под белье, в укромный уголок, где у него лежат деньги — несколько пачек, зарплата за три месяца. Давно уже собирался вырваться Егор в воскресенье в райцентр, сдать с рук все деньги на книжку. Здесь пять тысяч в сотнях да рублей триста по мелочи. Одну тысячу он сейчас должен вынуть и отсчитать семьсот сорок пять рублей!.. Для кого отсчитать? Для этого каторжника! Свои кровные! Жене рубля не давал, в столовой не обедал. Семьсот сорок пять в руки проходимца!

— Ладно, — с трудом поворачивает голову Егор, но глядит в пол, — плевал я на твой банк. На пятьдесят рублей бью.

— То-то, — насмешливо тянет Бушуев. — А еще пугал.

В его голосе Егору чудится облегчение. Тоже боится за банк. Куча денег возле него, вся куча ему достанется. Он, Егор, выиграет пятьдесят рублей. Всего пятьдесят! Остальные не за будь здоров на пропой, на веселую жизнь этому бродяге... И карта хорошая...

Чемодан открыт, руки сквозь платок ощупывают пачки денег.

— Ну, ползи сюда! Чего там застрял? — торопит Бушуев.

— На все! — срывающимся голосом выкрикнул Егор. — Вот, сволочь, деньги!

Егор выхватил завернутые в женин платок сбережения, отделил тысячу, захлопнул чемодан. Долго искал упавшего за чемодан туза червей.

И пока он искал карту, снова пропала уверенность.

— На все...

Карта в одной руке (карта хорошая — ну, помоги бог, помоги бог!), в другой — пачка сторублевков. Кровные деньги, горбом заработанные, сбереженные жестокой экономией — обедал не каждый день...

— Видишь, стерва? Веришь теперь?

— Верю, — серьезно и коротко отзывается Бушуев. — Садись.

Все молчат, со всех сторон уставились возбужденно блестящие глаза. Ждут. А Егора охватывает отчаяние: как это случилось? Прихлопнет же его Бушуев. Эвон вытянулась воровская рожа, до сих пор щерился — теперь серьезен.

Но Бушуев уже выкинул ему карту. Егор взял ее. Отказаться? Уже поздно. Раз взял в руки карту, отказываться нельзя — возмутится не один Бушуев...

Пришел король бубен.

Бушуев прицелился острыми зрачками.

— Еще картинку?

Слышно, как кругом дышат люди.

— Дай сам потяну,— хрипло просит Егор.

Его неуклюжие, толстые, огрубелые пальцы тянут из подставленной колоды карту. Помоги бог, помоги бог!.. Егор ничего не видит, пот стекает со лба, ест глаза.

— Ну?! — всем телом подается Бушуев.

Через короля пришел туз — перебор.

Бушуев накладывает узкую нерабочую ладонь на деньги, без слов придвигает их к своей куче.

— Возьми сдачу,— говорит он и бросает Егору несколько бумажек.

Егор послушно берет их..

Генка Шамаев, как всегда ездивший за реку, впервые застал общежитие неспящим... Все сидели на полу под лампой в табачном тумане. Генка подошел к своей койке, откинул одеяло.

— Вижу — всерьез схлестнулись. Ужо Саша дознается, будет всем на орехи!

Никто не обратил на него внимания. Егор проигрывал оставшиеся от тыщи деньги.

13

Хмурое утро, облака цепляются за верхушки береговых елей, моросит дождь. Сплавщики, перепоясанные поверх курток и брезентовых плащей ремнями, выходя из теплого, душного общежития, поеживаются. Их лица сонны, не слышно разговоров. Как всегда по утрам, шум воды на Большой Голове кажется более громким и решительным.

Сутулясь, глядя под ноги, вместе со всеми идет к лодкам и Егор Петухов. За ночь его лицо оплыло, шагает вяло, волочит по земле багор.

Возле лодок, где топчутся сплавщики, поджидая замешкавшихся, стоит Николай Бушуев. На нем поверх пиджака пузырится старая брезентовая куртка — одолжил у долговязого Харитона. И хотя Бушуев, как все, подпоясан, как у всех, за поясом топор, а в руках багор, но вид у него не рабочий, не серьезный.

Егор, пригнув лицо к земле, подошел боком, ковырнул сапогом землю, проговорил виновато:

— Слышь, парень... Ты того... Пошутили вчерась... Смешно, право, я-то полез... Слышь, верни мне деньги, и забудем все..

Бушуев дернул в усмешке щекой, сощурился.

— Дуришь, дядя. Река-то в обратную сторону не течет.

— Слышь, отдай, говорю. Худа бы не было,— уже с угрозой надвинулся Егор.

— Ну, ну, отступи,— подобрался Бушуев.

— Сволота! Перешибу!! — Егор поднял над головой багор.

Бушуев отпрыгнул, схватился за топор.

— Давай, давай! Я т-тебя клюну в толстый череп!

Генка Шамаев, в короткой куртке, в резиновых сапогах до паха, повернувшись к ним вывалившийся из-под фуражки сухой чуб, прикрикнул:

— Побалуйте! Вот я вступлюсь! — Шагнув к Егору, схватился за багор. — Поделом дураку, связываться не станешь. Иди в лодку!

Егор обмяк, послушно отвернулся.

До сих пор на сплавушке жизнь шла тихо и однообразно — день походил на день, вечер — на вечер, никаких тревог, никаких событий. Даже развлечения одинаковы — послушать радио, сгонять партию-другую в «козла». От таких развлечений быстро тянуло на сон. А утром — лодки, окатка бревен, обед, и так без конца.

Но вот — плотный круг людей на полу, напряженные лица, возбужденно блестящие глаза, отрывистые слова, деньги, сваленные кучей, деньги, переходящие из одного кармана в другой, острое чувство близкой удачи, разочарования... А Егор, распотрошивший свой чемодан! Разве это не событие? Совестно признаться, но, сй-ей, пережить такой вечер куда любопытней, чем стучать перед сном костяшками домино.

Настал вечер, и все общежитие уселось в плотный круг, одни — с желанием поиграть, другие — поглазеть, со стороны поволноваться. Не участвовали только двое — Генка Шамаев и Егор Петухов, лежавший, не раздевшись, на своей койке лицом вниз.

Игра сразу пошла по-крупному. До Егора доносились сдержанные возгласы. Он лежал и сжимал от ненависти кулаки. Бушуева сейчас не тронешь, все игроки поднимутся на дыбки. Пропала тысяча, не вернешь.

А голоса бередят душу:

— Стучу!..

— Подкинь еще карту...

— Ах, черт! Вот так сорвал!

Бередят душу и короткие напряженные паузы. Кому-то подваливает счастье. А он, Егор, обиженный, забытый, лежит один, никому в голову не придет пожалеть. А если снова попробовать? Но не зарываться, а с умом, с оглядкой, осторожно. Вдруг да вернет свои деньги. По-крупному прогорел, можно, чай, рискнуть по мелочи...

Егор слез со своей койки, осторожно выдвинул чемодан, достал деньги, отделил сотенную бумажку...

На правах обиженного, которому обязаны прощать и сочувствовать, он грубо растолкал сидящих.

— Ну-ко, потеснись!

Сел и, стараясь ни на кого не глядеть, взял карту.

14

За поселком, в конце каменной дамбы, Дубинин ставил морды. Каждый вечер он ходил их проверять. И сейчас он возвращался с ведром, в котором плескались окуни.

Шел прямо по дамбе, ступая по громадным валунам. Дамба — каменная гряда высотой чуть ли не в два человеческих роста — растянулась на четверть километра, начинаясь от столовой, наискосок влезая в бурлящую реку.

Участок Дубинина два года назад был самым тяжелым на всей реке от истоков до устья. Большая Голова забрасывала лес на каменистую отмель, и там несколько раз за лето вырастали огромные завалы. В разгар сплава приходилось работать по двенадцати часов в сутки. К осени сплавщики изматывались. Тогда-то и решили своими силами построить дамбу, которая не пускала бы бревна на отмель.

Камень к камню, крупные, ноздреватые валуны! Сколько их! Гряда, растянувшаяся на четверть километра, высотой в два человеческих роста, она весит несчитанные тысячи тонн. Все эти камни укладывали зимой каких-то два с лишним десятка людей с помощью простых слег, веревок и одной-единственной лошаденки. Тысячи тонн камня! Значит, каждой паре рабочих рук пришлось поднять и перенести многие сотни тонн!..

Дубинин вместе со всеми ворочал тогда валуны, которые на лютом морозе обжигали сквозь брезентовые рукавицы руки. Сейчас, ступая с камня на камень, он думал о том, что если бы вся работа — разборка завалов, очистка берегов и мелей — каким-то чудом вдруг превратилась в сложенные один на другой камни, то за шесть лет службы Александра

Дубинина мастером выросла бы на этом участке гора, снежной вершиной уходящая за облака. Дамба удивляет, а это — побочное дело. Ребята-сплавщики привыкли к ней, как привыкли к неумолкающему шуму воды на Большой Голове. Александра Дубинина нет-нет да охватывает смутная гордость за своих ребят: «Трудовой народ, ничего не скажешь. Не зря хлеб едят...»

Дамба кончилась, булыжный склон упирался в стену столовой. А из-за угла столовой светились окна общежития. Время довольно позднее, но там не спят...

Ощущение гордости и спокойной уверенности — все хорошо, жизнь налажена — исчезло: «Опять в карты дуются!..»

Какой-то неудачник, легкая пена, которую выбрасывает жизнь, сейчас атаманствует над двумя десятками взрослых людей, здоровых, расудительных, знающих себе цену. И ему, мастеру Дубинину, всесильному человеку на участке, слово которого хватают на лету, не так-то просто прийти и сказать: «Баста, ребята! Кончай канитель!»

Все хорошо, все налажено... Но все ли? Сытно, покойно, даже слишком покойно — сон да работа, работа да сон...

Дубинин мог заставить в трескучие морозы ворочать тяжелые камни. Нужно! Он мог приказать сплавщикам, вовсе не трезвенникам: на участке не пить. Нужно! В этом «нужно» и была сила Александра Дубинина. Но отбери сейчас карты, сразу зашумят:

— Мы что — подневольные тебе? Ишь, порядочки — играть нельзя. Нет для работы вреда? Нет. Ну и не зарывайся.

А ведь так просто не кончится: где карты, там и выпивка и скандалы, мало ли что может стрястись. Пусть. Спohватятся—тут-то он и появится, тут-то скажет свое «баста». И попробуй тогда возразить, попробуй ослушаться!

В берег уткнулась лодка. Генка Шамаев выскочил, рывком вытянул лодку на камешник, пружинящими скачками взбежал на дамбу.

— Колдуешь? — спросил он, тоже уставясь в светящиеся окна.

— Прикидываю.

— Обдерет, как липку, ребят и сбежит, сукин сын.

Дубинин промолчал.

— Дозволь мне, Саша, я из него и деньги вытрясу и в шею вытолкаю.

— Успеется.

Генка переступил с ноги на ногу, приблизил свое лицо к Дубинину.

— С кем нянчишься? За чужой пазухой счастья ищет. Таких не вытаскивать из порога, а по башке надо бить, когда выныривают.

— Многих тогда пришлось бы по башке бить... Часто и честные люди — не чета Бушуеву — чужое заедают.

— Мудришь что-то. Кто заедает?

— Боюсь, что ты даже...

— Я?..

— Который месяц бабе голову крутишь. Побалуешься, а потом отвернешься. Тебе удовольствие, а ей слезы. Так-то... Не суди других строго.

Генка выпрямился, из-под волос блестели в темноте глаза.

— Суешься, куда не просят.

Погромыхивая по камням, он сбежал с дамбы. Дубинин постоял еще и не спеша начал спускаться.

Табачный дым пластовался над головами сбившихся на полу людей. Многие с испугом косятся на Бушуева: быть не может, чтобы срывать такие выигрыши без жульничества, зря зарываешься, не простят... Пре-

кратились шутки, исчез смех, в густом, прокуренном воздухе минута за минутой копилось что-то зловещее, все ждали — вот прорвется.

Николай Бушуев в нижней рубаше распояской, подвернув по-турецки ноги, сидел возле денег. Он несколько раз рассовывал деньги по карманам, а они снова вырастали у его колен. Когда Бушуев поднимался и шел пить, все головы поворачивались вслед за ним, десятки пар глаз с подозрением следили за каждым его движением. Бушуев не спеша наливал в алюминиевую кружку воду из бака, жадно пил, возвращался, снова усаживался по-турецки.

Егор Петухов дрожащими руками тасовал карты, на рыхлом лице непривычное ожесточение, веки красные. Его чемодан выдвинут прямо в проход, раскрыт, в нем белеет скомканное белье. Егор проигрывал последнее.

— На все, — безжалостно произносит Бушуев. Который уже раз за вечер он повторяет эти слова.

На все! Егор втягивает голову в плечи, руки дрожат. Он выбрасывает карту. Бушуев спокойно берет ее, мельком бросает взгляд, тянется к колоде.

— Дай сам потяну.

Дрожат руки Егора, дрожит колода карт, дрожат распушенные губы. Кто-то недружелюбно роняет за спиной Бушуева:

— Взял!

Егор вдруг бросил на пол карты, через разбросанные деньги рванулся к Бушуеву, захрипел:

— Шаромыжничаетесь! Задушу, оплевок!

Бушуев напряженно вскочил на ноги. Неуклюже ворочаясь среди тесно сбившихся, опеших людей, со звериным оскалом на багровом лице, Егор ревел:

— Уничтожу! Вдребезги разнесу! Сволочь!

Поднялся на ноги, тяжелый, неуклюжий, качнулся на узкоплечего, утонувшего в просторной рубаше Николая Бушуева — сейчас сомнет, придавит, искалечит... Но Бушуев вдруг гибко присел и нырнул на Егора. От короткого удара головой Егор тяжело плюхнулся на пол.

Это произошло быстро — никто не успел сообразить. Никто не схватил Егора, не задержал Бушуева.

Бушуев бросился к своей койке, откинул матрац, и в руках его оказался топор...

Стало тихо. За окнами глухо шумела вода на Большой Голове.

До сих пор все испытывали к Бушуеву только неприязнь, пусть острую, подогреваемую смутными подозрениями, но в ту минуту, когда увидели в его руках топор, поняли — он враг, сам сознает это, не зря же загодя спрятал в койке топор.

— Вот, — Бушуев качнул топором, — сунься кто... Мне терять нечего — враз кончу.

В белой, выпущенной поверх штанов рубаше, острые ключицы выпирают под распахнутым воротом, шея тощая, длинная, как куриная нога, на бледном, тронутом черной щетиной лице пустовато-светлые глаза.

Один против всех. Каждый из сплавщиков наверняка сильнее его. Сплавщиков более двух десятков, целая толпа. И что из того, что в руках Бушуева топор? Топоры лежат в коридоре, нетрудно выскочить за дверь, разобрать по рукам...

Шумят сквозь наглухо закрытые окна пороги. Никто не двигается, стоят, переминаются, глядят на Бушуева. Пахнет не потасовкой на кулаках, нет, топор в любой миг может подняться, и нельзя сомневаться — этот человек с легким сердцем опустит его на первую же подвернувшуюся

ся голову. Его не связывают ни совесть, ни человеческие законы. А даже Егор Петухов, обезумевший сейчас от ненависти и отчаяния, не решится схватить топор, чтоб размозжить череп другому. Более двух десятков здоровых мужиков стоят в растерянности перед слабосильным, узкогрудым человеком. Стоят и молчат... Шумит вода на реке.

Егор, сидевший на полу, пошевелился, опираясь руками в пол, стал тяжело подниматься. Все внимательно следили за ним. Холодно, с острой настороженностью следил и Бушуев.

Егор поднялся, пошатываясь, прошел к своей койке, свалился на нее. Зашевелились остальные. Напряжение прошло, но настороженность и недоверие остались — косились на Бушуева, молчали.

Бушуев присел на койку, отвалился на подушку, положив возле себя топор, не спеша вынул папиросы, закурил, откинув назад голову, стал пускать дым в потолок. Потянулись к своим койкам и остальные.

Открылась дверь, пригнув голову под притолоку, вошел Генка Шамаев, хмуро скользнул взглядом по койкам, споткнулся, поднял замок — большой, крепкий дверной замок, — бросил его в раскрытый, с разворощенным бельем чемодан Егора.

— Деньги-то хоть с полу приберите, — хмуро сказал он, стаскивая с плеч пиджак.

Деньги, вперемежку с рассыпанными картами, валялись возле печи. Никто не пошевелился, не стал их поднимать.

16

Лешка Малинкин последние два дня ходил очумелый — кучи денег, удачи, проигрыши, люди, стоящие за твоей спиной, жарко дышащие в затылок. Он смутно чувствовал: все, что происходит, — нехорошее, пугающее; рад бы отойти в сторону, но нет сил. И Саша не похвалит. Омут какой-то, нырнул — не выберешься. С замиранием сердца минутами думал — чем кончится? И вот хриплый крик Егора, короткая драка, Бушуев с топором в руках у своей койки..

Как и все, Лешка почувствовал ненависть к этому непонятному человеку. Он ждал, что Иван Ступнин, Егор Петухов — люди сильные, никогда ни о чем не говорившие со страхом, — бросятся на Бушуева, скрутят его. И никто не бросился, все, как он, Лешка, стояли в растерянности. Страшен же, видать, этот человек со светлыми глазами на прищуре. Все скопом перед ним робеют.

Лешка с опаской подошел к своей койке, стоявшей впритык к койке, на которой, развалясь, курил Бушуев, стал торопливо раздеваться. Забраться скорей с головой под одеяло, отвернуться от Бушуева, забыть о нем. Едва его голова коснулась подушки, как почувствовал — что-то твердое выпирает сквозь наволочку. Он полез рукой, но острый, пристальный взгляд Бушуева заставил обернуться.

— Ты... — чуть слышно, сквозь стиснутые зубы процедил Бушуев, — выйди на волю...

Лешка, не понимая, тарачил на него глаза.

— На волю выйди, говорю. Словно бы по нужде... Меня дождишь там... Ну!..

Бушуев небрежно отвернулся, пустил дым в потолок. Лешка все еще не понимал.

— Ну... — чуть слышно вытолкнул с дымом Бушуев.

И Лешка не посмел послушаться. Влез в резиновые сапоги, придерживая руками подштанники, пошел к дверям. Никто не обратил на него внимания.

Из-за леса выползла почти полная луна. С черной реки лился ровный, равнодушный ко всякой человеческой суете шум воды. Лешка стал в тень под стену, поеживаясь в одном исподнем от ночного холода, сдерживая стук зубов, стал ждать, поминутно оглядываясь. Казалось, со стороны подозрительно следят чьи-то глаза. Вслушивался: не уловит ли в шуме воды приближающиеся шаги...

Ждать пришлось долго. Луна, ядреная, чуть сточенная с одного бока, освещала просторный двор, железную бочку посреди двора. В конторе теплилось окно. Там сидел Саша. Если сорваться сейчас да к нему — Бушуев, мол, нехорошее затеает?.. Он-то не отступит...

Лешка топтался, поеживался и не решался сорваться с места.

Легко проскрипело крыльцо, в белой незаправленной рубашке, прижимая локтем топор, появился Бушуев. Свободной от топора рукой взял Лешку за грудь, притянул к себе, облавая табачным перегаром, заговорил захлебывающимся шепотом:

— У тебя в подушке — десять косых... В субботу отнесешь к себе домой, в деревню. Припрячь понадежней, приду в гости. Скоро иль нет, но приду... Ты из Яремной, третья изба справа — все знаю. Ссучисься — живым не быть. А коль выгорит — две косых тебе на сладости. Понял, телок? Им и в голову не придет, что деньги-то у тебя. А меня пусть щупают.

Бушуев сплюнул сквозь щербатину.

— Иди!

Лешка выбивал дробь зубами.

— Отдал бы ты деньги, — попросил он. — Ребята-то шибко сердиты.

— Не учи, сопля.

— Тог... тогда сейчас уходи. Бери деньги и уходи.

— У-у, сука, зубами стучишь... Уходи? Без паспорта-то?.. Мой паспорт Саша у себя держит... Проваливай, а то и на тебя станут косоротиться. Помни: чуть вякнешь — убью!

17

Лешка вернулся в обжитое тепло общежития. Кто-то из ребят уже безмятежно всхрапывал. Генка Шамаев курил, думал о чем-то. Деньги по-прежнему валялись на полу.

Егор Петухов, нераздетый, в сапогах, лежавший лицом вниз на своей койке, при шуме открывшейся двери вздрогнул, рывком поднял голову — взгляд дикий, веки красные, лицо опухшее.

— Ты там был? Видел его? — хрипло спросил он.

— Кого? — спросил Лешка упавшим голосом.

— Кого, кого!.. Словно не знаешь. Ты вышел, а он за тобой следом.

Спелись с ним.

— С ума спятил, — повернулся к Егору Генка. — Из-за денег сбесился. Может, на меня кинешься? Ложись, Лешка.

У Лешки дрожали колени. Волоча ноги, он прошел к своей койке, залез под одеяло. Едва его голова коснулась подушки, как снова почувствовал лежащий в ней узелок с деньгами. На секунду появилось острое желание вскочить, закричать: «Ребята! Вот деньги! Он мне в подушку сунул!» В него верят. Своих обманывать! Но ведь пригрозил: «Чуть вякнешь — убью!» И убьет, долго ли такому.

Лешка поджал к животу ноги и замер — никак не мог согреться, знобило.

А Егор плачущим голосом жаловался:

— Он же сбежит... Махнет с нашими деньгами за реку, только его и видели...

— Без порток, считай, выскочил. Куда он в таком виде — всякому в глаза бросится,— лениво возражал Генка.— Ты завтра за ним в оба гляди.

— Тогда что ж он там торчит? Тогда он, значит, наши деньги припрятывает...

— Вернет, заставим.

Кто-то поднял голову:

— Шабаш, ребята. Завтра в семь вставать.

Из своего угла Иван Ступнин вздохнул:

— Перипетия...

В общежитии наступила тишина. Скрипел на койке Егор.

Лешка, прижавшись ухом к выпирающим сквозь подушку деньгам, притих. Озноб прошел, но сложное, непривычное, томящее чувство охватило его. Не так давно на соседней койке, куда должен скоро вернуться Бушуев, спал Толька Ступнин. Он часто говорил Лешке о том, что читал в книгах. Рассказывал о больших городах, об институтах, об ученых людях, о самолетах, что могут поднять в воздух всех людей, какие есть на участке. Когда Лешка слушал Толю, мир за пределами их сплав-участка казался сказкой, населенной могущественными и добрыми людьми. Сейчас впервые открылось: в том большом мире живут еще и Николаи Бушуевы. Как соединить в одно Толькины рассказы и этого человека с черной душой? Запутан и непонятен большой мир...

Лешка лежал, плотно закрыв глаза, и чувствовал себя бесконечно маленьким, беспомощным, глупым перед той жизнью, которая, как океан, окружает знакомый ему островок — крохотный поселок, притиснутый лесами к реке. Первое разочарование, первое смятение, первый страх, первое наивное прозрение затянувшегося детства.

Егор Петухов не мог успокоиться. Натыкаясь на спинки кроватей, он подошел к койке Бушуева, с ожесточенным лицом стал щупать пиджак, висящий на гвозде, приподнял подушку, помял ее, откинул матрац...

«Деньги ищет...— Лешка похолодел.— Сейчас мне скажет: а ну, вставай!..» Деньги сквозь наволочку давили в висок. «Что же делать? Сказать?.. Но Бушуев?.. Что они ему сделают? Ну, выгонят, ну, в шею дадут, пусть даже поколотят — все равно останется живой и здоровый. А он и деревню знает и дом — найдет, из-под земли выроет...»

Лешка лежал, прижавшись виском к деньгам. И Егор, разбрасывающий постель Бушуева, казался ему в эти минуты не таким, каким привык всегда видеть. Раньше был обычный человек, только, может, скупее других... Теперь — лицо злобное, упрямое, глаза красные. Узнай сейчас, что он, Лешка, лежит на деньгах,— пожалуй, душить бросится. Чужой, непонятный! А ведь больше года жил с ним бок о бок.

Затаив дыхание, Лешка глядел из-под одеяла на Егора. Тот, разво-рошив койку, выругался, отошел.

Выпотрошив наловленную рыбу, обложив ее крапивой, Дубинин выставил в сенцы, на холодок, ведро, не снимая пиджака, сел в конторе и под хриплые звонки вечно бодрствующего телефона задумался.

Вспомнил, как Бушуев, только что вытасченный из порогов, лежал на койке с зеленым, обросшим щетной лицом — острые коленки проступают сквозь одеяло, тонкие руки устало вытянуты вдоль тела, надпись на груди...

Счастья нет у тебя, сукин сын! Руку тебе протянули: давай, выкарабкайся, прислоняйся к нам. Пусть у нас у самих немудрящее счастье, но какое есть. С большим-то ты, поди, и не справишься.

Рвешь у других. Надеешься, что так легче прожить? Ой, нет. Не с землей, не с водой, не со зверем приходится воевать, а с человеком. Человек упрям, никогда не отдает свое счастье легко и просто. И потому ты, Николай Бушуев, не богат и не славен, потому жизнь тебя так гнула, что пришлось признаться: «Года идут, а счастья нет».

Но ведь есть же Бушуевы и удачники. Сколько их ходит по свету! Просторна земля, а таким вот тесно на ней, стараются оттолкнуть соседа, верхом на него сесть. Тесно?.. Даже смешно думать об этом. Здесь на участке, живут тридцать два человека, оттого и скудно — кино даже нет. А если б триста тысяч жили — пороги бы прикрыли, пароходы бы пустили, театров бы понастроили, музыка бы по вечерам играла... Просторна земля и обильна — могло бы хватить счастья всем.

Доносился шум воды, надрывался телефон на стене. Дубинин встал.

При первой встрече он сказал Бушуеву, что со сплава участка скрыться трудно. А так ли трудно? Можно бежать не пешком — и не на весельной лодке — на моторке. Она всегда стоит под берегом, моторист Тихон никогда не снимает с нее мотора. Если вечером сесть, то за ночь вниз по течению все участки останутся за спиной. А впереди перевалочная база, там сотни рабочих, среди которых легко затеряться, там железнодорожная ветка, там шоссе... Будет потом посмеиваться, что обвел простаков вокруг пальца.

Молчаливый, загадочный, поднимался над рекой лесистый берег — величественная стена, отделяющая маленький поселок от остального мира. Река была черная, только на середине неистово трепыхался лунный свет, рвался вперед вместе с течением и не мог сорваться.

Дубинин снял с лодки мотор, положил на берег и долго стоял среди валунов, глядел на судорожно мечущийся на воде лунный след, слушал рычание порога, легкие всплески о борта лодок.

Что он может сделать? Вразумить? Найти слово? Где уж, не горазд на слова. Просто вытолкать в шею? Скинуть со своих плеч на чужие, а там хоть трава не расти — чем-то бушуевским попахивает...

Дубинин взвалил на плечи тяжелый мотор и, глядя на свою короткую тень, ползущую по камням, стал подниматься по берегу на теплившееся окно конторы.

Не доходя метров десяти, он заметил, как в освещенном окне мелькнула тень. «Кто там? В такое время?..»

Чуть сутулясь под тяжестью мотора, Дубинин осторожно приблизился.

Согнувшись над столом, рылся в бумагах Бушуев. На столе лежал топор.

«Что это он? Что нужно?.. — И вдруг осенило: — Паспорт! Я же его не отдал...»

Паспорт был не в столе, а в полевой сумке, что висела на стене возле телефона, прямо за спиной Бушуева. Он не замечал ее.

Наверно, Дубинин неосторожно переступил с ноги на ногу, Бушуев резко вскинул на окно глаза — лицо собранное, застывшее, глаза же затравленно бегают.

19

Они столкнулись в темных сенях.

— Саша? Ты? Я тут к тебе... — Ни страха, ни смущения в голосе.

Дубинин в темноте схватил за локоть, вытащил на крыльцо.

— Пошли.

— Куда?

Дубинин не ответил.

При свете луны просторный двор казался особенно пустынным. На полпути к общежитию темнела старая железная бочка. Окна общежития светились. И этот свет в окнах, несмотря на то, что время давно перевалило за полночь, и Бушуев, забравшийся в контору, и топор, не без умысла зажатый у него под мышкой,— все говорило: что-то случилось, пора действовать.

Не доходя до бочки, Бушуев остановился.

— Ты куда меня ведешь?

— Идем, не разговаривай.

— Да обожди... Хочешь, чтоб я деньги отдал?.. Так и скажи.— Голос Бушуева был миролюбив.

— Отдашь. Но прежде с ребятами потолкуем.

— Толковать-то легче, когда я деньги на стол выложу. Добрее будут...

— Вот и выложишь...

— Так я спрятал.— Бушуев, схваченный за локоть, глядел на Дубинина через плечо.

— Где?

— Не выгорело, что ж... Пойдем, покажу.

Дубинин помедлил и решился.

— Веди.

Бушуев потянул мастера от общежития к берегу, за столовую, к дамбе.

— Помнишь, Саша,— с прежним миролюбием говорил он,— ты меня спрашивал, хочу ли я домой. Я там семнадцать лет не был, с начала войны... Вот и запало: приехать бы туда, взять бы в жены бабу с домом. С деньгами-то любая примет. Жить, как все. Надоело по свету болтаться, надоело, когда вертухай за спиной стоит...

— Поработал бы честно и езжай себе. Добрым словом проводили бы.

— А еще, Саша, дорогой ты наш начальник, надоели мне ваши леса. Живу здесь, и словно не на свободе. Сырость, тучи, пороги — тьфу! У нас поля кругом, приволье, теплынь. Не хотел я твоих ребят шерстить, но сами, дураки, полезли. Как не пощупать? На берега эти тошно глядеть, на остолопов, которые живут в дыре...

— Ладно, умник, кончай разговор. Где деньги спрятал?

— Обожди. Что-то тороплив ты сегодня. У меня желания нет торопиться.

— Ну!

— Не нукай! — Бушуев вырвал локоть, стал напротив, в рубахе, выпущенной поверх брюк, в резиновых сплавщицких сапогах: снизу — громоздкий и неуклюжий, сверху — узкоплечий, с вытянутой шеей.

За ним, уходя в призрачную лунную ночь, возвышалась дамба, сложенная из крупных валунов, укрепленная столбами. Совсем рядом шумела Большая Голова, чувствовалось ее влажное дыхание.

Бушуев поудобнее перехватил топор.

— Тебе при людях потолковать хотелось, мне — вот так, в тесной компании. Благодать, никого кругом.— Бушуев насмешливо разглядывал мастера.

— Где деньги, сучий сын? — ~~шагнул~~ на него Дубинин.

— Осади, осади. Не увидят твои ребята денег.

— Ты топором не трясси, не испугаешь!

— Ой, начальник, не лезь. Давай лучше по-доброму сговоримся: ты мне скажешь, где мой паспорт лежит, и без крику отпустишь. А я, так и быть, не трону тебя.

— Брось топор! — Дубинин сжал кулаки.

Но Бушуев поднял топор, заговорил свистящим бешеным шепотом: — С кулаками на топор — смерти хочешь! Стукну и в реку сволоку, в ней места много... Паспорт давай, гад! В твоих бумагах нет, в кармане таскаешь. Давай паспорт, паскуда!

Дубинин отскочил, попытался нагнуться, чтобы поднять камень.

— Ах, та-ак, сука! — Бушуев пошел на него. — Перышко при себе носишь! Не страшно. Махни только перышком, я т-тебя накрою!

Дубинин совсем забыл про нож, висящий у пояса. Он выдернул финку... Но что с кулаками, что с ножом — одинаково трудно драться с человеком, у которого в руках топор. Держа в руке нож, Дубинин отступал к реке, боясь споткнуться о камень и полететь на землю.

Его сапог соскользнул с камня в воду — за спиной река, отступать некуда.

— Капец тебе! Гони паспорт, не то...

И Дубинин кинулся вперед. Он успел отклониться, прикрыть рукой голову. Должно быть, топор был тупой, лезвие, задирая рукав, скользнуло от запястья к локтю. Но рука после этого сразу упала, стала непослушной, деревянной.

А рядом — исказившееся, с оскалом шербатого рта лицо, широко открытые бешеные глаза. Топор снова взлетел вверх. Дубинин бросился прямо под топор, вплотную — так, в тесноте, топор неопасен, — попытался обхватить Бушуева, но разбитая рука не слушалась. Бушуев вывернулся, все еще держа над головой топор.

Не соображая, боясь только одного — что поднятый топор вот-вот опустится на голову, Дубинин ударил ножом в грудь сверху вниз — раз, другой, третий!

Топор с глухим звоном упал на камни, Бушуев вытянулся, задрал вверх подбородок и мягко, без шума, откинулся назад.

Ревела вода на пороге. Кроме ее шума, не слышно было ни звука. Огромные валуны, тяжело давя друг на друга, поднимались стеной. Раскинув руки, в просторной белой рубахе, лежал Бушуев, неуклюжие резиновые сапоги торчали вверх тупыми носами. Шумела вода...

Дубинин взглянул на нож, на блеснувшем при свете луны лезвии увидел черные пятна — кровь. Бросил нож. Заплетающимися ногами шагнул к Бушуеву, нагнулся и сначала отпрянул... Глаза Бушуева были открыты, а горло сжималось и распускалось, изо рта черной нитью текла кровь, вырывалось икающее дыхание. Снова нагнулся Дубинин, хотел приподнять голову, но рука на затылке попала во что-то липкое. Только со стороны казалось, что падение Бушуева было мягким и бесшумным, — он разбил о камни затылок. На рубашке с левой стороны груди расплзлось маслянистое темное пятно... Дубинин разогнулся.

Он шел к дому. Отвороты резиновых сапог задевали один за другой. Шумела вода, скрипел под сапогами песок, шуршали, отмечая шаг за шагом, резиновые отвороты, глядела сверху безучастная луна...

В конторе Дубинин снял с телефона трубку. Линия, еще недавно кипевшая разговорами, теперь была пугающе тиха. Левая рука не поднималась, пришлось жжать трубку плечом, чтобы крутить ручку телефона правой.

В районном отделении милиции дежурил какой-то старшина Осипов.

— Это с пятого сплава участка Дубинин говорит... Ду-би-нин! Я тут человека убил... Да, я... Нечего рассказывать, сами узнаете... Лодку к утру выслать? Вышлю...

Повесил трубку, сел на стул, бережно устроил на коленях большую руку...

На следующий день, часам к одиннадцати, моторист Тихон привез на лодке троих — следователя, врача и участкового милиционера.

Все население маленького поселка молчаливой толпой встретило приехавших, вместе с ними пошли к дамбе, где на прибрежных камнях лежало тело Бушуева.

Врачиха, немолодая женщина с увядшим и каким-то домашним лицом, разрежала от подола до ворота рубаху на теле Бушуева, бережно касаясь груди кончиками пальцев, осмотрела раны, приподняла голову, обследовала разбитый затылок. Следователь поднял нож и, хмурясь, его разглядывал, потом попросил участкового прихватить топор.

В конторе, расстегнув пальто, отбросив с волос на плечи платок, врача за столом Дубинина принялась заполнять свои бумаги. От ее трудолюбиво склоненной фигуры в стенах этой комнаты — наполовину учреждения, наполовину холостяцкого жилья — веяло покоем. Когда Дубинин глядел на нее, ему казалось, что все случившееся не так уж страшно.

Следователь был молод — большие хрящеватые уши поддерживают форменную фуражку, лицо под фуражкой круглое, щекастое, губы сердечком. С Дубининым он разговаривал очень вежливо и холодно.

— Вы знали о выигрышах убитого?

— Знал.

— И вы не догадывались, где убитый может хранить деньги?

— Если б догадывался, не пошел бы вместе с ним искать их.

Дубинин отвечал и ужасался своей догадке — подозревает, что он убил Бушуева из-за денег. Хотел рассердиться, прикрикнуть: «Как ты смеешь, сопляк!» А потом понял: ведь в его годы он, Александр Дубинин, был не богаче ни умом, ни совестью. Послали к преступнику. А раз Дубинин преступник, то следователь, еще садясь в лодку, уже подозревал и не верил. Ни криком, ни добрым словом такого не переубедишь, придется терпеть.

Дубинин покорно и коротко отвечал на каждый вопрос.

— Будем опрашивать других, будем искать деньги, — заявил следователь. — Если они не найдутся, я, к сожалению, вынужден буду арестовать вас. Прошу посидеть на крыльце и никуда не удаляться без разрешения.

Дубинин вышел.

Бушуева перенесли к конторе. Он лежал у крыльца, выставив в небо подбородок, окровавленная рубашка разрезана, раскрывает плоскую грудь: «Года идут, а счастья нет».

Разговор с Бушуевым. Деньги. И ранним утром крик — убийство! Это уже совсем оглушило Лешку. Вой, рви волосы, маму кричи... Непонятно! Тьма!

Всю ночь деньги лежали под подушкой. Ужасные деньги! Крикнуть бы: «Вот они, освободите, будь трижды прокляты!»

Вот они!.. А Егор Петухов набросится: «Я искал, ты лежал рядом, молчал!» А какое у Егора было тогда чужое и страшное лицо... Что Егор — все набросится: с вором снюхался, за деньги товарищей продал!

А Саша?.. Убийца! Даже вслух произнести это слово не осмелишься, даже подумаешь — кровь стынет. Каково сейчас ему? И все он, Лешка... Он вытащил из порогов этого Бушуева (знал бы тогда!), он не решился бежать вчера к Саше и рассказать все... А теперь деньги... Если Саша узнает о них...

Отвернется Саша, отвернутся все, выгонят с участка, в деревне станет известно: «Лешка Малинкин — вор!» Куда там угрозы Бушуева. Страшно, непонятно. Как быть?

Заправляя койку, Лешка незаметно достал из-под подушки деньги. Они были завязаны в грязный носовой платок. Лешка сначала втиснул узелок в карман брюк, карман оттопырился, стало еще страшней — теперь-то уж каждый увидит. В дощатом нужнике Лешка развязал узелок, разделил деньги на две пачки и засунул их поглубже за резиновые голенища сапог — по пачке за каждое голенище.

Он вместе со всеми встречал следователя, вместе со всеми ходил на место убийства, толкался у крыльца конторы и ни на одну секунду не переставал думать — как быть? Спрятать где-нибудь в камнях, потом сделать вид, что нашел их случайно? Или того лучше — подстроить, чтоб кто-то другой нашел, например Егор Петухов? Но при одной мысли, что ему придется воровски прятать деньги, начинался озноб. Бросить бы их в реку, забыть, не знать!

Сплавщики собрались в общезнанию, и тут впервые были произнесены слова — Сашу Дубинина подозревают! И Лешка обмер. Он сидел, прятал лицо, старался не глядеть на сапоги, где были спрятаны деньги. Как-то не думал раньше, что Сашу могут обвинить. Без того казнит себя, а тут еще подозрение — убил из-за денег! Да что же это? Надо рассказать все, начисто, деньги выложить, спасти Сашу от оговоров!..

Пришел участковый милиционер, попросил никуда пока не расходиться, вызвал к следователю первого — Генку Шамаева.

«В судах сидят люди справедливые, должны понять... Попрошу никому не рассказывать. Нашлись деньги — и все тут. Никто не виноват, кроме Бушуева, кому какое дело, где нашлись...»

Его вызвали сразу же после Егора Петухова, и это испугало. Егор не доверяет, может всякого наговорить следователю. Тот сразу станет подозревать, а тут еще деньги увидит... Попробуй тогда оправдаться.

«Все равно расскажу, все равно...» — твердил Лешка, осторожно нереступая сапогами, начиненными бушуевскими тысячами.

Неподалеку от крыльца лежало тело Бушуева в окровавленной рубашке. На крыльце же сидел Дубинин; рядом с ним, прислонившись к столбу, стоял милиционер.

Дубинин сидел прямо, глядел в сторону, на шумящую воду Большой Головы, бережно придерживал на коленях большую руку. И Лешке он в эту минуту показался маленьким, одиноким. Саша Дубинин уже перестал быть хозяином, он сейчас такой же беспомощный, как и сам Лешка.

А хозяин участка — незнакомый человек: фуражка с лакированным козырьком, на груди светлые пуговицы, из-под лакированного козырька спокойно и холодно смотрят глаза. Он встретил пугающими словами, что надо говорить только правду, иначе «будете привлечены к ответственности», «статья...», «уголовный кодекс...». Что это за статья, что такое кодекс — Лешка не знал, но представлял — должно быть, страшные вещи. А ему хотелось, чтоб поняли, пожалели, простили...

Глядят пристально глаза из-под лакированного козырька фуражки. Нет, не поверит, нет, скажет — был заодно с Бушуевым! А Саша?.. Вдруг да он тоже не поверит? Как доказать? Как открыть правду? Правду знал один лишь Бушуев. И Лешка впервые пожалел, что Бушуев мертв, что уже никто — даже этот человек с блестящими пуговицами, — никто, никто не заставит говорить, не вырвет из него правду.

Не поверит следователь... Не поверит Саша Дубинин... Не поверят ребята... На вопрос, не может ли он сказать, куда девал покойный Бушуев выигранные деньги, Лешка ответил:

— Не знаю.

Он снова прошел мимо Дубинина, мимо милиционера, мимо задравшего в небо подбородок Бушуева, прошел, не поднимая головы. Так же осторожно ступая, каждую секунду напряженно помня о деньгах, лежащих за голенищами сапог, направился не к общежитию, а к берегу реки. Шел и боялся оглянуться, ждал окрика: «Эй ты! Куда?!» Но никто его не окликнул...

22

Один за другим проходят мимо товарищи — те, с кем жил рядом, те, для кого жил. Кинут жалобный, растерянный взгляд и поспешно опускают глаза. Один за другим — в контору и из конторы...

А за спиной — молчаливый милиционер, на земле — человек, которого он убил своими руками.

Не виноват! Нельзя было поступить иначе! Чиста совесть! И когда глядел в сторону на ныряющие по Большой Голове бревна, на вздыбленный лесистый берег, на низкие покойные облака, верил — не виноват. Но глаза сами опускались к земле: восковая грудь, запрокинутая голова, окровавленные лохмотья рубашки, окостеневшая желтая рука на прижатой траве...

Да, защищался, шел с ножом против топора, да, если б не убил, то сам валялся бы возле крыльца... Все так, но запрокинутая голова, бурые пятна крови на рубашке, судорожно сведенная кисть руки — нет прощения тому, кто приносит смерть.

Кипит Большая Голова, кидает бревна, сумрачные ели и сосны лезут по крутому берегу к небу, а небо низкое, покойное, обещающее короткий дождь. Бушуев никогда не увидит этого. Удар ножа — и мир исчез.

Удар ножа... Древняя, как сама жизнь, история — человек не поладил с человеком. И сто, и двести, и много тысяч лет назад такие вот Бушуевы подымали нож и топор на других, заставляли и на них подымать нож. Неужели это проклятие вечно, неужели от него нельзя избавиться?

Сутулятся на крыльце Александр Дубинин, глядит на лесистые берега, на реку, на небо. Все знакомо, каждый день видел эту реку и эти берега. Усеянная камнем, скудная земля, но из нее, из каждой щели прет жизнь. На притоптанной, жесткой, как железо, тропинке, нагло разбросал листья подорожник — вот как мы: живем, не тужим! А совсем рядом — бескровная, окостенело сведенная рука...

Сидит Дубинин с окаменелым лицом. Проходят мимо него товарищи, опускают глаза.

23

Моторист Тихон, обычно перед каждой поездкой проклиная свою судьбу, сейчас был бестолково суетлив и лишь подавленно вздыхал:

— Ах, боже мой...

Мотор долго не заводился.

— Ах, боже мой, боже мой...

Наконец мотор застучал. Следователь, врачаха, Дубинин, милиционер полезли в лодку.

Сплавщики молчаливой толпой теснились на берегу. Дубинин кивнул им головой:

— Ничего, ребята. Уладится.

— Саша, — выступил вперед Генка Шамаев, — сказать хочу... Обожди, Тихон, не отчаливай... Мы землю пробьем, а докажем, что ты не виновен.

— Уладится.

— А то, что попрекал тогда... Помнишь, за Катю-то?.. Напрасно... Утрясется эта заваруха — на свадьбе погуляем.

— Ну, ну, прости, коли так.

Оставляя над водой голубоватый дымок, лодка вырулила на середину реки, вот она заплясала на Большой Голове, то оседая на бурунах, то задирая вверх нос, прошла Малую, скрылась... Никто не обронил ни слова.

Молча, каждый глядя себе под ноги, потянулись в общежитие, молча разбрелись по своим койкам.

Не было только одного Егора. Он бродил по берегу в вечерних сумерках, отворачивал камни, заглядывал под кусты — все еще надеялся найти деньги.

Первым подал голос Генка:

— Проиграли в карты человека! И какого человека — Сашку!

— Ладно, не трави, без того тошно.

— Давайте, братцы, думать лучше, как бы выручить побыстрей.

— Деньги чертовы! Ежели б деньги нашлись, сразу б с него вину сняли.

— А может, соберем эти деньги, скажем — вот они, нашлись.

— Верно! Те-то были не меченые.

— Хитрость невелика — раскусят. Того хуже дело запутаем.

— Бросьте мудрить! Не с душой же Бушуева деньги улетели. Здесь! Камень по камню весь участок перекидаем, по бревнышку, по щепочке общежитие переберем — найдем!

И тут раздались сдавленные рыдания. Все подняли головы. Уткнувшись в подушку, плакал Лешка Малинкин.

Шумела Большая Голова за стеной. Откровенно, без стеснения, рыдал Лешка. Все молчали, переглядывались. Только Иван Ступнин растерянно протянул:

— Пери-пе-тия...



ЯРОСЛАВ СМЕЛЯКОВ

★

НОВЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

ПОСТРИЖЕНЬЕ

Я издали начинаю
рассказ безыскусный свой...
Шла первая мировая,
царил Николай Второй.

Империя воевала —
поэтому для тылов
ей собственных не хватало
рабочих и мужиков.

Тогда-то она, желая
поправить свои дела,
беднейших сынов Китая
для помощи призвала.

Велела, чтоб не тужили,
а споро, без суеты,
осину и ель валили,
разделявали хлысты,

не охали, не вздыхали,
не лезли митинговать,
а с голоду помогали
империи воевать.

За это она помалу —
раз нанялся, получи! —
деньжонки им выдавала,
подбрасывала харчи.

Но в скорости по России,
от Питера до села,
событья пошли такие,
такие
пошли
дела!

...Сидят сыновья Китая,
обтрепаны и худы,
а им не везут ни чая,
ни керенок, ни еды.

Судили они, рядили,
держали они совет,
барак свой лесной закрыли
и вышли на белый свет.

Податься куда не зная,
российскою стороною
идут сыновья Китая
с косицами за спиной.

Шагают, сутуля плечи,
по-бедному, налегке,
и что-то свое щебечут
на собственном языке.

В прожженных идут фуфайках,
без шарфов и рукавиц —
как будто чужая стайка
отбившихся малых птиц.

Навстречу им рысью быстрой,
с востока, издалека,
спешили кавалеристы
Октябрьского полка.

Рысили они навстречу,
вселяя любовь и страх,
и пламя недавней сечи
светилось на их клинках.

Глядели они сердито,
всем контрикам на беду.
А кони бойцов убитых
у каждого в поводу.

Так встретились вы впервые,
как будто бы невзначай,
ты,
 ленинская Россия:
и ты,
 трудоу Китай.

И начали без утайки,
не около, а в упор,
по-русски и по-китайски
внушительный разговор.

Беседа идет по кругу,
как чарка вина по ртам:
недолго узнать друг друга
солдатам и батракам.

Не слишком-то было сложно
в то время растолковать,
что в Армии Красной можно
всем нациям воевать.

Но все-таки говорится,
намеки ведут к тому,
что вроде бы вот косицы
для конников ни к чему

Решают единогласно
китайцы по простоте,
что, ладно, они согласны
отрезать косицы те.

Тут конник голубоглазый
вразвалку к седлу идет
и ножницы из припаса
огромные достает.

Такая была в них сила,
таилась такая прыть,
что можно бы ими было
всю землю перекроить.

Под говор разноголосый
он действует наяву,
и падают
 мягко
 косы
на стоптанную траву.

Так, с ~~общего~~ соглашения,
лет сорок тому назад
свершилось то пострижение,
торжественный тот обряд.

И, радуясь, словно дети,
прекрасной судьбе своей,
смеются китайцы эти
и глядят уже коней.

ВЕТКА ХЛОПКА

Скажу открыто, а не в скобках,
что я от солнца на мороз
не что-нибудь, а ветку хлопка
из путешествия привез.

Она пришлась мне очень кстати,
я в самом деле счастлив был,
когда узбекский председатель
ее мне в поле подарил.

Все по-иному осветилось,
стал как-то праздничнее дом
лишь оттого, что поместилась
та ветка солнца над столом.

Не из кокетства, не из позы
я заявляю, не тая:
она мне лучше влажной розы,
нужнее пенья соловья.

Не то чтоб в этот век железный,
топча прелестные цветы,
не принимал я бесполезной,
щемящей душу красоты.

Но мне дороже ветка хлопка
не только пользою простой,
а и своею неторопкой,
своей рабочей красотой.

Пускай она зимой и летом,
попав из Азии сюда,
все наполняет мягким светом,
дыханьем мира и труда.

СОБАКА

Объезжая восточный край,
и высоты его и дали,
сквозь жару и пылицу — в рай
неожиданно мы попали.

Здесь, храня красоту свою
за надежной стеной дувала,
все цвело, как цветет в раю,
все по-райски благоухало.

Шелковица. Айва. Платан.
И на фоне листвы и глины
синеокий скакал джейран,
распускали хвосты павлины.

Мы, попав в этот малый рай
на разбитом автомобиле,
ели дыни, и пили чай,
и джейрана из рук кормили.

Он, умея просить без слов,
ноги мило сгибал в коленках.
Гладил спину его Светлов,
и снимался с ним Евтушенко.

С ними будучи наравне,
я успел увидеть, однако,
что от пиршества в стороне
одинокое лежит собака.

К нам не ластится, не визжит,
плотью, видимо, понимая,
что ее шелудивый вид
оскорбляет красоты рая.

Хватит жаться тебе к стене —
потянись широко и горло,
подойди, не боясь, ко мне,
положи на колено морду.

Ты мне дорог почти до слез,
я таких, как ты, обожаю,
верный, храбрый дворовый пес,
ты, собака сторожевая.



НАТАЛЬЯ ДАВЫДОВА

★

ЛЮБОВЬ ИНЖЕНЕРА ИЗОТОВА

*Роман **

Глава двадцать первая

Единственное, чего хотел Алексей,— больше никогда не видеть Тасю. Ее он должен был забыть, как будто ее не существовало. Алексей спрашивал себя, почему так получилось. Без конца перечитывал письмо Таси. Письмо было решительное, как она сама. Беспощадные короткие строчки: «...Прости, если можешь. Я себя не прощаю. Так получилось. Я виновата перед тобою глубоко. Хочу, чтобы ты узнал правду от меня, а не от других. Мне очень тяжело. Меньше всего на свете я хотела тебе причинить зло...»

«Меньше всего на свете я хотела тебе причинить зло...» — читал Алексей, и лицо Таси с нелгущими глазами вставало перед ним. Что было гадать — он любил, она не любила. Но все-таки она приехала к нему...

Алексей все вспоминал: Тася у него на том, далеком заводе, две-три короткие встречи, которые, казалось, ничего не значили для нее и очень много для него. Потом она встретила его в Москве, пришла на вокзал, неожиданно и решительно, как все, что она делала. Прощаясь с ним на заводе, она шутя сказала: «А я приду вас встречать в Москве». Он ей не поверил, а она пришла. Потом счастливая неделя в Москве, всего только неделя, сосновый лесок, Арбат. Она пришла к Алексею в дом и сразу показалась своей, родной, даже «скандалисты» полюбили ее. Тогда, в Москве, Алексею не понравились ее друзья, но он не придал этому значения. Она не познакомила его с отцом, и этому Алексей нашел объяснение. Она была все время немного напряженной, она тогда еще не решилась ни на что, не сказала, что любит. И этому Алексей находил объяснение. А объяснение было одно — она его не любила.

Алексей думал о том, что он способен застрелить Терехова, рука бы не дрогнула. Убить, уничтожить. Было невыносимо думать, что где-то ходит, смеется, радуется жизни этот страшноватый грузный человек с опухшим темным лицом. И Тася с ним, в какой роли, на каком положении! Алексей так верил ее чистоте, так гордился ее гордостью. Чем скорее он ее забудет, тем лучше. Но он не забудет. Он не забывал ни на мгновение, все время перебирал в памяти события, которые еще недавно казались значительными и большими. Теперь они были не нужны, мешали жить. Воспоминания делали жизнь непереносимой и нереальной, потому что все это была ложь, все ненастоящее. Но уберечься, спрятаться от воспоминаний было невозможно. Алексей отчетливо видел Тасю

* Окончание. Начало см. «Новый мир» №№ 1, 2 с. г.

входящей к нему в дом. Тетя Надя приглашает ее войти, и она идет, нахмуренная, независимая, отчаянная, замирающая от смущения. Такой он видел ее тогда, такой она оставалась и сейчас. Как будто любимая женщина умерла без него, а он помнил ее живой и прекрасной. И не мог представить себе ее мертвой. Еще воспоминание: как Тася пела «скандалистам». Когда Алексей вошел, она перевела дыхание, улыбнулась ему и продолжала петь. Какое милое лицо было у нее тогда! Все рухнуло от ничтожного ветра.

А он верил, что нашел Тасю на всю жизнь. Кто виноват? В чем его вина? Где ошибка?..

Надо было возвращаться из Сталинграда на завод. Ехать надо было немедленно. Теперь действовали железные, неумолимые сроки. Обстоятельства, созданные им самим, уже были сильнее его, и приходилось им подчиняться. Он не мог отказаться от начатого дела, капитулировать. Он должен был вернуться в город, где потерял Тасю. Всего только раз Алексей прошел с нею по улицам этого города, но там она встречалась с «тем», и Алексею предстоит с ним встречаться. А это было невозможно, этого Алексей был не в состоянии себе представить. «Я могу его убить»,— думал Алексей.

При мысли о возвращении на завод он испытывал стыд перед людьми, которые видели, как он ждал и встречал Тасю. И все-таки он должен был вернуться туда и там жить, работать и довести реконструкцию до конца. И должен был улыбаться, и шутить, и разговаривать с людьми. Причем как можно больше. «Что меня переехал трамвай, этого никто не увидит»,— говорил себе Алексей. Домой в Москву он посылал бодрые открытки, веселые, шуточные письма. «Никто ничего не должен знать. О Тасе я больше не думаю. Ее не существует».

Город стоял как ни в чем не бывало, ничего не таил в себе. В городе были все те же пахнувшие штукатуркой дома, сквер с полотняными портретами передовиков производства.

В гостинице Клавдия Ивановна вылупила на Алексея свои печальные глаза, заговорила громко и приветливо:

— А мы уже заждались. Что, думаю, не едет и не едет?..

Алексей подумал, что ничем не заслужил этой простодушной радости. Напрасно он был насторожен заранее, нервничал, ожидая понимающих взглядов, сочувствия, любопытства. Ничего не было, все было просто, спокойно, обыкновенно. Может быть, только Казаков был шумнее и оживленнее обычного, а может быть, и это казалось Алексею. О Тасе не было сказано ни слова.

Опять Алексей стал ездить «замовским» автобусом на завод. Так же по утрам автобус вел кто-нибудь из инженеров, шофер дремал и, просыпаясь, острил: «Ой, падаем!»

Лидия Сергеевна, как и прежде, давала Алексею пояснения.

— Вон баженовская «Победа»,— говорила она, глядя в окно,— всегда битком набита. Он всех подвозит, останавливается, если видит знакомого человека. А иногда и совсем свою машину отдаст, а сам с нами едет.— Поколебавшись, негромко добавила:— Не то что некоторые.

И как бы в подтверждение ее слов, красуясь, проехала серая директорская машина с голубыми занавесками, слегка покачиваясь на ходу.

Этого было достаточно, чтобы в автобусе засмеялись. Вообще это был веселый автобус, здесь не уставали шутить и переругиваться каждое утро и каждый вечер.

У Алексея забилось сердце, стало трудно дышать. Сейчас мимо проехал «тот»... Алексей наклонил голову, занялся своими часами. Он успел

увидеть сочувственный и понимающий взгляд Казакова и растерянное лицо Лидии Сергеевны.

— Как бы нашего директора не забрали от нас. Такой сильный товарищ, — почтительно, как будто «сильный товарищ» мог его слышать, произнес главный механик.

— А что, есть такие слухи? — спросил «академик», блестя своими всегда оживленными глазами.

«У меня есть мое дело, и я должен о нем думать, — говорил себе Алексей. — Тася, Тася, как она могла...»

— Ну-с, что с тем бензином? — спросил Казакова главный технолог, седой человек в пенсне.

«Тот бензин» — это была партия высококачественного бензина, которую железная дорога неожиданно отказалась перевозить. Как это случается, что-то где-то не учли, не договорились, не согласовали, и на заводе волновались, потому что ошибка грозила грандиозным невыполнением плана. Отношения с капризной и своенравной железной дорогой, иными словами, вывоз готовой продукции был большим местом.

— Железная дорога посмотрела в свой талмуд и не пропустила бензин. А над железной дорогой только один бог, — сказал Казаков.

— Н-да, маршрут был согласован. Такая неожиданность! — ответил главный технолог. Он был всегда серьезен, озабочен и немного всеми недоволен.

— Куда идти, кому жаловаться? — сказал Казаков.

Главный технолог не имел обыкновения поддерживать шуточный тон, говоря о серьезных вещах.

— Вопрос вывоза готовой продукции слишком существен для нас, Петр Петрович, — сказал он своим тихим, бесстрастным голосом, — нам этот бензин слишком дорого стоил...

— Да, уж влетел в копеечку, — согласился Казаков.

— Не хочется, чтобы завод страдал из-за чужого головотяпства, — продолжал главный технолог.

Казаков, которому также не хотелось, чтобы завод страдал из-за чужого головотяпства, назвал про себя главного технолога «занудой», но ответил миролюбиво:

— Сегодня будем пробивать это дело.

Казаков уважал главного технолога и мирился с тем, что старик был занудой и сухарем. Чтобы увидеть старика улыбающимся, надо было посмотреть на него в окружении семьи: Казаков жил с главным технологом в одном подъезде и наблюдал по воскресеньям идиллические сцены, которые называл «Дедушка и внуки».

Казаков спросил у главного технолога, как поживают его очаровательные внучата, два мальчика семи и восьми лет, форменные хулиганы. Старик ласково улыбнулся. Автобус остановился у заводоуправления.

«Я должен взять себя в руки». Алексей вышел из автобуса, потопал ногами и вздохнул. Лидия Сергеевна посмотрела на него. «Возьму и женой на ней, — подумал Алексей. — Хорошая женщина».

Если бы он сейчас взял и женился, он бы отомстил. Но кому?

Глава двадцать вторая

До остановки на ремонт, то есть до начала реконструкции, оставалось двадцать дней. Оборудование из Сталинграда должно было уже прибыть. Его не было.

Алексей телеграфировал в Сталинград. Оттуда отвечали: «Отгружено тогда-то». И сообщали номера накладных.

Алексей звонил на железную дорогу. Там отвечали: «Не прибыло». Обещали выяснить.

Пока что Алексей занимался подготовкой к реконструкции. Он оставался на заводе допоздна. В сумерках, в сиреновом освещении, в особенной тишине лучше чувствуешь, как работают аппараты.

Не только Алексей оставался вечерами в цехе. Часто бывал на крекинге молодой механик, краснощекий Митя. Митя принадлежал к службе главного механика, но к реконструкции каталитического крекинга относился горячо и сочувственно. Кресс постоянно был на установке. Этот человек вообще чуть ли не жил на заводе.

Был на установке один старший оператор, рабочий Малинин, который принимал самое деятельное участие в реконструкции. Он тоже охотно оставался вечерами с Алексеем. У Малинина, правда, была ревнивая жена, она не слишком сочувствовала реконструкции, но это никого не смущало. Когда она звонила, Малинин передавал Алексею трубку и просил:

— Алексей Кондратьевич, скажите ей что-нибудь.

Алексей выполнял эту странную просьбу, как мог, шутил с ревнивой Калисфенией, сокращенно Калей, рассказывал, что сейчас ее муж делает на установке, и Каля, присмирив, говорила:

— Ну ладно, всегда вы меня заговорите, я и забуду, зачем звонила.

А розовощекий Митя говорил Малинину:

— В принципе, дорогой товарищ, ты глубоко неправ. Ты из нее психопатку воспитываешь. Разве можно строить семью на взаимном недоверии?

— А у нас не взаимное, у нас только одна сторона на недоверии, а другая на полном доверии,— улыбался рослый Малинин, голубоглазый, с пшеничными кудрями, с леноватой такой усмешечкой. Неторопливый, выдержанный человек и физически невероятно сильный. Про него говорили «смекалистый». Это было неправильное определение. Но так как на заводе скупко хвалят, такими словами, как «одаренный», «талантливый», не кидаются, то и ходил Малинин «смекалистым». Он непрерывно искал и пробовал новое. Пока это были незначительные изменения, которые Малинин предлагал на своей установке. На большее он пока не замахивался, не хватало знаний. Установку свою Малинин, как говорится, чувствовал и знал насквозь. В ночные вахты, когда начальство спит, он слегка менял режим, смотрел, что получается. Удержаться от этого он не мог. Когда Малинину предстояла ночная вахта, Рыжов заранее бесновался: завод не лаборатория, каталитический крекинг не экспериментальная установка.

— Ты рабочий или кто? — спрашивал Рыжов. — Может быть, ты член-корреспондент Академии наук?

Малинин усмехался и обещал вести себя аккуратно.

— Рабочий, рабочий я, ничего я не трону, пускай себе спокойненько гудит.

— Что это ты называешь «гудит»?

— Да так, все,— неопределенно отвечал Малинин, не в силах дождаться, когда он останется один и сможет подрегулировать по-своему и посмотреть, что из этого получается.

Рыжов чертыхался и уходил, а Малинин молчал и оставался. И может быть, Рыжов бы волновался больше, если бы не мощная, спокойная фигура Малинина, произвольно внушавшая всем доверие. Кроме того, Рыжов понимал, что Малинин знает свою установку. Было странно предположить, что этого кудрявого, рыжеватого, широкоплечего человека сейчас лихорадит, так ему хочется проверить одно свое предположение, даже не одно, а несколько. Всегда не одно, а несколько. Его дони-

мали собственные технические соображения, связанные с каталитическим крекингом. «Тьфу, наваждение», — говорила со вздохом Каля, его мучительница жена, видя, что Малинин задумался и молчит.

Для Малинина все изменилось с приездом Алексея. Раньше его предложения вели к отдельным улучшениям, теперь реконструкция, предложенная Алексеем, покрывала частные усовершенствования. Вбирала их в себя.

Малинин старался встречаться с Алексеем вечерами. Приезжий инженер охотно отвечал на его вопросы. Вначале Малинин удивлялся тому, что Алексей внимательно слушает его, — ну, пускай он старший оператор, ну, пускай он иногда говорит дельные вещи. А потом понял: рабочему и инженеру, им было одинаково интересно и одинаково необходимо изменять и пробовать, а когда Малинин дежурил, ему было не лень по десятку раз бегать на этажерки. Потому что изменять и пробовать — это значит бегать. Далеко бегать, высоко подниматься, там открыть, там закрыть, там прикрутить, там просто посмотреть. Другие операторы делали это с неохотой — зачем создавать себе лишнюю работу, лишнее беспокойство. А Малинин с радостью: для него это было самое интересное в жизни. Ради этого он жил, ради этого пошел учиться, решил стать инженером.

Надо было скорее учиться, а он был только на первом курсе института, на заочном отделении. Учиться было нетрудно, но медленно, страшно медленно отчего-то все подвигалось. И было жаль Калю, которая не видела жизни.

А двадцатипятилетний Митя, юный мудрец с черными усиками, поучал:

— Ты свою Калисфению страшно распустил. Почему ты такую ревность и подозрительность разрешаешь? Даже не знаю, как ты ее теперь призовешь к порядку. А не призовешь, она тебя погубит. С таким характером она тебе расти не даст. Денег она с тебя сильно требует, ты скажи? На наряды.

— Брось ты, Митя, Калю обижать. Человек как человек. Что ты на нее взъелся? — отвечал Малинин.

— Я не зря взъелся, у меня могучая интуиция. Ревность — страшная штука, большой тормоз в личной и общественной жизни, — без тени юмора объявил Митя.

— А ты-то откуда знаешь? — усмехнулся Малинин.

— Говорю, интуиция, — рассмеялся Митя, и все рассмеялись, глядя на Митю с его могучей интуицией.

— Ну, друзья, полезем к регенератору, посмотрим, что там сегодня делается, — предложил Алексей.

— Полезем, — ответил Митя, и все трое, надев ватники, шли в пыль, к раскаленному железу, к самому нутру каталитического крекинга.

С Митей и Малининым Алексеем было легко, они были хорошие люди, прекрасные парни. И они ничего не знали о Тасе.

— А с «пауком» решено твердо? — спросил Алексея Малинин, стыдясь своей настойчивости. Он задавал этот вопрос не первый раз.

Дело в том, что Малининым давно владела заманчивая техническая идея — регулировать объем катализатора в реакторе на ходу, не останавливая установку. Существующее устройство в реакторе — распределитель — неподвижное. Малинин предлагал сделать вместо него подвижной «паук». Дело это было тяжелое. Главный механик возражал. Но Алексей в предстоящую реконструкцию собирался установить подвижной «паук» Малинина.

— Решено твердо, — ответил Алексей.

— А когда вы к нам придете? — спросил Малинин. — Вы не забыли, что вы обещали? Моя мама ждет вас.

— Как позовешь.

— Значит, насчет «паука» это твердо? — опять переспросил Малинин, чувствуя, что краснеет, и ненавидя самого себя. — Вы меня, конечно, извините.

— Слушай, перестань меня пытаться, ты все равно поверишь только тогда, когда твой «паук» будет поставлен и начнет работать. Так что отстань.

— Верно, — засмеялся Малинин, — извиняюсь.

Оборудование из Сталинграда прибыло. И вскоре одна из трех установок каталитического крекинга встала на ремонт. Началось горячее время — реконструкция.

Пока шла обычная жизнь, Алексей существовал на заводе, в цехе все-таки гостем, теперь он стал центральной фигурой. Он вел реконструкцию, он решал, он принимал всю ответственность на себя. И невольно сразу этому подчинились все, даже строптивый Рыжов.

Было много трудностей, настоящих и мнимых, неувязок, неполадок, из-за которых приходилось трепать нервы и тратить время.

Из Сталинграда прибыли коробка, но без закладных устройств — может быть, они потерялись, лежали где-нибудь между сотнями ящиков на деловом дворе.

Слесарь, который монтировал коробка, предложил приваривать. Это было надежно, но конструкция становилась неразъемной. Тогда Митя-механик предложил закручивать металлический прут. Митя горячился, бегал с этим прутком, лазил в регенератор, объяснял и показывал Алексею, хотя объяснять особенно было нечего — Алексей согласился. Сделали по-митиному.

— Мы не работаем, а выходим из положения, — ворчал Рыжов.

Уже в разгар работ Алексею понравилась в журнале одна картинка — новая конструкция ввода сырья, новый принцип, отлично придуманный. Алексей только кое-что изменил в чертеже и показал новый ввод своим товарищам.

Митя сразу разобрался, понял и одобрил. Малинин смотрел, долго думал, потом сказал: «Плохо не будет». Баженов посмотрел, ему понравилось. Казакову тоже. Только начальник цеха Рыжов противился бешено. Заладил: «Я против, против, возражаю, запрещаю, у меня чувство». Но руководил реконструкцией Алексей, и ввод сырья сделали по-новому. «У меня чувство», — продолжал Рыжов жаловаться Крессу, но Алексей считал, что ввод хорош.

«Паук» Малинина тоже с божьей помощью сделали и установили. Выполнили основные предложения Алексея. Дело тяжело и медленно подвигалось к концу, вернее первый — и главный — его этап.

И вот установку начали выводить на режим. Все имевшие отношение к реконструкции были в цехе, ждали, подходили к щиту с контрольно-измерительными приборами. Выводить установку на режим всегда трудно, тревожно, а в данном случае было особенно тревожно.

Пришел Баженов, подтянутый, доброжелательный, всем пожал руки, справился, как дела. Пока все шло нормально.

«Слишком хорошо, чтобы быть правдой», — подумал Алексей. Он не доверял этому благополучию. Он опять проверил давление в колонне, в реакторе. Все нормально, все нормально.

Внезапно порвалась сварка на трансферной линии. Загорелось. «Так, — с тревогой подумал Алексей, бегом направляясь к месту аварии. — Первая аварийная остановка. Сколько их будет?»

Их было еще много, гораздо больше, чем можно было предположить. Пять-шесть остановок, одна вслед за другой, на протяжении десяти дней.

Катализатор, эти драгоценные беленькие шарики, то шел, то не шел в реактор. «Шуршит»,— говорили в цехе. «Шуршит»,— докладывал Казаков на утренних совещаниях у директора. «Шуршит»,— сообщал ежедневно Алексей Баженову.

Вдруг начался бешеный вынос катализатора. Все вокруг было засыпано белой крупой, катализатор сыпался на головы, на землю вокруг этажерки крекинга. И всему виной был неправильный ввод сырья, та самая картинка, пленившая воображение Алексея. Надо было срочно переделывать по-старому. Рыжов, который говорил: «у меня чувство», оказался прав. У старого нефтяника-сгонщика действительно было шестое чувство, нефтяное. Рыжов бесился, ругал Кресса и Алексея, проклинал реконструкцию. Ввод переделали.

А драгоценный катализатор, тонна которого дороже тонны сахару, продолжал лить дождем на головы авторов реконструкции и засыпать территорию цеха. Это всем видимое расточительство происходило на заводе, где борьба с потерями нефтепродуктов была одной из главных забот. Митя возглавлял рейдовую комсомольскую бригаду. Комсомольцы ходили и тщательно проверяли каждый насос. Тот же Митя круглыми глазами молча смотрел на снежные сугробики катализатора и не знал, что делать.

Установку пускали и останавливали. Еще одна остановка каталитического крекинга произошла из-за того, что перегорел мотор у сырьевого насоса. Это была очередная досадная случайность. Ведь мотор мог перегореть и в другое время, но он перегорел именно сейчас.

Когда установку наконец пустили и она стала работать, выяснилось, что ничего не изменилось.

Брала установка то же самое количество сырья, что и раньше, то есть позорно мало. Давала бензина столько же. Катализатор расходовался бешено.

В цехе говорили о том, что вообще не надо было затевать реконструкцию.

Алексей ломал голову, искал просчеты. Он был уверен, что упали коробка из-за ненадежных Митиных креплений. Но, для того чтобы проверить это предположение, нужно было опять остановить установку, а Рыжов категорически воспротивился.

— На этот раз,— сказал Рыжов,— моей властью мы будем продолжать работать. Довольно мы шли на то, что не получали денег. Сели на зарплате, сели на плане. Теперь попробуем план выполнять как есть. А когда остановимся в нормальном порядке,— проверим Митины крепления, а заодно и все остальное.

Рыжов больше не говорил: «ох, реконструкция»,— он страдал из-за этой реконструкции по-настоящему.

Алексей был расстроен, но он видел пути исправления ошибок. И опять оставался на заводе допоздна. И опять вместе с ним оставались Малинин, механик Митя, появлялся Кресс, неизвестно откуда, словно и не уходил совсем. Приходил Казаков.

Однажды вечером участники реконструкции собрались в операторной.

Операторная была знакома, как бывает знакома собственная комната. Ящик с аварийным спиртом, бинтами, ватой. Косо приклеенный на стене плакат: «Отбирай пробу только в рукавицах». Кошка в углу выпила молока, прыгнула на круглый металлический стул, на место дежурного, зевнула, разлеглась.

— Кошки могут спать...— сказал Митя.— А я сон потерял.

— Не ворчи, Митя,— засмеялся Алексей.

— Кошке позавидовал,— сказал Малинин.

— Позавидуешь тут...— пробормотал Митя.

Но в его ворчании настолько отсутствовало ворчание, что Алексей опять улыбнулся.

Приборы, круглые, поблескивающие стеклянными поверхностями, по-прежнему не показывали ничего отрадного. «Все-таки торопились с реконструкцией, торопились пустить установку, все сроки, сроки, железные сроки, вот и расхлебываем теперь,— думал Алексей в который раз.— Ломаем головы...»

Алексей оглянулся на товарищей. Это были верные товарищи, но и они приуныли. Сидели с незажженными папиросами и смотрели на кошку.

Алексей сказал:

— Сегодня утром видел такие стихи на щите у дороги. Про кукурузу. «Тем хороша она, что на все она годна — и для супа, и для каш, и особо на фураж».

Малинин сказал:

— Люблю кукурузу с маслом. С удовольствием бы сейчас поел.

Митя сказал:

— Неужели мои крепления подвели? Уму непостижимо.

— Что-то мне вас жалко стало. Сидите тут одни ночью, я решил к вам поехать, посидеть с вами,— неожиданно раздался в операторной мягкий, веселый голос Баженова. Все удивились, обрадовались.

Решили пойти в кабинет к начальнику цеха, там покурить и поговорить.

Было что-то необычное в том, что они собрались ночью в пустом кабинете Рыжова, в том, что приехал Баженов. Митя сказал: «Сейчас бы чего-нибудь пожевать», и все с ним согласилось. Малинин принес откуда-то хлеба с маслом, несколько холодных котлет и две бутылки молока, которое ежедневно получали в цехе «на вредность». И в том, что все стали есть этот хлеб и котлеты и пить молоко, тоже было что-то необычное, привлекательное и сближавшее их всех.

— Да,— задумчиво проговорил Баженов, прикуривая у Алексея и оглядывая присутствующих,— смотрю на вас, товарищи, и думаю: вот что-то же заставляет людей совершать поступки вопреки своему благополучию, вопреки так называемому здравому смыслу, в ущерб себе. Для чего-то лучшего и того, что будет не сейчас, а потом.

— Бесспорно,— отозвался Алексей.

А Митя сказал:

— Еще бы.

— Что заставляет человека лезть на вершину горы? Это ведь не только спорт — мол, полезу, завуюю, буду первый. И это не любопытство: что там, на вершине? На вершине снег, это все знают, и трудно дышать. А человек лезет. Или полеты в стратосферу. Зачем человек стремится полететь на Луну, на Марс, к черту, к дьяволу? Где-то я читал, что мечтают все люди, но не одинаково. Те, которые мечтают ночью, утром видят, что их мечты только мечты. А те, которые мечтают и дело делают, тем выпадает редкое счастье увидеть, как их мечты становятся действительностью.

— Мы мечтаем вслух только после выпивки или в поезде,— сказал Митя и покраснел, почувствовав неуместность своего замечания,— а вообще-то, вполне возможно, что мы наш кокс в алмаз превратим,— добавил он и окончательно смешался.

— Я всегда считал, что инженер должен быть мечтателем,— сказал Алексей.

— Вы часто говорите: «это по-инженерному», «это инженерная задача», я замечал,— засмеялся Калинин.

— Реконструкцию хочется сделать хорошо,— заметил Алексей.

— А что мешает? — спросил Баженов.

— Ошибки.— Алексей улыбнулся.

Баженов посмотрел на Алексея и тоже улыбнулся. Алексей не хотел сейчас говорить о спешке, о недовольстве некоторых работников цеха, о сопротивлении Рыжова, его нежелании еще раз остановить установку, о том, что в цехе реконструкцию называют «горе-реконструкция». Алексей не сказал об этом, и Баженову не пришлось сказать: «Я вас предупредал».

— Не будем унывать, товарищи,— сказал Казаков.— Я лучше вас всех знаю Алексея Кондратьевича, он человек неожиданностей. Он потомок Чингисхана, будет вот так, как сейчас, улыбаться загадочной улыбкой пустыни, а потом вдруг — бац!

— Что «вдруг»? Что «бац»? Почему вы говорите обо мне? Простую,— сказал Алексей.

— Мы говорим о тебе, но думаем о катализаторе,— ответил Казаков.

— Давайте говорить о катализаторе,— сказал Алексей с улыбкой.

— Надо останавливаться,— заговорил молчавший все время Кресс и оглядел присутствующих круглыми детскими глазами. Волосы его, седые спутанные кудри, падали на умный, в морщинах, коричневый лоб.— Останавливать установку и смотреть.

— Да! Нужно довести это дело до конца,— сказал Баженов.— Мы не должны здесь допустить проигрыша.

Глава двадцать третья

Спустя несколько дней установка опять встала. Баженов приходил в цех, разговаривал с рабочими. Кресс умело нажал на Рыжова. Казаков действовал среди заводского руководства, обрабатывал главного инженера, главного механика. Алексей и Калинин поднимали настроение в цехе. Митя воодушевлял ремонтников и всеми силами старался обеспечить каталитический крекинг материалами, которые он чуть ли не воровал.

Установка встала с согласия и одобрения работников цеха, хотя это был еще один удар по плану и зарплате во имя «чего-то лучшего и того, что будет не сейчас, а потом», «вопреки своему благополучию, в ущерб себе», как сказал ночью Баженов.

Алексей осмотрел установку и пришел к Рыжову. Начальник цеха сидел за столом, рисовал на листе бумаги кружочки и квадратики и не поднял головы.

Вместе с Алексеем пришли и молча расселись на стульях суровые Митя, Кресс, Калинин.

— Надо сменить коллектор,— сказал Алексей.

— Надо,— подтвердил Кресс.

— Как они просто говорят,— усмехнулся Рыжов, снял телефонную трубку, вызвал ремонтный цех и заорал: — Вы сразу начинаете задерживать ремонт! Давайте усиляйте это дело! Людей давайте! Чтобы волкиты не было, хватит!

Это была излюбленная манера начальника цеха — кричать на одних, чтобы пугать других. Сейчас он показывал энтузиастам реконструкции, что не намерен опять возиться с ремонтом. Цех не выполнял плана уже

несколько месяцев, и Рыжову это надоело. У себя на установке он хозяин. Но «энтузиасты реконструкции» бились за свое.

Алексей по привычке рисовал на блокнотном листке то, что, по его мнению, надо было сделать.

— Приваривать не надо,— говорил Алексей,— надо сделать как следует.

— Некому делать как следует. Людей нет! — Рыжов раздраженно чиркнул спичкой и выпустил облако дыма.

— А вообще на установке жизни нет,— сказал Алексей.— Основное — надо коллектор поменять. Вон и Кресс считает, что надо поменять.

— Считаю,— подтвердил Кресс.

— Ему легче всего считать,— сердито ответил Рыжов.— Сейчас первое число. Начнут останавливаться одна за другой установки. Термический крекинг останавливается.

— Мало ли что! Надо же один раз сделать хорошо.

— Шестого вечером, крайнее — седьмого, должны быть на режиме,— отрубил Рыжов.

Алексей поморщился. Опять начиналась спешка, этот страшный бич, гибель для любой попытки что-то усовершенствовать, что-то сделать по-хозяйски наконец.

Рыжов был раздражен.

— Это не по-инженерному, товарищи,— сказал Алексей.

— А-а, инженеров здесь нет, здесь дельцы,— сказал Малинин с резкостью, какой Алексей в нем не ожидал.— Можно ведь сделать все культурно,— продолжал Малинин,— как предлагает Алексей Кондратьевич. Регенератор нуждается в ремонте.

— А можно его залатать и работать дальше,— сказал Рыжов,— коли на то пошло.

Алексею теперь все было ясно, все ошибки и просчеты понятны, надо было еще раз, последний, взяться и сделать все как следует. Теперь неудачи не будет, Алексей мог ругаться.

Он встал и опять пошел на установку. Обернувшись, он увидел, что Митя идет следом, за ним понуро плетется Малинин. А маленький мужественный Кресс остался с Рыжовым — будет его укрощать.

Бой с Рыжовым — это не главный бой. Предстоял еще серьезный бой с главным механиком. Сейчас вся задержка была за ним. Главный механик уже высказался в том смысле, чтобы катились ко всем чертям со своими непомерными требованиями — на заводе не один только цех каталитического крекинга. Так кричат плохие кондукторши в трамваях или кассирши в магазинах: «Вас много, а я одна». Там берут жалобную книгу и пишут жалобу на некультурное обслуживание пассажиров или покупателей. А здесь? Для реконструкции требуется такое оборудование, которое стоит десятки тысяч. Главный механик его не дает. Он даст, если ему прикажет директор завода.

Надо было идти к Терехову. Алексей знал, что этого не избежать. Он готовился к этому, то есть говорил себе слова, которые всегда были для него убедительными, но сейчас теряли свое значение: «это надо», «это необходимо», «я должен», «я не имею права не идти, страдает дело». Ведь только это дело и оставалось в жизни Алексея. Оно оставалось всегда. Дело помогало ему держаться. Постоянная необходимость общаться с людьми тоже заставляла его держаться. «Никто не должен знать, что я перееханный трамваем», — повторял Алексей. И ему казалось, что никто не знает. Окружающие его люди делали вместе с ним трудное и важное дело, вместе с ним переживали сейчас неудачу.

Нужно было идти к Терехову, он пошел.

Через хорошо знакомую приемную, мимо черного дивана с шоферами Алексей прошел в кабинет Терехова.

Начиналось утреннее совещание.

Терехов сидел за столом с обычным своим видом величавого неудовольствия — неподвижная фигура на фоне розовой стены.

Сердце Алексея забилось быстрее, в висках застучало, как будто в кабинете не хватало воздуха и было слишком много людей. Он сел, еще раз посмотрел на человека за столом.

— Кого мы ждем? — спросил Терехов.

Ему ответили:

— Горелов в горкоме, Середа не придет.

— Значит, напрасно я кричу, — сказал Терехов, улыбаясь глазами. «Комедиант, — презрительно подумал Алексей. — Тася, Тася, неужели такой тебе понравился, такого ты могла полюбить...»

Молоденькая девушка-диспетчер встала, чтобы отвечать на вопросы директора.

— Неприятностей ночью не было?

Диспетчер ответила сдавленным голосом:

— Электроэнергия отключалась на пять минут.

Директор крикнул:

— Когда это прекратится?

Кто-то ответил меланхолически:

— Ошибки случаются.

— Все несчастные случаи из-за ошибок. Как все-таки избавиться от таких вещей? — гремел Терехов. — Ни одного еще не посадили в тюрьму, чтобы другим неповадно было! Они недопонимают, где они работают, пожара еще не видели!

Главный механик сказал:

— Надо все время людей держать в напряженном состоянии.

— Так держите! Кто вам мешает?!

Пожевав губами и дав всем посмотреть, как он сердится, Терехов спросил:

— Что у нас в плане на этот месяц?

Алексей задумался и прослушал, о чем стали говорить дальше. Он не мог уйти, но не слушать и не смотреть он мог. И все-таки он стал смотреть и слушать, задыхаясь от гнева, ненависти, презрения. Теперь Терехов о чем-то просил своих подчиненных, просил весело и добродушно. В его арсенале имелось множество средств. Все смеялись, хорошо понимая, что просит директор или умоляет — все одно. Попросту дело есть дело, его надо делать. Но актер нравился публике. Только Алексею он казался отвратительным. Впрочем, если бы Алексей мог что-нибудь замечать вокруг, он увидел бы, что смеются далеко не все и восхищаются не все. Но он ничего не видел.

Казаков потянул Алексея за рукав — Рыжов докладывал о реконструкции каталитического крекинга.

— Изложи свои соображения, Леша.

Алексей, не поднимаясь со стула и глядя прямо в бульдожье лицо Терехова, в его ускользающие, неприязненные, трюсливые глаза, сказал:

— Надо менять коллектор. Коллектор имеет сильный прогиб. Сделать раз, но хорошо. — Помолчав, Алексей еще раз повторил громче: — Надо менять коллектор.

Терехов спросил, сколько еще — он сделал ударение на слове «еще» — времени надо на «все эти доделки и переделки». Его голос был враждебным и безразличным.

Алексей просил еще две недели, просил такелажников, некоторые новые запчасти и... новый коллектор.

— Коллектор? — удивленно переспросил Терехов. И хотя, казалось, ничего особенного не было в том, что он переспросил, на самом деле он выразил свое недовольство неудачей и нежелание дальше поддерживать все это дело.

Алексей понимал истинную причину нового отношения Терехова к реконструкции, понимал ход мыслей Терехова. После того, что произошло, Терехов был убежден, что Алексей видит в нем своего врага. А раз так, он уже не мог желать удачи Алексею, врагу удачи не желают. Терехов, по своим понятиям, ждал подлостей от Алексея, поэтому он спешил сделать подлость сам. Его логика была проста: если ему будет мстить победитель, это опасно. А если он сможет сказать про Алексея: «Я ему создал все условия, а он реконструкцию провалил», — то это уже другое дело. У Терехова был расчет простой и грубый: Изотов видит во мне врага, зачем же я буду давать ему козыри в руки?

Он сказал только одно слово: «Коллектор?» Но того, как он это сказал, было достаточно, чтобы главный механик заявил: «О коллекторе не может быть и речи». Его молодежавое лицо пошло красными пятнами. «Припадочный», — подумал Алексей. Оставалось сделать последнее усилие, рывок, и установка каталитического крекинга начала бы работать вдвое производительнее.

Алексей понимал Терехова, разгадал его намерения. Сейчас Терехов, воспользовавшись неудачей реконструкции, хотел ударить по всему этому делу, с тем чтобы избавиться от Алексея. И он высказался, дал понять свое отношение. Главный механик все продолжал нервно вскидывать голову и в разных выражениях сообщать, что коллектора не будет.

Тут вмешался Баженов:

— Коллектор — дело хозяйское, но остальные требования законны. Все эти доделки и переделки должны быть произведены для успеха дела.

И Рыжов сказал:

— Ну, уж что теперь, Андрей Николаевич, цех сам идет на все лишения материального порядка.

Это был отпор директору, это была защита реконструкции, защита сильная, и Терехов мгновенно понял это и сразу отступил. В конце концов против реконструкции он и не боролся. Слава завода — это была его слава. Но слава Алексея — это была слава его личного врага. Терехов сказал:

— Дорогие товарищи, я даю вам ваши последние сроки. Однако помните, что мы с вами, как врачи, права на ошибки не имеем.

Закрывая совещание, Терехов распорядился, чтобы главный механик пошел на установку, своими глазами посмотрел на коллектор.

— Уж лучше грешным быть, чем грешным слыть, — усмехнулся Терехов.

«Наверное, — подумал Алексей, — он цитировал эти строки Тасе. Хорошие строки Шекспира, но философия дерьмовая».

— А коллектор дорогой? — спросил кто-то у главного механика.

— Золотой! — закричал главный механик. — Двадцать семь тысяч!

— Двенадцать, — сказал Алексей громко.

Все засмеялись.

Алексей встал, вышел из кабинета, не дожидаясь остальных. И почувствовал, что Терехов смотрит ему вслед.

Глава двадцать четвертая

Андрей Николаевич ждал Тасю возле кинотеатра «Ударник». Тася увидела его издали. Засунув руки в карманы синего свободного пальто, надвинув светлую кепку на лоб, он медленно расхаживал по тротуару. Даже здесь, в московской толпе, он был замечен, выделялся осанкой, смуглым лицом, дерзкими глазами. Тася любила, когда он был в кепке, он казался молодым, простым.

Каждый раз, когда Тася видела Андрея Николаевича, она на мгновение переставала верить тому, что он ждет ее, стоит, печется на солнце, мокнет под дождем, бросив свои неотложные, важные государственные дела. Ради нее он подвергает себя неприятностям, как мальчишка бежит к ней на минутное свидание, летит в Москву на два дня. Ради нее, из любви к ней...

Сейчас он заметит ее в толпе, улыбнется. Если бы можно было так всегда идти к нему навстречу, видя, что он стоит и нетерпеливо ждет! Только этот миг был прекрасен, потому что сразу вслед за этим начинала стучать тревога в сердце, что скоро расставаться, прощаться, уходить, терять.

Андрей Николаевич заметил Тасю и сдвинул брови. Она опаздывала. Потом улыбнулся.

— Здравствуй, здравствуй, мое воскресенье,— сказал он нежно.

— Дай я на тебя посмотрю,— сказала Тася довольно громко.

Проходивший мимо военный обернулся, с откровенным восхищением посмотрел на Тасю и с неодобрительной завистью — на Терехова.

— Видишь, опять на тебя смотрят. Ты еще надеваешь этот красный шарф. И так ты девчонка на вид, а еще этот красный галстук.

Они замешкались, не зная, в какую сторону идти, потом побрели по направлению к Каменному мосту.

— Сегодня у меня был смешной случай. В институте, в вестибюле, я встречаю... Ты не слушаешь? — спросила Тася.

— Боже, как мне неинтересно жить без тебя,— ответил Андрей Николаевич.

Она остановилась, потрясенная искренностью и нежностью его тона. Значит, он любил ее, страдал, скучал. Больше ей ничего не надо было, она счастлива.

— Ну, продолжай, продолжай — «в институте, в вестибюле, я встречаю»... Кого же ты встречаешь?

— Ах, все равно все это. Неважно.

Она собиралась рассказать ему какие-то пустяки. Серьезное и грустное она от него скрывала. У нее были неприятности в институте, она получила выговор за то, что вернулась из командировки с опозданием. Ее хотели исключить из аспирантуры, потому что она не сдала кандидатский минимум. Отцу опять стало хуже, Тася все время была около него.

Обо всем этом она не рассказывала Андрею Николаевичу. Он не знал ее жизни. И не должен был знать. Он любил веселое.

— Как ты? Был в Госплане?

Терехову предлагали работать в Госплане. Он был честолюбив, его манили масштабы. «Разве не так? Разве ты не такая?» Да, она была тоже такая, точно такая. Она очень любила, когда Андрей Николаевич говорил: «Мы с тобой похожи. Мы одинаковые».

— У меня сегодня вечером заседание в одном месте, под Москвой, довольно далеко. Пока я буду выступать, ты погуляешь, потом поужинаем где-нибудь. Согласна?

— Да, да.— Кажется, она еще ни разу не произнесла при Андрее Николаевиче «нет». Ей было совершенно все равно, куда ехать, когда

и зачем, лишь бы вместе. Она быстро сосчитала, сколько часов они смогут пробыть вдвоем.

— Может быть, там есть гостиница...— вопросительно проговорил Андрей Николаевич и наклонился к ней.— Да?

— Я предупрежу отца, что не вернусь,— прошептала она.— А сейчас поеду домой, переоденусь.

— побыстрее, времени в обрез, я подожду тебя на вокзале, куплю билеты. А ты подгребай.— Терехов подмигнул Тасе, молодой, удалой, беспечный. Тася удивлялась его веселости.

На вокзале Тася не застала Андрея Николаевича. Был уже седьмой час, он уехал, не дождавшись ее, потому что опаздывал на свое заседание.

Она не знала, куда поехал Терехов, где его заседание,— наверно, в какой-нибудь закрытой аудитории. Она знала только название станции и то, что ей необходимо отыскать Терехова. Тася пересчитала деньги. Их хватало на билет лишь в один конец. Но ей и нужно было только в один конец.

Тася села в поезд.

Напротив, на скамейке, женщина в очках читала газету, мужчина ел мороженое.

Сзади пьяный голос выкрикивал:

— Есть, капитан, матрос воды не боится!

Тася обернулась. У говорившего было красное, потное лицо.

— Жизнь на жизнь не перемножишь, а дважды жить не суждено.

Она не задавала себе вопроса, зачем она едет. Что за сила гнала ее?

Она вспомнила глаза Терехова под кепкой, простое, веселое лицо рабочего парня. Только баяна в руках не хватает, сейчас затянет песню. Потом выплыло другое лицо, высокомерное, отчужденное, «так надо».

Тася вышла из вагона и остановилась. Она не знала, куда идти, и решила ждать Терехова на перроне. Села на скамейку под фонарем, который, как показалось ей, горел ярче других, съежилась, натянула юбку на колени, застегнула воротник старенького клетчатого жакета, поправила шарф на шее, вспомнила, что у нее есть еще кожаные перчатки с рваными пальцами и надела их. И приготовилась ждать.

Потом она часто вспоминала это ожидание. Она ждала тогда не Терехова, она ждала чуда.

Она задремывала и просыпалась от холода. Несколько раз смотрела на часы — время не двигалось. Потом вдруг время прыгнуло. Наступила ночь. Если вот так ждать под мерцающим фонарем долго-долго, мерзнуть, неужели нельзя дождаться? Вдруг ей показалось, что идет сторож, чтобы прогнать ее отсюда. Она со страхом всмотрелась — это было дерево.

Отец уже, наверно, принял снотворное, заснул. Тася, как могла, скрывала от отца свою любовь, но он что-то чувствовал. Он знал, Тася не сомневалась. Отец говорил теперь, что умрет спокойно, если она выйдет замуж. Он думал, что дочь несчастлива, а она была счастлива, отец этого не знал. Никто на свете не был счастлив, только она. Ее счастье было вот здесь, на этой скамейке.

— Тасенька! — Голос Терехова срывался от волнения.

Тася протянула руки: вот оно, счастье. Терехов был потрясен.

— Боже мой, а если бы я не пошел в эту сторону?

— Все равно. Ты бы пошел. Я знала, что я тебя встречу. Я знала.

— Ты сама не знаешь, что ты такое... Что ты за чудо.

— Я тебя люблю.

— Тасенька! — повторял Терехов. Это ожидание на перроне, без

всякой надежды встретить его, потрясло Андрея Николаевича. Сжавшаяся от холода в комочек, на скамейке, ночью...

— Тася, девочка моя,— шептал Терехов.

В это мгновение ему хотелось послать все в черту, переломать свою жизнь, начать сначала. Если есть, если может быть такая любовь... Тася молчала. Терехов снял пальто, закутал ее.

— Давай проедем еще одну остановочку вперед, там должна быть гостиница...

Она кивнула головой, соглашаясь. Еще одна ночь в гостинице. Андрей Николаевич пойдет договариваться, попытается сунуть деньги дежурной, чтобы им разрешили остановиться в номере вдвоем. Унизительные взгляды, которые она будет ощущать на себе, чья-то усмешка, может быть оскорбительное слово вслед. Ей все безразлично, лишь бы быть с ним.

— И все равно ты меня разлюбишь, Тася. Ну зачем я тебе такой нужен? Старый, уродливый.

Зачем он говорил все это?

Тася дрожала от холода, от волнения. Начинался дождь, они все еще стояли на перроне, ждали поезда. «Бездомные собаки»,— подумала Тася. «Жизнь на жизнь не перемножишь»,— вспомнились слова пьяного. Она не понимала их смысла.

— Я гублю твою жизнь...— сказал Терехов.

Зачем он это говорил?

— Ты мое счастье,— с жаром ответила она.

— Я твое несчастье, я это знаю, Тася, и ничего не могу поделать. Отказаться от тебя сам я не могу.

— Ты мое счастье,— устало повторила она. Ей хотелось плакать.

— Подожди.— Андрей Николаевич взял руку Таси и поцеловал.— Подожди. Послушай меня. Я тебе больше этого никогда не скажу. Запомни: как бы нам тяжело ни было дальше — а нам будет и тяжело и плохо,— знай, что за всю мою жизнь, никогда...

— Да, да,— перебила Тася, ожидавшая вот уже сколько времени от Андрея Николаевича совсем других слов.

— Ты не понимаешь. Ты еще маленькая. Мне часто кажется, что ты совсем ребенок.— Он уже привычно шутил. Его волнение прошло.

— Да, да,— сдерживая слезы, повторила Тася.

Подождал поезд. И в этот раз Андрей Николаевич ничего не сказал ей о том, что же будет дальше, как же они будут дальше жить. Чуда не произошло.

В маленькой двухэтажной гостинице заспанная дежурная, не разобравшись со сна в паспортах приезжих, проводила их в номер. Тася опустила на одну из двух узких железных кроватей, застланную белым пикейным одеялом, и, не сдерживая себя больше, заплакала.

Глава двадцать пятая

Андрей Николаевич проснулся рано и больше не мог заснуть. Раньше он умел замечательно спать, а теперь разучился. Друзья уверяли, что это первый, самый верный признак приближающейся старости. «Чему быть, того не миновать»,— соглашался Андрей Николаевич. Других признаков старости пока не было заметно.

Терехов многие годы жил кочевой жизнью. Были молодые, беззаботные, нигде не устраивались надолго, хотя даже временные, случайные жилища жена старалась сделать как можно уютнее. А эту последнюю квартиру обживали по всем правилам: может быть, еще один признак

приближающейся старости? В спальне был мягкий голубой свет от штор, мебель — спальный гарнитур — была самой дорогой, какую только можно было достать в ГУМе в Москве.

Когда-то Андрею Николаевичу было безразлично, на чем спать, на чем сидеть. Лишь с недавних пор он стал обращать внимание на эти вещи, и вот появились тяжелые дорогие гарнитуры, просторная квартира засверкала полированными поверхностями. «Тышши», как говорила дежурная заводской гостиницы Клавдия Ивановна, приходившая иногда мыть окна. Но это были не только «тышши». В это полированное великолепие Тамара Борисовна старалась вдохнуть уют.

Сейчас Андрей Николаевич посмотрел на большой розовый ковер с раздражением. Вдруг неуместными показались розовый цвет на полу, голубой шелк на окнах и множество безделушек на туалете. Он сам покупал фигурки, статуэтки, привозил из московских командировок этих балерин на одной ноге и собак. Все раздражало сейчас своей неуместностью. «Обмещанились», — подумал Андрей Николаевич.

«Сколько дряни», — с каким-то даже недоумением продолжал размышлять Андрей Николаевич, переводя взгляд с плохих картин, развешанных по стенам, на дверь столовой, откуда виднелась горка, набитая рюмками и графинами. «Забарахлились», — с осуждением сказал громко Андрей Николаевич, подумав, что ругать нужно только самого себя. Тамара Борисовна не была виновата — она была орудием, исполнительницей его желаний и прихотей. Вечно торопясь, занятая, озабоченная, уставшая, она бегала и покупала все мало-мальски заметное в магазинах города потому только, что Андрей Николаевич этого хотел.

В спальню вошла Тамара Борисовна, гладко причесанная, с подмозанными губами. Терехов сразу беспощадно отметил эту тщательность и осудил, хотя обычно одобрял. Тамара Борисовна не раздвинула штор, Терехов отметил про себя и это — и это осудил. Жена не хотела яркого света, предпочитала полумрак. Глупо, старости нечего стесняться. Весь фокус заключается в том, чтобы достойно и своевременно распоститься с молодостью. Халат этот японский надо выбросить к черту, домашние туфли с постукивающими каблучками — к черту и розовый ковер — тоже к черту, к черту! Все это неприлично.

— Что скажешь, Тamarочка? — спросил Андрей Николаевич, стараясь скрыть неприязнь к жене.

— Я хочу у тебя спросить, как все-таки будет с нашим отдыхом, ведь уже почти зима. Мы поедем на курорт или нет, я что-то не понимаю, — спросила Тамара Борисовна, беспокоясь, чтобы ее вопрос не показался настойчивостью. — Бархатный сезон кончился, так жаль, упустили.

«К черту и бархатный сезон!» — хотелось ответить Терехову. Вечно почему-то они стараются захватить этот самый бархатный сезон, «поесть фруктов», хотя едят они этих фруктов и так достаточно. Он всячески старался оттянуть поездку, пытаясь придумать, как провести очередной отпуск с Тасей. Вспомнил, что Тася мечтала поехать на Кавказ или в Крым ранней весной. Он, между прочим, никогда не был на курорте весной, всегда только в бархатный сезон.

— Тamarочка, я из-за всех этих дел задержусь, поезжай одна, мне, может быть, совсем не удастся вырваться.

— Тогда и я не поеду. Не беда.

— Как знаешь.

Тамара Борисовна протянула газеты, поправила атласное одеяло. В воскресенье она всегда старалась, чтобы Андрей Николаевич подольше не вставал с постели. На неделе ему редко удавалось выспаться. Предупредительность и забота, столь украшающие семейную жизнь,

были сейчас Терехову в тягость. Он удивлялся себе, потому что даже в мыслях ни разу не позволил себе подумать о Тамаре Борисовне неуважительно или плохо, без благодарности. «Если так покатится дальше...» — сказал он себе строго, предупреждающе. Он понимал, что нельзя распускаться, следовало немедленно договориться о том, когда они едут, оформить отпуск, заказать билеты. И не мог этого сделать. Как будто мягкая теплая рука Таси прижалась к его губам. Его чувство к Тасе радовало своей силой, даже удивляло, он не думал, что еще способен на это. Он был благодарен своей судьбе, потому что действительно в его безмерно заполненной деловой жизни эта любовь была чем-то исключительным, отпущенным только ему. Ни у кого из товарищей, людей одного с ним положения, наверняка не было такой любви, никто не позволил бы себе подобного романа, ничего, кроме несерьезных командировочных знакомств. Слишком на виду, положение обязывает. Необходима крайняя осторожность: он знал, что все тайное становится явным.

Андрей Николаевич решил сегодня днем позвонить Тасе, он очень скучал, тосковал по ней. Ее телефон был записан у него в записной книжке под фамилией Т. Иванов. В его записной книжке было несколько женских имен, переделанных таким образом на мужские. Хотя Тамара Борисовна никогда не заглядывала в его записную книжку, он хотел быть спокойным и не оставлял никаких следов. «Мой дом — моя крепость», — несколько цинично говорил он, но он действительно любил свой удобный, устроенный дом, и мысль расстаться с ним казалась ему невероятной.

Андрей Николаевич встал, принял душ, прочитал газеты, выпил кофе. Если бы можно было увидеть Тасю, он пешком прошел бы двадцать километров, чтобы посмотреть в ее глаза. Он включил магнитофон — громкая душещипательная музыка, можно ни с кем не разговаривать. Он решил, что будет полдня крутить магнитофон. Никуда не денешься, из дома не убежишь.

Тамара Борисовна в светлом пальто вошла в комнату и остановилась, ожидая, что он приглушит или прекратит музыку. В руках она держала перчатки, и Андрей Николаевич знал, что она так и будет их держать, это неудобно, но так полагается. А зачем все это, к чему? Впервые простая, естественная Тамара Борисовна показалась ему ненатуральной, набитой дурацкими условностями. Андрей Николаевич сделал вид, что не замечает вопросительного, ожидающего взгляда жены, и начал свистеть под музыку. Запахло сладкими духами. Тамара Борисовна дружелюбно улыбнулась и ушла, помахав перчаткой. «Я на рынок!» — крикнула она из прихожей. Андрей Николаевич все с той же несвойственной ему в отношении жены беспощадностью подумал, что утро для стареющей женщины — страшное время дня. Он вспомнил Тасю; какой прекрасной была она по утрам. Молодая, счастливая и не знает своего счастья. Как бы он хотел еще хоть месяц провести вместе с нею где-нибудь.

Громкая джазовая музыка неслась на улицу из окон квартиры директора завода, сам он, в кремовом костюме, с папиросой, зажатой в пальцах, ходил из угла в угол, притопывая ногой, напевая, насвистывая. «Дуа сольди...» Наверно, ему было бы легче, если бы он мог выйти из квартиры, пойти по улицам, за город, по берегу реки, быстрым шагом ходить весь день. Даже этого он не мог разрешить себе, считая, что находится всегда под огнем взглядов, в центре внимания.

Кончила рыдать на ленте магнитофона итальянская певица, зазвучала другая популярная мелодия. Рычаг громкости был повернут до

предела. Хорошо, что сын с утра уехал с товарищами на соревнования, не слышал этого пения, не видел этого метания по клетке.

От неосторожного резкого движения упала со стола хрустальная пепельница.

«...Тиха вода... та-ра-ра...»

Когда вернулась с рынка Тамара Борисовна, Терехов сказал ей:

— Я подумал и решил, что через неделю мы можем с тобой лететь в Сочи. Еще застанем бархатный сезон.

Глава двадцать шестая

Главный механик выполнил распоряжение Терехова. Он пришел на установку осмотреть коллектор. Но, осмотрев коллектор, он объявил, что заменять его не надо. Так он понял Терехова.

— О смене коллектора не может быть и речи! Забудьте думать! — сказал он, придя в операторную.

— Коллектор имеет сильный прогиб, — резко ответил Алексей, хотя решил разговаривать вежливо и спокойно, зная, что на психов, вроде главного механика, это действует сильнее всего. «Впрочем, тут действуют взгляды директора, а не доводы разума», — подумал Алексей.

— Прогиба нет! — отрезал главный механик.

— Прогиб-то есть, — насмешливо сказал Алексей, — прогиб-то, конечно, есть...

— Нет!

Началась игра «стрижено-брито».

Главный механик был разъярен и орал, что белое — это черное. Алексей был разъярен и молчал. У главного механика была власть, он мог дать злосчастный коллектор, а мог не дать. Он давать и раньше не хотел, а после совещания у директора он знал, что может не давать.

Битва разгоралась в центре операторной, возле железного столика оператора. Главный механик стоял красный, поводил глазами, как будто выискивая, что разломать, что расколошматить в куски. Но мебель вокруг была из железа.

«Нервный тип», — подумал Алексей, успокаиваясь. Когда видишь перед собою такого человека, очень не хочется на него походить.

«Нервный тип» продолжал скандалить, что очень не шло к его красивому лицу, к его ярко-седой пряди волос, к его щеголеватой фигуре молодящегося мужчины.

Алексей ждал — «должен же он перебеситься». Казаков ухмылялся. Рыжов сердился и что-то бормотал себе под нос, противное словам главного механика, как в опере, где каждый поет свое и ничего нельзя понять. Кресс разговаривал с дежурным оператором. Митя стоял красный, востропанный, с осуждением смотрел на своего начальника и пытался придумать, как на него воздействовать, но ничего не придумывалось. Главный механик коллекционировал марки, — а что если подарить ему альбом с какими-нибудь выдающимися марками... Митя предложил пойти посмотреть на коллектор еще раз.

— Ты вообще молчи! — Главный механик считал Митю предателем.

— Коллектор все же разумнее поменять, а не латать старые дыры, все равно, рано или поздно придется, — опять сердясь, сказал Алексей.

— А? А? Что? — закричал главный механик, посмотрел на упорных, мрачных участников реконструкции, взвизгнул: — Безобразие! — и выскочил из операторной.

Алексей пошел в курилку, закурил и стал смотреть на дорогу.

Мимо медленно шла черноволосая худенькая девушка в спецовке и тащила две железные плетеные корзины с бутылками, сгибаясь под тяжестью своей безобидной на вид ноши. Пробоотборщица. Только что она собрала пробы, поднялась и спустилась по крутой лестнице резервуара с нефтепродуктом и возвращалась в лабораторию. В двух корзинах шестнадцать бутылок. Сейчас выглянуло осеннее солнце, она шла, не пряча лица. Летом ей было тяжело, но не страшно, осенью тяжело, но терпимо, однако и зимой, в морозы и ветры, когда пальцы примерзают к железным перилам, девушка точно так же совершала свой путь.

Когда Алексей был маленьким мальчиком в очках, которые он потом выбросил в Волгу и проводил злым мальчишеским взглядом, он страдал, видя лошадь, надрывающуюся от тяжести. Слезы закипали у него на глазах, он шептал: «Бандиты, бандиты» — о тех, кто не пожалел лошади.

Несправедливость потрясала его, чужая боль была во сто крат страшнее собственной. «Чувствительный растет мальчик,— говорила Вера Алексеевна,— трудно ему будет в жизни». Но чувствительность прошла, а душевность стала глубже и побуждала к активности.

Завод прекрасен, это верно, но не должно быть девушек-пробоотборщиц, вечно простуженных, больных ревматизмом. На некоторых резервуарах лестницы очень крутые, по ним трудно взбираться и еще труднее спускаться, они находятся под углом в семьдесят градусов. Мерцающая серебряная емкость, огромная и легкая, такая красивая издали, может быть коварной и роковой для того, кто к ней приблизился. Бывают случаи, когда пробоотборщица срывается и падает. Пытаясь задержать падение, она хватается рукой за скобы, крепящие лестницу, за острые железные угольники. Это судорожное движение может стоить пальца. Искалеченная рука девушки — страшная плата за экономию металла. Завод прекрасен, но он не должен иметь таких крутых лестниц.

Алексей бросил папиросу и вернулся в цех, не успокоившись. Резко сказал Мите:

— Надо менять коллектор, нечего дурака валять.

Митя смолчал, решив, что Алексей сердится на него за упавшие коробка. Он еще никогда не видел инженера Изотова таким разгневанным.

Главный механик еще в течение двух дней кричал, что коллектор менять не надо, коллектор менять рано, коллектор негде взять, надо заказывать, запасного сейчас нет, этот коллектор не простой, этот коллектор золотой, и вообще мы с этой реконструкцией вылетим в трубу. И коллектора не дал. Он хорошо запомнил совещание у директора.

Ничего не осталось, как ставить опоры. Надо было заново закрепить коробка, снять с Митиной души грех. Подладить, подправить и пускать установку.

Баженов часто приходил на каталитический крекинг. Как-то прибежал Митя с вопросом к Алексею, увидел Баженова, улыбнулся и сказал:

— Опять мы здесь собрались, как тогда.

«Тогда» — это было ночью, когда пришел Баженов.

Результаты совещания у Терехова сказались не только в том, что главный механик отказал в новом коллекторе. Начались и другие неприятности. В совнархоз было послано письмо, подписанное несколькими рабочими и составленное неким инженером по фамилии Лямин. Алексей и Казаков в этом письме обвинялись в том, что они проводят неправильную техническую политику. Основанием для обвинения был огромный расход катализатора. Лямин считал себя специалистом по

каталитическому крекингу и уже давно бесился, что его не взяли в компанию и реконструкцию проводили без него. Но он до времени молчал. Тень неудовольствия, промелькнувшая на лице Терехова во время совещания, послужила для него знаком. И он начал борьбу.

Лямина Алексей раньше не знал, но слышал о нем много. А теперь Лямин стал появляться в операторной каталитического крекинга, хотя ему тут абсолютно нечего было делать. Здоровался и с улыбочкой смотрел, как Алексей проверяет показатели во время пуска установки. Пуск — дело длительное, шесть вахт пускают установку.

Пожалуй, ничего нет гаже улыбочки человека, который смеется над усилиями другого. Глядя на Лямина, Алексей поражался бессмысленной злобности этого человека. Кстати, теперь Лямин стал попадаться Алексею на глаза буквально всюду: на дороге, в столовой, на почте, даже в галантерейном магазине, куда Алексей зашел купить носки.

У Алексея выработалось отношение к Лямину, как к черной кошке. Перебежал дорогу, встретился — значит в цехе неприятные новости. Правда, Алексей в приметы не верил. Это Тася верила в приметы. А неприятностей в цехе хватало без Лямина.

Лямин был высок и худ. У него была маленькая круглая голова, черные, как будто мокрые волосы и рот с очень красными губами, которые он все время облизывал, высывая кончик языка. Казалось, он ловит языком мух. К тому же он нервно подмаргивал, как будто что-то мешало ему в глазу. «Лицо шулера», — определил его Алексей. Круглая черноволосая голова Лямина казалась особенно маленькой из-за того, что она держалась на тонкой длинной шее.

Лидия Сергеевна пыталась рассказать Алексею историю этого человека, но толком у нее ничего не получилось. У Лидии Сергеевны выходило, что Лямин злодей такой, как злодеи в детских книжках, душа у него черного цвета. Сжил со свету двух жен, бьет мать и сестру, на заводе переходит из цеха в цех, всем гадит. Самое смешное, что здравомыслящий Петр Казаков совершенно серьезно подтверждал: «Сук-кин сын, держись от него подальше». Алексей отвечал, что разоблаченные негодяи не страшны.

На реконструкцию Лямин был сердит из-за денег, из-за возможных будущих гонораров, которые получит не он. «Идиот Лямин, — говорил Казаков, — он считает, что реконструкция пахнет деньгами. Хорошо, что мы с тобой этого не считаем».

Реконструкция начиналась тихо и мирно, если не считать неопасного сопротивления Рыжова, его вполне естественного недовольства. Предложение Алексея было встречено спокойно, без энгузиазма, но скорее доброжелательно. Потом у реконструкции появились друзья. Теперь появились враги.

Механик Митя был одним из первых, кто примкнул к реконструкции. Митя занимался приемкой оборудования вместе с Алексеем, готовил запчасти, не вылезал из мастерской и очень волновался.

У Мити было трудное положение, потому что он был механик, ремонтник, несчастный человек. Он был помощником главного механика, а не главным механиком. И на бедного Митю сыпались шишки с двух сторон — и от главного механика и от цеха. Он не вылезал из неприятностей, но он их не боялся.

— У меня своя логика, — говорил Митя, — своя принципиальность.

Он считал, что реконструкция даст большой эффект, и ради этого готов был страдать. Он улыбался, вспоминая, как орет на него и топает ногами главный механик.

— Это просто смех, — рассказывал он своей жене Наде.

Каждый вечер Митя рассказывал Наде о своих делах. Больше всего она любила слушать про его отношения с Рыжовым.

— Ну, как твой Рыжов? Был у тебя сегодня с ним конфликт? — спрашивала она.

— Был. Он мне говорит насчет проводов и шлангов: «Ты, по-моему, подсунул нам какую-то гадость». Я говорю: «Что у меня было, то я и дал». А он мне: «Ты такой же делаешься, как твой начальник».

— А ты что?

— А я ничего. Посмотрел с презрением и смолчал. Ему, наверно, стыдно стало. Он говорит: «Ладно, я распоряжусь, чтобы отмеряли шланги и отрезали нашу часть». А я говорю: «Только, ради бога, не партизанничайте». Потому что Рыжов, знаешь, он не только свою часть отрежет, а раза в четыре больше прихватит. Он во всяком деле только одну сторону видит, свою собственную, одного цеха, а всего завода не чувствует.

— А ты чувствуешь? — спросила Надя.

— Да! — горячо ответил Митя. — Поэтому я так за эту реконструкцию крекинга переживаю. Подумаешь, неудачи. Без неудач удач не бывает.

Митя говорил правду. Ему было присуще живое ощущение величественности задачи, которое у других притуплялось повседневными заботами, мелкими нехватками и вечной спешкой.

Глава двадцать седьмая

Однажды поздно вечером к Алексею в гостиницу пришел Малинин с женой — приглашать в гости. Калисфения жеманно поздоровалась и села на стуле прямо, положила руки на колени. Она была хорошенькая, молодая, с ярко-синими глазами, с лицом и повадками скандалистки. Малинин тоже сел, поругал погоду и, оглянувшись на жену, заговорил о печи, которая в реконструкции каталитического крекинга интересовала его больше всего.

У Малинина было виноватое лицо, он страдал, что затрудняет Алексея и заставляет случать Калю.

Каля молча слушала. Потом вдруг встала, одернула на себе красное шерстяное платье с вышитыми карманами, откашлялась и сказала:

— Интересные вы какие.

— Калечка, — замирающим голосом позвал Малинин.

Алексей рассмеялся.

— А что случилось?

— Первый раз встречаюсь с таким случаем, — не посмотрев на мужа, продолжала Каля. — Других забот у вас нет, ему одно и то же без конца объяснять. А он и рад, расселся тут.

— Что городишь, что городишь... — проговорил Малинин и обнял Калю за плечи. — Идем лучше. Пригласи Алексея Кондратьевича к нам в гости на завтра и идем.

— Я-то приглашу, — ответила Каля, — очень даже приглашу. А ты опять будешь про насосы и про печки говорить, мучить человека, помрачение мозгов устраивать.

— Не пугай, — благодушно усмехнулся Малинин. Он прощал жене ее скандальные выходки. — Мама моя будет очень рада. Да и она, — Малинин показал на жену, — шла вас пригласить.

— А я и приглашаю, — упрямо сказала Каля. — А правду говорить мне никто запретить не может.

— Извините нас, Алексей Кондратьевич. У нас характер неважный. До свидания. Мы вас завтра ждем к себе, значит.

Малинин стоял перед Алексеем. Добрый, голубоглазый, спокойный, протягивал руку в ссадинах и ожогах и улыбался.

«Тебя ничто не сокрушит,— подумал Алексей,— даже злая жена тебе не страшна».

Малинин любил жену. Алексей подумал о Тасе. Вспомнил, как она вынимала круглое зеркальце из сумки и начинала укладывать локон на лбу. Она могла это делать долго, у нее были мягкие волосы, и часто их светлая паутина закрывала ей лоб.

Мать Малинина, высокая седая старуха, до бровей повязанная белым платком, похожая на цыганку, с низким голосом и блестящими, черными, насмешливыми глазами, рассказывала Алексею о том, как она работала свинаркой на Дальнем Востоке, куда поехала на два года по вербовке.

— Сын женился, свадьбу ему справил, завербовалась и уехала. Все же больше пользы принесу, чем с невесткой лаяться. Правильно, сынок? — спросила она Малинина.

Тот ответил, нежно глядя на мать:

— С одной стороны.

— Я, когда завербоваться решила, с братом пришла советоваться. А он мне говорит: «Я тебе не советую, не рассоветую. Ты нонче из сундука, завтра из сундука, в сундуке ведь дно есть». Глупый ты, думаю, в моем сундуке уже давно только дно и есть. Я говорю: «Фу, и поеду, помру — поплачешь ведь». И решила и не жалела.

Малинин погладил морщинистую темную руку матери.

— Кушайте, кушайте лучше,— сказала мать Малинина.— Каля, еще грибочков гостю подложи. Эти грибы на базаре не все берут, а я всегда беру. Чистый гриб, не червивый.

Алексея угощали ватрушками, котлетами, квашеной капустой, жареными грибами, всевозможными пирогами.

— Тогда пирога с картошкой попробуйте — самый хороший пирог. И выпьем по рюмочке. Сын, наливай.

Малинин с улыбкой посмотрел на мать и налил рюмки.

— Ну, сыновья,— старуха посмотрела на сына и на Алексея,— за ваш труд.

Старуха чокнулась с Алексеем, и Каля, раскрасневшаяся, в шелковом платье, с завитыми волосами, тоже со всеми чокнулась. Было видно, что Каля решила этот вечер держать себя как можно лучше, и оттого, что она твердо это решила, у нее было довольное и гордое лицо.

Каля все время повторяла:

— Кушайте лучше, пейте больше.

Старуха рассказывала:

— Нас было четыре подсобницы. Мы сделали себе одинаковые ситцевые татьянки. Идем, как инкубаторки. Люди на нас смотрят. Интересная жизнь была у нас на Южном Сахалине.

«Вон куда тебя, старую, носило»,— подумал Алексей.

— В одно прекрасное время директор мне говорит: «Завтра, Мария, будем свиней принимать». Я молчу, соглашаюсь. Ладно. Приняла я свиней. Дали мне свинарник на горе. И я со свиньями одна. Целый день в кормоварке варю, стужу, кормлю свиношек. Там крупа гаолян была, похожа на гречку, но не гречка. Свиньи ее любили. Одна свиноматка у меня, Волга, такая капризная была. Однажды я пошла на выходной. Меня заменила свинарка, тоже Мария, Маша. Я ее предупредила, что Волга капризная. А эта Маша стала Волгу кормить, принесла поросят

и на Волгу закричала. Волга ее за ноги и схватила. Поросята маленькие, как дожжик. А Волга, как тигр, кидается на всех и никого не пускает. За мной поехали. «Твоя Волга всех грызет, и поросят не дает, и шайку не дает брать». Со свиньей не сладятся. Я той Марии говорю: «Я, Маша, тебе предупреждение давала — потише с ней, поласковее». Сама открываю дверь: «Волга, милая, да ты что? Что, милая? Тебя обидели, моя милая?» А Волга ко мне прямо встала и рассказывает, и рассказывает, не знает, как ей жаловаться. И жалуется.

— Кушайте лучше, пейте больше,— сказала Каля.

— Мама, вы расскажите, какие вы записки начальнику писали,— сказал, смеясь, Малинин.

— Записки обыкновенные. Сейчас расскажу. Было это сразу после октябрьских. Корма у нас были сочные, в ямах зарыты, но по ту сторону реки, а мы по эту. Я наказываю, требую, чтоб корма дали. Кормов не везут. Директор подсобного хозяйства все, говорят, пьяный. Ага, они там пьют, я заливаюсь, плачу, к свиньям хоть не ходи. Скот хочет кушать, скотину жалко, не показываешься ей прямо на глаза. Я сажусь, пишу записку. Вы, мол, откройте глаза, вы все никак с рюмочкой не расстанетесь. И матом как заверну. Вам праздники. Вы все чеканитесь. А у меня все пропадает. В честь чего у меня свиньи худеть будут из-за вашего пьянства? Возчику записку отдала. Рассказывали мне, директор прочитал, сидит, улыбается. Огороднице дал почитать. На другой день и постилка, и корма сочные, и селедка нам списана. Дня три возили. А директор глаз не кажет. Я к нему пошла и стою у порожка в конторе, поздравствовалась. Он мне: «Мария, проходи, садись». Я иду, как будто вроде виновата. «Как дела?» — спрашивает директор. «Все у меня хорошо. Накормили. Утеплили. Только жду милицию». Директор: «А за что?» Я говорю: «За хулиганские письма». А он смеется. Да, любила я свинушек. Выйду, покричу — они со всех сторон ко мне, беленькие, как дожжик.

— Маму за ее дела орденом наградили,— сказал Малинин.

— Больше ни слова, ни полслова не скажу,— старуха засмеялась,— а то гость уйдет, и меня потом дети прорабатывать начнут. Скажут, что я как комар «кум-кум». Знаете, как комары бундят? Как кумовья, их кумовьями и зовут. Кум-кум-кум.

— Когда я так говорил про вас, мама? — спросил Малинин.— Хоть когда?

Сыновняя почтительность была приятна старухе. Она сказала:

— В кого у меня сын такой солидный, даже не понимаю. Я всегда цыганка была, меня чернавкой звали, муж покойный тоже смугловатый был, а сын вон чуть не рыжий.

— Он не рыжий,— вставила Каля со своей обычной запальчивостью,— вы рыжих не видали.

— Ну, выпьем за успех реконструкции,— сказал Малинин.

Наконец настал день, когда установка стала работать вдвое производительнее, чем в тот день, когда Алексей вместе с Казаковым и маленьким Крессом впервые остановился перед шитом приборов.

И вдруг товарищи Алексея, работники установки и сам Алексей ощутили неожиданное и непонятное им самим ликование. Непонятное потому, что все относились к этой затянувшейся работе, как к чему-то совершенно обыденному. Слово «реконструкция» не было праздничным, но, когда реконструкция стала видимой, когда цифра, показывающая, сколько установка берет теперь сырья, стала популярной, повторяемой в цехе, в дирекции, в других цехах, вдруг почувствовалась в воздухе удача, успех, завершение труда.

В операторную приходили какие-то женщины, рабочие из других цехов, спрашивали: «Сколько?» Узнав сколько, восклицали: «Ого! Поздравляем!» — и уходили. Митя забегал, смотрел «сколько». Зашел Баженов, спросил «сколько». Главный технолог привел зарубежную делегацию. Обычно на каталитический крекинг иностранцев водили только на этажерку, показать завод с высоты, а тут привели в операторную. Было что показать. Работники цеха, даже те, кто ворчал, сидя несколько месяцев на одной тарифной ставке, без премии, гордились и радовались.

Дело сделано. Достигнута самая высокая в стране производительность каталитического крекинга такого типа, как этот. Алексея поздравляли, он ходил, улыбался и удивлялся тому, что результат оказался таким праздничным. Рыжов говорил: «Надо выпить по такому случаю». Митя оттопыривал губы и всем длинно рассказывал, какие были ошибки, как Алексей Кондратьевич пленился коварной картинкой с вводом сырья и как он сам опростоволосился с коробами. Сейчас все выглядело смешно и легко. Калинин сиял и думал про себя, что еще он сделал бы. У него был готов обширный план, но он пока помалкивал, только говорил Алексею: «Оставайтесь у нас, у нас лучше». Кресса не было видно, это был один из тех людей, которые исчезают, когда все хорошо, и не уходят, когда плохо. Казаков потирал руки, острил, подолгу сидел в цехе, наслаждаясь победой, и тоже говорил: «Надо отметить».

И еще раз пришлось пойти к Терехову. И еще раз, сжав зубы, Алексей пошел. Слишком значительно было дело, которое он делал, слишком близки и дороги люди, в нем участвовавшие. Надо было доложить о завершении реконструкции, о результатах.

Терехов разговаривал по селектору. Перед ним на стуле сидела женщина, мяла в руках кружевной платочек.

Терехов кивнул Алексею, сам продолжал разговор по селектору. Сказал кому-то:

— Давай пятую марку.

Кто-то ответил:

— Я буду стараться.

— Старайся, а то я тебе план переменю, — засмеялся Терехов и выключился, передвинул рычажок на щитке, обратился к женщине: — Еще что?

— Значит, чехлы в больницу, формочки для наших сестер, — плачущим голосом стала перечислять женщина.

Терехов подписал листок, который женщина ловким движением подхватила со стола.

— Приеду в больницу, если не увижу... — пригрозил Терехов.

— Да что вы, Андрей Николаевич! А остальное, значит, нет? — спросила женщина.

— Нет! Вы, в детской больнице, им лучше костюмчики купите, оденьте детей, а пыль в глаза нечего пускать.

Женщина ушла. Терехов вздохнул, сказал в пространство:

— Все тянут деньги, это ужас.

Он прятал глаза, не смотрел на Алексея.

На селекторе зажглась лампочка. Терехов сказал в микрофон:

— Прачечная стоила около миллиона, я требую, чтобы операторы являлись в выстиранных свежих комбинезонах.

Он выключил микрофон.

Вошел Казаков, пожаловался на затяжку с факелом.

— А у тебя бриз, мой дорогой. Ты можешь этим бризом...

— С факелом надо им пообещать, — сказал Казаков насмешливо.

.. — Пообещай,— сказал Терехов и обратился одновременно к Алексею и Казакову: — Слушаю.

Алексей сказал коротко, что все в порядке, производительность одной установки каталитического крекинга повышена вдвое. Надо премировать коллектив цеха и довести результаты реконструкции до сведения всего завода. Казаков предложил созвать всех старших операторов, то есть людей, которых это непосредственно касается. Созвать техническое совещание.

Терехов поднялся, стал говорить стоя.

— Нет! Не так! Открытое партийное собрание. Собрать всех рабочих, чтобы знали. Устроить заседание научного общества совместно с представителями московского института, то есть с товарищем Изотовым. Дать сообщение в газету. А материальное поощрение — это уже дело второстепенное. Важно, чтобы знали рабочие и инженеры, потому что мы будем перестраивать и другие установки. Надо, чтобы знали все.

Программа Терехова была напоказ. Так называемый размах. Чего проще было поздравить цех, довести до сведения тех, кого это касалось, и продолжать работать. Но Терехов был другого мнения.

Алексей хотел одного: закрепить результаты и по примеру этой установки переделать остальные. У него была инженерная задача. Терехов хотел громкой победы. Эта реконструкция не была спущенной сверху, она была проявлением инициативы, родилась в недрах цеха, пусть об этом узнают, говорил он. Борьба за повышение производительности — величайшая наша задача, говорил он.

Еще недавно Терехов хотел пустить реконструкцию под откос, хотел избавиться от Алексея, боялся его, а сейчас он возглавлял успех, он создавал его для завода, для себя и... для Алексея. Раз так пришлось.

Договорились о докладе Алексея в нефтяном институте, о заседании научного общества, о выступлении на общем собрании.

Алексей настоял на премировании работников цеха.

Казаков молчал, он знал, что директор большой мастер устраивать помпу, производить шум. Своего не упустит.

— Реализуем успех,— провозгласил Терехов, прощаясь. Он протянул Алексею руку с поздравлениями, но Алексей не подал ему руки. Демонстрации Алексей не хотел, а пожать руку человека, которого он считал подлецом, не мог. Казаков сделал вид, что ничего не заметил.

— Вот в чем разница между вами,— сказал Алексею Казаков, когда они вышли из кабинета,— ты создаешь успех, а он его реализует. Он даже тебя заставил выступать глашатаем своих достижений.

— Да? Ты так думаешь? — усмехнулся Алексей и жадно затянулся папиросой. Он выполнил долг перед товарищами и держался до конца. Но что Терехов, идиот, что ли: неужели он думал, что рукопожатием они поставят точку на всем, не только на реконструкции? Пусть благодарит бога, что у Алексея хватило выдержки и самообладания на всю эту историю. Терехов проявил обыкновенный цинизм человека, привыкшего считать, что ему все можно, все позволено. Неужели Тася любила его? Как Алексей ненавидел Терехова!.. Он потерял Тасю... Теперь, когда прошло время, он понял, что напрасно надеялся забыть ее. Ему было по-прежнему тяжело, порою невыносимо, счастье, что оставалось дело, труд, и, что бы там ни говорили, это помогало.

На кожаном диване в приемной, как всегда, развалились шоферы.

— ...Генерал на Черное море — я за ним, генерал на Украину — я за ним, генерал в Карелию — я за ним...

— Потихе нельзя? — сказала секретарша шоферам.

Казаков, сделав Алексею знак, чтобы он задержался, припал к телефону своим грузным телом и загудел в трубку:

— Нужна крытая машина для катализатора. Крытая машина для катализатора — это культурная работа. Это и есть твоя автоматизация. Что ты выгадываешь? Тонну катализатора ты наверняка иначе потеряешь, просыплешь и угробишь.

Закончив темпераментный инструктаж по телефону, Казаков медвежьей походкой подошел к Алексею, обнял его за плечи и вышел с ним из приемной, провожаемый взглядами шоферов.

— Послезавтра — суббота, вечером соберемся, отметим, — сказал Казаков.

Алексей полез в пиджак, вынул деньги и телеграмму. Его немедленно вызывали в Москву, в институт.

— Завтра надо собраться, — сказал он, — послезавтра я уезжаю. Я потому так спокойно слушал Терехова и соглашался на все эти выступления и помпу, что знал — послезавтра вечером меня уже здесь не будет. А завтра мы выпьем за наш несчастный каталитический крекинг и за тех, кто с ним помучился.

И Алексей сунул приятелю все деньги, которые у него были.

— Из цеха всех позовем, кто участие принимал.

— Дорогой, не учи меня. Всех позовем, — ответил Казаков.

Глава двадцать восьмая

Решили собраться в гостинице, где жил Алексей. Лидия Сергеевна обещала прийти помочь, распорядиться насчет вечера.

Клавдия Ивановна подвела Алексея к окну.

— Досточка хорошая здесь была, на ней сидели, в домино играли, лавочка такая. Кому-то помешала, унесли. Ну что ты скажешь!

Раздался звонок, Клавдия Ивановна поспешила в прихожую. Ее голос гневно зазвенел. Хлопнула дверь. Клавдия Ивановна вернулась в гостиную, ее совиные, нелепые глаза смотрели сурово. Она молчала. Потом доверчиво посмотрела на Алексея и сказала:

— Приходила моя сестра. Не прощаю ее.

Клавдия Ивановна опять помолчала, словно сомневаясь, имеет ли она право говорить о таком своем, сокровенном с Алексеем, приезжим человеком, столичным, государственным, какими были в ее представлении все командировочные в этой гостинице.

Алексей спросил:

— А что она?

— Уж такая худая, из плохих плохая. Скажите мне, Алексей Кондратьевич, почему так получилось? Может быть, из-за детства нашего. Как мы росли? Мама болела, отец с горя гулял. Может быть, через это она такая стала?

— Вы ведь не стали.

— Нечего обо мне говорить. Я справедливость чувствую. С сил вон тяжело глядеть на детишек у такой матери, Алексей Кондратьевич. Детство никто им обратно не отдаст, уж вырастут без детства. Самое что есть у человека невинное и без забот — это детство. Вчера я проходила мимо их дома. Они что-то сидят, так унывно гудят на окошечке. Бурлят что-то.

— Это вам, наверно, показалось, что они такие несчастные.

— Не-е-ет, Алексей Кондратьевич, не показалось мне ничего. Ответьте мне, почему ее в милицию не забирают, паразитку?

Клавдия Ивановна постеснялась продолжать, сдержала бранные слова. Только повторила:

— Не прощаю ее.

Алексей увидел из окна, что идет Лидия Сергеевна. Она остановилась перед подъездом и вымыла в луже ботинки. К луже сразу подошли еще две женщины и тоже стали мыть ботинки.

Клавдия Ивановна, взглянув на эту картину, похвалила:

— Чистоплотные. Мы с детства детей к этому приучаем.

К вечеру стол был накрыт, лежали приборы, накрахмаленные салфетки.

Алексей сунулся на кухню, увидел там Аню Казакову; она махнула ему рукой, чтобы убирался.

Он решил пойти на почту, позвонить в Москву. В своих частых разъездах ему необходимо было знать, что дома все в порядке.

Отца дома не было, а мать и «скандалисты» поздравляли Алексея, интересовались подробностями, что-то кричали веселое, выхватывая друг у друга телефонную трубку. Милый дом, где всегда радовались преувеличенно, а горе неумело скрывали.

Обратно в гостиницу Алексей шел медленно. Поразительно ощущение завершенной работы.

Он смотрел на дома и людей. И говорил себе: «Я еще вернусь. Я обязательно вернусь».

Странное дело, как все повторялось. То же он думал и говорил себе там, на степном заводике, после войны. Но он ушел, не вернулся, остался заводик.

Было обидно думать, что на этом заводе ему больше нечего делать. Работа кончилась, вот только праздник остался. А он ведь больше любил и умел работать, чем праздновать. По этой вот улице они один-единственный раз прошли с Тасей. Здесь, в этом городе, он потерял ее. Как долго не утихала боль, как долго не притуплялось чувство потери и не обрывалась до конца нить! Как она сейчас?

Когда Алексей пришел в гостиницу, гости почти все собрались, за исключением Терехова и Баженова, которые еще не приехали или уже не придут. «Будем надеяться, что Терехов не придет. Ему здесь делать нечего,— думал Алексей.— У него хватит ума не являться сюда. Но будет жаль, если не придет Баженов».

Лидия Сергеевна была среди приглашенных. Ее всюду всегда приглашали как милую, красивую и одинокую женщину.

С праздничным видом слонялись по комнатам Митя в рубашке с ярким галстуком, в новом костюме, разморенный ожиданием Рыжов, показывающий, что все-таки он начальник цеха, маленький улыбающийся Кресс, который никогда никуда не ходил, а тут пришел.

У Малинина, пожалуй, был самый торжественный и самый смущенный вид. То, что он даже сейчас изредка взглядывал на часы, было привычкой, хорошо знакомой Алексею. Привычкой ценить, экономить, жалеть время, которое проходит, уходит, которое преступно упускать, если хочешь сделать что-то, оставить свой след. Так уж приходится жить на свете одержимым людям, вечно спеша, недосыпая, недоедая, теряя иногда дорогих людей, и все только потому, что нет времени, дорого время. Это неизбежные жертвы ради того, что составляет цель жизни, ради любимого дела. И тот, кто пустился в этот путь, уж не жалеет ног, не боится устать и не боится ничего потерять.

Сели за стол, решив не ждать Терехова и Баженова. Алексей стоял на этом. Он был уверен, что Терехов не придет, не посмеет. Пусть он реализует успех, как ему вздумается, но здесь он лишний. А Баженов если придет, то не обидится, что сели за стол без него.

Выпили за тех, кто сейчас несет вахту в цехе, потом выпили за установку и пили за нее весь вечер. Чтобы работала на нынешней цифре, чтобы так держать здесь и по всей стране.

Вначале наливали рюмки, чокались, шутили и говорили только об этом. Вспомнили все: и ошибку Алексея, и несчастные короба, и горы катализатора, и недоверие к реконструкции.

Митя подошел к телефону, позвонил на завод, в операторную, и узнал, как обстоят дела. Цифра не спускалась, колебалась в незначительных пределах, даже поднималась. Митя объявил об этом, и все закричали, что это «здорово», «прекрасно», «ура».

«Радуемся, как будто не мы это сделали», — подумал Алексей и тоже крикнул «ура». И даже поднялся со своего места, подошел к Рыжову и поздравил его. Почему именно Рыжова? Потому что тот особенно сиял, совершенно позабыв, как недавно еще кряхтел: «Ох, реконструкция!»

Появились Терехов и Баженов. Они пришли с какого-то банкета.

Терехов был слегка навеселе и держался сверхпросто. Он все-таки пришел, показал демократичность, пожелал поздравить с победой.

Когда Алексей увидел Терехова и они посмотрели друг на друга, тот отвел глаза. Алексей подумал, что он бросил Тасю.

Терехов не смешался, не покраснел, его лицо ничего не отразило, он только поспешно и угрюмо отвел глаза.

Алексей громко заговорил с Лидией Сергеевной, подумав, что Терехов долго здесь не пробудет, и даже посмотрел на часы, словно отмечая время.

Терехов поздравил присутствующих, на мгновение послышались начальнические нотки в голосе, но тут же исчезли — с бокалом в мясистой сильной руке стоял, улыбался рубаха-парень.

Зашел разговор о пожарах. Недавно произошел нелепый и трагический случай. Человек вошел на стройке в помещение, где было темно, чиркнул спичкой и погиб от взрыва скопившихся газов.

— Бывает, раз в жизни и аршин стреляет, — сказал Рыжов, и Алексей вспомнил рассказы операторов о храбрости этого старого сгонщика.

Старик Скамейкин, который уже слегка опьянел, — он был все в тех же, только начищенных, сапогах и в длинном широком пиджаке — сказал:

— А как же, бывает, что и аршин стреляет. — И, глядя на Рыжова хитрыми, веселыми стариковскими глазами, протянул рюмку чокнуть с ним. Рыжов важно чокнулся со Скамейкиным.

Терехов подливал Лидии Сергеевне вино и смотрел на нее одобрительно. А Лидия Сергеевна краснела и краснела, потом поднялась со стула и, глядя на Терехова, ни с того ни с сего крикнула, как кричат на собраниях из рядов:

— Барин! Генерал!

Терехов засмеялся:

— Лидия Сергеевна, дорогая!

Лидия Сергеевна села с видом человека, исполнившего свой долг, ответила спокойно:

— Вы и есть барин, барин и генерал. Я должна была вам это сказать в порядке критики.

Терехов расхохотался, может быть чуть-чуть слишком весело. Все улыбались. Лидию Сергеевну на заводе любили, и то, что она сказала директору, что он барин, всем понравилось.

— А что, — с вызовом сказала Лидия Сергеевна, — я не отрицаю, Андрей Николаевич директор хоть куда. Импозантная фигура во главе завода — это неплохо. Но чересчур важный. Не могли бы вы обращать-

ся с нами, простыми смертными, попроще? А то мои девочки в лаборатории ваше имя шепотом произносят. Неужели вам, коммунисту, лестно?

— Разве я такой важный? — со смехом спросил Терехов.

Лидия Сергеевна громко продолжала:

— Вот у меня в Баку директор был, сквернослов ужасный. Ругался прямо-таки матом. Вообще был грубоватый человек, но добрый и простой. У нас на заводе все его любили. Мы каждое утро, как положено, собирались у него на оперативках. Помню, однажды шла оперативка, а меня он не видел из-за огромного фикуса, который стоял у него в кабинете. Решил, что женщин на оперативке нет. И за что-то там ругнулся, да как! Я сжалась, притаилась, а когда выходили из кабинета, он меня увидел. Выбежал к секретарю, заорал: «Убрать эти цветы к чертовой матери!»

Лидия Сергеевна оглядела стол, посмотрела, слушают ли ее. Ее слушали.

— Между прочим, он ругался, а это не задевало и не оскорбляло человеческого достоинства,— со значением сказала Лидия Сергеевна. Она повернулась к Терехову своим красивым лицом и улыбнулась. — Понятно?

— Такая тонкая притча и такая тонкая критика...— Терехов развел руками и сощурил глаза.— Тяжела ты, шапка Мономаха!

— А что? — насмешливо спросила Лидия Сергеевна.— Правда, хорошо, что нефтяную академию закрыли, а то меня за критику начальства теперь бы туда рекомендовали годика на два поучиться. Правда, Виктор Михайлович? — обратилась она к Баженову.

Баженов ответил:

— Что вы, Лидия Сергеевна! Я бы первый протестовал. Мы вас в обиду не дадим.

— У нас начальником лаборатории до меня был один товарищ,— продолжала Лидия Сергеевна, улыбаясь.— Была у него одна особенность — он записывал, что люди говорят. Каждый раз, когда я его ругала, он записывал в записную книжку. Записывал, как я его на оперативке назвала, что про него на партийном собрании сказала. Один раз я его назвала растяпой или раззявой. Он записал. А потом, помню, товарищ Баженов ему сказал: «Ты неспособный и ленивый, не можешь работать начальником лаборатории и можешь это записать в своих записках».

— А я очень боялся, что он запишет и перечислит, как я его называл,— засмеялся Казаков.

Громче всех смеялся Кресс. Он любовался присутствующими здесь за столом людьми, переводил блестящие глаза с одного на другого, и на его лице было написано: «Какие вы все молодцы!»

«Но ты сам больше всех молодец»,— подумал Алексей, глядя на оживленного, раздуряившегося Кресса, и встал, протягивая рюмку.

— За вас!

«Вот обида,— подумал Алексей, с нежностью глядя на Кресса,— нет во мне восточного этого умения произносить тосты. А уж Кресс не знаю каких тостов заслужил...» И так как в голове у Алексея слегка шумело и ему обязательно хотелось показать Крессу, как он его любит и благодарен ему, то он встал со своего места и пошел обниматься с маленьким инженером.

Лидия Сергеевна крикнула:

— Хочу поднять тост! За человека, которого мы полюбили. За нашего заводского человека, Алексея Кондратьевича! За его талант!

— Чтобы не уезжал в Москву, его место у нас на заводе,— сказал Малинин.

— За нашего друга,— сказал своим грубым голосом Рыжов,— который все-таки своего добился. И нам помощь оказал. Жаль расставаться, от сердца говорю.

Получалось, что Алексея чествовали. Он был смущен и растроган и все повторял:

— Спасибо, друзья, спасибо, а я за вас. Я за вас!

И ходил со всеми обнимался.

— А мы за тебя! — кричал ему добрый Казаков.

— Товарищ Изотов для завода много сделал,— сказал Терехов, полагая, видимо, что он должен это сказать,— выпьем за это.

Он произнес этот фальшивый тост, понимая хорошо, что Алексей уезжает и что больше они, бог даст, не встретятся. Для Терехова все было кончено и перечеркнуто. Уезжал человек, который должен был его ненавидеть, завершена реконструкция. Алексей уезжал, но люди, с ним работавшие, оставались, и Терехов оставался. Требовался тост, и он его произнес.

На этот тост Алексей не ответил и вина не выпил. А немного погодя встал и сказал:

— Дорогие друзья, не умею говорить за столом, всегда об этом жалел. И вообще говорить не умею. За дружбу не благодарят, сами знаете. А то, что мы с вами сделали, имеет большое значение. Поэтому за вас выпьем.

— А я вот еще что хочу сказать,— заговорил Баженов,— вот что. Мы сейчас с Андреем Николаевичем сюда с банкета пришли. Принимали делегацию, гостей из разных городов, за гостей тосты поднимали. А здесь мы сидим вроде бы у самих себя в гостях. Это наш праздник, и тосты за нас. И победа эта наша. И победа немалая. Выпьем за нее!

— За самих себя как будто и неудобно пить, да уж приходится. Пей, Скамейкин,— сказал Рыжов весело.

— И Алексей Кондратьевич наш,— продолжал Баженов.— Я за тебя, Алексей Кондратьевич, тоже выпью. Мы с тобой давно знакомы. Хочу пожелать тебе: не сиди в Москве, в институте. Там тебе простору будет мало. Ты не кабинетный человек, тебе пошире поле деятельности надо. Бери себе опять завод хороший...

— А на самом деле, Леша, что ты дальше делать собираешься? — спросил Казаков.— Какие планы у тебя?

— Да предлагают мне главным инженером на хороший завод, предлагают...

— Так чего ты думаешь?

— Я не думаю, я отказался.

— Значит, не хочешь свой кабинет иметь? Значит, опять в чужой приемной сидеть будешь на диване с шоферами и ждать?

— Опять буду,— весело ответил Алексей.

Терехов сдержанно попрощался и ушел. Он был здесь лишний, его подчиненные не скрывали этого, они подчеркнуто чествовали инженера Изотова. Им пренебрегали. Что-то он проиграл во всей этой истории с Изотовым, он чувствовал, но что — не понимал и не хотел понимать. Он был из тех людей, которые отмечают неприятное.

Он понимал, что Казаков, его старый приятель, перестал с ним встречаться вне завода и играть в преферанс тоже из-за этого Изотова. Хорошо, что сегодняшняя неприятная встреча была не встречей, а прощанием.

Терехов ушел.

Малинин украдкой посмотрел на часы и поднялся. Алексей громко спросил через стол:

— Удираешь?

Малинин приложил палец к губам.

— Не хочу портить компанию, Алексей Кондратьевич, пойду до дому. У меня ведь экзамены скоро.

— Ты что? Какие экзамены? Мы с тобой сдали экзамен.

— Давай, давай не дури,— вмешался Рыжов,— а то заучишься. А когда жизнью пользоваться будешь?

— Смотря в чем видеть пользование. Кому баба дороже всего, кому рюмочка с бутылочкой. Кто просто так погулять любит, на солнышке полежать брюхом вверх.

— Что вы его слушаете? — закричал Митя.— Все врет, он к своей Кале драгоценной торопится.

— Счастливый человек, если к драгоценной торопится,— сказал Баженов.— Ты, Митя, еще мал, вырастешь — поймешь.

— А вот, Алексей Кондратьевич, ты холостой, Лидия Сергеевна у нас холостая, взяли бы да поженились. А мы бы на свадьбе погуляли,— вдруг сказал Рыжов.

— У нас бы тогда остались, по месту жительства одного из супругов,— вставил Малинин.

Все закричали: «Правильно!», а Скамейкин сказал: «Горько».

Лидия Сергеевна нахмурилась, посмотрела на Алексея милыми, чистыми глазами, притененными рыженькими ресницами, вздохнула и сказала:

— Нет, друзья, Алексею Кондратьевичу другая нужна, не я. Выпьем за нее.

— Спасибо, Лидия Сергеевна,— негромко сказал Алексей,— наверно, стоит пожалеть, что это не вы.

И грустно улыбнулся, вспомнив о той, которая была ему нужна.

Сидели еще долго, взрослые, много поработавшие люди, слегка охмелевшие, объединенные радостью свершенного дела.

А Казаков несколько раз еще крикнул Алексею:

— Значит, опять будешь сидеть в приемной? Значит, опять то же самое? Вечный скиталец!

Глава двадцать девятая

Неожиданно позвонил Терехов и сказал, что ждет Тасю на улице Горького. Тася думала, что он придет не раньше чем через месяц. Но вот он звонил, и по его голосу она поняла, что он весел, чем-то приятно возбужден. В его голосе было ликование, относившееся к самому себе, радость, относившаяся к Тасе, и подъем, опьяненность, которые обычно были связаны с его служебными делами. Какой-нибудь успех или заманчивое предложение плюс коньяк, Москва, гостиница, свобода.

По разговору Тасе показалось, что Терехов был не один. Вероятно, мужская компания, друзья Терехова, у него было много друзей в Москве, знакомые без женщин, а если с женщинами, то не с женами. Не считая того летнего пикника, Тася всегда встречалась с друзьями Терехова, когда они были без жен и о женах и детях в ее присутствии не говорили, как будто их не существовало. Тася не обращала внимания на это, ее это не задевало, она говорила: «Наплевать». Но поскольку она очень настойчиво говорила себе, что ей наплевать, то ей самой было приятно, как глубоко это ее задевает.

«Наплевать, наплевать», — шептала она, причесываясь перед зеркалом. Она, всегда мечтавшая жить далскими и большими целями, теперь мерила короткими отрезками — сегодня, завтра.

Она знала, что изменила себе, но глушила это сознание, как глушат боль наркотиками. Главное — не думать. Сейчас, например, надо было одеться и причесться получше. Терехов любил, чтобы она хорошо выглядела, он обращал на эти вещи внимание. Он и сам старался следить за модой. У него не было для этого времени, он явно не поспевал, его пиджаки и брюки были длиннее и шире, чем то диктовали журналы мод, но он смотрел с интересом на франтовато одетых мужчин и спрашивал: «Это что, модно? Это модно, да?»

Тася надела черное платье, которое Терехов находил слишком скромным; подумав, сняла и надела шерстяное розовое — оно больше нравилось Андрею Николаевичу. «Черное — невидное», а он любил, чтобы было видно.

Тася была дома одна, отца неделю назад увезли в больницу.

Она позвонила в справочное больницы, ей ответили, как отвечали все дни, что состояние отца прежнее, «среднее». А это значило, что ему по-прежнему плохо.

— Все будет хорошо,— прошептала Тася, повесив трубку. Чем ей было хуже, чем меньше она верила, что будет хорошо, тем чаще производила она эти слова.

Была весна, самое счастливое время.

Андрей Николаевич ждал ее возле Центрального телеграфа с каким-то низеньким рыжеволосым человеком. Они оживленно и, очевидно, шутливо разговаривали и не заметили приближения Таси. А она остановилась в нескольких шагах от них, чтобы посмотреть на любимое лицо, твердое, смуглое, насмешливо-подвижное, притененное кепкой. Андрей Николаевич повернулся, почувствовав на себе взгляд, сделал стремительный шаг к Тасе, обнял, поцеловал, не стесняясь товарища, потом познакомил:

— Тасенька, это главный инженер одного завода, Герман Иванович.

Андрей Николаевич держался непринужденно и просто, словно они сегодня утром расстались. Ни о чем не спросил, только подбадривающе пожал руку Тасе, мол, и ты держись так же, все нормально, все прекрасно, не робей, свои люди, все будет хорошо. Но она не попадала в лад, смущалась и молчала.

— Герман Иванович не простой главный инженер. Я тебе потом расскажу, Тасенька, чем он знаменит. Он знаменит славою Герострата,— шутливо говорил Терехов, и она напряженно улыбалась. Она не любила этого шутливого тона, чувствовала, что шутливостью Терехов бронируется от чего-то. Тася сразу увидела, что сегодня он решительно настроен на роль крупного директора, сановито-добродушного.

Его товарищ продолжал разговор:

— Куда годится, директор сидит у телефона. На молочи разменивается. Рабочий день у директора должен быть три часа, а остальное время он должен сидеть взаперти, читать новинки, книжечки читать, и чтобы никто, боже упаси, ему не мешал.

— А люди? А о людях кто думать будет? — Терехов опять сжал локоть Таси.

— Не наша это задача — строить домики. К тебе не идут на прием восемьдесят — девяносто человек...

— Идут.

— И очень плохо. К моему директору тоже идут. Вот почему директор не в состоянии заниматься технологией. Восьми часов не хватает, надо восемнадцать, потому что директор и главный инженер стараются взять на себя всю ношу. А это и неправильно. Я был в Америке до вой-

ны, там на один завод пригласили крупнейшего специалиста на должность главного инженера. Этот главный инженер приходил на завод два раза в неделю. Ему дали домик, садик с розами и за то, что он сидит у себя, нюхает розы, ему положили приличное жалование и только в сложных случаях обращаются за советом. При этом на заводе осваивают новую технику, новые процессы...

— Эх ты, низкопоклонник,— шутливо сказал Андрей Николаевич и погрозил пальцем,— ты это у меня брось! Правда, Тасенька?

Тасенька что-то промямлила.

— Что же мы стоим, товарищи, идемте, нас ждут.

Тася вопросительно посмотрела на Терехова.

— Недалеко, рядышком, вон в том большом доме. Там несколько старых друзей собрались, боевые ребята, тебе понравятся. У нас, понимаешь, нечто вроде юбилея. Мы решили собраться частным порядком. А квартира эта,— Терехов рассмеялся,— эта, понимаешь, квартира — нашего зампреда председателя совнархоза. Он теперь, бедняга, у нас живет, а квартира пустует — временно, конечно.

Угадывалось едва заметное злорадство в этом сочувствии. Тася пристально исподлобья посмотрела на Терехова. Он понял ее взгляд и ответил с вызовом, прикрытым все той же шутливостью:

— Я всегда презирал людей, которые цепляются за московские комнаты, сидят здесь, бумаги перебирают, бумаги пишут, и никаким, понимаешь, дьяволом их отсюда не вытолкнешь. А жизни на просторе боят-ся. Химики, называется.

В большой комнате со следами заброшенности, с распахнутыми окнами, не уничтожившими зимнего нежилого запаха, за столом сидело четверо мужчин. Они шумно и нетерпеливо приветствовали вошедших: «Наконец-то!», «Где вы пропадали?», «Налить всем штрафную!» Здесь пили и веселились мужчины.

Литровая банка с черной икрой стояла в центре стола, на блюде горой лежала привезенная издалека медово-коричневая вобла, стояли бутылки коньяка, водка, сухое вино. Ножи и вилки были положены на подносе навалом, как в столовых самообслуживания.

После недлинной церемонии знакомства, когда Тася особенно почувствовала неуместность своего прихода сюда, где собрались старые друзья, которые ее звать не знают, Терехов сказал:

— Тасенька, пробуй воблу и икру, ты такой никогда не ела, это Вячеслав Игнатьевич с Эмбы привез.

Вячеслав Игнатьевич, сухошавый человек с бледным, изможденным и добрым лицом, ловкими маленькими руками стал выкладывать черную икру из банки на тарелку Тасе.

— Уж ты молчи,— сказал Вячеслав Игнатьевич,— ты молчи.

— Все вы хороши,— сказал очень толстый человек. Он, видимо, изнемогал от жары, хотя в квартире было прохладно. Толстяк сидел без пиджака и все оглядывался на Тасю, как будто никак не мог решить, надо ему надевать пиджак или можно не надевать. Все за столом казались смущенными, кроме рыжеволосого Германа Ивановича, который пришел вместе с Тасей и Тереховым. Герман Иванович прохаживался вокруг стола, потирал веснушчатые руки и кричал, показывая, что он намерен плотно закусить.

— Я знаете откуда недавно прибыл,— обратился он к Тасе,— есть такое место — порт Тикси, Париж Арктики. Вот когда поживешь в этом Париже, начинаешь ценить все другие места, в особенности Москву. Да, послушайте, Тася... Тася...

— Таисия Ивановна.

— Таисия Ивановна, а где можно купить пианино?

— Что? — удивилась Тася. — Не знаю.

— Пианино, пианино, — настаивал Герман Иванович. — Пи-а-ни-но.

— Дай человеку закусить, — сказал Андрей Николаевич. — Тасенька, не слушай его.

— Д-да-а, — вздохнул Вячеслав Игнатьевич и пошевелил бровями-щетками, — а все ж таки мой климат зверский, как хотите.

— Ты все плачешься, все плачешься, — сказал толстяк, — тебе хуже всех.

— Нет, тебе хуже, — язвительно сказал Вячеслав Игнатьевич и вздернул брови-щетку.

— У меня точно так же, — закричал толстяк, — только ты всегда любимчик был в главке, придешь, начинаешь плакать: ах я бедный, ах я отдаленный. А я такой же бедный и такой же отдаленный.

— Ты куркуль, вот ты кто, — сказал Вячеслав Игнатьевич.

Польщенный, как будто ему сказали комплимент, толстяк захохотал. Нахотавшись, спросил:

— Почему это я куркуль, дорогие товарищи? Интересно знать, а?

Вячеслав Игнатьевич сказал, обращаясь ко всем:

— От он прижимистый. У него и главный механик такой. У него главный механик лопаты на чердаке спрятал и забыл... спрятал и забыл...

Толстяк, довольный, хохотал.

— Конечно, нам приходится прятать да припасать, не то что тебе... Ты поноешь в обкоме, тебе и дадут. Ты такой — одень меня, укрой меня, а усну я сам. А я, товарищи, в таких же условиях нахожусь, только меня никто не жалеет...

— Ты мне скажи, у тебя трава растет? — с каким-то особенным выражением лица проникновенно спросил Вячеслав Игнатьевич.

— Ну, растет, — ответил толстяк, глядя на окружающих так, как будто этот ответ был неслышанно остроумным, и повторил: — Ну, растет.

— Вот то-то, что у тебя трава растет, а у меня не растет, — с печальным торжеством объявил Вячеслав Игнатьевич и рассмеялся, что так ловко посрамил товарища. На самом деле, какое могло быть сравнение, когда в его местах всю траву выжигает, а у толстяка поля и луга вокруг цветут.

Они еще некоторое время препирались — «у тебя трава растет, а у меня не растет» — под дружный смех присутствующих.

— Ты любимчик в главке!

— А ты куркуль, ох, куркуль, ты мне какие трубы послал, когда я тебя попросил?

Толстяк победоносно оглядел стол.

— А что же вы думаете, дорогие товарищи, что я хуже себе оставлю, а лучше соседу pošлю, что я такой глупый, по-вашему? Что я идиот? На кого ни доведись...

— Тебя за прижимистость небось с ярославского-то завода и сняли! — Нанеся противнику такой удар, Вячеслав Игнатьевич принялся усиленно потчевать Тасю икрой.

— Его не снимали, а культурно передвинули, — сказал Андрей Николаевич.

Все смеялись, и Тася смеялась, два директора продолжали переругиваться. Герман Иванович принял участие в этом споре, высказавшись в том смысле, что теперь плохо и тому и другому: «совнархоз не главк», «от совнархоза лопаты на чердаке не спрячешь».

Терехов смеялся своим обаятельным мальчишеским смехом, но в споре участия не принимал. Те двое от всего сердца ругали друг друга и хохотали. Андрей Николаевич дипломатничал. Даже в этом шутивном, ничего не значащем споре дипломатничал, но Тася не заметила этого. Она любовалась его оживлением и была счастлива.

— Насчет пианиночка так мне ничего и не можете сказать? — укоризненно спросил Тасю Герман Иванович.

Она улыбнулась и пожала плечами.

— Таисия Ивановна — ученый человек, — сказал Терехов, — ты ее про современное состояние науки спрашивай, а ты про что? Бестактный товарищ.

Раздался звонок, пришел еще один гость, в украинской расшитой рубашке и высоких сапогах, бритоголовый, с дубленным морщинистым лицом, сказал «мое почтение» и остановился в дверях.

— Садись, садись с нами, Дмитрич, — пригласил его толстяк, — выпей, расскажи, что видел.

— Ну, я все обошел, — сообщил вновь пришедший и сел возле толстого директора. — Все как есть.

— Ну и какое твое впечатление? — спросил Терехов и шепнул Тасе: — Это его рабочий-ремонтник, — Терехов кивнул на толстого директора, — он его привез как передовика. Вообще старый хороший рабочий.

— Я так скажу, Никанор Ильич, не лучше нашего. Я все обошел. И как же они чистят трубы? Как при царе Иване. Колпаки сьмают руками, теплообменники сьмают руками.

— Да ну? — Довольный толстяк покатился со смеху.

— Он на подмосковный завод ездил, по обмену опытом, — негромко пояснил Тасе Терехов.

— Не верите! В этом-то деле я петрюю. — Рабочий постучал себя по лбу. — Вальцовка, правда, у них электрическая.

— Ну и что? — спросил его директор.

— Фасону много, а так-то хуже нашего.

— Чем же?

— Ключи сами делают. Откуют шестигранник, приварят ручку — вот тебе и ключ.

— Да бу-удет тебе...

— Не верите! Видимости очень много. У нас так не особо форсисто, но порядку больше. Верно, Никанор Ильич.

— Вот лесь непкрытая, — засмеялся Терехов, — а, Дмитрич?

— Не лесь, — с достоинством отозвался Дмитрич, — ничего подобного, Андрей Николаевич. Мне ребята московские говорят: иди выруби прокладку, а я кувалду твою взял бы и закинул. Инструмент — первое дело.

— Митричу штрафную, — сказал его директор.

Дмитрич выпил, закусил парниковым розовым помидором.

— Мы с Митричем скоро тридцать лет вместе на заводах на разных работаем, где только не побывали... Он вот знает, какой я директор...

— Упрямый бамбук! — сказал Вячеслав Игнатьевич, светясь простодушной наигранной улыбкой. — Вот какой ты директор, я знаю, спросите меня.

Ему хотелось продолжать игру. Все дружно засмеялись.

— Но резервы мощности они вскрывают, это надо отдавать, — сказал Дмитрич, все продолжая о подмосковном крекинг-заводе, — и автоматикой занимаются, это от них не отымешь.

— У нас сейчас очень много талых вод,— задумчиво сказал толстый директор, обращаясь ко всем и ни к кому.

— Такой сегодня год, уж Урал — ручей, воробей перейдет, а на одиннадцать метров поднималась вода,— поддержал разговор Дмитрич.

Терехов шепнул Тасе:

— Не скучай.

Но она не скучала. Андрей Николаевич был рядом с нею, она не могла скучать. До остальных ей не было дела.

Андрей Николаевич спросил у нее:

— Что новенького в театрах столицы?

— Когда я жил в Сибири, то там приезжающие артисты обязательно считают своим долгом петь про священный Байкал,— сказал Никанор Ильич, толстый директор.

— А в Башкирию когда приезжают, исполняют танец с саблями, это уж обязательно, это для Башкирии главный номер,— засмеялся Герман Иванович и по ассоциации опять вспомнил про пианино, спросил: — А что, все-таки очень трудно купить пианино?

— Не знаю,— ответила Тася, не повернув головы.

— Я должен быть рядом,— шепнул ей на ухо Терехов,— я люблю тебя.

Тася залилась краской, оглянулась, не слышал ли кто, но за столом шумели и смеялись.

— ...Есть инженер-проектировщик, а есть инженер-копировщик.

— Ох, интересно у нас там жизнь протекала! — Дмитрич вспоминал строительство завода в Орске.

— ...У него нефть в крови...

— Флаг висит — душа на месте,— сказал Дмитрич, наливая себе стопку водки. Он и его директор пили водку, остальные — вино и коньяк.

— Кто он? — спросила Тася у Терехова, показывая на улыбавшегося ей курчавого человека.

— Русаков — директор одного института на Урале.

— А тот? — Тася показала глазами на молчаливого гостя.

— А-а,— Терехов засмеялся,— тоже директор одного завода. Знаменит тем, что в любых условиях, в любое время дня и, разумеется, ночи может спать. Может сидя спать, может стоя спать, такой вот парень. Я уверен, что он и сейчас больше спит, нежели бодрствует. Беляев, ты спишь?

Беляев посмотрел на Терехова сонными глазами и спросил неожиданно:

— Споем?

— У него потрясающий голос,— шепнул Терехов.

И началось пение. Беляев высоким сильным голосом пел арии из опер, и все сходились на мнении, что он родился оперным певцом. Дмитрич тоже оказался певцом, действительно прекрасным, пел русские народные песни. У него был небольшой голос, и была в нем неправильность, голос был как будто надтреснутый, по-стариковски дребезжащий, но пел Дмитрич приятно, особенно, по-своему, пел с убеждением, что песней все можно высказать: и любовь, и веселье, и тоску.

Однако Беляев со своим серьезным классическим репертуаром оттирал Дмитрича на задний план. Песни Дмитрича трогали только толстого директора и особенно Тасю. Ей казалось, что такого душевного пения она никогда не слышала.

Терехов был в восторге от Беляева и восклицал:

— Ну как поет! Ну как поет, подлец! За такое пение...

Не придумав, что можно сделать за такое пение, он махнул мясистой рукой.

— Спой еще, друг, просим, просим!

Все просили, и Беляев продолжал петь арии. Потом стали петь хором и тоже пели очень долго.

— Убежим,— шепнул Тасе Терехов, потом просительно добавил: -- Немного погода.

Было видно, что ему не хочется уходить от компании. А «убежим» было просто шутливым словом, которое они часто употребляли раньше, когда оно так много значило.

Стали вставать из-за стола, звонить по телефону, и начался тот беспорядок, который бывает, когда гости уже сыты и пьяны, но расхотеться не хотят. Кто-то брэнчал на рояле «Подмосковные вечера», кто-то отстукивал сиротливо одним пальцем пьяного «чижика-пыжика». Зашумела вода в ванной, как будто там стали мыться, два директора опять заспорили, но уже им было лень спорить, и они замолчали. Дмитрич похрапывал на диване.

«Директор одного института» Русаков упорно дозванивался кому-то по телефону, уговаривал приехать и улыбался телефонной трубке так же ласково и одобрительно, как только что улыбался Тасе.

— Как я живу без тебя, не понимаю,— произнес негромко Терехов, и впервые Тася вдруг остро ощутила пустоту этих слов, овеванных коньячным дыханием. А между тем это были те самые слова, от которых у нее останавливалось сердце.

— Тасенька, что с тобой сегодня? — спросил Андрей Николаевич, и его разгоряченное благодушное лицо вдруг стало злым.— Ничего не понимаю. Всегда ты улыбаешься, а сегодня... что с тобой сегодня? Знаешь секрет? Когда я думаю о тебе, вспоминаю, прежде всего вспоминаю твою улыбку, потом глаза... потом все. Но главное — твою улыбку. Немедленно улыбнись.

Тася знала, что для Терехова она существует выдуманная, прекрасная, с золотым характером, веселая, «сама тактичность». «Ты золотая. У тебя золотые волосы и золотой характер». Молодая и безответная. Выдуманная была еще моложе, чем Тася, выдуманная была глупее, дурашливее.

— Никогда ничего не попросит, не потребует, не скажет,— восхищался Андрей Николаевич, и она ничего не просила, не требовала и не говорила.

Увидев однажды, что Тася не идет, а бежит ему навстречу, Андрей Николаевич стал восхищаться, что она «всегда бегом, девчонка». Оставалось только начать прыгать через скакалочку. Но до этого не дошло. Андрей Николаевич не вспомнил про скакалочку. Во всем остальном Тася старалась проявлять ту ребячливость, которая так нравилась Андрею Николаевичу, и только иногда спрашивала себя со страхом, как стать перед ним настоящей, самой собой. Но боялась. Боялась из веселой и вечно улыбающейся стать грустной, из безответной — решительной, непокорной, то есть такой, какой была всегда. Покорность же, по утверждению Андрея Николаевича, была самым ценным женским качеством.

«Спасибо тебе за то, что ты все понимаешь и молчишь»,— говорил ей иногда Андрей Николаевич, и эти слова трогали Тасю.

Она любила Андрея Николаевича и хотела только одного — быть с ним рядом. Она призывала на его голову несчастья, чтобы разделить их с ним и облегчить их ему. Она мечтала, чтобы его сняли с его гран-

диодного завода и послали куда-нибудь далеко, в самую глушь, на рядовую работу. Может быть, думала Тася, его жена не захочет поехать с ним, дорожа квартирой, благополучием. Тася мечтала о барачке без электрического света, о снежных заносах, о бездорожье. Пусть бы не было еды, крыши над головой, денег, только жить вместе, заботиться о нем, выносить его плохое настроение, помогать ему во всем... Ничего не будет, она понимала. Ничего не может быть.

— Спой твою песенку,— попросил Андрей Николаевич,— тогда я увижу, что ничего не случилось и ты еще любишь меня хоть немножко.

Тася покачала головой.

— Прошу тебя, Тасенька, здесь все нефтяники, им очень понравится твоя песенка.

— Нет, нет.

Тася измученно улыбнулась: «Я тебе одному потом спою!» Песенка была веселая, в ней были такие слова: «Не страшны, не страшны нам пожары, а страшна паника при пожарах».

Русаков, «директор одного института», как называл его Терехов, продолжал звонить по телефону. Он держал перед собой раскрытую растрепанную записную книжку.

Терехов посмеивался, прислушиваясь к его переговорам. Доносились слова: «Возьмите такси, девочки, это близко». Он звал каких-то женщин приехать.

Вскоре раздался звонок. Русаков бросился встречать гостей. Его переговоры увенчались успехом. Из прихожей доносились смеющиеся женские голоса.

Держа двух женщин под руки, Русаков вернулся в столовую. Тася ожидала, что войдут вульгарные, крикливые, накрашенные женщины с папиросами в зубах. Но вошли две молоденькие женщины, одна с университетским значком на строгом черном платке. Русаков представил их коротко — Люка и Зоя. Люка была брюнетка с иссиня-черными волосами, заплетенными в тугие косы, у нее был ярко выраженный азиатский тип лица. Она оглядела присутствующих и села на стул прямо, сложив смуглые руки на коленях. Ей могло быть и тридцать и двадцать лет. Вторая, Зоя, была рослая красавица с пышными, высоко причесанными пепельными волосами, с огромными серо-зелеными глазами на нежном, безупречно красивом лице. Эту безупречность единственно и можно было поставить ей в упрек. Сев на стул, она закинула ногу на ногу — у нее были длинные худые ноги — и лениво проговорила:

— Я голодная.

Русаков засуетился, предлагая закуски. Андрей Николаевич, пристально разглядывая Зою, протянул ей банку с остатками икры. Когда Зоя плотно поела и выпила, она сказала:

— Хочу курить.

Андрей Николаевич поспешно вытащил портсигар. Зоя сперва посмотрела на Терехова, потом на раскрытый портсигар, качнула пушистыми волосами и обратилась к Русакову:

— Принесите мое пальто.

— Слушаюсь, Зочка.

Он принес большое каракулевое пальто, Зоя вынула из кармана сигареты.

— Муж приучил меня курить только эти. Другие не могу.

«Она замужем?» — с удивлением подумала Тася.

В последующие пять минут Зоя еще раз два упомянула своего мужа, полярного летчика. Русаков очень суетился вокруг Зои, но она явно обратила благосклонное внимание на Терехова. К нему протягивала

руку с погасшей сигаретой, ему два раза напомнила о своем муже, находящемся сейчас на Севере, ему предложила с нею выпить. Терехов с готовностью налил себе рюмку сухого вина, сказал:

— За знакомство с красивой женщиной. Правда, она невероятно красива, Тасенька?

Тася промолчала. Она старалась сохранять спокойное лицо, только с удивлением и страхом смотрела на Терехова. Как он будет вести себя дальше? Что-то подсказывало ей, что сегодня он будет беспощадным. Таким, каким она его еще не видела.

Терехов смеялся. Он чокнулся с Зоей, сказав: «Смотрите в глаза, уговор пить до дна». Но та, очевидно, не нуждалась в подобном уговоре, она и так смотрела на Терехова откровенно, глаза в глаза, и пила до дна. При этом она сообщила, что «хорошо» пить научил ее муж. До дна и без понуканий пила и вторая гостья, Люка.

Директор-толстяк с Дмитричем ушли до прихода женщин. Вячеслав Игнатьевич поднялся и попрощался почти сразу, как они пришли. Гость с голосом оперного певца спал в спальне отсутствующих хозяев квартиры.

Герман Иванович подсел к Люке. Они оживленно и тепло, как старые друзья, стали говорить о магазинах. «Любовь к магазинам сблизжает», — с грустной иронией подумала Тася. Герман Иванович сиял, его рыжая голова тряслась от удовольствия.

Зоя расспрашивала Андрея Николаевича о заводе, о том, есть ли поблизости река.

— Нефтеперерабатывающий завод не может без реки, — отвечал Андрей Николаевич, и в его голосе звучали знакомые Тасе нотки восхищения, когда он говорил о своем заводе. Эту черту Тася особенно любила в Терехове. Какими бы громкими словами ни говорил Андрей Николаевич о заводе или о химической промышленности, его пафос был всегда искренен. Только сегодня в хвастливых словах о заводе, о городе Тася уловила фальшь, нескромность.

Зоя внимательно и серьезно слушала, что говорил ей Андрей Николаевич, слегка покачивая ногой в узкой туфле. Она производила впечатление немного ленивой, неповоротливой, как все высокие люди, и даже мечтательной женщины. Это усиливало ее очарование. За теми исключениями, когда она отдавала короткие капризные команды: «хочу курить», «душно, откройте форточку», «быстренько попить», она разговаривала дремотным, ленивым голосом, сидела развалиясь, размагниченная, и только по случайным, быстрым, настороженным взглядам, которые она исподтишка бросала на Тасю, можно было определить, что она вполне мобилизована, а все это небрежное и ленивое лишь манера держать себя, кокетство.

Андрей Николаевич не спускал с Зои восхищенных глаз и только изредка взглядывал на Тасю, приглашая и ее полюбоваться красотой Зои.

— Сколько вам лет? — спросил Терехов.

— Двадцать два, — ответила Зоя, — я в семнадцать лет вышла замуж.

— Черт возьми, — с восторгом сказал Андрей Николаевич.

Русаков выглядел очень рассерженным. Он подошел к Тасе.

— Ну-с, мне ничего не остается, как начать ухаживать за вами.

— Ни в коем случае, — резко и громко сказала Тася.

Терехов удивленно посмотрел на нее. Так смотрят на чужих, раздражающих людей.

— Вот красивая! — продолжал шумно восторгаться Андрей Николаевич и уже откровенно зло посмотрел на Тасю за то, что она не поддер-

живала его восхищения. Тася сидела потрясенная, не понимая, не в силах понять, что происходит, и больше не пыталась сохранять любезное и безразличное лицо.

— Ну хорошо,— сказал Андрей Николаевич тоном, каким продолжают начатый разговор; он и продолжал вслух тот молчаливый разговор-сговор, который велся между ним и Зоей.— Ну хорошо, а когда должен приехать ваш муж?

— Еще не скоро,— со слишком большим сожалением ответила Зоя. Она то раскрывала свои серо-зеленые глаза, то почти закрывала, у нее были длинные темные ресницы. Тася с замирающим сердцем следила за нею. Зоя ничего особенного не делала, не говорила, но все-таки было понятно, что она разделяет восхищение Терехова собою и восхищается им в свою очередь.

В конце концов что за дело было Тасе до этой Зои, она могла держать себя как угодно, это Таси не касалось. Но Андрей Николаевич, для чего он устроил ей такую пытку, для чего и за что? У него было жестоко-веселое выражение лица, его пустые веселые глаза смотрели мимо нее. «Неужели могло так внезапно и случайно рухнуть все?» — спрашивала Тася себя. Нет, не могло. Так не бывает. Она смотрела на Терехова, и его жестоко-веселое лицо говорило ей, что так бывает и так случилось. И все-таки, даже глядя на этих двух так быстро очаровавшихся друг другом людей, слушая их скользящий, исполненный недоумков разговор, она не верила этому. Нетрудно было понять, что они на глазах у всех договариваются о свидании, но она не понимала.

— А завтра что? Завтра воскресенье, никто не работает.— Это говорил Андрей Николаевич.

— Разве завтра воскресенье? Я даже не знала.— Это отвечала Зоя ленивым, сонным голосом.

— Но теперь вы знаете,— говорил Андрей Николаевич.

— Теперь знаю, ну и что?

Андрей Николаевич не ответил, посмотрел на женщину замороженным и завоораживающим взглядом, резко чиркнул спичкой о коробок и поднес ей. Он что-то прошептал, пока она прикуривала. Зоя произнесла громко:

— Я не знаю,— и посмотрела на Тасю с состраданием убийцы.

Тася засмеялась и заговорила с Русаковым о спортивных новостях. Русаков ответил ей охотно, его улыбка означала: «давно бы так». Но Тася не выслушала его ответа, отвернулась.

Вероятно, все-таки лицо ее выражало такое потрясение, что этого нельзя было не заметить. Даже Герман Иванович участливо и сердечно сказал:

— Значит, вы научный работник? Вот замечательно! — Помолчав, добавил негромко: — Не надо расстраиваться.

Тася с ужасом посмотрела на него. Что он говорил? В чем утешал?

Только Андрей Николаевич не замечал ничего и не хотел замечать. Он налил себе рюмку вина, объявил, что пьет за красоту, ради которой мужчины совершали и будут совершать безумства.

Тася услышала, как он сказал:

— Если бы я был моложе, я стар для вас.

Знакомый мотив. Но Зое он еще не был знаком. Тася не слышала и не хотела слышать ответа Зои, но поняла, что та успокоила Андрея Николаевича, как недавно успокаивала его она сама.

Один раз Андрей Николаевич спросил:

— Тасенька, может быть споешь?

Он хотел развлечь Зою пением. Тася не отвстала, поднялась, собираясь уходить. Все встали. Русаков пошел в прихожую за пальто,

Андрей Николаевич выхватил из его рук каракулево пальто, подал Зое. Потом отвел Русакова в сторону, и тот остался.

Тася, Зоя и Терехов вышли на улицу.

— Когда я был мальчиком-градусником,— начал Андрей Николаевич, и Тася поняла, что он намерен своей новой знакомой рассказать все то, что он не так давно рассказывал ей,— я мог ходить сорок километров в день. А теперь из-за машины разучился ходить.— Он подавил зевоту.— Хронически не высыпаюсь. А если я выплюсь, я очень добрый и хороший человек.— Тасе показалось, что и эту фразу он уже когда-то говорил ей.

Андрей Николаевич остановил такси. Сейчас, все еще продолжала нелепо надеяться Тася, они отвезут Зою домой, и она исчезнет навсегда, и все разъяснится, и окажется, что ничего не было, не было этого жестокого унижения, все это недоразумение, которое сейчас кончится. И все действительно кончилось.

Веселым, каким-то неестественно веселым голосом Андрей Николаевич назвал шоферу адрес Таси и обернулся к Зое:

— Сперва мы отвезем Тасю, а потом мы отвезем вас, не возражаете? Зоя что-то проговорила в воротник пальто.

Глава тридцатая

Дома ждали, что Алексей вернется с молодой женой. Готовились и радовались. Но он вернулся один.

Лена все поняла сразу, только спросила: «Это конец?» — и постаралась занять Алексея домашними делами. Она говорила, что мать болеет и не лечится, что ей необходимо бросить курить. Рассказывала об очередных неприятностях отца. Еще с детства Алексей помнил эти «папины неприятности», которые грозили ему судом. Сейчас тоже дела шли к суду. Домой Кондратию Ильичу звонил прокурор, и он подолгу разговаривал с ним по телефону. Вешал трубку и кротко говорил: «Кажется, до суда не дойдет». Иногда говорил наоборот: «Ладно, ладно, на суде разберемся». Это было поистине поразительное спокойствие, выработанное многолетней практикой.

И здоровье тети Нади было неважным. И еще оказалось, что ей нужно новое зимнее пальто. «Посмотри, в чем она ходит».

Алексей понимал: Лена действовала, как хирург, который, дотрагиваясь иглой, пробует омертвевшие ткани. Там, где обнаружится чувствительность, там живое. Она искала, где живое, и искала правильно.

— Мать необходимо отправить в санаторий, хотя бы насильно,— говорила Лена со своей обычной категоричностью.

Черты старости проступили в родителях за последнее время резко, особенно у матери, которая как-то внезапно из женщины без возраста превратилась в старуху.

Родители были упрямы. Мать ни за что не соглашалась поехать в санаторий отдохнуть, полечиться. Отец и мать не соглашались уйти на пенсию. В их жизни не было ничего, кроме работы. И эта мысль тоже почему-то была Алексею укором.

Как-то он сказал:

— Я бы очень хотел, чтобы вы оба ушли на пенсию.

— На пенсию — ни за что,— улыбнулся отец.

— Я сдохну без работы,— сказала Вера Алексеевна и закурила.

Она была убеждена, что ей вообще ничего не нужно. Но детей своих она хотела видеть счастливыми. Почему сыну не везет в любви,

почему у него все поломалось с этой девочкой, которая производила такое славное впечатление? Неужели она оказалась дрянью? Что у них случилось?

Вера Алексеевна очень страдала. Ее сын заслуживал счастья. Кто, как не он? Он был слишком хороший, слишком благородный, надо быть немножко похуже, с горечью думала Вера Алексеевна. Она ничего не говорила сыну, а все говорила Лене и плакала, и у нее чаще обычного болело сердце. Странно то, что делается с сердцем человека на старости лет. Вера Алексеевна сердилась, злилась на свое сердце и говорила домашним:

— Вы не знаете, у меня уже было сто инфарктов.

Ее друзья, «скандалисты», не сразу заметили, что Тася исчезла из жизни Алексея, а когда поняли, что случилось, бросились помогать. Тетя Клава и Горик подарили Алексею свои воспоминания и велели прочитать, а Маруся уговаривала его начать посещать вместе с нею публичные лекции в городском лектории.

Все, что только они имели, они готовы были предложить Алексею. Громкоголосые «скандалисты», приходя к Вере Алексеевне, звали его: «Посиди с нами» — и не говорили в его присутствии о любви, хотя вообще это была у них очень популярная тема, а тетя Клава, старенькая, не слишком грамотная тетя Клава, писала роман о любви для современной молодежи.

Алексей видел все, что происходило дома, от суровой нежности Лены до трогательных усилий «скандалистов». Самым трудным для него было молчаливое сострадание отца и матери. Он был виноват перед ними за то, что он несчастлив.

Алексей старался показать, что у него все в порядке, не произошло ничего особенного. Дома он был весел, постоянно оживлен, даже шумлив. Он сидел со «скандалистами», не желая обидеть их, принимал участие в их спорах, играл с ними и с отцом в карты — занятие, которое он терпеть не мог.

Надо было «держаться», как часто говорила Тася. Удивительно, что он не мог забыть ничего, ни слов ее, ни голоса, ни лица. Хотя, казалось бы, делал все, чтобы забыть.

У Алексея появились увлечения, которых раньше не было. То ли ему хотелось демонстрировать перед семьей свою заполненную до отказа, так называемую «интересную жизнь», то ли на самом деле надо было чем-то жизнь заполнять. Он обрабатывал материалы реконструкции, сидел положенные часы в институте, не торопясь возвращался домой, и все равно оказывалось, что есть еще длинный вечер. А кроме того, еще субботы и воскресенья.

Алексей стал ходить в театр. Он начал с шекспировских спектаклей, которые ему давно хотелось посмотреть. И втянулся. Он спрашивал совета у Лены: «Это стоит посмотреть?», и та, истинная москвичка, вечно занятая, ничего не знавшая про театры и спектакли, на всякий случай отвечала: «Стоит».

Алексей ходил не один, у него была спутница, милая девушка, которая работала вместе с ним в институте. Девушку звали Вероникой. У нее был только один недостаток — она любила говорить: «Все, чего я достигла, я достигла сама, без чьей-нибудь помощи». Если бы не эта привычка, она была бы приятной спутницей. Она любила театр и собирала театральные программы. После театра Алексей отвозил ее домой на такси и ни разу не зашел к ней, хотя она приглашала посмотреть, как она живет. «Все, чего я достигла...» Наверно, это было свинство, но Алексею не хотелось идти к ней и не хотелось гулять с ней по улицам, сидеть в кафе, звать к себе.

— У меня несколько однообразная жизнь, но вполне приятная,— говорил Алексей,— я еще так никогда не жил.

И надевал белоснежную рубашку и тщательно завязывал узкий галстук и никак не мог понять, почему у него галстук все-таки всегда слегка сбивается набок.

— Как твой муж завязывает галстук? Ты не знаешь? — спрашивал он Лену.

«Ох-хо-хо»,— вздыхала бестактная Лена. Алексей угрожающе улыбался.

В театре удручали антракты. «Антракты должны быть уничтожены совершенно»,— уверял Алексей Веронику. Но она была не согласна. Она любила возражать. «Позвольте с вами не согласиться...— язвительно начинала она.— Антракт — это составная часть спектакля». «Ну, что с тобой поделаешь, если ты дура»,— думал Алексей и шел в антракте к буфету и покупал Веронике шоколад, она его очень любила.

Вскоре у Вероники сделались несчастные глаза, она стала молчаливой и напряженной, надевала туфли на таких высоких каблуках, что с трудом передвигала ноги, и Алексей понял, что надо прекращать совместные посещения театра. Ему было жаль Веронику, но она ему не нравилась. И по театрам он тоже прекратил ходить. Надоело.

— Ты когда-нибудь была в Бахрушинском музее? — спросил он Лену.

— Окончательно спятил — ненавижу музеи и тех, кто их посещает.

— А я решил заняться самообразованием, буду ходить по музеям,— сказал Алексей, но он тоже ненавидел музеи. Зато он купил лыжи и ботинки, решив, что, как только появится снег, будет ходить на лыжах и таким образом... справится с воскресеньями — самыми мучительными днями.

Он стал много читать. Читал о путешествиях, об исследованиях пещер, о голубом континенте, об охоте на редких зверей. «Увлекательна только правда»,— думал Алексей. Ему было почти легко, если удавалось заставить себя не вспоминать Тасю. А ему это теперь удавалось. Потом он стал читать Толстого и уже больше ничего другого не читал.

К домашним своим Алексей обращался только с шуткой, с бодрым словом и среди «скандалистов» неожиданно приобрел репутацию остряка. Остряком он никогда не был, но, видно, уж очень любили его «скандалисты», если признали остряком. И никто не спросил его о Тасе, которую успели полюбить и еще не успели забыть.

Алексею бывало неловко, когда в институте он встречался с Вероникой, хотя, разумеется, он не признавался ей в любви. Он только приглашал ее в театр. А она теперь смотрела на него презрительно, и ее нервные губы вздрагивали. Алексея это не трогало, что-то в его душе оцепенело.

Однажды вечером явилась Валя. Лена после дежурства спала в столовой на диване. Она отлично могла спать у себя дома, но ей казалось, что брату будет приятно, если она лишний раз придет из больницы сюда.

Валя поцеловала Алексея в висок, прошла в столовую и села. У нее было обычное высокомерно-доброжелательное выражение лица, любезная готовность потрепать собеседника по щеке.

— Как поживаешь? — спросил Алексей, не испытывая при виде Вали ничего, кроме скуки.

Лена села на диване, протирая заспанные глаза.

— А-а, кого мы видим,— хамским голосом сказала она.

Валя сняла перчатку, подняла руку и показала широкое обручальное кольцо. Лена засмеялась, откинулась на подушку.

Валя рассказывала что-то мелодичным голосом, ямочки появлялись у нее на щеках, когда она улыбалась, прелестные ямочки. Эти ямочки, очевидно, имели решающее значение для профессора.

— А где та белокурая нимфа, которую я видела здесь в прошлый раз? — спросила Валя.

— В командировке, — поспешила ответить Лена.

— В какой командировке? — спросила Валя ласково.

— В заграничной, — отрезала Лена.

— Мы получили квартиру, — небрежно сообщила Валя, — новоселье не справляли. Семен Григорьевич как раз уехал в командировку. Не заграничную, правда...

Вале хотелось показать, что такое воспитанная женщина, жена профессора, какой она теперь была. Хотелось показать свои новые манеры — как она щурит глаза, как потряхивает головой, поощрительно, снисходительно. Это было особое движение, тоже новое. Лена сразу заметила и спросила:

— Что ты трясешь затылком, у тебя что-нибудь болит?

Валя опять потрясла головой, очень снисходительно. Лена всегда была хамкой.

— Где вы бываете, друзья? — спросила Валя своим невыносимо участливым голосом. — Мы, например...

Алексей думал о Тасе. В прошлый раз, когда приходила Валя, Тася была здесь. Она рассердилась тогда, хотя не сказала ни слова. И Алексею было приятно, что она рассердилась. Но если она так легко могла связаться с Тереховым, чем, в сущности, она отличалась от Вали? Что прельстило ее в нем — неужели барство? Ведь и на Алексея она обратила внимание, когда он сам был директором... Все это было противно, и грязно, и стыдно. И давно пора было перестать думать о ней, а Алексей все думал и думал...

Валя рассказывала:

— ...Получилось совершенно случайно. У меня перегорели пробки, погас свет. Семена Григорьевича уже не было, он уехал в командировку, и я постучалась к соседям. Оказалась милейшая семья. Мать — старуха армянка и сын — астроном, молодой член-корреспондент Академии наук. Очень смешно смотреть, как они вдвоем хозяйничают в огромной квартире. Профессор неженатый. Мамаша учится управлять «Волгой» и разговаривает басом. Между прочим, армяне — очень способные люди.

Валя щурила глаза, перед нею мелькало видение: «Волгой» учится управлять она, а мамаша армянка едет себе с богом в Армению и там остается.

Алексей угадывал Валины мысли, она была уже готова пройти эти четыре шага, которые отделяли ее от квартиры молодого астронома.

Глядя на Валу, Алексей думал, что неискренние люди часто удобны в общении, с ними легко. И с Валей было легко. Она была деловая в том ужасном смысле слова, который означает, что она ничего не делала без выгоды для себя. Зато с выгодой делала очень многое. И это часто выглядело как широта и простота. Порядочных людей легко обманывать — ничего удивительного, что ее считали хорошим товарищем. А между тем она была плохим товарищем, но всегда была готова прийти на помощь, понимая, что, если сегодня поможет она, завтра помогут ей.

Валя была убеждена, что все люди корыстны, только притворяются иными. Это было простое рассуждение: она такая — значит и все такие. Изотовы казались другими, но Валя не верила этому.

У нее была старинная мечта войти в безалаберный изотовский дом так, чтобы поразить своим видом всех, прежде всего Лену. Воображению рисовались различные картины, вплоть до того, что она ссужает Изотовых деньгами, хотя в принципе, разбогатев, Валя не собиралась никому давать денег в долг.

Сейчас, рассказав про астронома и увидев насмешливую улыбку Алексея, Валя покраснела. У нее от злости всегда вспухало лицо. Но она взяла себя в руки, причесала пушистые пепельные волосы и стала рассказывать про симфонический концерт, где она уже была с мамой астронома, живущего с нею на одной площадке.

— Ну-с, как тебе нравится? — спросила Лена, когда Валя вышла в коридор к телефону.

— Она добилась, чего хотела, и она довольна.

И опять невольное сравнение с Тасей возникло у Алексея. А чего все-таки добивалась в жизни Тася, чего она хотела?

Валя попросила Алексея проводить ее. Они вышли на Арбат и пошли по направлению к Киевскому вокзалу, через Бородинский мост.

— Люблю ходить пешком, — сказала Валя, которая не любила ходить пешком, но считала это нужным для сохранения фигуры.

Алексей улыбнулся и ничего не сказал, и Валя не стала больше ничего говорить, только прибавила шаг.

Падал первый снежок и сразу таял, щекотал лицо, и от этого веселого снежка делалось весело. Смеркалось. Они шли ровным, легким шагом. Алексей засунул руки в карманы и шел, ни о чем не думая, только повторял про себя прицепившиеся слова «круговорот времен». Валя, розовая от быстрой ходьбы, улыбалась, иногда взглядывая на Алексея, и не спрашивала, что он шепчет про себя.

— Не устала, Валюша? — спросил он, благодарный за ее молчание, и взял ее под руку. — Хочешь, довезу на такси?

— Не хочу, — улыбнулась Валя.

Они пошли дальше.

Справа светилось молочным светом высотное здание гостиницы, впереди сверкали огни Кутузовского проспекта.

— Вот здесь я живу, — показала Валя на новый большой желтый дом.

«И здесь живет твой новый знакомый — астроном», — подумал Алексей с беззлобной усмешкой.

Валя сказала:

— Поднимемся ко мне.

Алексей посмотрел в ее нежное, улыбающееся лицо, подумал: «Какая ты умеешь быть милая» — и решил подняться.

В просторной квартире было много книг, цветов и мало мебели. Алексею понравилось, он похвалил.

— Да? — небрежно сказала Валя. — Тебе нравится? Я очень рада.

И усадила Алексея в кресло, а сама стала накрывать на стол. У себя дома это была совсем другая, естественная, приятная и красивая женщина. Алексей с удовольствием следил за ее умелыми и мягкими движениями.

Это была ее особенность. Наедине с мужчиной она становилась обаятельной и умной. Алексей знал это, но забыл.

— А мне без тебя было бы скучно одной весь вечер, — проговорила Валя, и было в ее голосе что-то такое, что Алексей понял: лучше ему уйти. Но не ушел, а продолжал смотреть на сильные, красивые Валины руки. Она сняла кофту и осталась в блузке без рукавов.

— Тебе очень идет быть хозяйкой, — сказал Алексей и закурил.

— Да? Ты думаешь? — отозвалась Валя, — Раньше тебе это в голову не приходило.

— Не приходило. Я был дурак.

Валя налила вина в бокалы, пригласила Алексея к столу и сама села против него.

— Надела бы что-нибудь, а то твои голые руки меня смущают, я только на них и смотрю, — усмехнулся Алексей.

— Неужели? А мне казалось, что против меня у тебя уже выработался надежный иммунитет.

— Нет, как видишь.

— Пустяки. Не смотри на меня. — И она посмотрела на Алексея откровенно зовущим женским взглядом, отвела глаза и опять повторила: — Пустяки, все пустяки.

Она была очень привлекательна. Алексей бросил папиросу, подошел к ней, повернул ее лицо к себе и поцеловал. Валя ответила на его поцелуй, потом высвободилась и сказала с улыбкой:

— Но ведь мы ужинаем.

— Не ужинаем. — Алексей привлек ее к себе. — С чего ты взяла?

Он стал целовать ее обнаженные руки. Валя не двигалась. Потом она вздохнула и закрыла глаза. «Что я делаю?» — подумал Алексей...

«Как это оказалось просто», — думал он потом, глядя на спящую Валу. Полоса света из соседней комнаты падала на ее почти детское в ту минуту лицо. «Надо полагать, что следующим за мною будет астроном. А что же муж?» Валя открыла глаза, протянула горячую руку, провела нежно по щеке Алексея. «Очаровательная, конечно», — с презрением и нежностью подумал Алексей, целуя ее руку. Он встал и оделся. Валя молчала. Алексей присел на край постели возле нее.

— Ничего не говори, — прошептала Валя, — молчи.

В этой ситуации она проявила немало такта, надо было отдать ей справедливость. Она видела, что он уходит, и не удерживала его, оставалась нежной и спокойной, но все-таки он торопился уйти. Он не мог здесь оставаться больше ни минуты, он испытывал отвращение ко всему, главное — к себе.

— Теперь я вижу, что должна была стать твоей женой. Ты уходишь? Не считай меня дрянью. Тебя бы я любила.

— Не надо, Валуша. — Алексей нагнулся, еще раз поцеловал ее круглое детское лицо.

— Я знаю, что не надо. Отвернись.

Она встала с постели, накинула халат, проводила Алексея в прихожую.

— Когда мы увидимся? — спросила Валя.

— Я позвоню.

Алексей вышел на улицу. Он чувствовал себя отвратительно.

Глава тридцать первая

Доклад Алексея, его отчет о работе по реконструкции, был готов. Назначены число и час. Товарищи по институту говорили:

— Послушаем, послушаем.

Алексей все это время очень часто звонил на завод и узнавал, как работает установка. Производительность ее не снижалась. Рекордная цифра становилась нормой.

У секретарши на столе Алексей увидел открытки с адресами тех, кто приглашался на его доклад. Он небрежно перебрал открытки и обнаружил, что адрес института, где училась в аспирантуре Тася, не забыт.

Она могла узнать о его докладе... Алексей перетасовал открытки, как карты, и положил их на место.

В зале заседаний собралось много народу, даже удивительно, как много людей интересовалось повышением производительности каталитического крекинга. Атмосфера была скорее торжественная, чем деловая. Доклад Алексея был отчетом о работе завершенной, значительной и удачной, присутствующим нефтяникам это было уже известно. К докладчику подходили, жали руку, заранее поздравляли. Для Алексея это было неожиданно — торжество в пышном зале с высокими окнами и плюшевыми креслами. Пахло мебельным лаком и духами «Красная Москва».

Алексей повесил на стене схемы и чертежи и отошел в дальний угол зала посмотреть, достаточно ли красиво получилось. Он нашел, что зал ожил от его прекрасных, косо висящих чертежей. Уж что-что, а чертежи публике должны были понравиться. Он увидел, как на сцену поднялась Вероника и осторожно поправила чертежи.

Алексей все смотрел, не покажется ли Тася. Почему он решил, что она придет, он и сам не знал. Он ходил между группами, здоровался, перебрался словами и искал ее. Таси не было.

Даже когда он встал на кафедру и начал говорить, он продолжал поглядывать в зал. Может быть, она все-таки пришла. Но она не пришла. В первом ряду сидела Вероника и делала пометки в блокноте. Она слушала внимательно и серьезно. Алексей знал, что после доклада она встанет и задаст какой-нибудь идиотский вопрос, не относящийся к делу.

Алексей хотел добиться, чтобы институт как можно скорее напечатал и утвердил рекомендации по реконструкции каталитического крекинга и разослал их заводам. Он говорил об этом, может быть, больше, чем следовало. Алексей умел бить в одну точку. «Семейная черта характера», — говорила мать. Для Алексея всегда существовало что-то самое важное, что заслоняло собой остальное. Так, сейчас он закончил доклад и все говорил об одном — о необходимости как можно скорее составить четкие рекомендации и как можно скорее разослать их по заводам.

Он кончил доклад, сложил свои записки, выпил воды, спустился с кафедры и остановился, чтобы еще раз повторить о распространении опыта реконструкции. В зале уже мелькали улыбки по поводу такой настойчивости, но Алексея улыбками нельзя было ни смутить, ни остановить. Он знал одно — надо поднять производительность всех установок каталитического крекинга в стране. И больше его ничто не интересовало.

Алексей сел в зале и стал слушать, даже не записывая вопросов, которые ему задавали выступавшие. Он их запомнил и тут же в уме отвечал. Он любил в себе эту иногда наступавшую удивительную четкость мыслей и спокойствие. Только что он волновался перед выступлением, а теперь отволновался, успокоился и сейчас знал все — даже вопросы, которые ему зададут, и уж тем более свои ответы.

Профессор Румянцева, покашливая на каждом слове, выступала, как всегда, для того, чтобы показаться перед большой аудиторией, чтобы не забыли, какая она видная фигура в нефтяной науке. И говорила по обыкновению о том, что было темой ее давно защищенной диссертации. Все уже знали: Румянцева на трибуне — значит будет приводить в пример свою диссертацию. Слушать ее было неинтересно, и Алексей не слушал. Румянцева, поговорив вкратце о своей диссертации, стала о чем-то предупреждать и несколько раз повторила слово «чреватое». У Алексея было отличное настроение, он думал о рекомендациях, которые скоро будут разосланы по заводам, и чувствовал себя молодцом и счастливым человеком.

Он спросил у Вероники:

— Хорошо я говорил?

Она презрительно ответила:

— Очень.

— Не сердитесь, Вероника,— попросил Алексей, улыбаясь.

Он перестал ждать Тасю и удивлялся тому, что так ее ждал. Да и зачем ей было приходиться?

Выступил представитель нефтеперерабатывающего завода из Башкирии. Он рассказал о работе установок каталитического крекинга и пригласил Алексея на завод. В его голосе было нетерпение, понятное Алексею.

Алексей самодовольно подумал о том, что вот он нужен на заводе в Башкирии, его зовут туда и будут звать еще на другие заводы... И хорошо, что не пришла Тася.

Потом его опять поздравляли, но Алексей вдруг решил, что это слишком. И напрасно он так поддался этой академической юбилейной атмосфере и так разликовался. Все это не больше чем институтские обычаи, вежливость, принятая среди научных работников. Для него это было в новинку, а на самом деле ничего особенного.

Подошел директор подмосковного крекинг-завода, поздравил, потряс руку, посмеялся:

— Что, брат, в институтах теперь заседаем? — Его широкое красное лицо было добродушно.— Да, слушай, Изотов, хочу тебя спросить. Помнишь девушку, с которой ты приезжал ко мне на завод? Я вас тогда еще встретил с ней.

Он говорил о Тасе. У Алексея замерло сердце.

— Да.

— Она несколько раз приходила ко мне, хочет устроиться на работу. У нас места вообще нет, но, возможно, будет. Одна женщина собирается уходить — знаешь, с этими бабами морока: то рожают, то еще что-нибудь.

— Но она же в аспирантуре,— сказал Алексей.

— Там какая-то история вышла. Ушла или отчислили, не знаю. Так как ты думаешь?

— Года полтора назад она приезжала ко мне на завод,— сказал Алексей,— работник она хороший.

— Я ее потом с Тереховым встречал. Она что, его родственница? Или там что, роман?

— Работник она хороший.

Так вот, значит, как. Злорадства Алексей не испытывал. Только тревогу.

Проходили дни, а он волновался все больше и больше и не знал, что делать. Какая-то появилась надежда. Он заглушал ее и не мог заглушить. Опять стал вспоминать все. Он любил Тасю.

Все эти месяцы Алексей спрашивая себя, может ли он простить ее. И отвечал только одно: «Нет». Простить он не мог. Чего-то не хватало в его душе для того, чтобы простить. Любви? Но он любил. Может быть, кто-нибудь другой сумел бы простить, он не мог. Он был оскорблен, и это чувство было самым сильным. Он знал, что не простит ее, но и не забудет ее никогда. И возможности счастья для себя он не видел.

Но теперь что-то изменилось в нем. Однѣ, брошенная... Он не сомневался, что брошенная. И кто он такой, чтобы судить ее? Чем он лучше ее? Почему он имеет это право — прощать и не прощать? А Валя? Что было, кроме желания близости с женщиной с его стороны и Валиного стремления грешить и обманывать мужа? И себя он не судил строго, себя он прощал.

Все это было так, но он вспоминал, что Тася изменила ему, предпочла Терехова, и понимал, что этого зачеркнуть, этого забыть он не сможет никогда.

И все-таки Алексей поехал на подмосковный завод. Зачем? Может быть, он хотел встретить Тасю, может быть, просто посмотреть место, где они были вместе.

Была зима, и он ничего не узнавал, прошел поселком до сугробов снега, за которыми начинался лесок. Тот или не тот? Мальчишки на лыжах пробегали мимо, что-то кричали. Он постоял, посмотрел и пошел обратно. Тогда дорога была пыльная, сейчас — укатанный, утоптаный скользкий снег. «И лес не тот, и работать не могу», — прошептал он.

Он подошел к проходной. Здесь Тася сказала: «Я вам устрою пропуск». Она хотела ему покровительствовать, а он взял трубку, позвонил директору и лишил ее этого удовольствия. У нее сделались огорченные глаза. И сейчас, как тогда, он выругал себя. У нее была перевязана обожженная рука. Он помнил розовый платок на голове у нее. Она не могла причесываться сама левой рукой, и он причесал ее мягкие светлые волосы.

Алексей не входил в проходную и не уходил. Высокий человек в кожаном пальто и в меховой шапке стоял и смотрел, и у него было какое-то странное лицо. Куда он смотрел, чего он искал, чего ждал? Вахтер давно уже следил за ним, потом выглянул из окошка, крикнул:

— Вам чего надо, гражданин?

Гражданин покачал головой и пошел прочь. Вахтер посмотрел ему вслед. «Чудак, — подумал вахтер, — или пьяный».

Алексей пошел по скользкой дороге на станцию, купил на перроне в киоске газеты, сел в электричку и поехал в Москву.

А через полчаса по этой же дороге, кутаясь в старую меховую шубу и платок, прошла Тася и тоже села в электричку.

Вскоре Алексею предложили поехать в командировку. Он с охотой согласился. Тоска гнала его. Мысли о Тасе не давали покоя. Куда уедешь от тоски?

Глава тридцать вторая

Первая мысль Таси после всего случившегося была: «Что я наделала? Боже мой, что я наделала? Как я могла?» Как это случилось? Что это было, что же это все было, спрашивала она себя с удивлением и отвращением. Она почти не думала о Терехове. Как она могла обидеть Алексея?

То, что случилось с ней самой, было унижительно, но она заслужила, она была виновата во всем сама. В памяти возникали обрывки того вечера. Как спорят два старых директора, как Русаков, улыбаясь, с раскрытой записной книжкой, звонит «девочкам». Наконец сами «девочки», как они вошли, достойно поздоровались и сели: одна разбитая, бывалая, с быстрым черным глазом, другая... Тася не могла даже сказать, какая другая. Станным в ней казалось то, что она окончила университет, что у нее был муж. Разве у таких женщин могут быть мужья? Кто же согласится? Но злобы, даже неприязни к Зое не было. На ее месте могла оказаться любая другая, не такая красивая, не такая высокая, и было бы все то же самое. Нужно было довести свою жизнь до этой черты, до этой вот Зои, чтобы открылись глаза, чтобы понять, как она сама погубила все.

Тасе врезался в память зловеще-веселый голос Андрея Николаевича, отдающий шоферу распоряжение ехать по направлению к ее дому.

И нежное, смеющееся к Зое: «А потом мы проводим вас». И Зоя отвечает что-то, опустив лицо в воротник каракулевого пальто.

У Андрея Николаевича все получилось просто, решительно, без лишних мучений. Недаром он любил говорить: «Я человек действия». Он разрубал узел одним ударом. Такого Андрея Николаевича Тася еще не знала. Впрочем, может быть знала, но не разрешала себе знать. Щадила себя, оберегала от правды. Зачем, почему? Во всем виновата сама. Так ей и надо. Но как могла она так оскорбить Алексея, обидеть его?..

Терехова Тася ясно помнила в тот последний вечер на пирушке. Небрежный, жестокий, веселый, не пьяный, с поднятыми бровями, не глядящий на нее. «Заслужила, все заслужила»,— говорила она себе.

Иногда только, против воли, вспоминался Андрей Николаевич другим, таким, каким был на теплоходе или первые дни на заводе. Большой, растерявшийся, влюбленный. «Я виноват перед вами только в том, что женат». «Здравствуй, мое воскресенье». То малое, чем она довольствовалась. А ведь она так гордо готовилась жить. Изменила прежде всего себе. И это непоправимо. Тася не утешала себя ничем, жить было страшно тяжело. С каждым днем ее охватывало все большее отчаяние, сознание непоправимости и тоска. Такая тоска, что в тягость было все: просыпаться, вставать с постели, говорить с людьми, что-то делать, думать.

Она нарушила законы справедливой и честной жизни и была наказана. Ее бросили, променяли, не задумываясь, на первую попавшуюся, немного более красивую и много более легкомысленную. С досадой и скукой смотрел на нее Андрей Николаевич, это было так, и Тася не разрешала себе забывать. И его лицо, искавшее взгляда и улыбки случайной, доступной женщины, враждебное и чужое, надо было помнить. Только об Алексее она старалась не думать, потому что эти мысли были самые мучительные, самые отчаянные.

Тасе разрешили бывать в больнице без ограничений. Она сидела с отцом, держала его руку, задавала вопросы. Иногда внезапно замечала, как чудно звучит ее голос, и ужасалась этому, боясь, что отец тоже заметит. Было похоже, что она когда-то выучила вопросы, которые задавала отцу, а теперь забыла их смысл, больше не знала их значения. Она силилась улыбаться. Наверно, отцу было бы легче, если бы он не видел этой улыбки, этой гримасы, означавшей улыбку. Он закрывал глаза. Он теперь часто лежал с закрытыми глазами, когда Тася сидела рядом.

Из аспирантуры ее исключили за невыполнение научного и учебного плана. Она почти не обратила на это внимания. Все равно, жизнь была разрушена и поломана безнадежно, еще одна неприятность ничего не меняла.

Ей даже стало легче, не надо было ходить в институт. Теперь она ходила только в больницу и на рынок за свежим творогом для отца.

Иногда по утрам, проснувшись после тяжелого сна, она говорила себе: «Ничего не случилось» — и начинала вспоминать, но не то тяжелое, что давило сейчас, а то, что было раньше. Не Терехова и свою постыдную связь с ним, а другое — легкое, светлое счастье, которое начиналось с Алексеем. Она представляла себе, что они куда-то уезжают с Алексеем, придумывала до подробностей слова свои и слова Алексея, только не могла придумать, куда они едут.

Она перестала получать стипендию, и настал день, когда ей не на что было купить отцу апельсинов и творогу. Она собрала свои кофточки и платья, какие были поновее, и отнесла их в скупку.

Надо было что-то делать, если она хотела бороться за жизнь отца.

Тихий старый человек смотрел на нее глазами, полными сострадания, и она не смела перед ним падать духом. Все-таки был еще кто-то,

кому она была нужна. Когда-то он рассказывал ей сказочку: «Пошел Махмутка-перепутка на мостик, и увидел Махмутка-перепутка уток. Красную утку, зеленую утку, желтую. Красной утке крошку, зеленой утке крошку...»

Прежде всего надо было устроиться на работу. Это было трудно, почти невозможно. Раньше Москва располагала могучими штатами министерств, ныне их не было. Некоторые работники старались зацепиться, задержаться в Москве на любом месте, в любой должности. Другие уезжали, повинувшись партийному долгу, но жены не хотели уезжать. Эти женщины только теперь вспомнили, что у них есть специальность, есть дипломы, что они могут работать.

Тася начала поиски. Самые обыкновенные честные поиски, когда человек, тщательно причесавшись и помывшись, надев хороший костюм и сделав незаискивающее и спокойное лицо, приходит по известному ему адресу к неизвестному ему деятелю и спрашивает: «Не нужен ли вам инженер-химик?» Спрашивает, улыбается, молчит и ждет ответа. Не рассказывает, как остро необходима ему работа, улыбается и ждет ответа.

Существует распространенное мнение, что многие дела удаются только по большому благу. Наверное, кто-то и попадает в институты с черного хода. Но честные мальчики и девочки приходят и сдают экзамены. Проходят по конкурсу и поступают. Двоечники и троечники, симпатичные лодыри, преданные кинематографу и футболу, разумеется, проваливаются. Говорят, для того чтобы напечататься в журнале или газете, тоже нужен блат. Но это говорят графоманы. Никому не известный юноша присылает по почте талантливые стихи, и их печатают. Так было всегда — кто идет к двери, кто лезет в окно, кто протягивает открытую руку для рукопожатия, кто сует взятку в потном кулаке.

Тася не была наивной или несведущей, она отлично знала ситуацию, знала, что шансов у нее почти никаких нет.

Она поехала в Главгаз, организацию, оставшуюся в столице, и уехала оттуда ни с чем. Она решила попытать счастья на подмосковных заводах. Ее нигде даже не обнадружили, мест не было, да и не могло быть. Если бы не отец, она охотно вообще бы уехала из Москвы. И все-таки она устроилась на работу. По странному совпадению это был тот самый подмосковный завод, где она однажды была с Алексеем. Рядом был тот лесок, где Алексей сказал ей о своей любви.

Теперь она снова могла покупать отцу апельсины, и лимоны, и все, что ему хотелось, тем более что у него появился аппетит — это был отрядный признак.

Среди незнакомых людей Тасе было легче. Главное, что отец жил, и каждый день, который он жил, казался победой над смертью.

Тася немного успокоилась. Она вновь действовала, была нужна и полезна. За последнее время, правда, пока шла ее стыдная, тайная жизнь, она растеряла друзей и сейчас оказалась одна.

Она старалась поменьше бывать дома, в опустевшей комнате. Приходила домой только спать.

Она опять на что-то надеялась. И теперь, когда она улыбалась, держа руку отца в своей, он не закрывал глаз, а тоже улыбался ей. Стоило жить, чтобы видеть, как он улыбается. «Белой утке крошку, синей утке крошку...» Никого на свете больше не было у Таси, только отец, который столько страдал в последний год... этот последний год... из-за нее... Тася уже знала, что нельзя вспоминать, надо было все забыть. Она вспоминала только Алексея, и в мечтах, без которых невозможно жить, он приходил к ней и прощал ее.

«Как я могла, как я могла?...» — все спрашивала себя она.

Она мечтала встретить Алексея. Она искала его на улицах и в метро. Она подошла бы к нему и попросила прощения. Она не знала, что сказала бы ему, но ей необходимо было, чтобы он ее простил. Ему, наверно, уже давно нет никакого дела до Таси... Он забыл ее, презирает. Может быть, она встретит его, когда он будет идти с другой женщиной. Может быть, он изменился, все уже не так, он стал чужой... И все-таки она часто представляла себе встречу с Алексеем, как она подойдет к нему и скажет все равно что.

И вот однажды она увидела его. Это было в Комитете по химии. Он сидел в приемной в кресле, углубленный в синьки, которые разложил на коленях. Только он один мог так сидеть в людной и шумной приемной, не замечая ничего вокруг, не отрывая глаз от своих бумаг. Она даже не разглядела его лица, видела только эту позу, спокойную и твердую. Наверно, он дождался, чтобы пройти с докладом к председателю. Она успела еще увидеть, как он провел рукой по волосам, рассеянно поднял глаза и не увидел ничего. Этот жест был знаком Тасе и потряс ее. Она выбежала из приемной, она не могла и не смела подойти к Алексею.

Но то, как он сидел, не замечая ни шума, ни движения вокруг, держа на коленях свои бумаги, и как задумчиво провел рукой, отводя назад волосы, она запомнила. Каким недоступным и далеким был теперь он для Таси и каким прекрасным увидела она его! Он не изменился, он и не мог измениться и не изменится никогда. Он всегда будет такой — спокойный и ясный, — и жизнь будет принадлежать ему и таким, как он.

Тася все видела, как он проводит рукой по волосам и смотрит мимо нее, занятый своими мыслями.

Глава тридцать третья

После того как Тася увидела Алексея в Комитете по химии, для нее была потеряна последняя, может быть даже неосознанная, надежда. Она не признавалась себе, что все ее мысли об Алексее на самом деле были глупой и невозможной мечтой о том, что все забудется и простится, как-то уладится. Только когда она увидела его и не решилась к нему подойти, она поняла, что все действительно кончено, безвозвратно потеряно. Может быть, у него еще не было никакой женщины, это не имело значения, все равно. Ничего не случилось, но все было кончено, она была не нужна ему, без нее ему было лучше, она почувствовала это так ясно, как будто он ей это сказал. «Как я могла думать, что он меня простит? Никогда. Он слишком гордый человек. И разве изменится что-то, даже если он меня простит? Простить можно, нельзя забыть».

Если возможно было стать еще несчастнее после того, как она увидела Алексея, то она стала еще несчастнее.

Но по ночам она все-таки продолжала мечтать и придумывать другую встречу с Алексеем.

Однажды она решила поехать к Саше. Ее давно звали, звонили ей — и сам Саша, вернувшийся из-за границы, и его жена.

Ей захотелось пойти, провести вечер среди веселых, довольных жизнью людей. В ее пустой комнате было так уныло, и ей не хотелось ничего менять, исправлять, трогать. Она застилала постель, смахивала пыль, подметала пол и уходила.

Она поехала к Саше, стараясь не думать о том, что была там с Алексеем. Позвонила и еще на площадке услышала смех и крики. «Молодцы, — подумала она, — так и надо жить». И ощутила легкую зависть к такому умению жить. Она-то не умела. Дверь открыл Саша, похудевший, заметно постаревший, но веселый, как всегда.

— Молодец, умница, наконец-то показалась! — шумно приветствовал он ее.

— Тася, будешь чай пить? — спросила Рита. — Налить тебе?

— Чайку горяченького выпью, — ответила Тася оживленно-продрогшим голосом, вдруг вспомнив, что на улице ей было холодно.

— Похудела, молодец, — кричал ей Саша с другого конца стола, — правильно! Вся Европа худеет, весь мир худеет. А я похудел?

— Похудел, — ответила Тася.

— Ты такая важная стала, честное слово, это мне нравится.

— Саша, перестань, невозможно, — говорила Рита, с восхищением глядя на мужа.

— Лучше расскажи, где был, что видел, — сказала Тася.

— Что рассказывать? В Америке меня поразили комиксы. Это черт знает что, сплошная порнография. Но какая!

«Ясно, — с иронией подумала Тася, — таковы его впечатления о культурной жизни», — и больше не стала ни о чем спрашивать.

«Но что же меня связывало с ними?» — думала она, глядя, как Саша похлопывает жену по руке и улыбается ей, Тасе, как бы отдавая дань восхищения ее суровости. Она вспомнила, как в этой комнате сидел Алексей, отгородившись от всех презрительным спокойствием, и хотел только одного — поскорее уйти отсюда. И ей тоже захотелось поскорее уйти и больше уже сюда не приходить. Почему она считала Сашу блестящим человеком? На каком основании? «Рыцари удачи», — вспомнила она слова Алексея. Почему ее раньше тянуло сюда? «Потому что пустая, дрянь, ничтожество», — сказала она себе. Поэтому дружила с Сашей и всей компанией. Еще гордилась тем, что это была «наша компания», ездила к ним и никогда не приглашала их к себе, в скромную темноватую комнату в коммунальной квартире на Таганке.

Она знала, что сегодня она здесь последний раз. Рита, которую в компании единодушно считали душой, поняла ее настроение и сказала:

— Мне кажется, что ты пришла прощаться. Ты куда-нибудь уезжаешь?

— Уезжаю.

— Но я должен знать куда! — закричал Саша. — И с кем!

Тася поднялась.

— Я провожу, — заявил Саша, — мне надо пройтись перед сном. Вся Европа гуляет перед сном.

— Не надо, Саша. Меня ждут, — сказала Тася.

— Не тот ли гражданин, которого ты к нам приводила? Угрюмый тип, между прочим.

«Что мне делать? — подумала Тася с отчаянием. — Как жить?»

Алексей ехал в Москву с Урала. Там, на новом месте, на новом большом заводе, в незнакомом городе, вдаль от Москвы, все казалось легче и проще. Там он решил, что должен пойти к Тасе. Без труда убедил себя, что его приход может оказаться нужным ей.

«Простить ее я все равно никогда не смогу, — говорил он себе, — но увидеть ее я должен».

Издали все казалось очень просто. Еще вчера в поезде все было ясно и легко. Сейчас было тревожно.

Всех встречали, Алексея никто не встречал. Он прошел по перрону с легким небольшим чемоданом, улыбаясь, словно и он ждал кого-то. Он шел быстро и не смотрел по сторонам, но видел, как люди обнимают друг друга, видел новые синие тележки носильщиков, весенние цветы в руках у женщин. Он забыл название этих цветов.

Алексей вышел на привокзальную площадь и остановился перед длинной деревянной загородкой.

— Что здесь делают? — спросил он.

— Подземный переход, — ответили ему. Он читал об этом, но почему-то не ожидал увидеть так скоро и подумал, что, пока он был на заводе, здесь все менялось, двигалось. Вот подумали о людях, чтобы им было лучше ходить через площадь, не боясь машин.

Шофер такси притормозил, увидев задумавшегося мужчину с чемоданом.

Кто-то открыл дверь, показал Алексею комнату. Он постучал и вошел.

Тася сидела за столом, читала. Он увидел ее лицо, очень белое, с огромными глазами. Совсем другое лицо, очень знакомое, любимое, но другое. Какая-то толстая куртка была на ней.

— Тася...

Она сжала руки, посмотрела на него, сказала тихо:

— Ты пришел.

Почему тогда, когда она его видела, ей показалось, что он не изменился? Он очень изменился, только чем? Резкие скулы. Лицо стало темнее. Глаза, далеко расставленные. Или она забыла?

— Не плачь, — сказал Алексей и ладонью вытер слезы с ее лица.

1957—1959 гг.

Москва.



АЛЕКСАНДР БЕК

★

НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ

*Повесть**

Отход. Последняя пачка «Беломора»

1

Приказ об отходе отдан.

Все уже покинули сложенный из дикого камня сарай, что служил нам помещением штаба, лишь Рахимов еще собирает свое бумажное хозяйство, да я сижу на штабельке теса.

Сделав какую-то последнюю пометку в полевой книжке, Рахимов аккуратно вкладывает ее в планшет, оправляет портупею, надвигает глубже шапку, взглядом докладывает: «Готов!»

— Пошли,— говорю я.

Мы выходим из сарая.

На воле опять похолодало; задувает, усиливается ветер; ползет темная наволочь, заглывает голубизну неба. Вокруг слышится стрельба. Дуры-пули залетают и сюда, посвистывая на излете: «Фьють! Фьють!»

Неподалеку, у длинного, похожего на конюшню дома — там раньше находилась ветеринарная лечебница племхоза — грузится, готовится в путь санитарный взвод. Тяжело раненные уже вынесены, уложены под кибиточный верх фуры. Бойцы с легкими ранениями, те, что могут держаться на ногах, терпеливо ждут команды трогаться; некоторые присели в затишье у дома, негромко переговариваются, а больше молчат, прислушиваясь не то к посвисту пуль, не то к себе, к собственной боли.

Около фуры нервно прохаживается наш батальонный врач Беленков. Он зябко поеживается; ворот шинели поднят, платком он утирает нос, оседланный пенсне. На боку висит вместительная сумка с эмблемой Красного креста. Недавно новехонькая — такой она мне запомнилась по учебным маршам батальона, — эта докторская сумка уже поистрепалась. На брезенте среди замытых пятен чернеет несмываемый потек разлитого йода. Это след минувшей ночи, когда доктору пришлось работать при неверном свете керосиновой лампы. Конечно, он не выспался, устал, нервы пошаливают.

Завидев меня и Рахимова, Беленков рывком поворачивается к распахнутой двери ветеринарного пункта, кричит:

— Киреев, что вы там копаетесь? Скорей! Уже штаб уходит.

На крыльце появляется полнотелый, рыхловатый Киреев. Несколько по-бабьи он держит в обхват, прижимая к животу, большой белый эмалированный таз, нагруженный какими-то склянками и пакетами. Следом

* Окончание. Начало см. «Новый мир» № 2 с. г.

выходит санитар, тоже нагруженный; в охапке, что он тащит, можно различить мотки веревок, тонкие сыромятные ремни.

Доктор вновь набрасывается на Киреева:

— Хватит вам таскать всякую заваль! Становитесь! Выступаем!

— Какая же это, Яков Васильевич, заваль? В походе ремешок — первое дело.

— Зачем вы набрали соды? Куда нам ее столько?

— Для стирки хотя бы,— невозмутимо объясняет Киреев.

— Сейчас надо думать не об этом... Кончайте! Ждать нас не будут!

— Доктор, спокойней,— вешиваюсь я.— Без вас не уйдем. Киреев, почему не слушаетесь приказаний?

Моя строгость не пугает старика.

— Товарищ комбат, такое добро грех оставлять.

— А ну, какое там добро?

Вхожу в дом вместе с Киреевым. Это аптека племхоза, второпях брошенная ветеринарами. Всюду разбросана бумага: старые газеты и журналы, затоптанные, исписанные на машинке и от руки листки. Из прорвавшихся пакетов на пол просыпался порошок разных цветов, сапогами его разнесли по полу. На окрашенных белилами полках выстроились обозначенные латинскими надписями банки. Подоконник уставлен широкогорлыми, запечатанными сургучом бутылками с бурой, почти черной жидкостью.

Киреев подводит меня к бутылкам.

— Ценная штучка, товарищ комбат... Настойка опия... При расстройстве желудка замечательное средство.

Он собирается продемонстрировать еще и другие ценности брошенной аптеки, но я прерываю:

— Бери это желудочное снадобье! И на этом точка! И на будущее время изволь не прекословить капитану.

Киреев бережно забирает в объятия драгоценные бутылки. Одна все же не умещается. Он обращается ко мне:

— Положите, товарищ комбат, сверху.

Исполняя просьбу рачительного фельдшера. Бросив прощальный взгляд на заставленные полки, печально покачав головой, Киреев со своей ношей покидает временное пристанище санвзвода.

Минуту спустя он, опять как-то по-домашнему, говорит ездовому:

— С богом... Трогай помаленьку...

2

Медленно тащится санитарная фура. Идущие позади раненые сбились кучкой — в эти минуты никто не решается отстать.

Мы уже выбрались из дола, из укрытых мест, миновали домики поселка. Впереди заросшая травой пустошь, простреливаемая с трех сторон. Ее надо пересечь, чтобы достичь роши, темнеющей приблизительно в километре,— это сборный пункт, указанный командирам рот.

Роты еще не начали отход. На пустоши гуляет ветер, прочесывает истоптанную, выстриженную скотом траву. Порой, при сильных порывах ветра, кустики травы клонятся сильнее, тогда легкие тени пробегают по пустому выгону. Туда, напрямик к роше, поворачивает санитарная запряжка, колеса легко движутся по ненаезженной дернине.

Я на миг задерживаюсь, оглядываю простор. Пора, пора бы уже отходить ротам.

Словно в ответ на эту мысль, из-за кладбищ на луговину выкатывается вторая рота. Люди бегут гурьбой, некоторые вырвались вперед, среди них я прежде всего различаю Заева. Согнувшись, прижав локти

к бокам, он несется, не оглядываясь. Его пистолет сунут за пояс, карманы шинели обвисли, оттопырены, туда, наверное, всыпаны патроны. Силы догнать передовых, тяжело бегут оставшиеся. С ними мчится и Бозжанов. Он на бегу вспотел, щеки влажно лоснятся. Рой разноцветных пуль — красных, желтых, зеленых — преследует бегущих. Эти светящиеся хлыстики словно подгоняют бойцов. Мне кажется, я слышу, как стучат сердца топающих по луговине людей, вижу их замутненные неистовым бегом глаза.

А что будет, если выскочат вдогонку немцы, ворвутся сюда на плечах наших? Нет, так не пойдет!

Посылаю Лысанку карьером, в полминуты обгоняю бегущих. Осадив коня, поворачиваюсь им навстречу. Тяжело дыша, подбегают передние.

— Стой! — резко кричу я.

Безотказно действует укоренившийся рефлекс дисциплины. Послушные приказу, бойцы остановились.

— Не убегать! Будем отходить, как положено солдатам. Заев, почему допустил такой кабак?

Заев шагает ко мне. Шумно отдуваясь, произносит:

— Нас, товарищ комбат, прикрывают пулеметчики... Я думал, что...

— Где уж тут думать, если бежишь как угорелый?! Отходи повзводно! Управляй!

— Есть! — гаркает Заев.

И тотчас командует:

— Всем разобратся! Первый взвод, стройся! Второй и третий, прикрывать отход! Разомкнись! Шире... Еще шире...

Подняв жилистый кулак, Заев грозно командует:

— Шагом...

И рывкает:

— Марш!

Где в такую минуту мое место? Если пойду впереди — вдруг задние не выдержат, вновь побегут, смутят других... Отъезжаю к небольшой выпучине, соскакиваю с седла, приказываю Синченко вести лошадей в лес, взбираюсь на бугорок. Теперь меня видно отовсюду.

Сотни цветных мух по-прежнему носятся над двумя цепочками, удаляющимися скорым шагом, снуют между фигурами. Внезапно мне делается страшно: наверное, сейчас немцы снесут полвзвода. Нет, все целы, идут, пуля пока никого не тронула.

Поднялась, пошла еще одна шеренга.

Заев тоже высмотрел для себя горбик, взбежал на него и, грозно уперев сжатые кулаки в бока, — по-русски это зовется «руки в боки» — молча наблюдает, как отходит рота.

Наконец и он, покосившись на меня, покидает свою вышку, уходит, вышагивая длинными ногами, с последней цепью роты.

3

Возле меня задержался лишь Бозжанов. Слышу его голос:

— Товарищ комбат, сойдите. Тут очень опасно.

Отвечаю:

— Можешь уходить... Тебе никто не велел здесь оставаться.

Нет, Бозжанов меня не оставляет. По широкому лицу пробегает тень обиды, но тотчас же он забывает о задетом самолюбии: глаза-щелочки сторожко окидывают местность.

Мы видим: на пастбище с другого края выносятся рота Филимонова. Она тоже валит скопом, потеряв порядок. Иные бойцы далеко обогнали

командира. Вон он, подтянутый, поджарый Филимонов, легко, будто почти без усилий, бежит в гурьбе солдат. Заметил меня, с маху остановился. Его обходят, обтекают. Но уже приметили комбата.

Те, что разогнались, вышли вперед, замедляют бег. Филимонов повелительно командует, рота почти враз ложится; бойцы перебежками занимают места в своих отделениях, во взводах, поворачиваются лицом к пулям.

...По выгону, вслед роте Засва, отходят раненые. Выстрелы, свист пуль, нервные окрики возницы горячат коней; пристяжная то и дело норовит перейти на рысь.

Раненые уже не жмутся к борту фуры, идут нестройной вереницей, растянулись; некоторые едва ковыляют, поотстали.

Доктор Беленков ушел далеко вперед. Пролетающие светляки-пули заставляют его гнуться, вбирать голову в поднятый ворот шинели. Вон он оглянулся на фуру, ползущую в сотне шагов сзади, задержался, принуждая себя подождать свой взвод, подождать раненых, но цветные змейки, готовые мгновенно ужалить, гонят его к роще. Придерживая свою докторскую сумку, Беленков убыстряет шаг и уже больше не оглядывается.

Пропустив впереди себя раненых, за ними беглым, скорым шагом повзводно проходит рота Филимонова. В задней цепи идет сам командир. Поравнявшись со мной, он поворачивает голову ко мне и вот так, не спуская глаз с комбата, минует бугор. На сердце вновь теплеет: вот они, мои герои...

На рысях проносятся артиллерийские упряжки; катятся, проминая дернину, колеса пушек. Откуда-то выскакивает пулеметная двуколка, влекомая крепкой мохноногой лошадкой. В кузове уселись пулеметчики.

Последней уходит рота Дордия. Противник по-прежнему пригоршнями мечет светящуюся дробь. Вот пуля находит себе жертву. Кто-то в цепи осел наземь, не поднялся. Его берут на руки, ташат с собой.

Замыкающим мешковато идет Дордия. Рядом два его связных — маленький Муратов и рослый, молодцеватый Савицкий. Неожиданно Муратов хватается рукой за плечо. Дордия бросается к ужаленному пулей связному, но я кричу:

— Не отставать! Вперед!

Стискивая рукав шинели, раненый малыш татарин тоже наддает шагу. Замыкающая тройка быстро удаляется.

4

Последними с поля уходим мы с Бозжановым. Шагаем к роще. Бозжанов беспокойно оглядывается.

— Товарищ комбат, надо бегом. Нас могут настичь немцы.

Но я плетусь с трудом, насилу заставляю себя идти быстрее. Нервная звинченность последних часов сменилась усталостью.

— Аксакал, зачем вы так рисковали?

Не часто Бозжанов называет меня аксакалом — то есть старейшим, белой бородой, — лишь в некоторые особые минуты у него с языка срывается это обращение.

— Зачем вы так рисковали? Зачем стояли на виду?

— Это, Джалмухамед, не пустой риск. Это долг... Моя профессиональная обязанность.

В мыслях добавляю: «Мы с тобой люди военные, люди высокой профессии. Утрата жизни — естественное следствие нашего с тобой ремесла». Однако зачем это высказывать? Говорю:

— Разве я мог уйти первым? Если побежит командир, бойцы обгонят его на пять километров.

— Аксакал, вы должны беречь себя ради этих людей. Что будет с батальоном, если вы погибнете?

В ответ я усмехаюсь:

— Ты знаешь, этой ночью я свалился, погиб для батальона. И нашли люди, которые вполне меня заменили.

Бозжанов снова оглядывается, снова торопит:

— Пойдемте же скорей!

5

Наконец мы в роще. Бойцы, устало сидевшие промеж деревьев, без команды вскакивают.

— Отдыхайте. Вольно,— говорю я.

Кто-то уступает мне пень. Грузно сажусь. Сквозь стволы виднеется покинутое нами поле. Там снова все голо, недвижно. Лишь ветер прочесывает коротышку траву. На краю неба, в прогалинках меж туч, проступили блеклые краски раннего осеннего заката. Синченко подводит коней. Лысанка тянется к моей руке.

— Синченко, кусок сахару не приберег?

— Нет, товарищ комбат.

Я поглаживаю нежный хруп Лысанки.

— Хлеба, Лысанушка, тоже у нас нет. Сами без обеда. А закурить, Синченко, есть?

Синченко подает пачку «Беломора».

— Последняя, товарищ комбат.

Ко мне подходят пулеметчики Блоха, Мурин, Галлулин. С ними и Гаркуша. Все испачканы землей. Белесые брови невысокого Блохи потемнели, на них осела черная пыль взрывов и кладбищенская черная земля, к которой сегодня, наверное, не раз приникали пулеметчики.

Вытянувшись, Блоха говорит:

— Товарищ комбат, разрешите доложить. Пулемет разбит.

Вяло отвечаю:

— Ладно... Разбит так разбит.

С разных сторон бойцы сходятся к моему пню, слушают наш разговор. Надрываю пачку «Беломора», предлагаю:

— Что же, товарищи, закурим.

Но ни одна рука не поднимается, никто не притрагивается к папиросам. Блоха отрицательно поводит головой. Мурин тоже молча отказывается, вертит тонкой шеей. Даже лукавый курносый Гаркуша сейчас смотрит в сторону.

— Курите же! Гаркуша, закуривай.

Чувствую, что Гаркуша колеблется. Но вот он взглянул прямо на меня.

— Нет, товарищ комбат. Курите сами. Нас много, всем не хватит.

— Почему не хватит? По затяжке и то хорошо.

— Нет, товарищ комбат.

Поворачиваюсь, нахожу взглядом пшеничные, порыжслые от табачного дыма усы Березанского.

— Березанский, тащи папиросу.

— Нет, товарищ комбат.

Я с удивлением оглядываю бойцов. Нет, удивление — не то слово.

Трудно солдату проговорить «нет», когда ему предлагают папиросу. Но мои солдаты отказались. Я их муштровал, был беспощаден, лишал отдыха, не давал подчиниться усталости, не позволял бежать от пуль, а они... Они сейчас не хотели лишиться меня хотя бы одной папиросы.

— Ну, как хотите.

Сам я взял в зубы папиросу, зажег спичку, последил за огоньком. Маленькое пламя добралось к пальцам, обожгло, я отбросил спичку. Надкушенная папироса вернулась на свое место в пачку. В ту минуту и я не смог курить. Посидел еще немного. Глубоко вздохнул, крикнул:

— Командиры рот, ко мне!

Командиры подбежали. Я сказал:

— Будем двигаться... Стройте людей...

Момыш-Улы помолчал.

— Нет, это было не удивление,— вновь произнес он, возвращаясь к сказанному.— Душа многострунна. Усталость, уныние, горечь, радость, гордость, любовь к своим бойцам — все переплелось вместе... Что еще сказать? Маленькая история в лесу, история последней пачки «Беломора», запала в память как одно из самых острых переживаний войны. Это тоже один из кульминационных пунктов, одна из вершин нашей повести... Ставьте здесь большую точку.

После большой точки

1

— Ставьте большую точку,— повторил Баурджан Момыш-Улы.

Он сидел возле меня на пне. Нередко в дни затишья, сменившего полосу боев, мы беседовали не в блиндаже, а здесь — на песчаной мшистой гривке среди мрачного леса на Калининском фронте. Подмосковные поля и перелески, где в прошлом году гремела битва, остались за несколько сотен километров позади.

Нешедрое тут, близ Холма и Старой Руссы, летнее солнце пригрело вырубку. Я то и дело шлепками ладони убивал у себя на лбу или на шее комаров, но Момыш-Улы оставался равнодушен к их уколам. Он сидел, положив обе кисти на рукоять своей неизменной шашки, упирающейся в мох. Его руки, подобно лицу, казались вырезанными из темной бронзы или дуба. Косточки у сгиба худошавых пальцев были тонко выточены. Четко проступал и рисунок слегка выпуклых вен на тыльной стороне ладони.

Неожиданно Момыш-Улы запел. Слов я не понимал — он пел по-казахски,— мотив был протяжный, заунывный.

— Снова отрезаны,— произнес он, перестав напевать.— Без связи, без хлеба, без патронов. С одной пачкой папирос на весь батальон. И идем, идем...

Около нас дымил костерик, отгонявший комаров. Я подбросил ветку хвой, она задымилась, потом ярко полыхнула. Полузакрыв черные глаза, слегка покачиваясь на пне, Баурджан опять затянул песню. Теперь он пел по-русски. «Иван, Иван,— разобрал я.— На твоём костре я загорался...»

— О чем вы? — решил спросить я.

— Вспомнилась степь,— ответил Момыш-Улы.— Когда кончится война, вернусь туда. Степь — это символ вольности, свободы. В городе чувства скованы. А в степи едешь, едешь... Пришло настроение — запоешь. Я был рожден для свободы, был рожден в степи, а стал, видите, солдатом, офицером. Солдат — это символ дисциплины. Сумеете ли вы передать это в книге: несвобода ради свободы?

Однако формулировки, которые он сейчас находил, его, видимо, не удовлетворяли.

— Мы с вами,— продолжал он,— слишком малы, чтобы разговаривать с человечеством. Но все-таки дерзнем. Мир хочет знать, кто мы такие. Восток и Запад спрашивают: кто ты такой, советский человек? Мы об этом сказали на войне. Сказали не этим болтливым языком, которому нипочем солгать, а языком дисциплины, языком боя, языком огня. Никогда мы так красноречиво о себе не говорили, как на полях войны, на полях боя... Вернемся же под Волоколамск... Идем, идем...

Уносясь в прошлое, Баурджан Момыш-Улы снова протяжно запел по-казахски.

2

Я опять прервал заунывную песню.

— Баурджан, а что случилось с командиром роты Панюковым? Куда он делся? Вы об этом так и не сказали.

— Панюков? — Веки Баурджана вскинулись. — Долгое время мы о нем ничего не знали. Порой меня точила мысль: не оказался ли он калекой совести? Не намеренно ли в ту ужасную ночь отбилсь от нас, бросил свою роту? Припоминалось то и се... Наш последний разговор, последняя минута... Еще в ту минуту мне вдруг померещилось, что он боится. Я чуть не крикнул: «Стой, ты не пойдешь!» Нет, я зря грешил на Панюкова. Сквозь немецкое расположение к нам выбрался один боец из его роты. И рассказал, как Панюков сложил под Тимковым свою голову. Обогнав растянувшуюся ротную колонну, он вместе с несколькими бойцами шел во тьме напрямик к деревне. Вдруг оклик по-немецки... Выстрелы в упор. Вскрики... Тишина... Боец долго лежал без движения. Потом ползком разыскал командира. Тот уже не дышал. Все, кто вместе с Панюковым подошел к деревне, были перебиты. Удалось спастись лишь одному...

3

Момыш-Улы помолчал.

— Так и теряешь,— продолжал он,— одного за другим боевых товарищей. А меня пуля покамест не берет. Один раз тронула, но обошлось. Наверное, бережет судьба, чтобы мы с вами могли рассказать о батальоне.

Его глаза, скользнувшие по моей тетрадке, были сейчас ласковы. Но, как обычно, ласку он прикрывал грубоватой шуткой.

— Ну-с, что еще вы хотели бы спросить?

Чувствуя, что Баурджан расположен поговорить, что сегодня, пожалуй, он склонен отвлечься от излюбленной военной темы, я сказал:

— Какое странное выражение вы употребили: «калека совести». Что оно значит?

Момыш-Улы ответил не сразу. Он улыбнулся каким-то своим воспоминаниям. Прочеканенные резцом черты смягчились. Мне показалось, будто проглянул Баурджан-юноша, Баурджан-мальчик.

— Когда-то, много лет назад, мой отец,— заговорил он,— впервые повез меня в город. Мы ехали мимо базара. И вдруг я увидел калеку. Он с трудом ползал на обрубках. Из-за какого-то ужасного повреждения его шея не держала головы. Огромная всклокоченная голова болталась, подпираемая чем-то вроде деревянного воротника, укрепленного ремнями. Болталась и стучалась о воротник. Испугавшись, я прижался к отцу и заревел. Отец снял меня с коня, взял за руку, подвел к увечному. «Не бойся, Баурджан, калеки. Он не страшен. Самое страшное на свете — это калека совести».

Момыш-Улы снова чему-то улыбнулся. Мне опять почудилось, что сквозь суровое обличье воина я различаю маленького казашонка, при-

льнувшего к отцу, широкими глазами оглядывающего незнакомый, удивительный мир.

— Мой отец,— продолжал Баурджан,— был в роду старшим, если не считать бабушки. Все, начиная с его брата, уважительно называли его «папаша», «ата», «жаке». Он был худощавым, маленьким. Кожа черная, вены выпуклые, вздутые. Это я унаследовал от него. Глаза узкие, спрятанные в глубоких глазных впадинах. Негустая седеющая борода.

Раньше Момыш-Улы неизменно отстранял мои вопросы, если они не касались войны, боевого пути батальона. Сейчас он впервые стал рассказывать об отце. Кисти рук Баурджана по-прежнему легко лежали на рукояти упертой в землю шашки, он глядел куда-то в сторону, дав, видимо, волю пахлынувшему настроению.

4

— У отца,— продолжал Баурджан,— был любимый, выезженный им молодой конь. Отец был легоньким, сухим и коня подобрал себе под пару — легконогого, поджарого. Однажды конь захромал, на задней ноге стянулись сухожилия. Я в то время был уже юношей, работал в райсовете. Отец привел коня к доктору-ветеринару, захватил с собой на всякий случай на подмогу и меня. На обширном дворе ветеринарного пункта рыжеватый толстяк доктор в белом халате осматривал приведенных к нему лошадей. В аулах он считался знатоком конских недугов. Казахи, ожидавшие с лошадьми очереди, расступились перед старым Момышем — ему в то время было уже под восемьдесят.

— Проходите, проходите, ата, к доктору...

Ветеринар осмотрел коня.

— Уводи. Ничего сделать нельзя. Твой конь пропал.

Отец начал упрашивать, вынул деньги. Доктор рассердился:

— Ты что, русского языка не понимаешь? Переводчик, скажи, что этого коня лечить нельзя. Дело пропащее.

Кое-как подыскивая русские слова, отец стал возражать, убеждать доктора. Тот крикнул переводчику:

— Скажи этому ахману (дураку), чтобы пустил своего коня на махан.

«На махан» — это значит на мясо, на конину. Отец смутился, ничего не ответил, сел верхом на хромого коня и уехал. Со мной он не попрощался. Его, старшего в семье, почтенного жаке, публично, в присутствии сына, назвали ахманом, осмеяли. И сын не сумел вступить, промолчал... Прошло месяца два. Отец пропадал в степи. в ауле, не подавал о себе вестей. Однажды утром, когда я сидел на службе, явился посланец от него.

— Ата просит, чтобы ты сейчас же пришел на ветеринарный пункт.

Я сложил бумаги, прихожу. На знакомом вместительном дворе много коней, много народу. Толстяк доктор отбирает лошадей в армию. Оглядываюсь, моего старика нигде не видно. Я встал в сторонке, жду. И вдруг полным галопом, так, что из-под копыт летит земля, на том самом коне, которого доктор послал «на махан», во двор влетел отец в новом бешмете, в шапке из мерлушки — он всегда любил хорошо одеваться. На всем скаку он осадил коня, дал свечку, заставил станцевать. Приемка лошадей остановилась. Все засмотрелись на отца. Тот нашел взглядом меня — должно быть, хотел видеть, здесь ли его сын. Потом подрыл к ветеринару, снова поднял коня на дыбы и крикнул:

— Переводчик, скажи этому ахману, что не коня, а его самого надо пустить на махан!

Победоносно глянул на меня, повернул коня, прыгнул через арык и чскакал.

Оказалось, что два месяца он был одержим лишь одним стремлением, одной думой: вылечить коня. Сделал надрезы, пустил кровь, массировал, дневал и ночевал с конем. И вкусил сладость триумфа.

С ветеринарного пункта я вернулся к себе за служебный стол. Старик куда-то канул, не навевается. В конце дня ко мне входит доктор.

Отца нашли на базаре в компании стариков. Он упирался, не хотел идти к врачу, но его все же притащили. Доктор принес извинения по всей форме. На террасе его дома появились разные кушанья, кипящий самовар, вино. Старый Момыш был усажен на почетное место, растрогался, помирился с доктором. Весь вечер они, чокаясь, толковали о конях.

Отец умел слагать стихи. Эту историю он впоследствии изложил стихами, в которых излил свои переживания и воздал напоследок хвалу доктору, не оказавшемуся гордецом.

5

Я охотно занес в тетрадь этот рассказ Баурджана. Казалось, мне открылась еще одна сторона души командира батальона, стал еще понятнее сын Момыша.

По-прежнему с улыбкой, делавшей лицо ребячливым, Баурджан продолжал перебирать и пересказывать встающие перед ним картинки прошлого.

— Матери я почти не помню. Запечатлелось лишь, как она болела, умирала. Крупная, высокая, с большими глазами, с белой кожей. Говорят, была красивой. О ней мне рассказывала бабушка, мачеха моего отца. Она никогда не называла мою мать по имени, а всегда так: «Моя красавица». Любовалась нами, внуками: «Глаза моей красавицы...» А отца не жаловала. Если ей что-нибудь не нравилось во мне, определяла: «Это отцовское». Отцу говорила: «Красивых детей она оставила тебе. Непонятно, как это случилось. От такого красавца, как ты, можно родить только обезьяну». Отец к ней относился с уважением, никогда не обижал, все ее колкости пропускал мимо ушей. Русских бабушка называла желтыми, желтоволосыми...

Набежавший ветерок шевельнул листок моей тетради. Баурджан посмотрел на меня, на карандаш в моей руке.

— До бабушки дошли,— сердито произнес он и повысил голос.— Все это лишнее! Можете вымарать! На чем мы оборвали?

— Вы что-то напевали... О каком-то, кажется, Иване...

— Что?.. Открывайте чистую страницу. Начнем новую главу.

Побеседуем втроем

1

Достав портсигар и закурив, Баурджан Момыш-Улы сказал:

— Эти дни после падения Волоколамска, когда мы, отрезанные немцами, пробирались к своим, казались мне трагическими. Особенно остро я пережил один случай, доведший меня чуть не до умоисступления.

Однако генерал Панфилов, которому по долгу службы я докладывал об этом, неожиданно, в самый драматический момент моего рассказа, начал хохотать. Смеясь, он даже утер слезу. И все повторял:

— Так и сказали: «высшее медицинское образование»?

2

— Хочется,— продолжал Момыш-Улы,— не упустить ни одной подробности из моих встреч с Иваном Васильевичем Панфиловым.

Я пришел к нему пять дней спустя после того, как он послал меня, свой единственный резервный батальон, навстречу немцам, прорвавшимся севернее Волоколамска.

Оставшись далеко в стороне от Волоколамского шоссе, мы четверо суток скитались, немало претерпели. Выведа батальон к нашим частям, вновь окопавшимся, заградившим Москву, я был обязан явиться к генералу, доложить о действиях батальона.

Минули сутки, как мы вышли к своим. Выдался солнечный, погожий день. Чуть подмораживало. На фронте, казалось, водворилось затишье. Лишь изредка то поблизости, то вдалеке постреливали орудия.

Штаб дивизии помещался в деревне Рождествено, примерно в пятнадцати километрах от Волоколамска. Знакомые штабные командиры встречали меня, как воскресшего из мертвых. Несколько суток о батальоне не было вестей — поневоле поминали за упокой.

Панфилов занимал бревенчатую ладную телефу под железной крышей, куда тянулись три-четыре нитки полевого телефона. У входа меня оставил часовой. Вскоре на крыльцо выбежал вызванный часовым молоденький лейтенант Ушко, адъютант Панфилова.

— Мы уже, товарищ старший лейтенант, не чаяли,— улыбаясь, говорил он,— что вас увидим. А вы... Вы опять как после живой воды. Идемте, идемте, товарищ старший лейтенант. Генерал сейчас вас примет.

В сенях я чуть не столкнулся с идущим навстречу подполковником Хрымовым. Неужели он? Приземист, мрачноват, как всегда. Всколыхнулась ярость, что накопилась в душе против него. Именно ему был в ходе событий по приказу Панфилова подчинен мой батальон. И дважды в эти дни Хрымов бросал меня на произвол судьбы, не извещая об отходе своей части. При отступлении мы наткнулись на его командный пункт — шалаш, в котором еще горела лампа. «Не до вас было. Прости, Момыш-Улы», — так ответил позже на мои упреки заместитель Хрымова майор Белопегов. Меня тронуло это искреннее, честное признание. Но что мне скажет сейчас сам Хрымов? Я вытянулся в положении «смирно».

— Здравия желаю, товарищ подполковник!

Хрымов приостановился. Его отливающая желтизной лысина мгновенно покраснела. Однако он быстро справился с замешательством.

— А-а, Момыш-Улы... Рад тебя видеть. Как твой батальон?

— Этим, товарищ подполковник, вам следовало поинтересоваться, когда вы снялись с позиции, не сообщив об этом мне.

— Во-первых, возьмите-ка, товарищ старший лейтенант, полтона ниже...

— Слушаюсь, товарищ подполковник. Но предпочел бы слышать ваши приказания в бою.

Лысина Хрымова мало-помалу приобретала свою обычную окраску. Он грозно хмурился, но избегал моего взгляда. Чины не помогают смотреть подчиненному в глаза, если начальник преступил законы чести.

— Во-вторых, потрудитесь, — Хрымов повысил голос,— меня не поучать... Кстати, почему вы здесь?

— Иду к генералу.

— К генералу? Ишь... Командир батальона идет непосредственно к генералу!

Неожиданно дверь из комнаты отворилась. На пороге мы увидели Панфилова.

— Да, товарищ Хрымов, — с обычной хрипотцой проговорил генерал, — товарищ Момыш-Улы идет ко мне. Он командир моего резерва. Вам, товарищ Хрымов, об этом следовало бы помнить. Если бы вы хорошо воевали, мне не пришлось бы посылать вам на помощь мой резерв.

Как обычно, Панфилов делал замечания, не ругаясь, не крича, а этаким боковым ходом. Я считал должным повторить в присутствии генерала упрек Хрымову.

— При отходе подполковник меня бросил, товарищ генерал. Снялся и ушел, не сообщив мне.

Хрымов попытался изобразить возмущение.

— Товарищ генерал, как вы позволяете ему?

Маленькие умные глаза Панфилова, устремленные на подполковника, прищурились.

— Я с вами поговорю наедине, товарищ Хрымов. Думаю, что и вы это предпочтете... Не так ли?

Хрымов промолчал.

— Можете идти, — сказал Панфилов. — Товарищ Момыш-Улы, пойдете.

3

В комнате Панфилов еще раз ласково оглядел меня, пожал мне руку.

Наш невысокий, невзрачный генерал был свежевыбрит, подстрижен. Усы, беспорядочно торчавшие, когда немцы наседали с разных сторон на Волоколамск, теперь чернели, как обычно, двумя четкими квадратиками. На генерале был новехонький, видимо только что сшитый, китель. В нем сутуловатость Панфилова почти не бросалась в глаза: он распрямился, будто сбросил с нешироких плеч добрый десяток лет.

Что запомнилось мне в комнате Панфилова? Потемневшие от времени нештукатуренные бревенчатые стены. Свисающая с потолка электрическая лампочка привычного глазу размера, видимо уже не получающая тока, а рядом с нею крохотная, на витом черном шнуре — походная, действующая от аккумулятора. В углу кровать, застланная серым, так называемым солдатским одеялом. Трюмо, на подставке которого поместился полевой телефон. Два стола — один большой, другой поменьше. На большом была разостлана топографическая карта с разноцветными карандашными пометками. На меньшем — самовар, белый фаянсовый чайник, сахарница, раскрытый перочинный нож, недопитый стакан остывшего крепкого чая.

Панфилов кликнул адъютанта.

— Товарищ Ушко, распорядитесь... Сообразите-ка нам самоварчик... У нас теперь, товарищ Момыш-Улы, времени много... Можем позволить себе посидеть за самоваром. Отвоевали себе времечко.

Панфилов прошелся по комнате, попридержал шаг у тусклого трюмо, на ходу оглядел себя, прищелкнул пальцами и молодецки, на одном каблуке, повернулся. Он, видимо, превосходно себя чувствовал, был на редкость оживлен.

Подойдя к телефону, он соединился с начальником штаба дивизии полковником Серебряковым.

— Иван Иванович, я собираюсь поработать... Ничего не напишешь, все это вы возьмите на себя. К вечеру повидаемся, поговорим. А сейчас я приступаю к своим прямым обязанностям: буду пить чай и размышлять о будущем. Нет, нет, не один... У меня командир моего резерва... Не знаю, может быть придется разок-другой самоварчик подогреть... Так имейте, пожалуйста, это в виду, Иван Иванович...

Далее характер телефонного разговора изменился, пошла речь о делах. Закончив, положив трубку, Панфилов сказал:

— Сегодня, товарищ Момыш-Улы, нам никто не помешает. Спокойно побеседуем втроем. Располагайтесь поудобней. Мы вас слушаем.

Я невольно оглянулся. «Побеседуем втроем. Мы вас слушаем». Кто это — мы? Кроме Панфилова, в комнате не было никого.

— Мы, мы, — повторил Панфилов. — Я и моя карта. Ей тоже полезно вас послушать. Взгляните на нее, отвесьте ей поклон.

Я подошел к раскинутой на столе карте. Взглянул — и невольно отшатнулся. То, что сказала мне карта, совершенно не вязалось с довольным видом генерала.

Как и несколько дней назад, когда я был у Панфилова, меня поразила картина взломанного, раздробленного фронта. Там и сям пролегли словно бы разрозненные красные ошетиленные дуги, ромбики, кружки, обозначавшие наши боевые части. Просветы, разрывы между ними достигали километра и более. Эти просветы были открыты для противника.

Обернувшись, я встревоженно посмотрел на Панфилова. Он улыбался — от узеньких глаз бежали гусиные лапки.

— Товарищ генерал, я не пойму... Где же наш фронт?

— Это и есть наш фронт, товарищ Момыш-Улы.

— Но ведь тут... Где тут наша линия?

Замечу, что в те времена фронт мне всегда представлялся линией.

— Линия? — Панфилов засмеялся. Чуть ли не впервые в дни битвы под Москвой я услышал его смех. — А зачем нам линия? Думайте, товарищ Момыш-Улы, за противника. Всмотритесь: это опорные точки, узелки нашей обороны. Промежутки простреливаются. Здесь он не полезет. А полезет — пусть! Ни машин, ни орудий не протащит.

Придвинув мне стул, Панфилов не удержался, чтобы не полюбоваться картой.

— Вчера, товарищ Момыш-Улы, приезжал Рокоссовский, все это одобрил. Знаете, товарищ Рокоссовский считается со мной...

Таково было невинное хвастовство нашего генерала.

В комнате запищал телефон. Панфилов взял трубку.

— Здравствуйте... Да, да, узнал. Как не узнать?

Очевидно, Панфилов услышал слова одобрения.

— Благодарю вас... Служу Советскому Союзу!

Внезапно смуглое лицо Панфилова стало лукавым, он подмигнул мне, словно приглашая принять участие в разговоре, и тоном протака произнес в трубку:

— А я думал, вы опять будете ругать меня за беспорядок.

А, вот он с кем разговаривает! Я догадался — Звягин. Вспомнился Волоколамск, атмосфера тревоги в комнатах штаба дивизии, грузноватый, с небольшими отеками под серыми властными глазами заместитель командующего армией, тяжело роняющий фразы, отчитывающий Панфилова за беспорядок. Вспомнилось и угрюмое лицо Панфилова, его упрямо наклоненная, иссеченная морщинами шея.

Сейчас все было по-иному. Громко звучащая мембрана донесла смех Звягина. Засмеялся и Панфилов.

Далее, как я понял, Звягин приказал Панфилову выделить некоторое количество саперов из инженерного батальона, чтобы скорее построить зеленый театр в лесу на участке дивизии. Затем разговор коснулся дивизионного оркестра и самодеятельного красноармейского ансамбля.

— Слушаюсь, все соорудим, — сказал Панфилов.

Закончив разговор, он отошел от телефона. Мне показалось, что Панфилов взволнован. Когда он вновь обратился ко мне, его хрипотца была заметнее обычного.

— Видите, товарищ Момыш-Улы, о чем думаем... Об ансамбле, а

театре! Все это нужно для войны. Нужно, чтобы дошло до сердца, — все-таки остановили! Остановили немцев под Москвой по всему фронту.

— Я, товарищ генерал, не смею этому верить.

— Остановили! — повторил Панфилов. — Им теперь потребуется неделя две, чтобы подготовиться к новому рывку. Но и мы с вами ведь дремать не будем.

Извинившись, он позвонил начальнику инженерной части, приказал послать взвод саперов на постройку театра, потом соединился с начальником политотдела, расспросил про ансамбль. Положив наконец трубку, Панфилов вернулся к карте, посмотрел на россыпь цветных значков.

— Беспорядок! — проговорил он. — Случается, что беспорядок, товарищ Момыш-Улы, это и есть новый порядок.

Еще в Волоколамске мне пришлось услышать от Панфилова эти слова. Тогда он произнес их не совсем уверенно, будто сомневаясь, спрашивая самого себя. Теперь они звучали как продуманное, выношенное убеждение.

— Мы с вами это еще обсудим. — Чувствовалось, Панфилову действительно было интересно обсудить со мной, средним командиром, занимавшие его вопросы. — А пока рассказывайте, товарищ Момыш-Улы. Рассказывайте о батальоне.

Тем временем подали кипящий самовар. Панфилов сам заварил чай, достал из буфета несколько крупных алма-атинских яблок, копченую рыбу, баночку варенья.

Перочинным ножом он ловко расколол на кусочки глыбочку сахару, стал пить вприкуску.

Я рассказал про страшную ночь под Тимковым, про то, как грязь подавила наш огонь, нашу атаку. Пришлось рассказать и о своей болезни, о том, как провалялся, пробездельничал ночь. Панфилов расспрашивал о батальоне, о людях, оставшихся в эту ночь без командира. Он не позволял спешить, комкать подробности, все время подливал мне горячего, крепкого чаю, точно и сейчас меня мучил озноб. Подливал и приговаривал:

— Пейте... Про чай не забывайте. И курите, курите, не стесняйтесь.

Когда я описал, как смотрел в бинокль на ворвавшиеся в Волоколамск немецкие танки и пехоту, Панфилов спросил:

— А в котором часу, товарищ Момыш-Улы, вы это видели?

— Приблизительно в час дня.

Панфилов засмеялся.

— Как раз тогда я решил побриться. Обстановочка, товарищ Момыш-Улы, была тае... Следовало, — Панфилов мотнул куда-то в сторону стриженной по-солдатски седоватой головой, вновь подмигнул мне, — следовало успокоить мою штабную публику. Вызвал парикмахера. А на улице трах-тарарах... Парикмахер бросил бритву, кисточку, сбежал. Я кричу: «Товарищ Дорфман, парикмахер сбежал, добривайте, окажите милость...» И ничего, еще часика три там продержались.

— Товарищ генерал, вы не бережетесь.

— Ничего... Поспешись — противника насмешишь... Но продолжайте, продолжайте, товарищ Момыш-Улы.

Я рассказал, как случайность боя загнала немцев в огневую ловушку. Панфилов заинтересованно слушал, попросил показать на карте позиции батальона, путь немцев, лошину, где мы учинили им побоище. Потом пришла очередь рассказу и про наш отход.

— Замыкающей, товарищ генерал, шла рота Дордия. И Дордия шел позади всех.

Уже несколько раз я называл генералу имя Дордия.

— Дордия? — переспросил Панфилов. — Этакий беленький? Глаза навывкате?

— Да, товарищ генерал.

— Что с ним теперь? Командир на славу?

— Он был ранен... И раненым был брошен.

— Брошен?

Черные брови Панфилова вскинулись, вмиг стал круче их излом.

— Да... Это, товарищ генерал, произошло так...

Тягостные картины блужданий батальона опять встали предо мной. Я поведал их Панфилову.

Ночевка у моста

1

— Тягостные картины, — повторил Момыш-Улы. — Идем по лесу усталые, голодные, понурые. Молчим, удаляемся в сторону от Волоколамска, оставленного Красной Армией. Лесная дорога узка; колеса пушек порой обдирают кору елок; санитарная крытая брезентом фура переваливается на корневищах; иногда из-под брезента доносится сдерживаемый стон; раненые бредут и за фурой; к их трудному шагу приноравливается шаг всей далеко растянувшейся колонны. Изредка попадаются прогалины, полянки, куда заглядывает ползущее к закату солнце. А дальше опять полумрак. Тяжелые лапы елей нависли над глухим, почти ненаезженным проселком. Тропа вывела в открытое поле, влилась в утопченную щебнем более широкую дорогу. В сумерках мы пересекли ее, двинулись дальше по задернелому полю, стараясь не отдалиться от опушки.

Часа через полтора, уже в темноте, мы вышли к деревне Быки. В деревне оказались наши, сюда отошел полк Хрымова. Мне повстречался помощник начальника штаба этого полка.

— А-а, хорошо, что подошли, — с места в карьер заявил он. — Я как раз еду вас разыскивать.

— Спасибо и на этом, — ответил я. — Разрешите связаться со штабом дивизии.

— Зачем? Вы приданы нам. Будете действовать совместно с нашим полком.

— Я с вами уже действовал. Непорядочно вы поступили. Где командир полка?

— В лесу. Завтра сможете с ним поговорить. А сейчас вот вам район обороны. Поднимайте людей и выступайте.

Мне был указан рубеж. Была дана задача: удерживать мост на дороге Волоколамск — Быки, перекрыть эту дорогу. Следовало идти обратно на щебенку, которую мы пересекли, занимать там оборону. Дело происходило вечером двадцать седьмого октября, а батальон с двадцать третьего не спал ни одной ночи. Последние сутки мы не ели, остались без курева, обедняли и патронами. Я попросил:

— Прикажите накормить мой батальон. Тут у вас полковой обоз. Пусть нам дадут хоть по двести граммов хлеба.

Однако помощник начальника штаба не решился вмешаться в неподомственные ему хлебные дела.

— Первым делом выполняйте задачу! Мы вам все вышлем. И дадим, если понадобится, дополнительные приказания.

Я спросил о своих будущих соседях.

— Вашим соседом справа будет наш первый батальон. Насчет соседа слева уточняем.

— То есть слева никого?

— Эти сведения пришем. Не задерживайтесь, идите.

— Коли так, слушаюсь.

Я кликнул коновода. Синченко подвел коней. Его Сивка несла на себе изрядный мешок овса.

— Раздобыл, товарищ комбат, у ездовых,— радостно заговорил Синченко.— Оживим наших коней.

Длинной мордой Лысанка тянулась к мешку. Я положил руку на холку. Лысанка мгновенно подобралась, тонкие уши шевельнулись, будто прислушиваясь ко мне. Вскочив в седло, я с тяжелой душой поехал к батальону, расположившемуся на привал вблизи деревни.

2

Дорога шла под изволок. Спускаясь мимо темных изб, я повстречал нашу санитарную фуру. Красноватая луна неясно озаряла пару отошавших, выбившихся из сил лошадей. Они медленно влчили в гору большие колеса, поблескивавшие выветленным на щебенке железом.

Впереди фуры энергично шагала капитан Беленков. На груди скреплялись ремни планшета и докторской полевой сумки. Я подивился бодрой походке Беленкова, мысленно похвалил его.

— Доктор, вы куда?

— Эвакуировать раненых, товарищ комбат.

— Этим займутся и без вас. С эвакуацией управится Киреев. Где он? Доктор ответил не сразу:

— Кажется, сзади.

Его голос почему-то упал. Я крикнул:

— Киреев!

Фура уже проехала. За ней двигались легко раненные; во тьме смутно белели забинтованные головы, забинтованные, на марлевых перевязях, руки. Позади всех устало плелся Киреев. Он подбежал ко мне, одолевая одышку. Теперь они стояли рядом — высокий длиннолицый врач и запыхавшийся грузноватый фельдшер.

— Киреев,— сказал я,— сдавайте здесь раненых, эвакуируйте их. Берите с собой двух санитаров. Остальные пусть идут обратно. Кормите здесь коней. А утром, чуть забрезжит, возвращайтесь в батальон. Найдете нас на этой дороге у моста. Понятно?

— Понятно... Все, товарищ комбат, будет в аккурате.

— Выполняйте.

Киреев тяжеломерно побежал догонять фуру. Беленков сказал:

— А я?

— Возвращайтесь в батальон. Мы получили район обороны и задачу. Сейчас построимся, пойдём...

— Но как же? Как же?.. — Волнуясь, Беленков застрял на этом «как же». — Товарищ комбат, я мечтал хоть вымыться по-человечески, хоть отмыть руки.

— Ну, руки-то отмоете. Там как раз течет речонка.

Неожиданно доктор захныкал:

— Я устал... Я не дойду...

Захотелось прикрикнуть, окриком вернуть ему мужество, выдержку. Но вместе с тем подумалось: ведь он же достойно выполнил свой долг, наслушался стонов, нагляделся крови, оперировал, перевязывал, вовремя вывез раненых. Нет, нельзя воздействовать только криком. Я соскочил с седла.

— Доктор, садитесь на Лысанку. А я пойду пешком. Давайте я поддержу вам стремя.

Подержать стремя — это по нашему казахскому национальному обычаю знак уважения, почесть. Беленков был уроженцем Казахстана, жителем Алма-Аты, знал этот обычай. Застеснявшись, он пробормотал:

— Зачем, зачем?

Но я почтительно склонил перед ним голову. Доктор уступил, поставил ногу в стремя, взобрался на Лысанку.

— Благодарю вас,— проговорил он.

Голос его снова был твердым.

3

Минуту спустя, шагая вслед удаляющимся всадникам и еще различая в лунном свете серый круп Сивки и белые чулки Лысанки, я вдруг услышал:

— Гляди-ка... Кажись, батька!

Я узнал быстрый говорок Гаркуши. Вот как, оказывается, он уже именуется меня батькой. Тотчас прозвучал ответ:

— Он! Его коняшка!

Кто же это с Гаркушей? По голосу, по произношению я определил: мой сородич, казах. Но кто же именно? Казах продолжал:

— Айда в роту! А то как бы не ушли!

— Погоди. Стукнем в эту хату. Еще чем-нибудь, может, разживемся.

Я крикнул:

— Гаркуша! Ты с кем?

Водворилось молчание. Донесся сокрушенный вздох. Потом две фигуры с винтовками за плечами, с котелками в руках послушно подошли ко мне. Я мгновенно распознал богатырскую статью Галлиулина. Сейчас он понурился, словно пытаюсь стать незаметнее, как-то уменьшить свой огромный рост. Но и при этом он на голову возвышался над Гаркушей.

— Кто разрешил ходить по хатам?

Галлиулин смущенно молчал, но Гаркуша не утратил бойкости.

— Товарищ комбат, злодей-брюхо виновато. Вчерашнего добра не помнит.

— Молчать! Марш в батальон! Вижу, вас распустил лейтенант Заев. Доложите ему, что шастали по избам. Пусть он вас взгреет!

— Товарищ комбат, разрешите не докладывать,— попросил Гаркуша.— Всего-то и раздобыли по котелку творога. И чуток картошки.

Галлиулин робко добавил:

— Разве мы только для себя? Несем товарищам.

— Без разговоров! Бегом!

Вероятно сочтя себя прощенными, Гаркуша и Галлиулин побежали.

4

Вскоре я подошел к батальону, расположившемуся под горкой на привале. Озаренное луной поле было усеяно сидевшими и лежавшими солдатами. Впрочем, сидели лишь немногие: усталость, изнеможение повалили почти всех.

Меня встретил Рахимов. Он подбежал легким шагом, будто вовсе не был измотан напряжением боя, бессонными ночами, долгим маршем. Привычная уху команда огласила поле.

— Встать! Смирно!

Я не произнес «отставить». Но этого слова, видно, ждали. Истекла минута. Сначала вскочили командиры, потом, нехотя отрывая от земли ноющие, натруженные тела, со вздохами, с кряхтением поднялись бойцы. Рахимов отрапортовал: батальон на привале, чрезвычайных происшествий не было. Я сообщил ему полученный мной приказ, велел вести

батальон к мосту. Без промедления, без расспросов Рахимов выкрикнул команду, которая — я это знал — была для всех сейчас постылой:

— Становись!

Однако пружина дисциплины действовала. Тотчас прозвучали повторные команды. Опередив всех, хрипло гаркнул Заев:

— Вторая рота, становись!

К его сорванному басу присоединился звонкий, высокий голос Дордия:

— Первая рота, становись!

Кутаренко прокричал команду своим артиллеристам, Филимонов — третьей роте, Брудный — взводу разведки, Тимошин — взводу связи. Эти голоса слились. Бойцы медленно построились. Вновь над темными рядами выросла грозная щетина штыков.

— Равняйся!

От сердца немного отлегло. Батальон жил, держал равнение, держался вопреки недосыпу, голоду, усталости, почти непосильной человеку. Незримое знамя воинской чести, дисциплины, солдатского долга реяло над нами. Я сказал:

— Рахимов, ведите батальон!

5

Через час мы добрались до мостика, перекинутого через узкую, в несколько шагов шириной, речонку. В небе по-прежнему плыла луна, порой застилаемая быстро несущимися облаками. Берег, обращенный к противнику, был слегка вздыблен, образовывал высотку, или, вернее, хребтик. Глубокая впадина реки поросла кустами. В открытом поле виднелись темные шапки стогов. К полю со всех сторон примыкали леса, порой чуть ли не сплошь заливающие зеленой краской топографическую карту этой части Подмосковья.

Я вызвал командиров рот, указал участки обороны.

— Кладите бойцов в оборону. И пускай спят. Часовых не ставить. Вы будете часовыми.

Рахимов тем временем выбрал в ложине у реки место для штаба. Там быстро соорудили шалаш. Синченко привязал неподалеку Сивку и Лысанку. Лысанка, доставившая сюда, на рубеж, нашего доктора, была счастливее нас: она уже перетирала на зубах вкусное сено, щедро натасканное руками Синченко из ближайшего стога; она подняла морду, потянулась ко мне, когда я проходил мимо. Я ласково тронул ее мягкую губу.

В шалаше уже расположился мой маленький штаб: Рахимов, Бозжанов и Тимошин. Я сказал им:

— Будем, товарищи, дежурить, обходить роты.

Послав в одну сторону Бозжанова, я сам пошел в другую, куда направилась вторая рота. Эта испытанная рота, под командой Заева, была отправлена на самое уязвимое, самое угрожаемое место, туда, где у нас не было соседей, где фронт батальона словно обрывался в пустоту, на открытый фланг. На другом краю, где под боком находилась деревня Быки и как бы чувствовался локтем полк Хрымова, оборону занял Филимонов. Рота Дордия залегла в центральной части рубежа, непосредственно перед мостом.

Я шагал по гребню вдоль реки. Кустарник отмечал ее извивы. Вдруг в неверном лунном свете мне предстало удивительное зрелище. Длинный, жердеобразный Заев восседал на той самой маленькой белой лошаденке, которую обычно впрягали в пулеметную двуколку. Он взгромоздился, что называется, охлябь, то есть без седла; его ноги, лишенные стремян, доставали, казалось, до земли. Сидя довольно прямо, хотя и

уронив голову на грудь, Заев сонно покачивался. Лошаденка мирно пощипывала тронутую заморозками жесткую траву, смиренно выдерживая на себе верзилу всадника. Вот она скакнула стреноженными передними ногами — Заева кинуло назад; едва не свалившись, он вцепился в гриву. Я не выдержал и рассмеялся. Заев грозно просипел:

— Стой! Кто идет?

— Ну, Заев,— сказал я,— сейчас полюбовался на тебя. Приспособил лошаденку.

Видимо смутившись, он неуклюже слез с лошади, пошел ко мне навстречу.

— Только на ней спасаюсь. Очень бросает в сон. Люди, товарищ комбат, на месте... Дрыхнут...

Мы подошли к рубежу, занятому ротой. Рассыпанные в цепь, солдаты спали. Никто не ворочался. Тела могли бы показаться мертвыми, если бы не громкий храп, разносившийся над полем.

— Ну, что снилось, Семен? — спросил я.

Неожиданно Заев ответил вопросом:

— У вас, товарищ комбат, белые перчатки есть?

— Белые перчатки? К чему они мне?

— А у меня есть.

— На кой ляд они сдались?

— Для Берлина берегу,— доверительно пробасил Заев.

Из бокового кармана шинели он достал пару новеньких белых перчаток.

— Где ты раздобыл?

— В Волоколамске, в военторге. Никто не брал, а я купил. Взойдем в Берлин — поглядят на нас. Ну русс! В белых перчатках!

Над полем забухал его хохот, отрывистый, хриплый, как и его речь. Заев разговорился.

— Послужат. Похожу два дня в Берлине и выброшу. Не для Алматы же буду их беречь. Там меня чудачком назовут...

— Этого, Заев, тебе и без перчаток не миновать.

Заев наклонился ко мне.

— Как думаете, товарищ комбат,— просипел он,— понаделаем мы еще дел на этом шарике?

В эту минуту мы как раз проходили мимо пулемета, стоявшего с заправленной в магазин лентой. Пулеметчики тоже спали. Невольно я поискал взглядом Галлиулина. Нет, ведь пулемет Блохи разбит, теперь и Блоха и весь его маленький расчет получили винтовки, стали обыкновенными бойцами в роте Заева.

— Дисциплинка у тебя, Заев, хромает. Бог знает о чем думаешь, а люди совсем разболтались.

— Как так? У меня не забалуешь!

— Плохо смотришь. Баловали. Разве Гаркуша и Галлиулин не докладывали тебе?

— А что они?

— Шатались по деревне, побирались.

— Шатались? Сейчас я им влеплю!

Заев любил требовательность, любил подтягивать, подражая, возможно, в этом мне. Ни один проступок он не оставлял без нагоняя. Узнав о самовольстве двух своих бойцов, он немедленно стал их разыскивать среди спящих. Вскоре мы набрели на Галлиулина. Он лежал, обратив к небу лоснящееся черное лицо, раскинув руки, как сраженный.

— Галлиулин! — хрипло крикнул Заев.

Ответом было лишь мерное похрапывание. Заев нагнулся, крикнул почти в ухо:

— Галлиулин!

Тот не шелохнулся, сонное дыхание не прервалось.

Заев напрягся, обхватил могучее туловище солдата, приподнял, поставил на ноги. Веки громадины бойца приподнялись. На мгновение он очнулся, увидел Заева, увидел меня, сложил умоляюще ладони, кротко прошептал:

— Я извиняюсь...

И тотчас заснул снова. Так он и посапывал, держась на ногах, привалившись к Заеву. Даже мое не знающее снисхождения сердце было тронут.

— Ладно,— сказал я.— Завтра ему всплещь.

Заев опустил солдата на землю. Тот не проснулся.

Таков был богатырский сон батальона.

6

Из второй роты я вернулся в шалаш, на командный пункт. Там на пустом патронном ящике сидел Рахимов.

— Не спишь?

— Вполглаза дремлю, товарищ комбат, вполуха слушаю.

Будто из-под земли, в шалаше появился Синченко. Видимо, мой верный коновод тоже спал вполуха, поджидая меня.

— Вот, товарищ комбат, я постелил вам потник... Вот ваша шинелька. Сапоги, товарищ комбат, будете снимать?

— Нет. Ложись. Не приставай.

Улегшись, я подложил под голову полевую сумку. Вспомнил белые перчатки Заева, улыбнулся. Эх, Заев, Заев, чудачина! Минуту-другую еще слышал, как неподалеку жуют лошади: хруп-хруп... Унесся мыслями в детство, в степь... Там в кибитке или в юрте я нередко засыпал под это лошадиное домашнее хруп-хруп... И вскоре окунулся в приятную, влекущую темноту сна.

Очнулся от чьего-то прикосновения. В шалаше уже горел костерик, потрескивал в огне хворост. Дым стлался под сводом, уходя сквозь ветви и в шалашный лаз. Меня разбудил Рахимов. Невысокое пламя озаряло двух незнакомых мне людей. Я разглядел пожилого полнотелого капитана с несколько бабьим расплывчатым лицом и молодого лейтенанта.

— Товарищ комбат, к вам,— доложил Рахимов.— Из штаба подполковника Хрымова.

Я приподнялся, сел на своей кошме.

— Вы командир батальона?— не здороваясь, спросил капитан.

— Я.

— Почему допустили такое безобразие? У вас все спят.

— Хорошо, что спят. Я приказал спать.

— Это недопустимо... Это нарушение устава! Это преступление!

И давай меня честить. Позже я близко узнал этого капитана. Он был добродушным, честным, хотя и недалеким офицером, но той ночью наше первое знакомство оказалось далеко не добрым.

Я слушал, слушал и сказал:

— Рахимов, я прилягу. Когда капитан закончит поучения, разбуди. Капитан обиделся.

— Почему вы так дерзко отвечаете?

— Не люблю, когда попусту болтают. Мне ваши нотации надоели.

И кто вы, собственно, такой?

— Капитан Синицын. Начальник химической службы полка.

— То-то вы так благоухаете... Зачем вы ко мне приехали?

— Меня послал командир полка, чтобы подтвердить задачу, данную вам, и проверить боеготовность батальона.

— И больше ничего? А сведения об обстановке, о соседях?

— Я вам уже сказал: обстановка прежняя, задача прежняя.

Тут я по-настоящему разозлился.

— То, что вы привезли, не стоит пота той лошади, на которой вы сюда приехали. Передайте это вашему командиру.

Капитан оскорбленно поджал губы. А я уже не старался сдерживаться. Ругал недостойную, дрянную привычку иных командиров, которые с легким сердцем оставляют без патронов и хлеба чужих — то есть не своей роты, не своего полка — солдат.

— Вашему командиру наплевать на судьбу чужого батальона,— кричал я,— наплевать, что мои люди голодны! Хоть бы прислал патронов! Если завтра нас тут перебьют, как кур, ваш командир даже не почешется!

Синицын все темнел с лица, все хмурился. Наконец попытался меня оборвать:

— Вы не имеете права так говорить о старших...

Я отрезал:

— Убирайтесь из расположения батальона! Передайте вашему командиру, что я задачу выполню. Сложим на этом поле головы, но выполним. Больше с вами разговаривать не желаю. Рахимов, проводи гостей!

Не прощаясь, я улегся, накинул шинель, повернулся к стенке шалаша.

Разумеется, моя резкость была недопустима. Следовало вести себя по-иному. Но несдержанность — мой недостаток. В оправдание мне нечего сказать. Или скажу, пожалуй, вот что: если вы ищете человека без слабостей, ошибок, недостатков, человека без острых краев и углов, то со мной тратите время даром.

...Нервы были еще взвинчены, когда топот коней возвестил, что посланцы подполковника Хрымова уехали. Постепенно раздражение притупилось, усталость взяла свое, я вновь уснул.

7

Под утро из полка Хрымова к нам прибыла повозка. Штаб полка прислал несколько ящиков патронов и два ведра вареного мяса. Я обрадовался патронам, но сокрушенно смотрел на куски мяса. Два ведра! Это на батальон-то, на пятьсот голодных ртов!

— Синченко,— приказал я,— расстилай плащ-палатку. Рахимов, у тебя глаз верный. Дели.

Рахимов достал перочинный нож, оглядел разложенное на плащ-палатке мясо и без единого слова принялся делить. Я послал связных за командирами рот.

Раньше других пришли Заев и Бозжанов. Нынче, как я знал, Бозжанов провел у Заева почти полночи, взялся быть его подчаском, дал ему поспать.

Пришедшие недоуменно уставились на несколько порций мяса.

— Заев,— сказал я,— вот это на всю твою роту.

— На роту? Я один все съем.

Я прикрикнул:

— Хватит дурить! Раздай бойцам и объясни, что у комбата нет больше ничего. Расскажешь, как Рахимов на плащ-палатке делил мясо.

— Есть товарищ комбат. Разделю.

— Ступай буди людей! Дело к свету! Пора! Начинай окапываться, зарывайся глубже. И присылай за патронами. Денек будет горячим.

— Есть, товарищ комбат. Денек будет горячим,— просипел Заев.

Двадцать восьмое октября

I

День двадцать восьмое октября — следующий день после того, как пал Волоколамск, — помнится мне так.

...Я лежу на бугре в кустах — это мой наблюдательный пункт. Телефонной связи я не имею, управляю ротами через связных. Бугор невысок, я вижу лишь центральную часть рубежа, позицию роты Дордия. Брустверы одиночных окопов, обложенных свежим дерном, сливаясь с пожелтевшей травой луга, кажутся затравеневшими кочками. Линия этих кочек заграждает мост.

Там и сям возле окопов вздымается земля; немцы уже разведали наш передний край, гвоздят и гвоздят из леса.

Внимание напряжено... Противник вот-вот где-нибудь рванется. Но где именно? Здесь ли — напрямик к мосту? Или слева, где у меня нет соседей, где дугой окопалась рота Заева?

...Трава на рубеже уже потеряла свой жухло-зеленый цвет, на ней осели пыль и копоть. Всюду чернеют оспины воронок.

Противник молотит и молотит. Нелегко сейчас бойцам в одиночных стрелковых ячейках. Мы уже стреляные воробьи: от грохота близких разрывов у бойца уже не мутится рассудок, боец ценит свой окоп, свою винтовку; и все же подавленность, свойственная отступающим, нас не покидает. Незримая волна словно доносит ко мне тоску солдата, его страх, его темные предчувствия.

Меня тоже томит, совет страх за моих солдат, за судьбу батальона, ложет ожидание удара.

...Что это? Чья-то фигурка несется от кочки к кочке. Тотчас узнаю Бозжанова. Шинелька безукоризненно заправлена, талия не тонка: все в его роду были толстяками. Бежит уменючи, не теряя головы. Вот сделал зигзаг, вот низко пригнулся... Добежал! Камнем пал в окоп, скрылся, будто сгинул.

Немного погода две ушанки чуть приподымаются над краем ямы — бойца и политрука Бозжанова. Неунывающий, общительный Бозжанов принес с собой в окоп шутку, мужество. Слегка двинулась лежащая на возвышении винтовка, приклад прильнул к плечу; какая-то цель, может быть гадательная, взята на мушку. Знаю, Бозжанов сейчас несколько раз выстрелит. Это его слабость, любит пострелять.

Скоро он явится ко мне с ворохом вестей о роте Дордия: сообщит о потерях, о том, что примечено, засечено перед фронтом роты.

Потом Рахимов (он не покидает шалаша в лощине) все это зафиксирует на карте или в полевой книжке. По существу оба они начальники штаба у меня: Рахимов — сидячий начштаба, а Бозжанов — ходячий, курсирующий из роты в роту и ко мне.

...Огонь немцев усилился. Не предвстие ли это атаки?

Да! Из леса выбежала цепь солдат в летних зеленых пилотках, зеленых шинелях. Бегут к нашим окопам... Немецкие минометы и пушки замолкают. Тишина. Зеленые шинели приближаются. Чернеют прижатые к животам, направленные вперед автоматы. Наши начали стрелять. Немцы перебегают, надвигаются. Неужели же, неужели мы не устоим? На это, конечно, и рассчитывает противник: русс постреляет и даст драла. Огнем автоматов, струями трассирующих пуль немцы прокладывают себе дорогу. Чувствую: вот она, критическая минута боя. Не могу вздохнуть, грудь будто в тисках.

И вдруг рывкнули две наши пушки, скрытые около моста. Картечь ударила по атакующим. Еще! Еще!

Немцы легли, стали откатываться.

...Удар отбит. Но за это пришлось заплатить. Пушки, обнаружившие себя, не успели переменить позицию. Стволы противника обрушили на них огонь.

Вскоре связной доставил мне известие: обе пушки разбиты, артиллеристы понесли потери, командир батареи лейтенант Кутаренко убит.

Прощай, Кутаренко! Прощай, друг по оружию!

...Филимонов донес через связного: немцы пытались атаковать и на его участке. И тоже отбиты.

Лишь Заева противник пока не трогал.

...Я по-прежнему лежу на бугре, вижу мост, далекий лес, окопы роты Дордия.

Опять кто-то бежит по рубежу. Кобура пистолета обвисла на не туго стянутом поясном ремне; шинель плохо пригнана, великовата; полы путаются между ногами. И все же он — я уже признал щупленького Дордия, — все же он, верный велению долга, бежит сквозь эти взбросы, грохот, вспышки пламени, чтобы рассеять подавленность, страх уткнувшихся в землю бойцов.

...Укрываясь между кустами, ко мне на бугор пришел Тимошин.

— Прибыл от Заева, товарищ комбат.

Дыхание слегка ушаченное. На загорелом, юношески открытом лице я не приметил волнения. Однако какая-то чрезмерная твердость в складке губ, в устремленных на меня серых глазах не сулила доброй вести.

— Чего стоишь? Ложись. Что там? Докладывай.

Тимошин сообщил, что немцы обошли позицию Заева, охватили нас полупетлей. Заев растянул загнутый фланг, но немцы продвигаются все глубже.

Я ожидал, предугадывал эту весть. Сейчас ощущение нависшего удара, ощущение обуха, занесенного над головой, стало еще острее.

Я посмотрел вперед. На фронте роты Дордия по-прежнему взметывалась земля. По склону к речке отползал раненый.

Я сказал Тимошину:

— Иди к Рахимову. Сообщи обстановку. Передай, что я, возможно, пойду отсюда к Заеву.

— Слушаюсь, товарищ комбат.

Тимошин поднялся, поднес ладонь к ушанке. В этот миг рядом с его головой чиркнула пуля. Тонкий голый прутик, которого касалась его шапка, упал, будто перерубленный. Я дернул Тимошина вниз. Он даже не успел побледнеть.

— Не тянись, когда не надо! — крикнул я. — Иди!

Пригнувшись, он стал пробираться по кустарнику. Что же это? Шальная пуля? Или снайпер обнаружил мой наблюдательный пункт?

Ко мне сзади подполз Синченко.

— Чего тебе?

— Ничего. Нахожусь при вас.

Помолчав, Синченко добавил:

— Вы вроде сказали, что собираетесь до Заева. Кони, товарищ комбат, в готовности.

Я ничего не ответил.

— Ожидая ваших слов, — продолжал Синченко.

— Не суйся, пока тебя не звали, — оборвал я.

Мой коновод обиженно засопел.

— Пройду ложиной. Ты с конями оставайся здесь!

— Дело ваше... Вам видней..

Синченко любил оставить последнее слово за собой. Я прикрикнул:

— Хватит болтать!

...Вместе с Бозжановым и связным Ткачуком шагаю вдоль речонки к Заеву. Илистый берег прихвачен морозцем, тверд. Обгоняем двух или трех плетущихся к перевязочному пункту раненых. Вот еще один. Прижимает к лицу напитанную кровью тряпку, кровь каплями сбегает с шинели на траву, отмечая каждый его шаг. У него хватает сил самому передвигать ноги, но все же двое бойцов, взяв винтовки на ремень, поддерживают его.

— Стой! Какой роты? Филимонова?

— Да, товарищ комбат.

— Почему бросили окопы?

— Сопровождаем раненого, товарищ комбат.

— Доберется сам!

Пожалуй, следовало добавить: «Он исполнил долг солдата. А вы? Вы этим пользуетесь, чтобы не исполнять свой!» Но мой взгляд, думается, уже сказал все это. Кричу:

— Марш по местам! Бегом!

Послушные приказу, бойцы припустились обратно.

Смотрю на раненого. Его глаза, странно расширенные, с необычно большими белками, все еще таят ужас той секунды, когда на землю, на шинель, на руки брызнула, захлестала его кровь.

— Тут доктор уже рядом, — успокаивает Бозжанов. — Сейчас помогут, перевяжут и пойдешь в тыл герою. Передай там девушкам от нас привет.

...Шагаю дальше. Вот и палатка, где развернулся наш медпункт. Там же, задрев дышло к небу, стоит вернувшаяся из ночного похода санитарная фура, уже старательно вымытая речной водой.

В палатке кто-то стонет. На воле разведен костер. Возле костра сидят и лежат раненые, человек двадцать. У многих шинели внакидку, ясно видны недвижные, покоящиеся на марлевых повязках забинтованные руки. Немало ранений в голову, в лицо. Порой тот или иной отхаркивается кровью.

И вдруг — словно и нет войны — раздается по-домашнему покойный, со стариковской приятной хрипотцой, голос фельдшера Киреева:

— Товарищ комбат, чайку не откушаете? И сахарок есть...

— Некогда, Киреев... Спасибо. Как тут у тебя дела?

— Собираю команду в путь-дорогу.

— Какую команду? Куда?

— Товарищ Рахимов приказал, чтобы все легко раненные, кто может идти сам, шли потихоньку-полегоньку в деревню... Напою сейчас ребят, и тронутся..

Ребят... Я не любил этого выражения, но у добряка фельдшера с серебрищейся щетинкой на лице оно звучало как-то кстати. Он воркотал хозяйственно, несуетливо. В мыслях я отметил и Рахимова. В эти тяжелые, даже, может быть, роковые для батальона часы, сидя в шалаше без телефона, Рахимов распорядился с обычной точностью и предусмотрительностью. Мой маленький штаб действовал, управлял.

Кивком подтвердив приказание Рахимова, иду дальше по береговой впадине. За мной по-прежнему следуют Бозжанов и связной Ткачук.

Вот кого-то несут на шинели к перевязочному пункту.

Посторонившись, я увидел покачивающуюся на шинели белобрысую голову без шапки, очень бледное, со смеженными веками лицо. Губы казались неживыми, по ним будто мазнули белой краской. Столкнувшись со мной, бойцы, несшие раненого, приостановились. Он открыл глаза — слегка выпуклые, черные, восточные. Дордия!

Заметив меня, он зашевелился, лоб порозовел. Стиснув губы, он хотел подняться, но я не позволил.

— Ладно, Дордия, ладно...
 — Товарищ комбат... Я ранен в грудь. перевязка сделана. Роту сдал командиру взвода младшему лейтенанту Терехину.

— Лежи... Несите его в медпункт. Сейчас с санитаром отправим тебя в Быки.

Дордия привстал. В устремленных на меня черных глазах я прочел мольбу. Или, может быть, это лишь боль?

— Товарищ комбат, у меня просьба.

— Давай... Обещаю выполнить.

Он помедлил.

— Я могу... Вполне могу... Никуда, товарищ комбат, меня не отправляйте... Такой момент...

Беспомощный, раненый Дордия хотел в этот грозный день остаться с нами, с теми, кого узнал в бою. Вероятно, он догадался, что у меня мелькнула мысль о его беспомощности, и заставил себя еще раз произнести:

— Могу еще понадобиться.

И опять посмотрел с мольбой.

— Вы же... Вы же, товарищ комбат, меня не бросите...

— Никогда не брошу,— сказал я.— Ладно, Дордия, будь по-твоему.

Он прикрыл глаза. Его подхватили, уложили на шинель. Губы уже не были мертвенно белыми; кто-то словно стер с них белесые мазки.

Кто-то... Кто же это сделал, вернул спокойствие духа раненому Дордия? Отвечу: это была вера. ВЕРА! Большими буквами пишете это слово.

...Я сказал Божжанову:

— Загляни в роту Дордия. На время останешься там командиром.

— Есть! Покомандую,— без запинки откликнулся Божжанов.

Напряжение боя, раненые, кровь — все это, конечно, действовало и на него, но он даже и теперь не потерял неистощимой жизнерадостности и приказ взять на себя командование воспринял с явной охотой.

2

...Иду дальше. Речонка запетляла. Покидаю береговую ложбину, иду к Заеву лугом, напрямик. Кое-где торчат стога. У одного задерживаюсь, прислушиваюсь.

Немцы дубасят, не дают нам передышки. Тихо лишь в той стороне, где залегла рота Филимонова. По соседству с Филимоновым, как было уже сказано, оборонялся, держал деревню Быки батальон из полка Хрымова. Пальба стихла и там, у деревеньки. За этот фланг я был более или менее спокоен. Немцы, наверное, устремились в незагражденное, незащищенное пространство, в обход Заеву. Оттуда, с той стороны, надо ждать удара.

Продолжаю свой путь полем. Кто-то показался вдалеке. Шагает от опушки леса, что примыкает к нашему рубежу с тыла. Странно — идет не один, а с лошастью; ведет ее за повод: на седле что-то навьючено. Поворачиваю навстречу. А-а, это Тимошин!

Вижу — на рослого, ухоженного, со стриженной холкой гнедого коня нагружены два немецких телефонных аппарата, два мотка провода. Тимошин возбужден: шапка сбита набок, раскраснелся, ни с того ни с сего вспыхивает и пропадает улыбка.

— Тимошин, ты откуда? Это что у тебя?

— Трофей, товарищ комбат.

— Где раздобыл?

Тимошин объясняет: шел опушкой, повстречал двух немцев, которые тащили по лесу телефонную связь, обоих укокошил, взял трофеи.

— Теперь, товарищ комбат, тороплюсь к вам.

Понимал ли он, все еще переживающий горячие минуты схватки, понимал ли он, какое тяжелое известие принес мне? Не доверяя собственным ушам, я вновь спросил:

— Где же они напоролись на тебя?

Тимошин размахисто показал назад.

— Да вон там, в лесу.

— В нашем тылу? Филимонову сообщил?

— Первым долгом, товарищ комбат.

Я молчал. Два станковых пулемета, которыми располагал батальон, я отдал Заеву, оборонявшему самый угрожаемый, как мне казалось, участок. А вот теперь... Теперь опасность пришла сзади. Грозно темнела стена недалекого леса. Значит, немцы уже вышли с обеих сторон к этому лесу... Понадобилась по крайней мере еще целая минута, чтобы я воспринял, осознал эту обрушившуюся на меня новость.

Тимошину я приказал:

— Сгружай здесь свои трофеи. Садись верхом. Скачи во весь дух к Заеву. Объясни обстановку. Пусть берет пулемет и прикрывает тыл. Понятно?

— Понятно, товарищ комбат.

— Я иду в штаб. Скачи.

Тимошин ускакал. Я поспешил назад, к своему штабу.

В небе за пеленой облаков был заметен белесый кружок солнца. Черт поberi, как он долго тянется, этот проклятый день! Но самое страшное было еще впереди.

3

Вот что стряслось четверть часа спустя. Именно стряслось — я не смог ничего предпринять, не успел даже крикнуть.

Еще не добравшись до лошины, где к обрывчику прижался наш штабной шалаш, я увидел несущуюся по полю двуколку, а в ней Заева. Ее влекла белая крепкая лошадка, та самая, на которой Заев восседал ночью. Теперь он стоял в кузове, держа в одной руке вожжи, в другой — длинный прут. Три или четыре пулеметчика примостились рядом с Заевым. Маштачок резво бежал, двуколку швыряло на неровностях. Заев с трудом удерживался на расставленных ногах, свирепо покрикивал и размахивал хворостиной.

Я понял, что Заев, захватив с собой пулемет, направлялся к штабу; он считал, вероятно, нужным явиться ко мне или к Рахимову, чтобы уяснить обстановку, задачу.

Дальнейшее свершилось, как мне показалось, мгновенно. Немцы, по видимому, давно обнаружили мой наблюдательный пункт на поросшем кустарником бугре и исподволь вели пристрелку. В эту минуту они стукнули по бугру из шестиствольного миномета. С этой новинкой немецкого оружия мы еще не были знакомы. В небе возник странный, устрашающий гул. Кучно легли, оглушая взрывами, шесть тяжелых мин. Чудилось: на бугре с грохотом, с пламенем лопается, скачет какая-то гигантская шутиха.

Над бугром еще не рассеялась пыль, как немцы закатили второй такой же залп по той же точке. Опять засверкали, забухали шесть взрывов. Впервые видя эти залпы, я, однако, уже понял, как действует такого рода сосредоточенный, массивный огонь: он разит не только тело, но и психику, душу.

Из полога пыли, с бугра, где рвались мины, вдруг вылетела обезумевшая Лысанка. Не разбирая пути, она перемахнула через речку, понеслась полем. На ней, пригнувшись к гриве, сидел Синченко. Показалось, Лысанка мчится прямо на меня. Я увидел ее морду, желтый оскал. Белая отметина была залита кровью. У Синченко тоже был ошалелый вид, ухо и щека в крови, одной рукой он тянул на себя повод, другой вцепился в гриву.

В следующий миг Лысанка уже была далеко, виднелся лишь ее стелющийся силуэт, взмахи сухощавых ног.

И вдруг последовал еще один залп из шести стволов. Разрывы захотали как раз там, куда подъезжал на двуколке Заев. Он не то присел, не то упал на дно повозки; выпустил, наверно, вожжи; оглушенная белая лошадь понеслась прочь от страшных вспышек, понеслась вслед за Лысанкой. Я стоял оцепенев.

Минуту спустя из леса навстречу маштачку затрещали выстрелы. Двуколка опять повернула и за какой-то неровностью местности исчезла. Я ожидал, что оттуда вот-вот застучит наш пулемет. Нет, с той стороны тоже доносся характерный треск немецких автоматов.

Не зря говорится: беда не приходит одна. На войне это особенно верно. У стогов в укрытиях находились два орудия — мои последние две пушки — под командой лейтенанта Обушкова. Ему была дана задача: поддерживать роту Заева. Увидев проскакавшую Лысанку, затем умчавшегося на двуколке командира роты, Обушков, недолго думая, скомандовал: «Орудия на передки!» И артиллерийские упряжки во весь опор унеслись в лес.

А вот побежала и пехота, рота Заева. Неужели это она — вторая рота, самая крепкая, самая геройская? Неужели оборона рухнула?

4

Неужели оборона рухнула, батальон погиб?

Почему-то вспомнилось лицо Кондратьева, командира сводного полка, — лицо, по которому будто кто-то ударил хлыстом: на щеке багровела вспухшая царапина. Его полк бежал. А он, командир, держал ответ за это.

Нет, если мне суждено узреть бегство, развал, гибель батальона, не я доложу об этом. Я сумею сам произнести приговор себе, сам его исполню.

5

Тимошин на трофейном жеребце обогнал бросившую рубеж, удиравшую вторую роту, остановил ее посреди луга.

Я кинулся туда. Бойцы стояли под прикрытием стога. В какой-то миг по рядам прошло движение: наверно, только сейчас солдаты заметили, узнали меня. Кто-то выдохнул:

— Комбат!

Уже спешившийся, требовательно говоривший что-то Тимошин обернулся, радостно охнул, умолк. Я приблизился, оглядел всех.

Очкастый Мурин втянул шею, потупился, встретив мой взор. Отвел глаза и командир отделения, образцовый солдат, светлобровый Блоха.

— Да, это ваш комбат, — произнес я.

Все молчали. Я сказал Тимошину, стоявшему с трофейным автоматом за плечом:

— Тимошин, принимай командование ротой.

— Есть, товарищ комбат.

— Автомат заряжен?

— Заряжен.

— Сейчас укажу тебе новый рубеж. И если кто-нибудь не только победит, а хотя бы оглянется назад, бей по трусу из автомата. Понятно?

— Понятно, товарищ комбат.

Я вновь обратился к строю:

— Мы охвачены немцами со всех сторон. Сейчас зайдем круговую оборону. Потом либо все выйдем, похоронив убитых, захватив с собою раненых, как это полагается честным солдатам, либо все сложим тут головы.

— Правильно,— пробасил кто-то из строя.

— Вашего одобрения я не спрашивал. Оно мне не требуется. Тимошин, получай задачу...

6

Небо по-прежнему было затянато октябрьской хмарью. Облака стали будто тяжелее, нависли ниже. Сквозь них уже не проглядывал белесый кружок солнца. Но до сумерек оставалось еще часа два. Скорей бы стемнело. Сейчас, на виду у немцев, не уйдешь, не проскользнешь.

Они продолжают обстрел, порой пытаются небольшими группами приблизиться, мы их отгоняем огнем. Наверное, они рассчитывают: русс постреляет-постреляет — и поднимет руки. Нет, этого вы не дождетесь. Но скорей бы, скорей бы свечерело!

В штабном шалаше, поджав ноги калачиком, сидел Рахимов. На опрокинутом ящике из-под патронов белела топографическая карта.

Рахимов легко поднялся, увидев меня.

— Товарищ комбат, разрешите доложить.

— Докладывайте.

Мой бесстрастный начштаба уже знал обо всем: о том, как пропал Заев, о том, что Обушков с двумя последними нашими пушками тоже исчез в лесу. На карту уже была нанесена обстановка: цветные карандашные пометки показывали продвижение немцев, завладевших деревней Быки, показывали круто загнутый, ошетиленный в сторону этой деревни фланг роты Филимонова, всю нашу круговую оборону.

Без суеты и даже будто без волнения Рахимов докладывал о петле, захлестнувшей батальон. Лишь смуглое лицо его посерело. Что же, не сохранишь свежесть красок в такой день.

От Рахимова я узнал про Лысанку, про то, почему она, невольная виновница беды, так обезумела. Залпы шестиствольных минометов, казавшиеся такими жуткими, не убили ни одного человека. Единственной жертвой оказалась Сивка. Осколок перебил ей шейную артерию. Струя крови брызнула в морду, в глаза привязанной рядом Лысанки. Та рванулась, понесла. А Синченко не догадался ее пристрелить.

— Тоже потерял себя,— молвил Рахимов.

7

Как только смерклось, немцы зажигательными пулями воспламенили несколько стогов в разных местах луга. Эти жаркие костры освещали поле, не давали нам уйти. Оставался единственный скрытый путь — по лоштинке под мостом.

Эта впадина вела еще дальше в сторону от Волоколамска, от Волоколамского шоссе, в неблизкий лесной массив. Роты незаметно отползли к речонке, вода казалась красноватой, полыхающее зарево, извивы огня отражались в ней.

Мы втихомолку построились. Взвод разведки под началом Брудного двинулся головным дозором. Все оставшиеся у нас двуколки, все лошади

были отданы под раненых. Эти повозки и санитарная фура разместились меж боевых подразделений. Кое-где кустарник оттеснял колеса в воду; лошади ступали по неглубокому дну.

Вот наконец последние ряды батальонной колонны проскользнули под мостом. Сзади всех шел Филимонов, командир замыкающей роты. В отвесах занявшегося неподалеку стога, враз выросшего в огненную башню, выделились темные провалы его небритых похудевших щек. Пистолет был сунут за пазуху, как это обычно делал Заев.

Мне на миг так и почудилось: это шагает длинноногий Заев. Сейчас он что-нибудь буркнет, отчебучит.

...Неясно прорисовалось скосбоченное колесо разбитой пушки. Здесь мы потеряли Кутаренку. Один из окопов огневой позиции послужил ему могилой. Лишь обструганная наскоро дощечка с написанными химическим карандашом фамилиями да вот эти подбитые пушки остаются тут надгробным памятником.

Мы двигаемся по желобку берега, уходим в темноту. Кольцо огня полыхает сзади.

Этот наш потаенный, почти бесшумный марш вдоль изгибов речушки длился почти два часа. Никого не встретив, мы втянулись в лес.

8

...В потемках идем по глухой лесной дороге. Колонну ведет Рахимов: он в темноте видит, как кошка.

Неожиданно наталкиваемся на землянку. Вместе с Рахимовым вхожу туда. В землянке — ни души. Горит керосиновая лампа. Валяется забытая кем-то большущая эмалированная фляга. На полу набросаны еловые ветви, они пружинят под ногами. Белеют там и сям, видимо оброненные впопыхах, бумаги.

Поднимаю листки. Это какие-то распоряжения и запросы, адресованные в штаб подполковника Хрымова. Значит, здесь обретался его штаб. Еще встретимся с вами, подполковник! Посмотрим, хватит ли у вас совести поглядеть мне прямо в глаза. Поспешно же отсюда выскочили, если даже не подняли бумаг, не погасили лампу. Ушли, не известив нас, кинув мой батальон в открытом поле.

С тяжелой душой сажусь на широкую, вбитую в землю лавку, сколоченную из грубо обтесанных плах. Приказываю Рахимову:

— Располагай роты на ночевку. С рассветом пойдем дальше. Вели выставить посты. Командиров рот собери ко мне.

...Пришли командиры. Божжанов уже порылся в седле, снятом с убитой Сивки, нашел там фляжку, где еще бултыхалась водка.

— Садитесь,— сказал я.

Расположились кто как смог. Рахимов сел на хвою, на пол, поджав калачиком под себя ноги. Рядом пристроился поджарый Филимонов: за один этот день он еще опал с тела, с лица, глаза так ввалились, что негустые брови будто навсегда насупились; не теряя выправки, он вольно оперся плечом на угловой стоек землянки. Тимошин, еще не обвыкший в должности командира роты, скромно присел на краю лавки, покосывая ветку хвои. Лишь Божжанов, вопреки всем нашим злосчастьям, силился сохранить шутливость, бережно, словно чашу, держа обеими руками фляжку.

— Званный обед, товарищи, предложить вам не могу,— сказал я.— Но водка есть.

«Званный обед»,— мысленно повторил я. Неужели лишь два дня отделяют нас от того обеда, на который мы собрались в Волоколамске?! Всего два дня... Среди нас уже нет шеголеватого смуглого Панюкова,

предложившего выпить за дружбу. Нет неловкого темноглазого Дордия, его мы везем с собой в санитарной фуре. Нет Кутаренко, похороненного у моста. Нет Толстунова, вызванного к комиссару полка и потом разминувшегося с нами. Нет Заева...

Бозжанов протянул мне фляжку.

— Товарищ комбат, первый глоток ваш!

В мыслях снова всплыл Заев, наш батальонный Пат. Вспомнилось, как, подняв жестяную кружку, он вместо тоста хрипло, нараспев проговорил: «Иного нет у нас пути, в руках у нас вин-тов-ка!» Эх, Заев, Заев...

Взяв фляжку, я первым приложился к горлышку. Влага обожгла глотку, по телу побежали согревающие струйки, голова почти сразу приятно затуманилась. Я пустил фляжку вкруговую. Все по-братски выпили из горлышка.

Окончился и этот денек, четырнадцатый день нашей борьбы под Москвой.

Высшее медицинское образование

1

Рассвет еще не проник в лес, в вышине лишь чуть-чуть обозначились сучья, порастерявшие листву, а мы уже выстроились и зашагали. Вокруг неясно белел иней, земля была схвачена морозцем, подернута коркой, на которой отгиснулись давнишние, полузасыпанные хвоей и палыми листьями вдавлины копыт, следы колес, колея лесной дороги. Порой потрескивал, крошился ледок под сапогами.

Превратности боевой судьбы отбросили мой поредевший батальон далеко в сторону от асфальтовой ленты Волоколамского шоссе. Где немцы? Где наша дивизия? Это нам было неизвестно. Обычно мы с нетерпением ждали, когда же стемнеет, а теперь хотелось — скорей бы посветлело! Скорей бы зачинался на подмосковном фронте новый страданный день! Я надеялся по пушечной пальбе приблизительно определить, куда же отодвинулся рубеж дивизии.

Но наступило утро, проглянувшее солнце озарило острые макушки елок, а для пушек еще словно не было побудки.

Вот наконец ухнула пушка, где-то сбоку, на оси Волоколамского шоссе. Погодя минуту оттуда же донесся второй выстрел, затем третий, занялась редкая пальба.

Вот громынуло впереди, там, куда мы пробирались. Кто это — наши или немцы? Насторожившееся ухо долго, слишком долго ждет разрыва. Невнятный удар наконец доходит. Сомнений нет: снаряд упал в сторону Москвы, в сторону Красной Армии. Вот еще один послан туда же. Да, немецкие пушки, зачальные к грузовикам, обогнали нас по большим дорогам; мы оказались позади переднего края немцев, перехлестнувшего через этот лес, через нашу голову.

Пушки проснулись, подали голос и в других местах. Выстрелы были не частыми. Изредка за спиной ухали тяжелые орудия немцев. Наша артиллерия, закрепившаяся где-то на новом рубеже, почти не отвечала.

Мы устало шагали под эту тоже будто усталую, нежаркую пальбу. Идя рядом с Рахимовым во главе колонны, я избегал просек, выбирал петляющие глухие дороги, проложенные деревенскими телегами.

Морозец незаметно отпустил. Земля стала отмякать. С нависших над нами голых веток, с жухлых желтых листьев, с тяжелых лап елей, еще час назад подернутых сединой инея, падали крупные капли. Сапоги потяжелели от налипшей грязи.

Шаг батальона замедлился. Порой я останавливался, пропускал мимо себя растянувшуюся батальонную колонну, смотрел на бредущие кое-как ряды. Впрочем, бойцы уже шли не в рядах. Некоторые, оскользясь, не покидали дороги, другие тащились пообочь, меж негустой поросли. Каждый нес свою солдатскую поклажу. За спинами были приторочены к вещевым мешкам котелки, в которые уже несколько дней не заглядывала ложка солдата.

Я смотрел на своих бойцов, они тоже посматривали на меня. Никто не расправлял плеч, не пытался приободриться. Я ловил во взглядах какое-то единое, терзающее душу выражение. Как его назвать?

Выдирая ноги из чавкающего месива, шагают два солдата, запевалы батальона — здоровенный Голубцов и статный, мускулистый Курбатов. Голубцов повесил голову. Он не поднимает ее, проходя мимо меня. А Курбатов, покосившись на меня, по привычке выпрямляется. Но и его глаза печальны.

Да, безмерная печаль виднелась в глазах отступающих солдат. Растерянность, уныние, грусть реяли над батальоном.

2

Я опять обгонял устало ползущую колонну и шагал впереди рядом с Рахимовым.

Мрачные думы одолевали меня. Почему, почему мы отступаем? Почему так тяжело, так неудачно началась для нас война?

Еще недавно, еще в мае и в июне этого трагического года, всюду висели плакаты: «Если нас тронут, война разыграется на территории врага».

Наступление, наступление, вперед, только вперед — таков был дух нашей армии, дух предвоенных пятилеток, дух поколения. Об отступательных боях мы не помышляли, тактикой, теорией отступления никогда — по крайней мере на моем офицерском веку — не занимались. Даже самое слово «отступление» было вычеркнуто из боевого устава нашей армии.

Почему, почему же мы отступаем?

Нас бьют... Но ведь и мы — вот эти солдаты, что унылой вереницей шагают за мной, — ведь и мы били врага, видели спины удиравших от нас немцев, слышали их предсмертные крики.

Нас бьют... Но Советское государство не разбито. Не разбито и наше маленькое государство, насчитывающее сейчас четыре с половиной сотни вооруженных советских людей, наше маленькое государство — мой батальон, резерв Панфилова. Мы несем с собой не только видимую глазу солдатскую поклажу, но и все наши незримые святыни: верность своему знамени, верность заветам революции, воинскому долгу, нашу нравственность и нашу честь, все наши законы.

В памяти почему-то опять всплыл сиплый голос Заева, его здравица в Волоколамске: «Иного нет у нас пути, в руках у нас винтовка».

Эх, Заев, Заев!

3

Шагая, я так задумался, что до слуха не сразу дошли слова Рахимова:

— Товарищ комбат! Товарищ комбат!

— А? Что у тебя?

— Товарищ комбат, солнце на обеде. Разрешите дать часовый привал.

— Да, пора... Можешь скомандовать.

Козырнув, Рахимов отчетливым и вместе с тем свободным движением повернулся, негромко выкрикнул:

— Батальон, стой!

Пожалуй, во всем батальоне лишь один Рахимов — ходо по горам, альпинист — сохранил неутомимость. Нет, не один он. Почти тотчас раздался не потерявший молодой звонкости голос Тимошина, ведущего головную роту:

— Вторая рота, стой! Разобраться! Равняйся!

Немного погодя донеслись команды и из других рот, подтягивающихся к той, что уже выстроилась. В нашем маленьком государстве, уместившемся на полоске размокшей дороги, затерянном в островке леса среди захваченной немцами земли, еще держался наш воинский, наш советский строй и порядок.

Внезапно я поймал себя на этих мысленно сказанных словах: «еще держался». Неужели я сам — комбат! — произнес в уме неуверенное, нетвердое «еще»?! Нужели и я поник душой, ослаб? Как же я буду командовать батальоном, как проведу моих солдат через невзгоды?

Батальон расположился на привал. Рахимов мне сказал: «Солнце на обеде». Действительно, сквозь остатки листвы пробиралось расщедрившееся к полудню солнце, но никакого обеда не предвиделось. На мокрой земле затрещали костры, из наскоро выкопанных ямок бойцы набирали воду, ставили котелки на огонь, чтобы хоть пустым кипятком обмануть, согреть желудок.

По-прежнему погруженный в свои мысли, я присел на пень. Ко мне кто-то подошел. Я поднял глаза. Предо мной стоял Мурин. Ворот его шинели был расстегнут, полы заляпаны лепешками грязи. Заострившийся подбородок порос темной щетиной. Тонкий, несколько горбатый нос тоже заострился. Сломанную дужку очков скрепляла обмотанная ниткой спичка. По привычке вытянув длинную шею, Мурин смотрел на меня исподлобья. Странные огоньки, значения которых я сперва не понял, вспыхивали в его глазах. Я ожидал, что он вытянется, отдаст честь, но он этого не сделал.

Некоторое время мы молчали.

— Чего тебе? — произнес я.

Он ответил:

— Хочу есть.

Я встал.

— Как ты подходишь к комбату? Отойди на десять шагов, приведи себя в порядок, потом снова подойдешь.

Мурин хотел что-то сказать, но, подчинившись, повернулся, отошел. Минуту-другую спустя он вернулся ко мне, вымыв в луже сапоги, заправленный по форме, встал, как положено солдату, развернув плечи, подняв голову.

— Товарищ комбат, разрешите обратиться.

— Говори.

— Товарищ комбат, мы хотим кушать.

— Мы... Ты что, представитель?

— Не представитель, но все мы... Мочи нет, все изголодались.

— Так передай всем: сегодня у меня нечем накормить людей, хоть режьте на кусочки меня — нечем. Понятно?

Мурин не ответил.

— Режьте на кусочки! — повторил я. — Это единственное, чем я могу утолить твой голод. Больше у меня ничего нет.

Мурин помялся.

— Разрешите идти? — произнес он.

— Иди... Передай всем, что я тебе сказал.

Мурин ушел, но у меня на душе стало еще беспокойнее, еще тягостнее. Подавленные, истомленные солдаты ложились вповалку, где придется.

Подошел Бозжанов.

— Аксакал,— сказал он по-казахски,— случилось нехорошее.

Его скулы, обычно незаметные, прикрытые жирком, теперь резко обозначились под кожей. Доброе лицо было растерянным. Неужели действительно обрушилось новое несчастье?

— Ну... Что такое?

— Брошены раненые.

— Как брошены? Откуда ты знаешь?

— Сейчас разговаривал с доктором. Фура отстала и где-то потерялась. А он и несколько санитаров пошли с батальоном.

Я вскочил. Как? Этого еще не хватало! Мы, мой батальон, дошли до подлости, предали, бросили раненых!

Мимо невесело потрескивающих, а то и угасших костров, мимо сидевших и лежавших бойцов я поспешил к центру колонны, где согласно походному порядку занимал место санитарный взвод. За мной следовал Бозжанов.

Еще издали я увидел Беленкова. Он сидел на земле, привалившись к березе. Сложенные на груди руки были засунуты глубоко в рукава. Казалось, он дремлет. Нет, лицо было напряженным. Он, конечно, знал, что предстоит объяснение со мной, наверное уже меня заметил, но не подал виду, не изменил позы. Я окликнул его:

— Беленков!

Нервная спазма сжимала мне горло. Язык не повернулся назвать его «доктором» или «товарищем». Не поднимаясь, Беленков поглядел в мою сторону, блеснули стекла пенсне. Тут я обрел наконец голос, гаркнул:

— Встать!

Беленков, как вам известно, был капитаном медицинской службы, я лишь старшим лейтенантом, но, очевидно, в моем голосе прозвучало что-то такое, чему доктор предпочел подчиниться. Он неохотно поднялся, огрызнувшись:

— Попрошу на меня не кричать.

Он, однако, трусил. Это выдали руки, выпростанные из рукавов. Пальцы слегка дрожали. Он стиснул их.

— Где раненые? — спросил я.— Где санитарная фура?

— Я не ездовой... Не знаю...

— Не знаете? Не знаете, где раненые, которые доверены вам?

— Не знаю...— Голос Беленкова внезапно стал плаксивым.— Фура отстала... Мы пошли со всеми... Я думаю, что она нагонит...

— Когда это случилось?

— Уже часа два прошло.

— Почему вы не доложили мне? Вы обесчестили себя, предали товарищей, проливших свою кровь...

К нам подошли, стали прислушиваться бойцы и командиры. Весть о брошенных раненых уже облетела батальон. Не оборачиваясь, я чувствовал: полукругом за моей спиной уже стоят несколько десятков человек. Ища сочувствия, Беленков ответил:

— Никого я не предавал... Вы сами... Вы сами не знаете, куда вы нас ведете. А люди уже не могут идти дальше.

Я вдруг ощутил сорок—пятьдесят уколов в спину. Бойцы взглядами кололи меня. Я оглянулся. Все на меня смотрят. Ты нас погубишь или выведешь? Это было сказано красноречивее, чем словами. Узенькие щелочки Джильбаева, серые, уже слегка выцветшие глаза Березанского, юные серьезные глаза Ползунова, десятки пар зрачков уперлись в меня, спрашивали: почему ты ничего нам не приказываешь, почему мы тащимся табором, толпой, почему не требуешь от нас быть солдатами?

В это мгновение я решил:

— Передать по колонне: лейтенант Рахимов, ко мне! Командиры рот, ко мне!

Рахимов уже и без моего приказа легкой поступью подбежал к берегу. Не прошло минуты, как все командиры рот — Филимонов, Тимошин, Божанов — оказались возле меня. Подошли и те, кто хотел послушать.

Я сказал:

— Товарищи! Капитан медицинской службы Беленков бросил наших раненых. Санитарная повозка осталась где-то позади, в лесу. Сейчас мы пойдем обратно — туда, где остались раненые. Пойдем всей колонной, дробить силы нельзя. Командиры рот, разъясните бойцам, что мы идем на выручку наших беспомощных брошенных товарищей. Лейтенант Брудный здесь?

— Я!

Брудный выбрался из сгрудившегося полукружья. Его черные бойкие глаза не утратили живого блеска.

— Брудный, выступай головной заставой! Товарищи, бегом по ротам! Исполняйте!

5

Возвращаемся по своим следам. В любой момент возможна встреча с немцами. Все понимают это. Колонна стала собраннее, интервалы четче.

Небо опять захмарилось, перепал дождь, в лесу потемнело.

Душу давит сумрак, но мы идем, идем в глубь леса, уже отхваченного от нашей земли немцами, с каждым шагом отдаляемся от Красной Армии. Где-то перед нами шагает взвод разведки, от него пока нет вестей.

Но вот часа через полтора ходьбы навстречу нам бежит связной, крепыш Самаров. Его физиономия радостна.

— Товарищ комбат, — докладывает он, — командир роты послал... — И, сбившись, кричит попросту: — Нашлись!

Вскоре сквозь прутья ольхи, сквозь стволы елок и берез я увидел нашу фуру. Свернув с дороги, она стояла на прогалине. Выпряженные кони уткнулись мордами в охапки сена. Мирно горел костер, огромный, полуведерный чайник висел над огнем на палке, положенной на вбитые в землю рогульки. Вокруг огня на мягкой подстилке из хвои сидели раненые. Не приходилось гадать, кто устроил этот лесной небогатый уют. От фуры к костру шел своей обычной неторопкой походкой Киреев с топориком за поясом, с чайной посудой — грудой жестяных кружек, хозяйственно нанизанных сквозь проушины ручек на веревочку.

Я подозвал Киреева:

— Почему отстал?

Он виновато ответил:

— Лошади, товарищ комбат, пристали... Вовсе притомились...

— И что же ты думал делать?

— Покормить коней... Напоить раненых. Чаек и сахарок, слава богу, еще есть. И помаленьку трогаться.

— А если угодил бы к немцам?

— Все возможно... Я рассудил, товарищ комбат, так: надо исполнять службу до последнего... Перед совестью-то буду чист, что ни случись. А оно вот как ладненько обернулось...

— До ладненького далеко, — сказал я.

Потолковав еще немного с фельдшером, я пошел к фуру. Мои глаза встретились с черными глазами Дордия.

— Товарищ комбат, — выговорил Дордия. — Я знал... — Он передохнул. — Знал, что вы вернетесь.

У меня не было времени для разговора. Так и не выдался подходящий час, чтобы, как я намеревался, посидеть, пофилософствовать с Дордия о том, что такое советский человек.

6

Я приказал Рахимову созвать и выстроить на прогалине весь средний командный состав батальона. В шеренге стоит и доктор Беленков. Ссутулившись, он взирает исподлобья сквозь пенсне, знает: я не прошу.

— Беленков, выйдите из строя!— произнес я.

Он метнул взгляд по сторонам, хотел, видимо, запротестовать, но все же шагнул вперед, нервно оправил висевшую на боку медицинскую сумку.

Я отчеканил:

— За трусость, за потерю чести, за то, что бросил раненых, отстраняю Беленкова от занимаемой должности. Он недостойн звания советского командира, советского военного врача. Беленков! Снять знаки различия, снять медицинскую сумку, снять снаряжение!

Он попытался возразить:

— Вы... Вы... Вы...

— Молчать! Киреев! Идите сюда. Передайте свою винтовку Беленкову. Вы, Киреев, будете командовать санитарным взводом, а этот недостойный человек будет сам подбирать, выносить раненых, как рядовой санитар. Беленков, исполняйте приказание! Снять знаки различия!

Беленков заговорил:

— У меня... У меня высшее медицинское образование. Вы не имете права разжаловать меня. Меня может разжаловать только народный комиссар.

Действительно, по уставу, по закону я не имел права на разжалование. Тем более, что в петлицах Беленкова поблескивала капитанская «шпала», а я носил лишь «кубики» старшего лейтенанта. Но я выпрямился, посмотрел Беленкову в глаза — в беспокойно бегающие глаза труса — и твердо ответил:

— Я имею на это право. Мы, четыреста пятьдесят советских воинов, оторваны от нашей армии. Наш батальон — это остров. Советский остров среди захваченных врагами мест. На этом острове высшая власть принадлежит мне. Я, командир батальона, сейчас представляю всю советскую государственную власть. Я здесь...— И меня понесло.— Здесь я главнокомандующий всеми вооруженными силами Советского Союза. На этом куске земли, где впереди и сзади, справа и слева находится враг, я здесь...— Я не мог найти слова.— Я — Советская власть! Вот кто я такой, командир батальона, отрезанного от своих войск. А ты, жалкий трусишка, говоришь, что я не имею права. Я имею право не только разжаловать тебя, не только расстрелять за измену долгу, но и на куски разорвать.

7

Волнуясь, невольно встав со стула, я воспроизвел перед Панфиловым эту мою речь. Вот тут-то, именно в этот, казалось бы, самый драматический момент он начал смеяться:

— Так и сказали: «Я — Советская власть»?

— Да, товарищ генерал.

— Так и пальнули: «Я — главнокомандующий»?

— Да.

— Ой, товарищ Момыш-Улы, лошадиная доза...

Я на минуту опешил. Неужели Панфилову известна история лошадиной дозы, еще не занесенная в вашу тетрадь, история, о которой я и ему не обмолвился ни словом?

— Товарищ генерал, вы про это уже знаете?
 — Про что?
 — Про случай с лошадиной дозой...
 — Ничего не знаю... Что за случай?
 — Особого значения он не имел... Признаться, товарищ генерал, я и не собирался вам рассказывать.

Панфилов, однако, заинтересовался.

— Извольте рассказать... Но не спешите. Я вас не тороплю. Мы с вами сейчас на прогалине в лесу.— Он опять рассмеялся.— Неужели вы действительно могли бы разорвать на куски вашего доктора?

Теперь засмеялся и я.

— Нет, товарищ генерал... Не мог бы.

Некоторое время Панфилов о чем-то молча думал. Потом живо спросил:

— Ну, а насчет высшего медицинского образования? С этим-то как быть?

— Насчет высшего медицинского образования, товарищ генерал, я ему ответил: «Послужишь санинструктором, потаскаешь раненых из-под огня, научишься честно исполнять свой долг, тогда и будет у тебя высшее медицинское образование. Снимай шпалу, иди в рядовые, зарабатывай высшее медицинское образование». И разжаловал, товарищ генерал.

Панфилов с улыбкой смотрел на меня. Что-то в моем рассказе, видимо, радовало его, отвечало каким-то его мыслям. Словно подтверждая эту мою догадку, он сказал:

— Вы, товарищ Момыш-Улы, возможно, сами еще не понимаете, до чего эта история примечательна... Пишите рапорт! Я со своей стороны попрошу командующего армией утвердить. Но с этим успеем... Рассказывайте, рассказывайте дальше.

Я продолжал свой доклад, или, вернее сказать, свою командирскую исповедь.

Деревенька Горки

1

Под взглядами стоявших в строю командиров Беленков вытащил из петлиц знаки различия, снял планшет, медицинскую сумку и, передав все это Кирееву, поплелся с винтовкой, как рядовой санитар, к фуре, видневшейся на другом краю поляны.

Я объяснил командирам, в каком трудном положении мы находимся, приказал всякое нарушение порядка карать только смертью. Все иные виды взысканий отменяются, пока мы не выйдем к своим.

Затем я приказал построить батальон.

На прогалине встали ряды бойцов. Как это уже не раз со мной бывало, я ощутил силу, как бы исходящую строем.

Я сказал бойцам:

— Мы, четыреста пятьдесят вооруженных советских людей, находимся на захваченной врагами территории. Наша задача — выйти к своим. И не просто выйти, а уничтожить противника, мешать его продвижению вперед. Кроме того, нам предстоит побороться с голодом. Голод сейчас — страшный враг, который стремится расшатать, сломить нашу волю. Он набрасывается, как бешеный волк, пытается поколебать нашу верность долгу, присяге, великую заповедь советского народа: одолевая все трудности, не покоряться им. Наша главная сила теперь — дисциплина.

Далее я сообщил, что разжаловал в рядовые Беленкова. И продолжал:

— Товарищи бойцы и командиры! В этих условиях я приказал всякое нарушение порядка карать только смертью. Неповиновение командиру, все проявления трусости, нестойкости будут наказываться смертью.

Закончив свою речь, я приказал построиться в колонну по четыре. Затем скомандовал:

— Направо! За мной шагом... марш!

2

Вот и еще денек канул в былое. Истекло уже четверо суток с того часа, как мы, поднятые по тревоге, выступили из Волоколамска. Уже четверо суток мы не знали никакой пищи, кроме крохотного кусочка мяса.

Переночевав в лесу, мы и тридцатого октября продолжали свои скитания.

Утром тридцать первого мы наконец вышли к своим. Ко мне, шагавшему рядом с Рахимовым, подбежал Брудный, которого я постоянно высылал вперед с головным дозором. Брудный лихо козырнул:

— Товарищ комбат, разрешите передать приказ.

— Какой приказ? Чей?

— Подполковника Хрымоза.

Мне показалось, что от Брудного подозрительно пахнет спиртным.

— Ты, случаем, не тяпнул ли спиртяги?

— Всего стопочку, товарищ комбат. Больше себе не разрешил. Мы, товарищ комбат, уже вышли в расположение дивизии. В полутора километрах — деревенька Горки. Там наши, заградительный отряд.

— Там ты и приложился?

— А то где же? Оттуда я позвонил в штаб подполковника Хрымова. Нам приказано идти в эту деревню.

Я велел Рахимову вести батальон в Горки, а сам вместе с Бозжановым отправился разыскивать штаб подполковника Хрымова.

Отмерив еще несколько километров по грязному, размокшему проселку, мы наконец добрались до штаба, разместившегося в какой-то деревушке. Оперативным дежурным оказался молодой лейтенант, тот самый, что вместе с полнотелым капитаном побывал ночной порой в нашем шалаше у моста. Сейчас лейтенант встретил нас удивленным взглядом. Видно, он еще не знал о возвращении батальона и, должно быть, подумал, что уцелели только мы двое.

Хрымов отсутствовал. К нам, ожидавшим у крыльца, выбежал начальник штаба полка, общительный румяный майор Белопегов.

— Момыш-Улы! Не ждал тебя увидеть. Мне по телефону доложили, но не верилось. Пойдем, пойдем...

Я угрюмо сказал:

— Дайте поесть.

— Сейчас тебя накормим. Ну, идем...

— Не меня. Накормите батальон. Ведь мы через вас снабжаемся.

— А сколько людей ты вывел?

— Четыреста пятьдесят. А вы уже нас похоронили?

— Признаться, Момыш-Улы, похоронили. И нечего дать. Уже два дня, как мы вас отчислили.

— Эх вы... Сначала бросили нас, ушли... А теперь, пожалуйста, отчислили.

Начальник штаба промолчал. Но я наседал:

— Нечего ответить?

— Не до вас было, Момыш-Улы.

Он сказал это искренне, не пытаясь оправдаться. Да, было не до нас, ведь выскочили, не потушив лампы. Правда смягчила мое сердце. Ругаться уже не хотелось.

После минутного молчания Белопегов сказал:

— Момыш-Улы, пойдемте обедать.— Он попытался найти поддержку у Бозжанова.— Товарищ политрук, пошли...

Я отказался, повторив:

— Прежде накормите батальон.

— Нечем, Момыш-Улы.

Бозжанов смотрел на меня умоляюще. Но я отрезал:

— Пошли! Нам нечего здесь делать.

И вышел, не прощаясь.

3

С трудом я дотащился до деревни Горки. Бозжанов тоже совсем выдохся, плелся позади, отстав шагов на двадцать.

На краю деревни мне повстречался Мурин, идущий с ведром воды. Он не очень ловко перехватил дужку ведра в левую руку, вода плеснула наземь. Мурин козырнул, весело сказал:

— К удаче, товарищ комбат! Встречаю с полным...

— Куда несешь?

— Моемся, товарищ комбат, банимся.— Движением головы Мурин указал на ближний домик.— Все грехи надо отмыть.

Я не поддержал шутливого тона.

— Где штаб батальона?

Этого Мурин не знал. Неожиданно он поставил ведро, выпрямил шею, постарался придать себе молодецкий вид. Я догадался: сейчас спросит про обед.

Так оно и оказалось.

— Товарищ комбат, животы подвело.

— Пообедаем,— кратко ответил я.— Ступай.

На широкой деревенской улице я повстречал еще нескольких моих солдат, но никто из них не знал, где находится штаб батальона. Люди уже разместились по избам. Кое-где за изгородями палисадников уже парусят по ветру наскоро постиранные солдатские подштанники, нижние рубахи, порой даже гимнастерки и штаны. Вон у сарая кто-то без шинели и без шапки колет дрова: уже белеет изрядная груда полешек, а боец все еще машет и машет колуном.

Вон кто-то вышел на крыльцо босой, в чистой, только что надетой натальной рубахе. Он перекликается с хозяйкой:

— Мать, еще картошки не уважишь?

— Уважу, голубок, уважу.

Черт возьми! Расположились, словно здесь не фронт, словно не противник перед нами.

Иду. Каждый шаг мне труден. Наконец вижу Рахимова.

— Рахимов!

— Я, товарищ комбат.

— Почему не выставлены караулы? Почему здесь такой ералаш? Почему люди не в окопах?

— Извините, товарищ комбат. Занимался устройством штаба. Упустил.

— Упустили из виду, что здесь передний край? Хотите, чтобы противник напомнил нам об этом?

4

Голодный, усталый, злой, я вошел с Рахимовым в избу, где обосновался штаб. В просторной горенке, отделенной сенями от другой половины дома, на придвинутом к окну большом столе лежали остро очищенные карандаши, чернильница и ручка, чистая бумага, карта. Широкая кровать была аккуратно, без морщинки, застелена плащ-палаткой. Ковер заменяли ветки хвой, щедро разбросанные по полу. На стене, на гвоздиках, висели наши, военного образца, полотенца. Во всем этом угадывалась рука аккуратного Рахимова.

А у меня неостало сил даже как следует вытереть у крыльца ноги. Кое-как соскреба с сапог налипшие черные шматки, я ввалился в штаб и тяжело сел на кровать, не сняв шинели. На полу у стены я увидел седло, снятое с убитой Сивки,— оно путешествовало с нами в санитарной фуре. Возле седла выстроились взятые Киреевым в пленхозе шесть запечатанных сургучом бутылей. Рядом — груда пакетов из той же ветеринарной аптеки. Видимо, санитарный взвод повез раненых в тыл, оставив здесь эти запасы.

Я выслушал доклад Рахимова. Заградительный отряд, занимавший деревню, ушел. Мы сменили его. Чрезвычайных происшествий не было.

— Вызвать председателя колхоза!— приказал я.— Потом собери сюда командиров рот!

С председателем колхоза, сухоньким бритым стариком, я поговорил коротко. Объяснил, что мы выбрались с захваченной врагом территории, что несколько дней не ели.

— Надо накормить людей. Что можете дать?

Председатель ответил, что весь колхозный скот эвакуирован, в колхозе осталась лишь единственная телка.

— Зарезать!— сказал я.— Зарезать и раздать мясо хозяйкам. Пусть варят бойцам суп.

Председатель помялся.

— Товарищ начальник, она у нас последняя.

Я хотел прикрикнуть: «Исполнять!», но вместо этого сказал:

— И последнее надо отдавать. Отечественная война... Понимаете, Отечественная война!

Старик не без удивления покосился на меня. Не знаю, понял ли он чувство, вложенное мною — казахом, бывшим кочевником, бывшим пастушонком — в эти два слова: «Отечественная война». Думается, понял.

— Зарезу,— согласился он.

5

Начали сходитьсь командиры рот. Первым пришел Филимонов. Он успел побриться. Шинель, что много раз была заляпана, забрызгана в скитаниях по месиву глухих дорог, тщательно вычищена.

Войдя, Филимонов, как положено строевику, припечатал ногу.

— По вашему приказанию явился.

— Садись,— произнес я.

И посмотрел на свои замызганные сапоги. Как я в таком виде — сгорбившийся, неумытый, раздраженный, не снявший шинели, полы которой поросли коростой грязи, не вытерший сапог,— как я в таком виде буду разговаривать с подчиненными? Я учил Мурина, учил командиров и солдат: «Являйся к комбату, как к девушке, в которую ты влюблен!» А сам я?

Чуткий Рахимов угадал, должно быть, мои мысли.

— Товарищ комбат, не хотите ли умыться? Рукомойник во дворе.

— Спасибо,— сказал я.— Найду.

Взяв полотенце и мыло, я вышел во двор. Там погуливал сырой ветер. Низкие тучи, обложившие небо, сочились неприятной мокрядью: падали капли дождя и хлопья снега, мгновенно таявшие на земле. Бр-р-р... Непогодь гнала назад в тепло, в избу. Привалить бы сейчас голову, укрыться овчиной, закрыть глаза и полежать так, отбросив все заботы, хотя бы несколько часов.

Нет, Баурджан, нельзя! Я быстро разделся до пояса, оставшись полуголым под неприветным, холодным небом. В кожу будто впились иголки, она сразу покрылась мурашками. Сдержав дрожь, я провел ладонями по телу. Можно было пересчитать каждое ребро, как у изнуренной старой клячи. Живот стал таким впалым, будто присох к хребту.

Опясав себя полотенцем, я шагнул к жестяному рукомойнику, висевшему на изгороди, но в этот миг из сеней вышла хозяйка — пожилая женщина, закутанная в теплый платок. В огрубевших натруженных руках она несла ковшик и ведро воды.

— Погоди... Сама тебе солью.

Я снял ушанку, повесил на кол изгороди.

— А ну, лей... Прямо на голову, на спину.

— Простынешь. Пойдем в дом.

— Лей!

Жгуче-холодная вода, ковшик за ковшиком, полилась на голову, на спину. Вместе со стекающей водой уходило утомление, легче дышалось, появилось, как говорят бегуны, «второе дыхание».

Поблагодарив хозяйку, я стал насухо растирать полотенцем.

— Ты, парень, оголодал... Накормила бы тебя, соколик, да у самой только пустые щи. Пустых щец похлебаешь?

— Спасибо, похлебаю... Но немного погодя. Сначала займусь делом.

Я затянул ремень на стеганке, причесал гребешком мокрые волосы. Женщина спросила:

— Из каких же ты краев? Киргиз?

— Казах... Из Алма-Аты.

6

Таким вот — причесанным, умытым, в стеганке, туго перехваченной ремнем, в очищенных от грязи сапогах — я вернулся в горенку, где уже сидели командиры рот. Все мгновенно поднялись, вытянулись передо мной. Я подошел к разостланной на столе карте.

— Идите сюда!

Командиры обступили стол.

— Слушайте мой приказ. Сейчас же вывести людей из домов, выставить посты.

На карте я показал каждому его участок обороны. В сенях хлопнула дверь, там кто-то зашаркал ногами, вытирая сапоги. Я продолжал:

— Председатель колхоза забил для нас телушку. Мясо будет роздано хозяйкам, чтобы сварить бойцам обед. До обеда приказываю копать окопы. Пищу получит только тот, у кого будет готов окоп для стрельбы с колена.

Без скрипа раскрылась дверь, раздался знакомый грубоватый голос.

— Комбат, я немного припоздал вернуться к твоему званому обеду.

Все обернулись. На пороге стоял Толстунов, старший политрук, инструктор пропаганды.

— Ушел от тебя на часок, — продолжал он, — а пролетело, глядишь, четверо суток.

На грубоватом, под стать голосу, лице Толстунова не выразилось никакого удивления, когда, оглядев командиров, он не нашел среди них ни Заева, ни Панюкова. Должно быть, по пути ко мне, Толстунов уже все

разузнал о батальоне. Неторопливо сняв шинель, он повесил ее на гвоздь, сел на кровать, принялся переобуваться.

— А у тебя, комбат, холодновато. Надобно бы протопить.

Казалось, он вовсе не расставался с батальоном или отлучался лишь на часок.

Я уже разрешил командирам идти, как вмешался Толстунов.

— Погоди, комбат. Я притащил курево. Позволь нам подымить. Ты и сам, верно, не откажешься.

Он без спешки развязал вещевой мешок, вынул несколько пачек махорки, оделил командиров, потом выложил на стол коробку «Казбека», предложил угощаться папиросами. Изголодавшись по куреву, мы предпочли махорку. К потолку заструился синеватый дым толстых самокруток. Табак ударил в голову, комната закачалась, поплыла, все молчали, блаженно затягиваясь.

Дверь снова раскрылась. В комнату ступил Божжанов, скинувший шинель, умытый, повеселевший: громко, со всхрапом удовольствия, он втянул носом благоухание махорки. Божжанов торжественно держал в руках жестяную миску, куда щедро, с верхом, была наложена квашеная изжелта-белая капуста с красными крапинами клюквы.

— Товарищ комбат, разрешите всех попотчевать.

7

«Второго дыхания» мне хватило ненадолго. Похлебав предложенных хозяйкой щец, подзаправившись кое-чем из сухого пайка Толстунова, я разрешил себе передохнуть.

В полусне слышу, что Божжанов в сенях ставит самовар. Толстунов свалил на пол охапку дров, колет лучину, растапливает печь. Рахимов поскрипывает пером, пишет боевое донесение. Порой его куда-то вызывают, он уходит из комнаты, потом тихонько возвращается.

Вот вновь хлопнула дверь. К кровати подошел Божжанов, стоит около меня. Чувствую: хочет и не решается что-то сказать.

— Чего тебе?

— Товарищ комбат... Нашлась Лысанка...

Поднимаю голову.

— Где же она? Как отыскалась?

Божжанов почему-то медлит.

— Синченко привел...

— Синченко?

В памяти всплыло: желтый оскал бешено скачущей Лысанки, в седле вцепившийся пальцами в гриву Синченко, распространяющееся, как обвал, бегство. Привстаю.

— Пусть войдет!

8

Синченко переступил порог. Щеки были змлисто-бледны. Покосившись на меня, он потупился.

— Зачем явился?— спросил я.

— Привел...— У него не хватило дыхания, он осекся.— Привел Лысанку.

— Почему ты ее не убил?

— Как так? Зачем?

— Почему бежал?

— Я не бежал... Она, товарищ комбат, осатанела. Я оборвал повод... Ничего не мог поделать.

— Почему же не убил? Пистолет у тебя был?

— Был, товарищ комбат.

— Почему не выстрелил ей в ухо? Не уложил на месте?

Синченко молчал.

— Почему не спрыгнул? Не вернулся?

— Я, товарищ комбат... Я подумал...

— Что же ты подумал? Что я был убит? Почему не смотришь на меня?

Синченко с усилием поднял голову.

— Отвечай: подумал, что я был убит? Почему же ты не вынес моего тела?

Я наотмашь ударял этими беспощадными вопросами. Ответом было лишь молчание.

— Убирайся,— сказал я.— Убирайся вон из батальона!

— Куда же, товарищ комбат?

— Куда угодно! Бросил нас в бою, так не смей к нам возвращаться! Уходи!

Синченко молча повернулся и вышел из комнаты. В штабе водворилась тишина. Лишь потрескивали пылающие дрова в печке. Бозжанов присел у открытой заслонки и смотрел в огонь. Толстунов помял в пальцах папиросу, чиркнул спичкой, закурил.

Вот негромко стукнула заслонка. Бозжанов поднялся, ушел. Минуту спустя вернулся.

— Сидит во дворе,— сообщил он.

Я не откликнулся. Бозжанов вновь вышел, вновь вернулся.

— И Лысанка привязана. Можно, товарищ комбат, дать ей сена?

— Дай.

Бозжанов выглянул в сени. Наружная дверь, ведущая из сеней во двор, была, видимо, распахнута. Он крикнул:

— Синченко! Задай Лысанке корма!

Я промолчал. Ни единым словом не противореча мне, Бозжанов боролся за судьбу коновода.

— Посмотрю, как она станет есть,— объявил Бозжанов.

Он вновь на минуту-другую исчез. Вернувшись, заговорил:

— Исхудала... Меня сразу узнала...— Не обращая ко мне, он продолжал: — Много раз хотели отобрать у него лошадь, а он все-таки привел ее сюда.

Толстунов тем временем расставил на столе чашки, достал из своего мешка сахар, тюбик чаю. Бозжанов опять выскочил в сени:

— Самовар готов! Товарищ комбат, можно нести?

— Можно.

Толстунов подошел ко мне.

— Комбат, чего ты такой сумный? Дай-ка помогу тебе снять сапоги.

Не ожидая ответа, он взялся за мой сапог, потянул умелыми сильными руками. Сразу стало легче. Я уже не помнил, сколько суток не разувался. В эту минуту Синченко внес кипящий самовар.

— Ставь,— сказал Толстунов. Потом окликнул коновода: — Николаша, возьми-ка портянки у комбата, посуши... Сапоги вымой...

Я молча смотрел, как Синченко взял мои портянки, темневшие сыростью в тех местах, где оттиснулась ступня. Потом он вынес сапоги. Бозжанов уже смелее крикнул ему вслед:

— Николаша, притащи дровец!

Синченко притащил дров, стал помешивать в печке. Его щеки слегка разгорелись от жара.

Толстунов сказал:

— Ты что, Синченко, не видишь? Комбат с голыми ногами. Теплые носки у него есть?

— Найду!

Минуту спустя Синченко подошел ко мне с парой носков. Я не протянул руки. Он положил их на кровать, опять занялся печкой.

Вскоре явился Брудный, за которым я послал, чтобы поставить задачу взводу разведки. Брудный лихо шелкнул каблуками, отдал честь.

И вдруг мне вспомнилось... Я сижу под накатом блиндажа, ко мне наклоняется Синченко.

— Товарищ комбат... Там лейтенант Брудный... Ожидает вас...

Мой коновод знает, что я выгнал струсившего Брудного из батальона, свершив над ним суд перед строем.

— Пусть войдет,— говорю я.

«Пусть войдет»... Десять дней назад — неужели всего десять? — это относилось к Брудному, опозорившему себя в бою, к этому задорному чернявому лейтенанту, что сейчас ждет моих приказаний.

Я сказал:

— Брудный, садись. Получи пачку махорки... Синченко, налей чаю лейтенанту...

Донесся едва слышный вздох Бозжанова. Так была отпущена вина коновода. О ней больше не заговаривали. Мы блюли завет: отпущенного не поминать.

10

В этот же день новая напасть неожиданно-негаданно обрушилась на батальон.

Все мы расплатились за несдержанность в еде после четырехдневной голодовки. Люди корчились от болей в желудке. Батальон потерял боеспособность. Часовые, боевое охранение, люди в окопах, командный состав — все заболели.

Что делать? Как назло, под рукой не оказалось ни одного человека, сведущего в медицине. Санзвод был занят эвакуацией раненых, ушел вместе с Киреевым, вместе с разжалованным в санитары Беленковым.

Вдруг меня осенило. В глаза кинулись стоявшие на полу бутылки с настоек ойя. Черт возьми, это ведь желудочное средство!

Немедленно одна бутылка была водружена на стол и раскупорена. Я налил целебной жидкости в стакан, отведал. Лекарство приятно ожгло глотку спиртом. Затем настойку попробовал Бозжанов. Он сделал глоток-другой, на лице тоже выразилось удовольствие. К снадобью приложился и Рахимов. Оно действительно оказалось целительным — боли в желудке улеглись.

Я приказал раздать бутылки командирам подразделений.

— Пусть бойцы примут лекарство! Разделить его по-братски: каждому по четверти стакана!

Закончив врачевание, я прилег, незаметно уснул. Проснулся среди ночи от толчков. Что такое? Меня тормозил только что вернувшийся Киреев.

— Товарищ комбат, что вы наделали?

Не сразу удалось стряхнуть сонную одурь. Наконец стал понимать, о чем говорит фельдшер. Оказывается, я совершил страшную вещь. Людям следовало дать по пятнадцати капель настойки, а я вкатил им лошадиную дозу, то есть отравил батальон опиумом. Все полегли, уснули, надо было немедленно расталкивать, будить спящих, иначе они, возможно, вовсе не проснутся.

Не буду описывать, что я пережил в эту ночь. Мы — несколько командиров, фельдшер, санитары — будили, поднимали солдат, те снова вали-

лись, засыпали... И все же поутру — в медицине, как я потом узнал, известны подобные случаи — бойцы встали как встрепанные. Все выдержал солдатский желудок.

Такова была история лошадиной дозы, история, завершившая наши скитания.

Командир дивизии за работой

1

Все это — разумеется, не так, как вам, не столь пространно, — я поведал Панфилову. Не раз он перебивал меня вопросами, добирался до подробностей.

— Список отличившихся в боях, товарищ Момыш-Улы, составить не успели?

— Составлен, товарищ генерал. Сегодня с утра занялись этим.

— Где же он? Давайте.

Я достал из полевой сумки характеристики командиров и бойцов, которых считал достойными награды. Панфилов живо потянулся к листам, начал их просматривать.

Пробежав страницу, где говорилось о политруке Дордия, Панфилов несколько раз кивнул, потом прочитал вслух:

— «Оставшись без командира роты, без связи, по собственному почину принял командование, собрал разбредшуюся в темноте роту».

Опустив лист, Панфилов взглянул на меня. Он улыбался, глаза казались хитрыми.

— Оставшись без командира, — повторил он, — без связи, по собственному почину... В этом, товарищ Момыш-Улы, гвоздь. Или, если хотите, гвоздик.

Я знал русское выражение «гвоздь вопроса». Но было невдомек, что имеет в виду Панфилов. Я спросил:

— Гвоздик чего?

— Вот этого! — От стола, уставленного чайной посудой, за которым мы сидели, Панфилов легко повернулся к другому — там во всю столешницу белела карта, испещренная разноцветными пометками, та самая, что сегодня, когда я впервые наклонился над ней, ужаснула меня. — Гвоздик вот этого, — еще раз сказал Панфилов, протянув к карте загорелую, словно побывавшую в дубильном густо-коричневом настое, руку. — Нашей новой тактики. Нового построения обороны. Вы поняли?

— Нет, товарищ генерал, не понял.

— Не поняли? Но ведь вы же, товарищ Момыш-Улы, все сами объяснили.

— Что объяснил? Это?

Я подошел к карте и снова увидел будто прорванный во многих местах фронт, распавшийся на разрозненные, казалось бы, в беспорядке звенья. Рассекая, дробя линию дивизии, немцы не раз приводили именно к такому виду нашу разрушенную, взломанную оборону. Но зачем мы сами будем помогать в этом противнику? Зачем это сделал Панфилов, посмеивающийся к тому же сейчас надо мной? Должен признаться, его усмешка задевала меня.

— Что ж, займемся разбором, — сказал он. — Садитесь. Еще стакан чаю выпьете?

Опять запищал зуммер полевого телефона. Панфилов взял трубку.

— Да, Иван Иванович, слушаю... А-а, творение капитана Дорфмана. Сегодня же надо отправить? Гм... Гм... Очень удачно? Почитаю. Смогу. Иван Иванович, только через час. Да, скажите товарищу Дорфману, чтобы пришел через часок.

Закончив этот краткий разговор, Панфилов вернулся ко мне.

— Не буду от вас, товарищ Момыш-Улы, скрывать. Тянут меня, раба божьего, к Иисусу: почему был сдан Волоколамск? Создана специальная комиссия. Пишем объяснение: авось гроза минует.— Он помолчал, вопросительно на меня взглянул.— Как вы думаете, товарищ Момыш-Улы? Пронесет грозу?

— Уверен в этом, товарищ генерал.

— Гм... Благодарю на добром слове.

Мне вновь показалось, что в тоне генерала прозвучала насмешливая нотка. Однако Панфилов стал серьезным.

— Разберемся же, товарищ Момыш-Улы, что сказали вам эти несколько дней.

2

Однажды мне уже пришлось слышать от Панфилова: «Разве война не требует разбора? Мои войска — это моя академия. Ваш батальон — ваша академия».

Сейчас вновь предстоял разбор действий батальона. Почему-то я вздохнул. Говорю «почему-то», ибо в ту минуту сам еще не понял, что означал мой вздох. Панфилов бросил на меня пытливый взгляд. Неожиданно сказал:

— Вы, наверно, думаете: «Я открыл ему всю душу, выложил все свои терзания, а он хочет отделаться мелочным разбором двух или трех боев». Так?

Пожалуй, Панфилов действительно угадал то, в чем я еще не признался себе. Молчанием я подтвердил его догадку. Он продолжал:

— Наверно, думаете: «Пусть-ка он ответит, почему мы отступаем? Почему немцы уже столько времени нас гонят? Почему мы подпустили их к Москве? Пусть на это ответит!» Ведь думаете так?

— Да,— напрямик ответил я.

Панфилов поднялся, склонился к моему уху; я снова заметил под его усами лукавую улыбку.

— Скажу вам, товарищ Момыш-Улы...— Он говорил не без таинственности, я ждал откровения.— Скажу вам, этого я не знаю.

Наблюдая смену выражений на моем лице, Панфилов рассмеялся. Еще никогда — кажется, я об этом уже говорил,— еще никогда я не видел Панфилова таким веселым, шутливым.

— Впрочем, это не совсем так,— поправил себя Панфилов.— Кое-что весьма существенное мы с вами знаем.

Он перечислил ряд причин наших военных неудач. Конечно, эти причины были известны и мне: немецкая армия вступила в войну уже отмобилизованной; в сражениях на полях Европы она приобрела уверенность, боевой опыт; она имела преимущество в танках, в авиации.

— Что еще? Внезапность? — с вопросительной интонацией протянул он.— Да, внезапность. Но почему мы ее дозволили? Почему были невнимательны? Почему пренебрегли реальностью?

Он задавал эти вопросы самому себе, не глядя на меня, не вызывая на ответ. Он попросту приоткрывал мне свой внутренний мир, платил откровенностью за откровенность. Вероятно, он мог бы сказать еще многое, но сдержал себя. Некоторое время длилась пауза. Потом он обратился ко мне:

— Вот, товарищ Момыш-Улы, в чем, сдается, был наш грех: пренебрежительно отнеслись к реальности. А она не прощает этого! Вы понимаете меня?

Постучав пальцами по самовару, уже переставшему мурлыкать, он отворил дверь в сени.

— Товарищ Ушко! Распорядитесь-ка подогреть нам самоварчик.

И опять обратился ко мне:

— Так и условимся, товарищ Момыш-Улы... Чего мы с вами не знаем, того не знаем. История когда-нибудь все это исследует, откроет... Но действия дивизии нам известны. И об этом мы обязаны иметь свое суждение.

3

Подойдя к карте, Панфилов посмотрел на нее, почесал в затылке, повертел пальцами в воздухе.

— Может быть, кое-где все-таки сомкнуться потесней? — протянул он. — Уплотнить передний край? Как вы думаете, товарищ Момыш-Улы?

Его интонации были столь естественны, он с таким интересом спросил о моем мнении, что я так же непосредственно ответил:

— Конечно, потесней! Душе будет спокойней...

Едва у меня вырвались эти слова, как они показались мне наивными, смешными. Панфилов, однако, не засмеялся.

— Душе? С этим, товарищ Момыш-Улы, надобно считаться. Вы знаете, что такое душа?

По-прежнему чувствуя непринужденность разговора, я отважился на шуточный ответ:

— Ни в одном из ста изречений Магомета, ни в одной из четырех священных книг, товарищ генерал, ответа на ваш вопрос мы не найдем. Что же сказать мне?

— Нет, нет, товарищ Момыш-Улы. Вы отлично это знаете... Знаете как командир, как военачальник. Душа человека — самое грозное оружие в бою. Не так ли?

Я в знак согласия склонил голову. Панфилов опять взглянул на свою карту, похмыкал... Видимо, он еще лишь вылепливал построение дивизии, оно еще не отформовалось, оставалось податливым под его пальцами. Вылепливал... Именно это выражение пришло в ту минуту мне на ум.

Панфилов сказал, следуя каким-то своим думам:

— Вот мы и вернулись к гвоздику вопроса...

Присев, он вместе со стулом придвинулся ко мне. Я понимал — его подмывало выговориться, он хотел видеть, как я слушаю: вникаю ли, принимаю ли умом и сердцем его мысли?

— Вернулись к гвоздику, — повторил он. — Подошли к нему с другого бока... Что думали немцы — и не только немцы — о советском человеке? Они думали так: это человек, зажатый в тиски принуждения, человек, который против воли повинуется приказу, насилию. А что показала война?

Эти вопросы Панфилов, по-видимому, задавал самому себе, размышляя вслух. Докладывая сегодня генералу, я откровенно признался, как меня угнетало, точило неумение найти душевные, собственные, неистертые слова о советском человеке. Теперь об этом же заговорил Панфилов.

— Что показала война? Немцы прорывали наши линии. Прорывали много раз. При этом наши части, отдельные роты, даже взводы оказывались отрезанными, лишенными связи, управления. Некоторые бросали оружие, но остальные — те сопротивлялись! Такого рода как будто бы неорганизованное сопротивление нанесло столько урона противнику, что это вряд ли поддается учету. Будучи оторван от своего командования, предоставлен себе, советский человек — человек, которого воспитала партия, — сам принимал решения. Действовал, не имея приказа, лишь под влиянием внутренних сил, внутреннего убеждения. Возьмите хотя бы ваш батальон. Кто приказывал политруку Дордия?

Панфилов потянулся к листку, где моей рукой была дана характе-

ристика представленному к награде Дордия. Вторично в этот день генерал негромко прочитал:

— «Оставшись без командира роты, без связи, по собственному почину...»

Панфилов повертел бумагу, поднял палец.

— Кто-нибудь, возможно, скажет,— продолжал он,— что тут особенного? Да, были тысячи, десятки тысяч таких случаев. Но в этом-то и гвоздь! Припомните вашего Тимошина, вступившего в одиночку в схватку с немцами! А фельдшер, оставшийся с покинутыми ранеными! Кто им приказал? Кто им приказал? Под воздействием какой силы они поступали? Только внутренней силы, внутреннего повеления. А сами-то вы, товарищ Момыш-Улы?

Панфилов покачал головой, улыбнулся.

— Вы, конечно, нагромоздили себе званий, произвели себя чуть ли не в генералиссимусы...

Это вскользь брошенное замечание отнюдь не было резким. Панфилов очень мягко, так сказать лишь движением мизинчика, поправлял меня.

4

Генералу не сиделось. Он опять подошел к карте. Я тоже поднялся.

Панфилов продолжал донимать меня вопросами:

— В чем же жизненность нашего нового боевого порядка? Что является его основанием?

Я не успел ответить, как адъютант доложил о приходе капитана Дорфмана.

Панфилов посмотрел на часы, взглянул на меня.

— Нет, нет, товарищ Момыш-Улы, не уходите. Сейчас я займусь с товарищем Дорфманом, а вы посидите, поприсутствуйте. Тем более, что дело несколько касается и вас.

— Меня?

— Да. Приходится держать ответ за Волоколамск. И в частности: правильно ли я использовал свой резерв?.. Как вы на сей счет думаете? А?

— Мне, товарищ генерал, сказать об этом трудно.

— Трудно? — Будто узрев в моем ответе некий скрытый смысл, Панфилов вдруг живо воскликнул:— Что верно, то верно... Сказать трудно!

Он повернулся к вошедшему капитану Дорфману.

— Пожалуйста, пожалуйста, товарищ Дорфман.

Пружинящей, легкой походкой Дорфман прошагал к столу. Хромо-вые сапоги источали блеск. Поблескивали и каштановые волосы, разделенные прямым пробором. Белая каемочка свежего подворотничка оторачивала отложной ворот незаношенной суконной гимнастерки. Вот таким же — чуть щеголеватым, моложавым, с игрой в карих глазах — я видел Дорфмана в тревожный час в Волоколамске, когда он, начальник оперативного отдела штаба дивизии, с неиссякаемой энергией исполнял свои обязанности. Он и теперь, как и в тот вечер, улыбнулся мне глазами. Под мышкой он держал свою неизменную черную папку.

— Садитесь, садитесь,— произнес Панфилов.— И давайте-ка ваше сочинение.

— Товарищ генерал, я не могу назвать его своим,— скромно сказал Дорфман.— Я лишь облек в письменную форму ваши, товарищ генерал, соображения. Кроме того, и начальник штаба...

— Так, так,— прервал Панфилов.— Этикет мы соблюдали... А теперь к делу.

Дорфман раскрыл папку, извлек несколько исписанных на машинке

страниц, подал генералу. Панфилов жестом вновь пригласил Дорфмана сесть и, подавшись к свету, к окну, углубился в чтение.

На стол поджались одна за другой прочитанные страницы. В какую-то минуту, не поднимая склоненной головы, Панфилов нашарил на столе карандаш, сделал пометку на полях. Вот заостренный графит вновь легонько коснулся бумаги. Еще одна страница перевернута. Опять поднялся карандаш. Панфилов почесал острым кончиком в затылке и оставил страницу без пометки. Потом и вовсе отложил карандаш.

Последний листок содержал лишь несколько строк текста. Панфилов долго глядел на них, очевидно обдумывая прочитанное.

— Убедительно! — произнес наконец он. — Слов нет, убедительно! Вы, товарищ Дорфман, оказали мне услугу.

— Сделал, товарищ генерал, что мог.

Панфилов глядел в окно.

— Действительно, ведь получается, — продолжал он, — что с нас нечего спрашивать. На подступах к Волоколамску героически дрались... Проявили такое упорство, что... — Он повернулся к Дорфману. — Это, товарищ Дорфман, у вас крепко изложено. Отдаю должное вашему перу.

Однако не в лад со словами одобрения черные брови генерала были изломаны круче обычного. Это, конечно, заметил и Дорфман.

— Вы же сами, товарищ генерал, вчера высказали эти мысли...

Панфилов не откликнулся; по-прежнему сосредоточенно он рассуждал вслух:

— После сдачи города сохранили стойкость, не пустили немцев по шоссе, восстановили фронт в нескольких километрах от Волоколамска. Об этом вы опять-таки ясно и сильно написали. Какой же, товарищ Дорфман, вывод?

— Вывод, товарищ генерал, сам собой напрашивается.

— Вывод таков: сдать дело в архив, оставить без последствий. Я не ошибаюсь?

Легким наклоном головы Дорфман выразил согласие.

— Что же выходит? Там, — Панфилов показал в сторону Волоколамска, — там мы, товарищ Дорфман, сдрейфили, потеряли город... А теперь сдрейфили и тут...

— Как? Где, товарищ генерал?

— Здесь... — Панфилов тронул прочитанные страницы. — Здесь та же половинчатость, та же нерешительность...

— Товарищ генерал, я же хотел...

— Знаю, товарищ Дорфман, понимаю. Не вас я упрекаю. Но скажите: зачем нам вести дело к тому, чтобы лишь уйти из-под удара? Почему избегать грома? Пусть он грянет!

— Накликать, товарищ генерал, я бы не стал...

— Конечно, мне, товарищ Дорфман, будет неприятно, если за ошибки я буду смещен или получу взыскание. Но все же давайте-ка наберемся мужества, скажем о них открыто. Скажем так, чтобы нельзя было наложить резолюцию: «В архив. Оставить без последствий». Дадим бой, товарищ Дорфман. А?

Дорфман слегка выпрямился, задорно блеснул карими глазами.

— Я, товарищ генерал, готов.

— А я в этом и не сомневался.

Панфилов прошелся по комнате, подумал.

— В чем была наша ошибка в бою за Волоколамск? — проговорил он. — В том, что, несмотря на приобретенный уже опыт, я еще следовал уставной линейной тактике.

— Не вполне так, товарищ генерал, — поправил Дорфман.

— Да, вы правы... Не вполне... Мы ее уже сознательно ломали. Примеров этому немало. Взять хотя бы решение об использовании резерва.

Генерал повернулся ко мне.

— Видите, добрались, товарищ Момыш-Улы, и до вас... Я послал ваш батальон, приказав захватить, занять господствующую высоту. Это уже был отход от линии, от построения в линию. Но нерешительный, неполный, половинчатый... Ибо следовало, несмотря на прорыв линии, оставить ваш батальон в городе, поручить вам держать город. Думаю, что вы и сейчас бы еще дрались там... Вот это и надо написать, товарищ Дорфман.

— Слушаюсь, товарищ генерал.

— Написать остро, как это вы умеете, товарищ Дорфман. Сказать ясно и определенно: была совершена ошибка. Ее суть в том, что недостаточно решительно было нарушено изжившее себя, хотя и записанное в уставе, построение войск в оборонительном бою. Напишите так, чтобы... Чтобы дело без последствий не осталось. Разумеется, соблюдайте меру, скромность. А насчет упорства, героических боев — все это сохраните. Пусть это останется на своем месте. Вы меня поняли?

— Понял. Даем бой.

— Вот-вот... Сдавать города хватит! Сдал, так отвечай: как и почему. Не будем же, товарищ Дорфман, заниматься составлением уклончивых ответов.

Не ограничившись примером, касавшимся моего батальона, Панфилов еще некоторое время говорил с капитаном о неудаче в бою за Волоколамск.

— Понятно, товарищ генерал, — произнес Дорфман. — К вечеру сделаю.

— Нет, скоро делать — переделывать... Лучше и ночь посидите. Утром приходите ко мне снова. А ежели наша бумага опоздает на денек... Что же, за это головушку не снимут. Ну-с, товарищ Дорфман, ни пуха ни пера.

6

Мы снова остались наедине.

— Видите, товарищ Момыш-Улы, даем бой нашему уставу. Ведь уставы создает война, опыт войны. Существующий устав отразил опыт прошлых войн. Новая война его ломает. В ходе боев его ломают доведенные до крайности, до отчаяния командиры. Вы сами, товарищ Момыш-Улы, его ломали...

Панфилов приостановился, глядя на меня, давая мне возможность вставить слово, возразить, но я по-прежнему лишь слушал.

— Ломали, а потом докладывали об этом мне. Я докладывал командующему армией. Он докладывал выше... Таким образом, прежде чем новый устав выкристаллизуется, прежде чем он будет подписан, тысячи командиров уже создают в боях этот новый устав.

Подойдя к ошеломившей меня сегодня карте, Панфилов опять стал ее разглядывать.

— Гм... Гм... Говорите, кое-что передвинуть? — Он обратился невежливо к кому, ибо я ничего не говорил. — Да, сопротивляемся малыми силами. Теперь смогу их подкрепить. Слава богу, воскрес ваш батальон. Вы будете опять моим резервом. Второй полосой обороны.

Я не скрыл удивления:

— Второй полосой? Один мой батальон?

— Постараюсь вас несколько пополнить. Возможно, придам средства усиления. Но их у меня не много. Горсточку, крупичицу...

— Но как же, товарищ генерал?.. Как же мы сможем? Что сможет

сделать один батальон, несколько сотен человек с винтовками, если на них навалятся целые полки?! Где же наша армия? Где наша техника?

Я снова высказывал Панфилову все, что томило, бередило душу. Возможно, с другим командиром дивизии я не позволил бы себе этой откровенности. Но Панфилов всей своей повадкой, своей склонностью делиться с подчиненным размышлениями, думать при нем вслух, искать его совета, располагал к откровенности. Он и сейчас без тени осуждения — наоборот, с интересом — слушал меня.

— Говорите, говорите, товарищ Момыш-Улы. Вы командир моего резерва. Мы с вами должны друг друга понимать...

Я вновь спросил:

— Неужели, товарищ генерал, всю вторую линию?

Панфилов перебил:

— Не линию, товарищ Момыш-Улы, не линию... Отвыкайте от этого слова. Смелей уходите из плена прежней линейной тактики.

— Так вместо второй линии у вас будет один мой батальон? Разве, товарищ генерал, это реально?

— Реально... Только следует оказаться в нужное время в нужном месте. Пусть Волоколамск будет нам уроком. Если вы изучите всю эту полосу, — Панфилов показал на карте широкую полосу местности, прилегающую к фронту дивизии, — если ваш генерал больше не промажет, то и один батальон заставит противника поплясать несколько дней. Вспомните нашу спираль-пружину. Противнику придется развернуться, перестроиться. На это понадобится времечко. Не взводик, а батальон запрет дорогу. Ну-ка, действуйте за противника. Пожалуйста, господин командующий немецкой группировкой, как вы поступите, если на шоссе, на пути главного удара, упрутся в батальон?

Несколько минут я пребывал в роли немецкого командующего. Затем признал:

— Конечно, два-три дня батальон у них отнимет.

— Может быть, товарищ Момыш-Улы, и побольше...

— А потом? А дальше, товарищ генерал?

— Дальше?... В случае необходимости будем перекатами, рубеж за рубежом, отходить до Истры. Мне не полагалось бы, товарищ Момыш-Улы, вам говорить об этом. Я вам это доверяю как командиру резерва. Будем вести отступательный бой, пустим опять в ход спираль-пружину. Отступление, товарищ Момыш-Улы, — это не бегство, это один из самых сложных видов боя. Не каждый умеет отступать. Нам поставлена задача: не давать противнику возможности быстро продвигаться, изматывать его, удерживать дороги, по которым могут устремиться механизированные силы. А ведь таких дорог — присмотритесь, присмотритесь! — таких дорог не много. Если мы будем умело отступать, то месяц-полтора он потеряет, чтобы выйти на рубеж Истры. Как по-вашему, это не-реально?

Я смотрел на карту, следил за карандашом генерала, за планом боя, еще зыбким, вырисовывающимся лишь в некоторых главных очертаниях, планом, что открывал мне Панфилов. Не скрывая трудностей, он создавал во мне уверенность. Держать дороги... Месяц-полтора прома-нежить немцев... Это уже не ошеломляло, уже воспринималось как продуманная большая задача.

— Полагаю, — продолжал Панфилов, — что драться придется так: один против четырех, против пяти. Ничего, для нас с вами, товарищ Момыш-Улы, это уже не впервой... А через месяц-полтора подойдут наши резервы. Нельзя нерасчетливо бросать их сейчас в бой по малости. Придет срок — и, думается, мы увидим, где же наша армия, где же наша техника.

— Ну, на сегодня хватит,— заключил генерал.— О тонкостях потолкуем в другой раз. На днях переведу ваш батальон к себе поближе, во второй эшелон. Приеду к вам туда справить новоселье. Приглашаете? Я низко поклонился.

— Милости просим... Угостим вас по-казахски. Приготовим плов. Только с вечера предупредите.

— Хорошо. Повару настроение не испорчу. Теперь вот что, товарищ Момыш-Улы. Хочу вам поручить одну сверхурочную работку. Опишите все ваши бои, все действия батальона. Приложите схемы...

— Слушаюсь, товарищ генерал.

— Трудностей не затушевывайте. Горькое вкушайте во всей горечи. Вы меня поняли? Сколько дней на это вам понадобится?

— Надеюсь, в три дня справлюсь.

— Нет, в три дня не успеете. Берите неделю. Ангел-хранитель нам это позволяет.

Я взглянул недоуменно: какой «ангел-хранитель»? Панфилов пояснил:

— Ангел-хранитель обороняющегося — время! Знаете, кому принадлежит эти слова? Клаузевицу, одному из выдающихся людей немецкого народа.— Панфилов подумал, повторил: — Немецкого народа... Вы, товарищ Момыш-Улы, никогда не унижали себя ненавистью к немцам как к нации, как к народу?

— Никогда! — твердо ответил я.— Если под знамя свастики, порабощения, встанет мой брат по крови, казах, я и его буду ненавидеть.

Панфилов вдруг вспомнил:

— Да, ведь я вам так и не сказал, что же писал Ленин насчет отступления. Он считал, что искусство отступления столь же важно в нашей борьбе, как и умение беззаветно, смело, безудержно наступать... Писал, что опыт отступления необходимо изучать. Вы поняли, товарищ Момыш-Улы?

Он протянул мне руку, мы обменялись на прощанье рукопожатием.

Выйдя от Панфилова, я взглянул на часы. Стрелки показывали около трех.

Несколько суток назад в этот же час я покинул домик Панфилова в Волоколамске; хлестал дождь, гремели пушки, пахло гарью, все вокруг было застлано мутной пеленой. А сейчас будто вернулась золотая осень. Из непросохших луж, что рябил ветерок, в глаза били тысячи блесков, солнечных зайчиков.

Беззвучно напевая, вскакиваю в седло. Лысанка идет хорошей рысью, несет меня домой — так в мыслях я называю батальон.

От автора. Предложенные вниманию читателя страницы еще не завершают книгу «Волоколамское шоссе». Автор работает над заключительной повестью, которую надеется закончить в этом году.



ИЗ СТИХОВ ФРАНЦУЗСКИХ ПОЭТОВ

Мы публикуем стихотворения французских поэтов, принадлежащих к различным поколениям и различным поэтическим школам.

Арагон, чья поэзия давно уже знакома советскому читателю, в последние годы опубликовал произведения, вызвавшие живой отклик французской критики («Неоконченный роман» и «Эльза»).

Из стихотворных сборников Сюпервьеля назовем такие, как «Неизвестные друзья», «Лестница».

Наш читатель встретится в этом номере журнала с одним из старейших поэтов Франции — Тристаном Кленгсором, оказавшим заметное влияние на развитие французской детской литературы (сборники «Слуга сердца», «Поэтическая антология»).

Люк Дэкон (сборник «Право на взгляд»), Клод Сернэ (сборник «Стихи долга») и Абель Жакэн (сборник «Басни и стихи») принадлежат к другому поколению поэтов и относительно недавно привлекли к себе внимание французского читателя.

ЖЮЛЬ СЮПЕРВЬЕЛЬ

★

Из цикла „Военные невзгоды“

Брюки, мундир, головной убор —
И все-таки внешность не строевая;
Идет спотыкаясь, идет ковыляя, идет отставая,
Идет на костер;
Ох, где ты, где ты, о мать родная!

Он с Севера? С Юга? Он из Парижа?
Неважно, когда тебя мучает грыжа.
Неважно, когда ты один из тех,
Кто позабыл про улыбку и смех.

Душа его грезит, томясь и страдая,
О лесе, который не чистят, не дряют.
И грезит о сетке от комаров,
Когда зима расстилает покров
И комары исчезают.

Себя половиною чувствует он,
И, чтобы казаться не частью, а целым,
Он ищет напарника, ищет несмело,
Всегда молчалив и смущен.

В военной обуви штатские ноги
Идут по дороге, бредут по дороге,
Идут два солдата нестроевых;
На старых детей они оба похожи,
Тоска их гложет,
И кровь под кожей
Струится устало по венам их.

ЛУИ АРАГОН

★

Рождественские розы

Когда мы были брошенным сосудом,
Поблекшим садом в ливень проливной,
Больной землей, уопленников грудой,
Плывущей над парижской мостовой;

Когда мы были попранной травой,
Посевом, что разграблен был врагом,
Рыданием, летевшим над толпою,
И лошадьёу, избитой сапогом;

Когда мы были дома чужаками
И шли с сумой по собственной стране,
Когда постыдно нищими руками
Надежды тень ловили, как во сне;

Тогда, тогда те, что восстать посмели —
Пускай на миг, пусть ждал удар в ночи,—
Цветком весенним были в дни метели,
Но взоры их сверкали, как мечи.

О рождество! Сиянье зорь украдкой
Вернуло тем, кто веру стал терять,
Огонь любви без страха и оглядки,
Огонь, что звал и жить и умирать.

Как их декабрь, вы бросились бы с кручи,
О дни весны? Ничто вам не грозит.
Так вспомните тот запах роз могучий,
Когда звезда над пастбищем горит.

Под солнцем ярким будете ль вы помнить
О том, как рухнула ночная твердь?
И если ветер паруса наполнит,
Вы Ифигении забудете ли смерть?

То пурпур на ресницах маргариток
Или горит на них кровавый пот?
Могли бы вы забыть раскрытый свиток,
Забудеть топор, что новой жертвы ждет?

Кровь пролита. Она молчать не станет.
Откуда всходы, разве все равно?
Не забывайте ж виноград страданья
И привкус черный, что хранит вино.

ЛЮК ДЭКОН

★

Ответы

Щегленок в гнезде,
И ласточка, что не расправила крылья,
И капля воды среди вороха облачной ваты —
Чего они ждут?
Их сущность имеет ли имя?

Они ждут начала полета,
Им нужен рассвет,
Грозовые раскаты,
Терпением мудрости суть их богата;
Пространство — за ними.

Но узник в темнице,
Партизан в кандалах,
Человек у стены,
Когда стены глухие вокруг,
И небо враждебно,
И под самым штыком
Расцветает болтливый цветок неминуемой смерти, —
Чего они ждут?
Их сущность имеет ли имя?

Они ждут начала сражений,
Им нужен рассвет,
Грозовые раскаты,
С ними сердце того, кто на место их встал,
С ними руки, поднявшие молот расплаты;
День грядущий — за ними.

КЛОД СЕРНЭ

★

Человек

В какой-то точке мира
Он ест, он спит, он любит,
Надеется, мечтает,
Поет, коль есть работа,
И пот со лба стирает,
И плачет, если грустен,
Короче — он живет.

Мир — это мир. И мудрость
В нем человек найдет.

Он стол имеет в доме,
Кровать почти по росту,
Жену, что всех красивей.
Он сразу их узнает,
Они с ним даже схожи;

В какой-то точке мира
Он счастлив — он живет.
Мир — это мир. И близких
В нем человек найдет.

Но если душит голод,
Отравлен сон тревогой,
Украдена надежда,
То, добрый по природе,
Он закипает гневом;
В какой-то точке мира
Он борется — живет.

Так мир лицо меняет,
Так жизнь идет вперед.

ТРИСТАН КЛЭНГСОР

★

Песенка про спящих кошек

Серые кошки,
Белые кошки,
Черные кошки —
Все кошки на свете
Спят и не слышат,
Что делают мыши,
А мыши танцуют на скользком паркете.

Храпит буржуа у себя на кровати,
И вата торчит у него из ушей.
Он тоже не видит, он тоже не слышит,
Не видит, не слышит он пляски мышей.

И только луна
За рамой окна
Следит за мельканием шустрых теней.

И прыгают мыши
Все выше и выше
И падают снова на скользкий паркет.
Их лапки мелькают,
Их глазки сверкают,
Им весело очень,
А музыки нет.

Ходила по улицам сонная стража,
Но стража о том и не думала даже,
Что мыши танцуют, что мыши шумят,
А серые, белые, черные кошки,
Все кошки Парижа
Сладко спят.

АБЕЛЬ ЖАКЭН

★

Береги свою голову

Береги свою голову, друг мой!
Голову береги, мой друг!

Голова, как известно, круглая,
голова, как известно, кружится,
и ты и сам не заметишь,
как ее потеряешь вдруг.

Ты думаешь, это несчастье
случается в жизни не часто?
Ну нет! Посмотри внимательно
на своих знакомых сперва.
Теряли голову многие,
теряли даже такие,
которым по их положению
очень нужна голова.

Она же у них закружилась,
она, как шар, покатилась,
и вот ее потеряли
или вот-вот потеряют;
и только те, с кем случилась
подобная неприятность,
как это ни странно,
случившегося
не видят,
не замечают.

О ужас!
Без головы
они по земле шагают!

А все потому, что у них
денег немножко больше,
удачи немножко больше,
таланта немножко больше
за душой обнаружилось вдруг.

И потому мой совет:
береги свою голову, друг мой.
Голову береги, мой друг!

Перевел с французского М. Кудянов.



НА ЗАРУБЕЖНЫЕ ТЕМЫ

БОРИС БАБОЧКИН

★

НЕМНОЖКО ФРАНЦИИ

П

оезд Париж — Марсель носит поэтическое название: «Мистраль». Так называется ветер на южном побережье Франции, и поезд оправдывает свое название тем, что идет со скоростью сто сорок километров в час.

Марсель — столица Прованса

Здесь встречали нас, советских туристов, железнодорожники — члены общества «Франция — СССР». Они использовали свое влияние и, очевидно, служебное положение, чтобы провести нас в город через самые парадные комнаты вокзала, они подарили нам цветы, крепко жали руки, желали счастливого путешествия...

Много у нас, советских людей, оказалось во Франции искренних, душевных друзей.

Вот, например, шофер автобуса, похожий в своем белоснежном халате на врача. С каким увлечением рассказывал он нам о достопримечательностях своего города, как он оказался сверкающе весел, остроумен и любезен. Он везет нас мимо роскошных особняков, построенных в последние годы.

— Район безработных, — говорит он и заливается веселым смехом.

Он показывает большие рекламные плакаты о том, что в еще не достроенном доме продаются квартиры.

— Кому угодно, какую угодно, всего три-четыре миллиона франков. Спешите!

— Вы похожи на итальянца, — говорим мы ему.

— Нет, я не итальянец. Я корсиканец.

— Как Наполеон? — пошутил кто-то.

— О нет. Наполеон — это слишком много войны и крови. Я французский коммунист, а нам нужен мир и на Земле и на Луне!

Он рассказывает, какое впечатление произвела здесь наша ракета, запущенная на Луну.

— Вы знаете, толпы стояли на улицах всю ночь, и все смотрели на Луну, как будто там можно было что-нибудь увидеть. Но все равно как будто бы увидели!..

Мы подарили ему значок со спутником. Он торжественно прицепил его к белому халату и долгое время ехал молча и серьезно.

Марсель чем-то напоминает нашу Одессу. Портовый город, один из самых южных городов Франции, второй после Парижа по числу жителей и третий после Парижа и Лиона по развитию промышленности, он существует уже двадцать пять веков и при этом красив, наряден и удивительно молод. Мы видели его под горячим и ласковым осенним солнцем.

Марсельцы — настоящие южане: общительны, темпераментны, обаятельны. Разговориться на улице с марсельцем — одно удовольствие; разговор завязывается быстро, непринужденно и стремительно, как бы сам собой.

Первое, что мы предприняли в Марселе, — это посетили Международную марсельскую ярмарку. Длинная дорога туда была одновременно экскурсией по городу. С главных улиц, на которых кафе и магазины заняли все первые этажи домов и часть тротуа-

ров, автобус сворачивает к порту. Корабли под флагами всех стран мира, всех типов — от океанских лайнеров и военных кораблей до маленьких рыбацких шхун — выстроились у причалов в несколько рядов, вся акватория порта так заполнена, что выбраться из этой сутолоки не сможет, кажется, ни одно из пришатых к причалам судов. В самом деле, интересно бы посмотреть, как они это ухитряются делать.

Марсельская ярмарка расположилась в обширном загородном парке.

Направляясь туда, мы проезжаем район новостроек. Архитектура жилых домов, построенных муниципалитетом Марселя, очень своеобразна, а раскраска домов не в один, а в несколько ярких цветов придает району карнавальную нарядность и праздничность. Но наиболее примечательным в этом районе является так называемый «Лучезарный город» Корбюзье. Знаменитый архитектор, оставивший память о себе и на улицах Москвы, построил в марсельском предместье громадный дом на конусообразных столбах. В этом доме (кстати, громадным его можно назвать лишь в масштабах Марселя — в нем несколько сот квартир; в Москве это никого бы не поразило) есть все, что должно быть в городе: магазины, кафе, школа, гараж и прочее — потому он и называется «городом». А «лучезарным» называется он потому, что, во-первых, стоит в большом парке, во-вторых, раскрашен всеми цветами радуги. Красиво ли это? Не знаю. Скорее лишь любопытно. Впрочем, я заметил, что марсельцы произносят название «Лучезарный город» чаще с иронической интонацией. Они говорят, что жить здесь неудобно и к тому же слишком далеко...

От посещения ярмарки мы получили большое удовольствие. Пестро и радостно сливались здесь красочные павильоны, нарядная толпа, музыка из многих репродукторов, ребята и взрослые, резвящиеся у несметных аттракционов. И самую большую радость и удовлетворение испытали мы, убедившись в том, что вся эта многотысячная толпа, которая добиралась сюда всеми доступными видами транспорта, в сущности интересовалась только одним павильоном — павильоном Украинской ССР.

Украина впервые выступила на международной ярмарке самостоятельно, и, по нашим впечатлениям, ее успех превзошел все ожидания организаторов.

Мы видели, как вся толпа устремлялась сразу же к павильону УССР, минув все прочее, что зывало людей, кричало плакатами и рекламой по дороге. Внутри павильона протолкнуться нельзя. Около каждого станка каждого экспоната тесно столпившиеся люди уважительно слушают объяснения сотрудников павильона — дюжих парубков в украинских рубашках, дающих объяснения на отличном французском языке. Узнав нас и знакомясь с нами, они меняют язык и интонацию на предельно добродушное: — Дуже приємно вас тут побачити!..

Нас даже несколько удивило то обстоятельство, что в павильоне Италии, скажем, где, с нашей точки зрения, есть тоже немало интересного — например, чудной красоты венецианское стекло, — в это время лениво бродит лишь несколько десятков флегматичных посетителей, равнодушно оглядывающих посуду, холодильники, женские украшения и прочие экспонаты.

Так и осталась для нас ярмарка пестрой и шумной картинкой: не хватило времени на подробности — всего только одни сутки отведены были в нашем путешествии Марселю.

Возвращаясь в отель «Астория», где мы остановились, мы поднялись на гору, господствующую над всем городом. Великолепный кафедральный собор Нотр Дам де ла Гард венчает ее, и отсюда становится виден весь город на холмах, живописный порт с его кораблями, вымпелами, кранами, доками, со старинными укреплениями, радиомачтами — и дальше необъятное, ослепительно сверкающее Средиземное море.

Спускаемся вниз по головокружительному серпантину дороги, то и дело круто сворачивающей на сто восемьдесят градусов, и наш веселый корсиканец показывает здесь высокий класс вождения автомобиля, не переставая осыпать нас новыми сведениями из неисчерпаемых запасов, накопившихся у него как у истого марсельского старожилы.

А впереди снова гора, и там, на горе, возникают очертания знаменитой церкви-крепости Сен-Виктор, построенной еще в V веке и реконструированной в средние века. А потом мы въезжаем в Старый Порт — недавно эти улицы были самым живописным

и самобытным районом Марселя. Но весь этот район взорвали гитлеровцы. Сейчас Старый Порт стал скучным, благопристойным и официальным...

Наскоро, но весьма плотно обедаем мы в итальянском трактире, хозяин которого как бы сошел с подмостков «Комедиа дель арте»: долговязый, ловкий, шумный, потный, он носится от столика к столику, пританцовывая и громко командуя немногочисленным штатом официантов и официанток, которые называют его «патрон». На столе дешевое легкое вино и все дары Средиземного моря: креветки, омары и, наконец, знаменитые мули — черные раковины с розовым мясом, сваренные в белом вине, с чесноком. Рыба, похожая на лососину, и спагетти с сыром...

После такого обеда хорошо бы и отдохнуть, но у нас жесткая программа.

В четыре часа небольшой пароход, переполненный воскресной публикой, везет нас на остров Иф. Судно проходит мимо старого мола и древних, сложенных из крупного граненого камня укреплений — грозных и, на сегодняшний взгляд, наивно театральных. Прибрежные камни усыпаны рыболовами. Старики, мальчишки, девушки (их меньше, конечно), солидные буржуа, мелкие чиновники застыли в напряженных позах на берегу, на полуразрушенных стенах. Мы проходим совсем близко от них, и наиболее удачливые рыболовы снисходительно машут нам, в то время как другие, не отвлекаясь, хмуро уставились на поплавки или с безнадежной отрешенностью сматывают свои спиннинги.

В открытом море наш катер качает морская волна, весело перекадывая его с борта на борт. Впереди, поблескивая сквозь перламутровый туман, вырисовывается грозный скалистый остров — цель нашего путешествия...

Судно швартуется к каменному пирсу, и матросы — такие, какими и должны быть марсельские матросы: обветренные, татуированные, в лихих беретах и белоснежных тельняшках — помогают каждому пассажиру сойти на берег, так как корабль все еще сильно качает. Крутой дорогой, обнесенной старыми низкими стенами, мы идем вверх и выходим наконец на площадку с небольшим рестораном на обрыве у моря. С другой стороны площадки — старая крепость, или замок, или дворец, одним словом, «Шато д'Иф» — тюрьма и чумной карантин Марселя, место, знаменитое главным образом по роману Александра Дюма-отца. Поднимаемся по винтовой лестнице внутри башни и выходим на глубокий маленький двор, тесный и душный. В центре двора — колодезь с громадным дубовым колесом и валом, на который накручена цепь с бадьей. По сторонам двора — террасы с казематами и старыми ржавыми решетками. Над каждым казематом — мемориальная надпись. Мы читаем: «Карцер человека, прозванного «Железная маска», «Кавалер Ансельм сидел здесь в 1382 году», «Граф де Мирабо провел здесь 1774—1775 годы» (он был посажен как соблазнитель и банкрот), «Тело генерала Клебера хранилось здесь с 1802 по 1818 год». И, наконец, «Карцер Е. Дантеса, графа Монте-Кристо».

Каземат этот действительно страшен, мрачен и темен.

Сейчас там светит тусклая лампочка, чтобы туристы могли рассмотреть узкий подкоп, сделанный в каменной стене. Через него сбежал пресловутый граф, бросившись в море с высоты примерно шести-семизатжного дома. Море видно сквозь эту дыру. Оно поблескивает так призывно, что даже сам начинаешь здесь, в камере, испытывать желание нырнуть в подкоп и устремиться к простору и свободе.

Для меня было неожиданностью узнать, что история графа Монте-Кристо не совсем вымышленная, что подкоп, сделанный его прототипом, можно видеть своими глазами.

Мы выходим на внешние укрепления крепости, снова поднимаемся по винтовым лестницам внутри башен, где темно, хоть глаз выколи, и где идешь на ощупь. Теперь уже вся крепость под нашими ногами; вокруг море, ветер, на горизонте — корабли, а вдали, на крутых холмах, в серой дымке — воздушный и волшебный Марсель.

На одной из площадок под нами, в прорези крепостной амбразуры, французский солдат со своей девушкой застыли в пятиминутном поцелуе. Доброжелательно поглядывают на них сверху туристы, как бы засекая время... Пора уходить. А они все целуются...

Романтическое место этот остров Иф!

На обратном пути на палубе появились два черных пуделя. Я потрепал одного из них по голове опытной рукой собачника. Признательность была бурной и восторженной. Второй захотел получить и свою долю внимания, но первый устроил сцену ревности, и тогда из штурманской рубки появилась собачья хозяйка, не очень молодая французенка в красном кожаном жакете, с растрепанной современной прической, я успокоила собак. Разговорились. Познакомила с сыном — студентом-технологом, который изучает русский язык и довольно прилично уже разговаривает. Они поражены тем, что мы русские, что мы только что из Москвы — для них это так интересно. Сколько бывает туристов в Марселе, а вот с русскими они встретились впервые... Молодой человек, впрочем, тут же высказался насчет того, что политика его совсем не интересует, что жить нужно только для себя, и т. д. Но он, конечно, тоже против войны... Безусловно, против.

Собачья хозяйка — сестра милосердия, работает в туберкулезной больнице, работа тяжелая, бессонная, вот почему она каждое воскресенье уезжает на остров Иф с сыном и собаками купаться и дышать свежим воздухом.

— А капитан корабля — это ваш муж, вероятно? До нашего разговора вы стояли в рубке.

— Это уже прошлое. А теперь — да здравствует свобода!..

Наш кораблик подходит к Марселю. На набережной — небольшой трехэтажный старинный дом. Худенький, скромно одетый пассажир с маленьким мальчиком на руках объясняет: этот дом построен Людовиком XIV. Сейчас здесь муниципалитет.

Сосед — рабочий-металлист.

Спрашивает, сколько времени мы летели от Москвы до Парижа. Неужели три с половиной часа? Значит, мы летели на «Туполеве»? Очень бы ему хотелось хоть посмотреть на этот самолет — полететь-то на нем уж, видно, никогда не удастся.

— Вот видите, это все новые дома, — показывает он постройки на месте Старого Порта. — Здесь очень много пустых квартир. Спекулянты не рассчитали, продать их все не удастся. Каждая стоит три-четыре миллиона франков, а я, например, зарабатываю сорок две тысячи в месяц и живу в конуре...

Он прикалывает наши советские значки со спутником себе и своему мальчику и долго жмет нам руки...

Вечер мы проводим среди наших друзей из общества «Франция — СССР», а потом еще долго сидим в порту, на террасе кафе.

Хозяин — армянин из Еревана — расспрашивает о Советском Союзе и о своем родном городе, где я был всего десять дней назад...

* * *

Дорога в Ниццу несколько разочаровала нас. Мы хотели искупаться в море и вдоволь налюбоваться им, но оказалось, что ехать по берегу нам нельзя, дорога через Тулон, где базируется военно-морской флот Франции, для советских туристов запретна. Мы едем к Лазурному берегу по «Дороге № 7». Часть этой дороги построена еще Марком Аврелием. Она тянется у подножия Приморских Альп. Это Прованс — благодатный край, один из самых живописных во Франции. Пейзаж итальянский — с горами вдаль, с пиниями по склонам холмов, с синим небом и прозрачным воздухом. Здесь возделан каждый квадратный метр земли. Виноградники, оливковые рощи, огороды. Во всем абсолютный порядок. Тыквы на бахчах уложены ровными рядами, как на прилавке в колоссальном магазине. Многие плантации ограждены живой стеной кипарисов — это защита от мистрала, бича виноградников.

Идет сбор винограда.

Мы останавливаемся около одного виноградника, разговариваем со сборщиками. Многие из них приезжают на сбор винограда из городов. Они получают за работу по две-три тысячи франков и по два литра вина в день. Делаем несколько фотоснимков на память и едем дальше. Запах вина наполняет наш автобус, и женщины начинают подозрительно поглядывать на мужчин: почему вдруг в автобусе запахло винным по-

гребом? Но мы ни в чем не повинны. Все объясняется просто. Вперед идет трехтонный грузовик — он наполнен виноградом.

Целых полтора часа дороги ароматный груз дразнил наше обоняние и аппетит, пока грузовик не свернул в сторону.

Развалины феодальных замков часто показываются вдали, придавая пейзажу некоторую картинность.

Дорога проходит через маленькие живописные города: Бриньоль, Ле-Люк, Фрежюс. Фрежюс основан Юлием Цезарем. Здесь сохранился римский форум.

На пути от городка к городку — небольшие парфюмерные фабрики, вокруг них плантации цветов, лаванды. Еще два-три поворота дороги, и впереди открывается Средиземное море — шоссе выходит на Лазурный берег, крутой, обрывистый и извилистый.

До самой границы Италии берег здесь густо населен; виллы, пансионы, отели, санатории прилепились к каждому уступу, к каждой скале — так же, впрочем, как и у нас на Крымском и Кавказском побережьях. Только здесь все построено «частниками» и потому пестро — в зависимости от того, кто и сколько мог вложить капитала, — и, в общем, масштабы тут меньше, чем те, к каким мы привыкли на нашем юге. Чаше всего на Лазурном берегу видны особняки, иные очень красивые, иные безвкусные; большие здания довольно редки. Наша дорога часто взбегает на воздушные мосты, перекинутые через небольшие заливы, и мы видим внизу шверботы и яхты с разноцветными парусами и группы купальщиков на каменистых пляжах. Мы проезжаем модные курорты и старинные города: Сен-Рафаэль, Биот, Валлорн, фешенебельные Канны, вокруг которых сосредоточены виллы кинозвезд Европы; промежуток между этими городами почти нет. Все это вместе — Лазурный берег.

Наконец, миновав аэродром на равнинном морском берегу, мы въезжаем в Ниццу.

Ницца — это прежде всего широкий полумесяц набережной длиной, вероятно, в шесть-семь километров. Она очень красива, но, пожалуй, не столько своими зданиями, которые хороши, так сказать, в меру, сколько тем, что уж очень хорошо здесь само море. Дома на набережной не слишком высокие — четырех- и пятиэтажные; перед ними широкне террасы кафе под пальмами и несколько рядов больших деревьев. По другую сторону проходящей через набережную автострады обрывается над морем широкая терраса, вся уставленная стульями, шезлонгами и большими зонтами, выкрашенными в самые яркие цвета. На фоне моря это выглядит очень красиво и достигнуто самыми простыми и недорогими средствами.

Вообще мое представление о Ницце как об олицетворении роскоши несколько потускнело. Ничего чрезмерно роскошного в Ницце нет. «Роскошными» можно бы назвать разве только два здания на набережной: казино и отель «Негреско». Но здание казино весьма безвкусно и снаружи и особенно внутри, а отель «Негреско» в самом деле хорош, и роскошь его не шибает в глаза, не поражает ненужными завитушками. Кроме набережной, в городе есть еще одна большая и красивая улица, проложенная параллельно набережной, и очаровательная старинная площадь с ратушей и «Галереей Лафайета» — старинным гостиним двором, где расположился теперь большой универсальный магазин.

Вглубь — от набережной к горам — город невелик; там он вскоре переходит в район вилл и садов.

В конце набережной, в скале, высечен памятник Мертвым. В каждом — большом и самом маленьком — городе Франции непременно есть такой памятник. Сперва они посвящались жертвам первой мировой войны, но после второй воздвигают общие памятники жертвам обеих войн, и все они зовутся памятниками Мертвым. В небольших городах на таком памятнике высечены обычно имена всех жителей города, «павших на поле чести».

* * *

Среди встречавших нас в Ницце членов общества «Франция — СССР» я сразу узнал своего знакомого по Москве — Льва Семеновича Миркина, кинооператора фильма «Нормандия—Неман», снимавшегося этой зимой на Мосфильме. Мне нужно было починить закапризничавший узкоколенный киноаппарат, и Лев Семенович сразу повез

меня на киностудию «Викторин», где он работает. Это небольшая студия, она выпускает шесть фильмов в год, но так, что она является хорошо организованным предприятием, ощущаешь сразу, только переступив студийный порог.

Сейчас тут снимается фильм «Завещание Орфея». Знаменитый поэт и художник, академик Жан Кокто выступает как автор сценария, постановщик и исполнитель главной роли. Подводя итоги своей семидесятилетней жизни, поэт как бы обращается к молодежи, которой хочет зазвездать свои взгляды на искусство, на поэзию и на жизнь.

Жан Кокто — тоненький изящный человек с легкой седой шевелюрой и горящими светлыми большими глазами.

На съемке, на которой я присутствовал, царил атмосфера сосредоточенная и деловая. Тишина во время съемок абсолютная. Когда на сигнальном столбе во дворе студии горит красный свет — «съемка», — нельзя ходить даже по двору, посыпанному мелкой галькой, скрипящей под ногами. После сцены, в которой поэт снимался вместе со своим сыном, нас познакомили. Я спросил: «Разве сын господина Кокто — актер?» Он расхохотался: «О нет. Он снимается просто потому, что он мой сын. Это — семейное дело».

В фильме «Завещание Орфея» заняты почти все звезды французского кино. Роли у них небольшие — через всю картину проходит как главный персонаж сам поэт. Богиня Рассудка убила его своей молнией, и поэт умер... Но ведь поэты бессмертны, как бессмертна поэзия. Вот, грубо говоря, содержание будущего фильма; надеются, что он должен стать приметным явлением в истории французского кино. Во всяком случае, очень интересно, что поэт выбрал для своего завещания молодежи форму кинофильма, в котором он будет играть самого себя. Очевидно, он хочет сказать свое завещание «во весь голос», обращаясь с экрана к миллионам зрителей. Я хотел бы увидеть этот фильм у нас в СССР. Я хотел бы узнать, что же хочет сказать молодежи знаменитый поэт Франции Жан Кокто...

Вечером этого дня мы встретились со здешними членами общества «Франция — СССР». Встреча была неофициальной; она происходила в холле нашего отеля «Эдуард VII». В очень непосредственной, дружески откровенной беседе мы узнали много интересного о городе и его жителях. Несмотря на то, что Ницца считается городом богатых, или, вернее, городом для богатых, на последних муниципальных выборах коммунистическая партия собрала наибольшее количество голосов. Тридцать восемь процентов избирателей проголосовали за коммунистов.

Многое изменилось в жизни города за последние годы. Раньше курортным сезоном в Ницце была зима. Теперь город живет приезжающими сюда на лето, на отпускные каникулы служащими, мелкими коммерсантами, интеллигенцией...

Как и каждая встреча с друзьями, эта встреча прошла очень тепло, в хорошей атмосфере, а закончилась совсем славно. Господин Раймонд Николэ, владелец небольшой мастерской по ремонту кино- и фотоаппаратуры, оказался очаровательным товарищем; к тому же некоторые общие кинематографические интересы нас сразу объединили. Он предложил мне и еще двоим товарищам из нашей группы поехать в одно, по его словам, очень интересное место в окрестностях Ниццы. Мы с радостью согласились, и путешествие в самом деле оказалось необычайно интересным. Мы ехали горной дорогой вверх, и вся залитая огнями нарядная Ницца оказалась под нашими ногами, далеко внизу. Это зрелище было очень красиво. Потом мы круто спустились к морю и очутились на маленькой площади старинного сарацинского городка Вильфранш-сюр-Мэр, основанного в XI веке. Здесь происходил городской праздник. В городе около трех тысяч жителей; все они рыбаки — так считается официально. Думаю, что это не совсем верно, но об этом позже.

Маленькая площадь городка была ярко освещена. Люди толпились возле тиров, смотрели на механические собачьи бега с тотализатором, покупали лотерейные билеты, играли в мяч и в стальные шары, еще в какие-то игры, сути которых я не понял. Народу было не много, но ведь его и не могло быть много в таком маленьком городке. Вскоре мы обнаружили, что едва ли не большая часть этого народа — это наши спутники, советские туристы. Оказывается, не один г-н Никола повез гостей в Вильфранш-сюр-Мэр. Каждый из членов общества «Франция — СССР», присутствовавших на встре-

че в отеле, захватил в свою машину двоих-трех новых друзей и привез их сюда же. Это было неожиданно и забавно — тем более, что никто не сговаривался, а все произошло случайно, в порядке, так сказать, нечаянного совпадения. Город оказался на редкость интересным. Тускло освещенные старыми чугунными фонарями узкие, иногда не шире двух метров, улицы вдруг превращались в туннели, так как верхние этажи старинных домов тесно сходились. Идешь по такому туннелю на свет дальнего фонарика и вдруг выходишь на площадь. Размеры площади не превышают тридцати квадратных метров, над головой снова видны звезды, а вокруг стоят узкие и высокие домики в несколько этажей, с массивными дубовыми дверями, каждую из которых украшает кованый молоток, чтобы постучаться, или колокольчик, в который нужно позвонить, чтобы тебя впустили. В окна старинных домов можно разглядеть маленькие квартиры, в которых люди жили уже пятьсот—шестьсот лет назад. Дома эти простоят, верно, и еще столько. Они сохраняются, как сохраняются тяжелые каменные плиты, которыми замощены игрушечные улицы города. Удивила нас странная, спорящая с архитектурой роспись старинной капеллы. Автор этой росписи — Жан Кокто.

В окнах небольших магазинов керамика с его же росписью: блюда, кувшины, тарелки.

В этом маленьком городке такое множество ночных ресторанов, что я усомнился: зачем бы их столько местным рыбакам, если взаправду только из них и состоит здешнее население?! К тому же не странно ли, что почти все эти рестораны носят английские названия, и вывески на них английские, и многие кабачки зовутся по-американски: «Снэк-бар»? Похоже, что все это сделано для американского флота, который, кажется, часто гостит здесь. Город тогда преобразуется: он наполняется громадным количеством женщин. Уходит флот — и они уезжают в другие порты.

Сейчас кабачки и бары пусты.

Наши хозяева выбрали ресторан с французским названием — «Тропик». «Экзотический ресторан» — так написано на вывеске. под названием, шрифтом помельче.

«Экзотика» заключается в том, что все стены исписаны автографами и адресами посетителей. Все адреса — американские, и там их сотни. От наших спутников хозяйка узнала, что мы русские, первые русские в ее баре, как сказала она. Но факт этот не застал ее врасплох, она тут же завела радиолу с пластинкой «Русская красавица» в исполнении хора Пятницкого, чем и доставила нам изрядное удовольствие. Потом она расспрашивала, о чем же в этой песне поется. Мы объяснили. После милой, непринужденной беседы мы побродили еще немного по затихшему, засыпающему городку, по набережной и от души поблагодарили хозяев за чудесный вечер. На обратном пути они показали нам «ночную Ниццу», так сказать, в действии. На террасах отелей гремят джазы. На больших площадках, рассчитанных на сотни танцующих, кружатся по три-четыре пары. С тротуара десяток прохожих наблюдает «роскошную жизнь». Наши спутники посмеиваются: «Это все на наши налоги. Девушки, танцующие на площадках, служат у муниципалитета».

Зашли в казино — громадное, аляповатое и совсем пустое. Поглядели и пошли спать.

Утром мы совершили путешествие в другое государство — в Монако.

Путешествие не отняло у нас много времени. Не прошло и часа, как мы проехали мимо пограничного столба, на одной стороне которого было написано «Франция», а на другой — «Монако». Ничто не изменилось за этой «границей». Те же виллы, отели, пляжи, то же море, такие же люди, та же жизнь. Монако — небольшой городок, довольно тихий и довольно красивый. Украшают его море, обширный парк и два здания. Первое — дворец принца Монакского. Что там внутри — мы не узнали, но снаружи все это обставлено до смешного наивно. Большая площадь перед воротами дворца ограждена цепью. За цепью ходит часовой. Молодой человек в белых перчатках, белых гетрах и опереточном военном костюме. Он ходит равномерно — от одной бутафорской пушки с чугунными ядрами до другой такой же пушки и обратно. Туристы, находящиеся по другую сторону цепи, его фотографируют, он делает вид, что не замечает их, а когда все же снисходит и замечает, то на лице его изображается как бы укоризна по поводу того, что вот, дескать, эти штатские никак не умеют понять, что его пост —

стратегический и что сам он — военная тайна. Насладившись великолепным зрелищем смены караула, когда вместо этого молодого человека сгал ходить от пушки до пушки другой такой же молодой человек, мы пошли осматривать вторую достопримечательность Монако — Океанографический музей. Он весьма интересен, но я видел аквариум в Бомбее, а Монакский музей, хоть и находится в очень хорошем помещении, уступает бомбейскому в чудесах, которые там представлены.

Мы попали в музей с экскурсией монахинь — это нас развлекло. Забавно было наблюдать, как полсотни черных женщин — молодых, старых, толстых, тонких, с лицами святош или с нормальным человеческим выражением любопытства — щебетали, пищали и восхищались удивленным, как школьницы.

Дальше в Монако делать было решительно нечего, и мы поехали в Монте-Карло. Здесь несколько оживленнее, чем в Монако; здания больше и богаче. Красив парк, сходящий ступенями к морю. В центре — здание знаменитого казино. Мы вошли туда как экскурсанты, оставив при входе не только фотоаппараты, но даже альбомы для зарисовок. Нас сопровождал один из администраторов этого уникального учреждения — человек довольно невзрачный, не носивший на себе ни печати своей странной для нас профессии, ни какой-либо приметы места, в котором он служит. Все государство Монако живет доходами от казино, и монакские граждане не платят налогов. Впрочем, вероятно, все они — или большинство из них — так или иначе работают в казино или на казино: для них это обычное обывательское дело, скучная работа. Но проводник наш пытался даже увлечься, водя нас по полупустым залам. Было около одиннадцати часов утра. В некоторых помещениях шла уборка, в некоторых — еще или уже — шла игра. Полтора десятка усталых людей, главным образом женщин, сидели за овальным столом, расчерченным на квадраты с тридцатью шестью цифрами и роковым «зеро» сверху таблицы. Красное, черное, чет, нечет, первая, вторая половина и все остальные комбинации сулили сидящим за столом скорое и внезапное обогащение. Игроки сидели молча, перед каждым — небольшая кучка фишек и почти непременно аккуратно нарисованная таблица: «система». На ней отмечают порядок выпавших номеров в тщетной надежде уловить некую закономерность в их чередовании. Крупье — бесстрастные, корректные и официальные — ведут игру. Шарик, пущенный навстречу вертящемуся кругу цифр, несется, как бешеный, лотом, когда круг остановился, бросается несколько раз из стороны в сторону и наконец укладывается на predeterminedное судьбой число. Игра здесь мелкая — во всяком случае, трудно было рассчитывать на то, что нас ждут здесь сцены в духе Достоевского или Бальзака. За «золотыми столами» все окончилось в пять утра, и шум пылесосов заменил шум игры, но казалось, что еще стоит в высоком зале чад азарта, еще слышалось шелканье фишек, сгребаемых лопаткой крупье, а из темных углов зала словно глядели лихорадочные глаза проигравшихся.

Мы походили еще немного по высоким залам, посмотрели находящийся тут же, внутри казино, небольшой красивый театр, где не столь давно еще пел Шаляпин, и вышли на воздух, который здесь чист и прозрачен. По бульвару, поднимавшемуся от казино в горы, гуляли дети с мамами и няньками, на углах стояли автомобили и фиакры с извозчиками на козлах, прохаживались девушки в экзотических блузках и золотистых брючках, в модных прическах с метким и выразительным названием: «Я у мамы дурочка». Иногда появлялась на бульваре фигура человечка, быстро направившегося к казино. Он шел сперва решительно и независимо, потом несколько менее решительно; замедляя ход, он поднимался по невысокой массивной каменной лестнице... Двери казино захлопывались за ним с тем зловещим щелчком, который слышится, когда большая собака ловит пастью неосторожную муху. Казалось, этот человек уже никогда не вернется...

Мы доехали по Лазурному берегу до Ментоны; дальше, за вершиной холма, — Италия.

Ментона — место тоже знаменитое, и главным образом по русской литературе XIX века. Ну как же было не записать в своей внутренней анкете: «Я купался в Ментоне!» Это я и сделал немедленно, не теряя ни секунды времени, едва наш автобус остановился на набережной. Море здесь теплое и ядовито-соленое.

В Ниццу мы вернулись дорогой, идущей по гребню гор,— весь Лазурный берег виднелся внизу. Нужно ли говорить о том, что это совсем не похоже на все цветные фото, рекламные плакаты и почтовые открытки, которыми полна Франция. На самом деле это гораздо, гораздо красивее, а некоторая сусальность свойственна только открыткам и плакатам; в природе никакой сусальности нет — она живая, теплая и прекрасная...

А в три часа дня мы уже ехали в противоположном от Ниццы направлении, и через какой-нибудь час наш автобус остановился на центральной площади маленького городка Валлори — знаменитого Валлори, который можно назвать городом искусств.

Центральная площадь здесь совсем маленькая, но она стала притягательным центром для многих и многих туристов. На ней, кроме традиционного фонтана и столь же традиционного памятника Мертвым, находится Музей современной живописи с картинами Пабло Пикассо, Марка Шагала, Фернана Леже и других художников. А кроме того, здесь стоит знаменитая капелла XII века, расписанная Пикассо и известная во всем мире как примечательный опыт современной фресковой живописи. Тема росписи — «война и мир». При любом отношении к современной западной живописи с ее экспериментами в области формы капелла эта не может оставить зрителя равнодушным. Поражает неожиданное соответствие примитивной, простой архитектуре здания такой же простой, наивной до детскости, символики фресок Пикассо. Внутренность капеллы невелика. Я думаю, площадь ее около сорока квадратных метров. Невысок и сводчатый, грубо оштукатуренный потолок. На одной стене написаны картины ужасов войны. Черная и красная краска сочетаются с беспокойной, лишенной всякой привычной закономерности композицией. Война как ад, как страшный сон, приснившийся ребенку, — так может быть истолкована эта фреска. Ее апокалиптический, так сказать, характер оправдан тем, что это древняя капелла. В резком контрасте смотрится другая стена, где так же ясно, с удивительной детской чистотой написан символ мира со знаменитым голубем, венчающим композицию. Все это в белых, сияющих тонах и написано так же просто, как прост и прозрачен образ мира, возникающий как первое, самое непосредственное, мгновенное видение в той же детской душе. Я не специалист в вопросах живописи, я не собираюсь доказывать ни закономерность, ни шаткость творческих принципов такого большого художника, как Пикассо; я пишу только о собственном непосредственном впечатлении. Но для меня несомненно одно: фрески Пикассо в старинной капелле Валлори, маленького городка на юге Франции, смотрятся как одно из серьезных художественных воплощений самого духа международной борьбы передового человечества за мир. Как памятник этой борьбы — а значит, как памятник нашей эпохи — они останутся для потомства на долгие и долгие годы.

Кроме музея и капеллы, Валлори знаменит еще и своей керамикой. Вдоль всей главной улицы городка, да и не только по ней одной, тянутся лавки гончаров, продающих свои изделия. Каждая лавка имеет свой стиль, свою специальность. Удивительно то, что в двух разных лавках не найдешь двух одинаковых вещей. Каждый горшок для цветов, каждый подвечник, чайник, кувшин или даже плитка обыкновенного кафеля — плод работы мастера, не знающего шаблонов, делающего каждую вещь как самостоятельное произведение. Пройти по этим лавкам, подержать каждую вещь в руках, полюбоваться яркостью ее окраски, фантазией, вложенной в ее создание, — это истинное наслаждение, и я испытал его сполна, опоздав даже на сборный пункт. А нам пришла уже пора ехать дальше — в музей Фернана Леже, куда нас пригласила вдова художника, наша соотечественница Надежда Петровна Леже. Между городками Биот и Жуан ле Пэн, где жил Фернан Леже — один из крупнейших художников современной Франции, умерший пять лет назад в расцвете мировой славы, — усилиями его вдовы создан теперь музей Леже. И опять-таки, не вдаваясь в спорные моменты искусства этого художника, мне хочется описать лишь собственное впечатление, оставшееся от посещения этого своеобразнейшего дома, учреждения, института — не знаю, как правильнее это назвать. Сперва меня удивило само место, выбранное для этого музея. Похоже, что организаторов не слишком заботило то, чтобы в этом музее бывало много людей. Дом стоит в довольно пустынном месте. Это ослепительной белизны здание в ультрасовременном стиле, украшенное мозаичным панно, которое

делал покойный мастер для берлинского стадиона. В нем Леже как бы стремился выполнить собственный завет: объединить живопись с архитектурой. В данном случае единство этих двух искусств достигнуто. Внутри музей просторен, светел и пустынен. Яркие, необычные и сильные произведения Леже расположились тут «у себя», дома. Они чувствуют себя здесь уверенно и гордо. Но почему-то и жаль их. Кажется, что не очень им весело висеть в этих светлых, пустынных залах... Трудно представить себе, что здесь будет толпиться народ, что здесь возникнут горячие споры об искусстве, что на большой площадке перед музеем, где уже выросла густая трава, будут тесниться очереди желающих попасть в музей. Нет, он предназначен для тех немногих, которые обернутся сюда на своих автомобилях, да еще для немногочисленных жителей окрестных городков и вилл... А между тем само искусство Леже чуждо всякой камерности и салонности. Оно смело, несколько грубо; оно адресовано массам — этот вывод становится несомненным, когда посмотришь собрание его картин в музее. Как бы хотелось встретить здесь такую же горячую, взволнованную, спорящую толпу молодежи, которая осаждала в Пушкинском музее в Москве выставку Пикассо или выставку современного искусства на Московском фестивале молодежи и студентов...

Прощальная встреча с членами общества «Франция — СССР» в Ницце буквально растрогала нас — столько тепла и сердечности вложили в нее наши хозяева. Очевидно, и здесь сказали свое веское слово железнодорожники: встреча происходила в большом ресторане Ниццкого вокзала, набитом так, что трудно было протиснуться. Сколько неожиданностей, ахов, вздохов принесла нам эта встреча! Мы узнали, что некоторые из присутствовавших среди нас деятелей советского искусства весьма популярны во Франции. Неожиданным было и то, что в зале оказалось немало русских эмигрантов различных формаций, начиная с дореволюционной. Я наблюдал за ними с любопытством и, не скрою, с грустью. Очень запомнилась одна — модно остриженная, с золотым зубом и с таким типично русским лицом, что за версту узнаешь. Прическа ее растрепалась, бабьи слезы размыли трехслойную косметику; путая падежи, нараспев, по-бабьи, изливала она свою горькую тоску по родине, и — позволь ей только! — она пешком, как на богомолье, потащилась бы в Россию... «Пустили Дуньку в Европу», прожила она здесь сорок лет, уж не вернется в свою Урюпинскую, знает это, плачет, причитает по-бабьи и... записалась в общество «Франция — СССР»...

По дорогам Прованса

Мы прощались с Лазурным берегом ранним утром тридцатого сентября. В дороге Средиземное море снова появлялось на горизонте еще несколько раз; мы считали это проявлением его любезности и доброты... Потом шоссе, уклоняясь все больше на север, скользнуло по территории Приморских Альп и наконец превратилось в знаменитую Солнечную дорогу, ведущую через Прованс на Лион и Париж. Наши товарищи художники, очутившиеся здесь впервые, узнавали места, знакомые по картинам французских художников, неповторимые краски, единственную на земле мерцающую линию горизонта, особенную прозрачность воздуха...

Из департамента Приморские Альпы мы переехали в департамент Вар.

Наш маршрут: Экс-ан-Прованс, Арль и Авиньон.

Это край садов, бахчей, виноградников. Отсюда мчатся в Париж поезда, грузовики, плывут пароходы и баржи, груженные фруктами, дынями, помидорами, всяких сортов капустой, огурцами, чтобы насытить пресловутое «чрево Парижа». В течение двух-трех ночных часов вся эта масса продовольствия растекается по Парижу и без следа исчезает. Капустные листья, обрывки ботвы, клочья соломы — весь мусор, оставшийся от этого изобилия, — убирается в последующие четверть часа. Проходя по этим кварталам днем, нельзя и догадаться, что тут он и есть, тот знаменитый рынок, что дал название не менее знаменитому роману Э. Золя...

Мы снова проезжаем знакомые городки вроде Ле Люка и Бриньоля, и дорога становится все более живописной. Это старая Франция, Франция «доброго короля Рене». Если верить сказкам, здесь царил когда-то музыка и поэзия, а король, сам работая в своих виноградниках, вывел для потомства лучшие сорта винограда.

Мы проезжаем и самое место, где, по преданиям, стоял некогда замок «доброего короля Рене»,— где-то около городка Сен-Максим с его древней капеллой и уютными рестораничками на городской площади. Платаны, посаженные добрых полторы сотни лет назад, так разрослись, что часто мы словно ныряем в зеленый тоннель, где только яркие солнечные лучи прорезывают густую листву. Но вот справа возникают мягкие очертания горы с зелеными склонами: это дважды знаменитая в истории Франции гора св. Виктории. Здесь произошла знаменитая чудовищным кровопролитием битва, в которой римляне разбили тевтонов. Сто тысяч человек, в том числе и женщины, тоже сражавшиеся рядом с мужьями и братьями, пали в этом бою. Когда победа римлян стала очевидной, все тевтонские женщины покончили с собой, умертвив сперва своих детей. Сейчас, когда смотришь на эти мирные поля и на эту совсем не грозную, а лирически вписанную в провансальский пейзаж невысокую гору, трудно и представить себе, что здесь пролилось столько человеческой крови. Второй раз слава пришла к этой горе две тысячи лет спустя, когда Поль Сезанн, «разочаровавшись в женщинах, продажных и лживых», выбрал для своей живописи только одну натуру — гору св. Виктории. Он запечатлел ее во многих своих произведениях.

Мы въезжаем в Экс-ан-Прованс — старую провансальскую столицу, родной город Золя и Сезанна, где родилась и выросла их дружба, где родилась и выросла их вражда. Противоположные взгляды на искусство родились здесь, в тихом старинном городке, таком гармоничном, с его древним прекрасным собором, с его великолепным фонтаном на центральной площади, с его громадными деревьями на улицах, с домами, спрятанными в садах, обнесенных низкими каменными оградами. Два строительных крана угрожающе подняли воинственные стрелы над сонным покоем, и они кажутся здесь почти апокалиптическими чудовищами.

Но центр города оживлен — это перекресток важных дорог, и автомобили мчатся в одну и другую стороны, лишь на мгновение задерживаясь перед указателем, чтобы выбрать нужное направление. Несколько ресторанов на площади переполнено туристами. Подле автомобилей и автобусов хлопочет регулировщик, распределяющий места на стоянке. В сквере гуляют жители города, играют дети, покуривают старики. На одной скамье расположилась группа пожилых алжирцев, внимательно слушающих толстого бородача в белой чалме. Две девушки — очевидно, совсем свободной профессии — ждут каких-либо событий или знакомств... Мы идем по тенистым улицам. Чем дальше от центра, тем они пустынее, и, когда мы немного сбились с пути, несмотря на то, что цель нашего паломничества указана стрелой на перекрестках, спросить дорогу было не у кого. Нас выручило то, что откуда-то сверху, из окна трехэтажного домика, послышался девичий голос. Мы окликнули девушку. Сразу открылось окно дома напротив, потом еще одно — наискосок, — и три девушки, споря и смеясь, наперебой объяснили, как пройти к домику-музею, где работал Поль Сезанн.

Тихая улочка идет в гору.

Серая почва, серые стены блестят на жарком солнце. Тишина.

Входим в заросший сад через калитку с надписью «Ателье Сезанна». У входа в дом старое деревянное кресло, на кресле вязанье, на земле клубок шерсти. Двухэтажный домик. Наверху одна комната — мастерская, внизу несколько маленьких комнат, очевидно когда-то жилых. Старушка в чепчике и в очках — директор, кассир, уборщица, продавщица репродукций — показывает домик. Мы долго сидим в садике, слушаем тишину сонного городка, греемся на солнце. Потом появляются две школьницы — Клодетт и Мишель; одна — рыженькая, другая — брюнетка; обе смешливые, ребячливые — они очень заинтересованы в советских значках и монетах. Не прочь они и сфотографироваться с нами. Они также коллекционируют марки, по у них нет ни одной советской... Наша дружба с ними установилась с первых же минут знакомства — и на вечные времена.

Опять мы бредем по улице, останавливаемся около предвыборных плакатов, где рядом с воззванием компартии, разоблачающим войну в Алжире и предстоящее испытание атомной бомбы в Сахаре, можно увидеть лозунг монархистов — лаконично-меланхолический плакат со словами. «Король? А почему бы и нет?»

На пустынной улице около нас остановилась машина. Пожилая английская чета

с трудом — по-французски — попросила показать дорогу в Авиньон. Мы исполнили их просьбу с уверенностью провансальских старожил. Потом для контроля спросили у мальчишки, бжавшего по улице с двумя пустыми ведрами, правильно ли мы показали. Оказалось, правильно. Следующая случайная встреча с этими англичанами не смутила бы нас. Мы пробыли в городе всего несколько часов, но он врезался в память надолго, и я, как сейчас, вижу его тенистые улицы и слышу бой часов на его колокольне...

И опять недалёкая дорога в автобусе, опять виноградники, поля, запах цветов с плантаций, тёплый ветер в окно. И опять мы жалеем, что нельзя остановиться и поближе рассмотреть такие городки, как Пелиссан, который стоит в лесу из каштанов и чинар; как чудный Салон — родина средневекового прорицателя Нострадамуса, где сохранился его дом, где на площади есть единственный в своём роде фонтан — зелёный, живой, как большое растение, с ветвей которого всегда бежит в каменный водоем чистая вода. Отсюда идет дорога в Сен-Реми — городок, в котором жил Ван-Гог.

Мы проезжаем Сен-Мартэн с его термами, построенными императором Константином; на закате солнца въезжаем в ещё более тихий, ещё более древний, ещё более красивый, воспетый поэтами город-музей Арль. У въезда в город — древнес римско-галльское кладбище. Под вековыми деревьями длинной чередой улеглись каменные корыта — гробницы воинов. Их не зарывали в землю. Сейчас многие из них разрушились и служат скамейками для влюбленных пар. У входа на кладбище — руины церкви Сен-Сезар, одной из самых древних во Франции, и надпись, что она сооружена на месте ещё более древнего монастыря, построенного в VI, кажется, веке. За исключением главной магистрали, в Арле запрещено автомобильное движение — столько драгоценных античных древностей сохраняют его улицы и крошечные площади. Центральная — совсем маленькая. Она знакома многим. В ленинградском Эрмитаже хранится картина Ван-Гога, на которой изображена эта площадь. Ее полтора квадратных метра обсажены деревьями; вокруг, в старинных домах, — отели, кафе, маленькие магазины. В центре площади — памятник: на небольшом постаменте стоит человек в широкополой шляпе и крылатке. Это гордость Прованса — его национальный поэт Фредерик Мистраль. На Нобелевскую премию, полученную им в 1907 году за стихи о Провансе, был основан Музей провансальского искусства.

Здесь нашим проводником оказался лучший знаток Арля, прекрасный человек, мэтр этого города, основанного во времена Юлия Цезаря. Он сам водил нас везде (на это потребовалось всего часа полтора). Наше путешествие началось от центра — от Колизея, построенного во II веке до н. э. и сохранившегося настолько, что и сейчас в нем устраиваются традиционные для этой части Франции «корриды», бон быков. Душой этих зрелищ является их страстный «болельщик» — Пабло Пикассо. Коррида в честь сбора винограда окончилась, к нашему сожалению, всего два дня назад, и мы полюбовались только громадными афишами с именами знаменитых тореадоров Хулио Апаричо и Антонио Ордонеца. Только вчера уехал из Арля куда-то в Сен-Реми и Пикассо со своими друзьями тореадорами. Так и не удалось нам его поймать. В этом же Колизее устраиваются и школьные олимпиады, и слеты Союза молодых земледельцев, и все массовые праздники. В аркадах Колизея и форума, как рассказал наш гид, до 1830 года находились также и квартиры арлезианцев, и только после 1830 года уважение к исторической древности взяло верх над практицизмом, и арлезианцы освободили форум от постоя.

Мы выходим на берег Роны мимо римских терм — великолепных, высоко поднявшихся и широко раскинувшихся бань. Во времена древнего Рима эти бани служили общественным клубом города, его читальней, его театром и концертным залом...

Вдоль берега широкой Роны тянутся развалины укреплений, окружавших город. Все древние мосты, которые простояли здесь десятки веков, оказались разрушенными во время последней войны. Чьей авиацией? Тут падали бомбы и врагов и союзников. Только советская авиация была неповинна в разрушении и уничтожении древних памятников Франции...

Красное зрелище — берег Роны у Арля. Река здесь делает крутой поворот и видна далеко-далеко.

Возвращаемся в город. Идем другой дорогой и приходим к развалинам античного

театра. Впрочем, это не совсем развалины. Из десяти тысяч мест три тысячи сохранились вместе со сценой, и до сих пор каждое лето там идут спектакли, преимущественно оперные. Говорят, акустика здесь великолепная, не нужны никакие радиоусилители, а внешний вид, пропорции, архитектура театра необыкновенно хороши. Здесь поют лучшие артисты Франции, здесь идет «Орфей» Глюка, «Фауст» Гуно, но главное место в репертуаре театра, естественно, занимает «Арлезианка» Бизе — это традиционный спектакль античного театра в Арле.

Заглядываем в средневековую церковь св. Трофима. Это провансальская архитектурная классика, XII век. В притворе — рамка с объявлением, напечатанным в типографии. Пустые места заполнены от руки. Католический центр дает свое одобрение фильмам, которые демонстрируются в городских кинотеатрах. Три рубрики: «рекомендуется», «можно, начиная с 16 лет», «не рекомендуется». В последнюю рубрику на этот раз попал фильм «Слабые женщины».

Кстати, провожавшие нас французы спросили меня, правду ли пишут газеты, сообщая, будто французский фильм «Бабетта идет на войну» привел русских во время Московского фестиваля в восторг и что Брижитт Бардо покорила москвичей. Я сказал, что сам этого фильма не видел, но то, что мне про него говорили, не совсем соответствует таким откликам французских газет. Этому мои собеседники вдруг очень обрадовались, а дочка мэра, настоящая арлезианка, мечтающая стать артисткой, сказала:

— Ну вот это хорошо! А то мы думали: «Ведь не может же быть, что у москвичей так дурен вкус».

Мы долго еще бродили по городу, заходили в зал ратуши, где на стене высечены стихи Мистрала, написанные на провансальском языке; в них Арль назван «Матерью свободы». Похоже было, что наши провожатые и собеседники с таким же любопытством разглядывают нас, как мы разглядывали их чудесный город, и наш дорогой мэр часто прерывал свои объяснения неизменным дружеским и лирическим восклицанием: «Ну, как это все же интересно, как курьезно, что я показываю Арль вам — москвичам. Вы знаете, это просто замечательно!» И он снова и снова жал наши руки и, кажется, готов был ходить с нами по городу до самого утра, если б у нас хватило на это сил. Он рассказал нам и о том, какое жестокое сопротивление оказали провансальцы немецким оккупантам, и о том, какие здесь, в Арле, и в окрестных городках бывают праздники. Например, два раза в год, в день святой Мадлены и в день святой Сарры, в маленький городок неподалеку от Арля (я забыл его название) собираются едва ли не все цыгане Европы. Это их праздники. Особенно день святой Сарры, которая была цыганкой. Раньше сюда приезжали таборами, на лошадях. Сейчас такими же таборами — на автомобилях. Всю ночь горят там костры, звенят гитары, всю ночь до самого утра цыгане пляшут и поют свои песни...

Но уже поздно.

В кафе на центральной площади расплачивался последний одинокий посетитель, у двери отеля «Форум» ждал нас хозяин со своей дочкой (ее зовут, конечно, Коллет, и она за обедом — одна и с необычайной быстротой — обслуживала весь ресторан, где сидело не меньше пятидесяти человек).

Мы провели в Арле спокойную ночь. Даже вой собаки под окнами не мешал: он был деликатен и провинциально безобиден, как весь этот тихий старый городок с его милыми людьми, с его старыми зданиями и звенящими комарами. А наш отель, тоже старый, с каменными полами, с винтовыми лестницами, без лифта, с минимальным количеством обслуживающего персонала, как оказалось, был одним из признанных первоклассных отелей Франции. На его вывеске стояли три звездочки. Эти звездочки присуждаются во Франции неспроста. Первая дается за комфорт, вторая — за быстроту обслуживания и третья — за уют. Потом, в Лионе например, мы жили в роскошном по сравнению с арлезианской гостиницей отеле «Терминус», но на его вывеске было только две звездочки. Мне кажется, не помешала бы и у нас: такая точная и беспристрастная аттестация работы гостиниц, столовых и кафе...

Дорога в Авиньон как бы целиком принадлежит Альфонсу Доде. Эти места описаны в его «Письмах с мельницы», а на полдороге из Арля в Авиньон стоит Тараскон, и мы заранее весело настроились, представляя себе нечто вроде французского Миргоро-

да. Действительность обманула нас: вдали показались мрачные и могучие очертания громадного средневекового замка, окруженного рвом.

— Тараскон,— объявил наш гид.

Автобус остановился.

Туристы разбрелись, чтобы с разных точек, с разных расстояний увидеть весь замок целиком. Через минуту их фигурки стали маленькими-маленькими на фоне серых строгих стен, башен, ворот, мостов этого феодального чудовища. Замок построен в XIII веке, но потом не раз перестраивался. Он был центром провансальского просвещения и средневековой поэзии. Здесь происходили состязания менестрелей, здесь были пышные турниры и праздники. Но, очевидно, сама мрачная архитектура подсказала замку его дальнейшую судьбу: на многие столетия он стал тюрьмой. Не знаю, станет ли он музеем.

А где же город Тараскон, или, как здесь его называют, Тараскон-Модерн (то есть «Новый Тараскон»)? Да вот он, рядом, по другую сторону дороги. Он настолько подавлен соседством замка, такого громадного, такого сурового, что никто и внимания не обращает на эти мирные маленькие домики...

Еще полчаса, и мы въезжаем в главный город департамента Воклюз — Авиньон.

По сравнению с тихим Арлем Авиньон кажется почти Парижем — в нем около шестидесяти тысяч жителей, но впечатление такое, будто он переполнен народом. Здесь другой темп жизни, здесь все напоказ, и сочетание последних мод с памятниками старины и истории создает любопытную комбинацию и придает городу весьма своеобразный колорит.

В Авиньоне находилась в XIV веке папская резиденция. Это было вынужденное «сидение» — итог поражения папства в войне с французским королем Филиппом IV. Но для плененных пап был выстроен здесь дворец, и он сохранился до наших дней — громадный, несуразный, почти такой же суровый, как Тарасконский замок. В нем все устроено, как в крепости, но рядом с ним чудесный старинный парк на холме с видом на широкую Рону с ее старинными мостами (часть из которых, так же как в Арле, разрушена бомбардировками). Любопытно бродить по Авиньонскому парку, сидеть в тени на скамейке, где твоим соседом оказывается дородный поп с черной бородой, в белой рясе, с молитвенником в руке и с изысканно «мушкетерскими» манерами, где тренируется в ораторском искусстве миссионер, уезжающий в Африку «проповедовать слово божие», и где дети заглушают его слова, беспощадно стреляя друг в друга из игрушечных автоматов. Но интереснее всего думать о том, что вот здесь, под этим аллеям, под этими деревьями, гулял со своей Лаурой Петрарка, что здесь, поглядывая на серые стены папского дворца, обдумывал он свои выступления против роскоши, лжи и разврата, царившего в этом дворце. Кроме дворца и знаменитого, лучшего во Франции вина из папских виноградников, Авиньон славится музеем — вторым после Лувра.

В Авиньоне каждое лето проходят театральные фестивали. Летом 1959 года Национальный народный театр, известный по гастролям в Москве, с успехом играл во дворе Дворца пап, в естественных декорациях, «Сон в летнюю ночь» Шекспира. Еще одна достопримечательность города — это старинная авиньонская песенка, которую знает каждый француз. Во всех киосках, барах, магазинчиках Авиньона продают как сувенир открытку с видом Авиньона, над которым напечатаны ноты и текст этой наивной песенки:

На Авиньонском мосту
там танцуют
все в кругу...

Может быть, эта песенка осталась еще с тех пор, когда плененные католические прелаты купили весь город у графини Жанны — тогдашней его владельницы — и веселились всюду, стараясь скрасить свое вынужденное пребывание в Авиньоне.

Здесь кончался второй этап нашего путешествия.

Мы простились с автобусом, который успел стать для нас родным домом. Нужно было торопиться к поезду Ницца—Париж. Единственный маленький, тщедушный носильщик станции Авиньон поставил одновременно два рекорда — по тяжелой и легкой атлетике. За три минуты стоянки он погрузил наши тридцать пять чемоданов в

три разных вагона, смерил нас презрительным взглядом за то, что мы сомневались, успеем ли сесть в поезд, и побрел по перрону, покуривая черную сигаретку. В это время наш поезд уже набрал скорость и через две минуты довел ее до нормальных ста двадцати километров в час...

Лион

Сплав старины с современностью, которому удивлялись мы в Авиньоне, еще более поразил нас при первом знакомстве с Лионом. Это большой, один из самых больших городов Франции — третий после Парижа и Марселя, город высокой культуры, крупнейший промышленный центр, колыбель французского рабочего движения, город революционных традиций. Широкая Рона разрезает его пополам, ее набережные придают городу нарядный, праздничный вид. Основные магистрали — это широкие современные улицы с большими домами, с шумным потоком автомобилей, с густой толпой пешеходов. Между главными улицами — лабиринт узких переулков, из которых пахнет плесенью веков. Лион основан более двух тысяч лет назад; здесь сохранились античные сооружения и памятники средневековья. И рядом с ними расположены крупные металлургические, автомобильные и алюминиевые заводы. Но славу Лиона составляет лионский шелк, вырабатываемый полукустарным способом на небольших фабриках, которых очень много и в самом Лионе и в его окрестностях.

В Лионе находится едва ли не единственный в мире музей, где собраны ткани всех стран и времен, начиная с древнеегипетских и кончая ультрасовременными. Вообще старина и современность сложно переплетаются здесь на каждом шагу. Именно здесь Рабле писал своего Пантагрюэля, и, очевидно, не случайно Лион до сих пор славится как город, где едят вкуснее и обильнее, чем во всех других городах Франции. Во французском языке есть выражение «лионский стол». «Каждая эпоха оставила здесь свой отпечаток, и он — античный и современный в одно и то же время — всегда умел находить в культе своего прошлого новые условия для своего процветания», — писал о Лионе его покойный мэр Эдуард Эррио.

Первая наша встреча с общественностью города произошла в тот же вечер, и ее атмосфера и обстановка были очень любопытны. Мы долго ехали от вокзальной площади, где стоит отель «Терминус», на троллейбусе, затерявшись в толпе лионцев, потеряв друг друга, не очень точно представляя себе, куда нас везут. Но около каждой группы советских туристов был кто-нибудь из французов, кто зорко следил, чтобы никто из нас не отстал, не потерялся и не растерялся. Маленькая школьница Алиса была моим гидом в Лионе все это время — она первая пожала мою руку, когда поезд остановился на Лионском вокзале, и больше уже не отходила от меня: это была ее общественная обязанность. Она скомандовала мне, когда пора было выходить из троллейбуса; она по-хозяйски собрала всю свою группу, ловко повела нас через площадь у оперного театра, вывела на небольшую, переполненную народом улицу, перевела на другую ее сторону и вела в громадный зал ресторана на углу. Уверенно пройдя между столиками, оглянувшись и убедившись, что все ее подопечные налицо, она вышла в коридор, открыла какую-то дверь и, стуча каблуками, побежала по лестнице, показывая нам дорогу куда-то вниз, в подвал. Там она, такая маленькая, сразу пропала в густой толпе. Официальная встреча началась. Полторы сотни членов общества «Франция—СССР» расселись за столами и налили по первому торжественному бокалу вина. Я увидел свою Алису рядом с председателем; она сидела серьезная, официальная, маленькая, рыженькая, с локтями на столе, с подбородком на кулачках, и около нее стоял честно заслуженный ею бокал лимонаду.

Народ тут собрался солидный, серьезный, но это совсем не помешало теплоте и сердечности нашей встречи. С изышно и умно написанным приветствием обратился к нам Габриэль Шевалье — автор знаменитого «Клошмерля». В эти дни весь мир следил за историческим визитом Никиты Сергеевича Хрущева в Соединенные Штаты. Выступление Габриэля Шевалье было посвящено этому визиту.

Встреча в подвальном зале лионского ресторана не была продолжительной, но мы и не попрощались здесь с нашими хозяевами — до самого отъезда нашего в Париж холд

отеля «Терминус» всегда был полон членами общества «Франция—СССР». Между ними неизменно мелькала — всегда озабоченная и деловитая — наша маленькая Алиса. Это постоянное дежурство было самым трогательным проявлением гостеприимства и дружбы.

Назавтра мы разделились на несколько групп: кто поехал в музей, кто на шелкоткацкую фабрику, кто на химический завод. Мы с композитором М. Блантером совершили экскурсию в... частный дом. У М. Блантера родилась в голове песня — песня о Франции, о нашей дружбе. Мы уже мурлыкали ее мотив в автобусе, нужны были слова, они еще не существовали, и нужен был рояль, который как-то нигде не попался нам на пути. Мы сразу же воспользовались любезностью одной дамы — скажем, м-ме Х., не будем ее называть по имени, — которая пригласила нас к себе домой, к своему роялю. Мы пришли экспромтом, неожиданные, в маленькую квартиру, в средний интеллигентный дом. М-ме Х. со своей дочерью приняла нас, как старых знакомых, как близких людей. Мы тихо напели наши советские песни, и М. Блантер смог еще раз убедиться, что его «Катюша» непревзойдена по популярности во всех странах, и уж во всяком случае во Франции ее знают все. Потом хозяйка дома провожала нас. Мы долго шли по лионским улицам, кормили голубей на площади де Терро; голуби сажались нам на плечи, на головы и клевали зерна из рук. Мы сидели на набережной, м-ме Х. рассказывала нам о фашистской оккупации в Лионе, и тут оказалось, что эта вот худенькая, еще молодая и элегантная женщина прошла ужасы фашистских концлагерей и узнала полную опасностей и тревог боевую жизнь партизанского отряда...

В парижский поезд мы грузились шумно, в суете, обмениваясь на перроне фотографиями и крепкими дружескими рукопожатиями. Неосторожно было с моей стороны сказать, что после плотного лионского обеда я хочу пить. Не успел я оглянуться, как наша Алиса уже бежала стремглав по перрону, по переходам через рельсы, скрылась в дверях вокзала, а через две минуты прибежала счастливая и запыхавшаяся с бутылкой лимонада и бумажным стаканом в руках. Последнее, что я видел в Лионе, и была она — наша рыженькая Алиса. Она бежала по перрону вслед поезду, махала нам маленькой ручкой и улыбалась, смахивая с глаз слезинку. Впрочем, может быть, слезинка мне только почудилась.

* * *

Шестиместное купе вагона удобно, просторно, и ехать, сидя в мягком, спокойном кресле, не так уж утомительно, принимая во внимание, что во Франции нет таких расстояний, как Москва — Хабаровск, или Ленинград — Алма-Ата. Пятичасовую поездку от Лиона до Парижа мы рассматривали как экскурсию, знакомившую нас с французской железной дорогой. Нам и это было интересно.

Едва тронулся поезд, в наше купе вошла дама, несколько развязная и вместе надменная. Она была вся окрашена в золотистые тона, очевидно в тон веснушкам на обнаженных руках, даже сумочка у нее была из того золота, которое в давние времена называлось «лодзинским». Окинув нас равнодушным и несколько обиженным взглядом, она потребовала, чтобы ей уступили место у окна. У окна сидела дама, и мы поинтересовались, почему эта дама должна уступить место другой даме. Вошедшая указала пальцем на табличку с надписью: «Места №№ 1 и 2 резервируются для раненых и инвалидов труда».

— Очевидно, мадам ранена?

— Да, — скромно ответила мадам, и место ей было уступлено.

После этого она сменила официальное выражение лица на приветливо-домашнее и предложила нам посмотреть ее журналы.

Мы проезжали по интересным местам, поезд подходил к Дижону.

— Это родина Кола Брюньона? — попытались мы начать литературную беседу с раненой дамой.

— Кто это Кола Брюньон? — спросила она, вспоминая.

— Это из Романа Роллана.

— А где это — Роман Роллан?

Литературная беседа не состоялась. Зато история с местами для раненых получила продолжение. На следующей станции в купе вошел роскошный молодой человек и потребовал, чтобы ему уступили место у окна. Мадам отказалась. Молодой человек попросил предъявить документы. Дама вспыхнула, начала рыться в золотой сумочке, но ее выручила старушка напротив: она взяла свой чемоданчик и ушла к выходу. Через минуту двое тяжелораненых весело беседовали. История с местами для раненых кончилась как по-писаному. В вагоне появился хромой, он проковылял по вагону, нашел в одном купе место — самое отдаленное от окна, — уселся, вынул детективный роман и углубился в чтение...

Дважды в день во Франции наступают священные, так сказать, часы: 13.00 и 19.00, неприкосновенное время, когда французы едят. Жизнь в эти часы прекращается вовсе; кажется, не дай бог, вспыхнуть в это время пожару — тушить его начнут не раньше чем через час, уже на сытый желудок. Не дай бог, если в эти часы потребуются неотложная медицинская помощь — врач появится только после завтрака. Это, пожалуй, несколько преувеличено, но доля правды здесь есть. Час обеда застал нас в поезде Лион — Париж. И, вспоминая этот обед в поезде, я думаю, что не худо бы и для директоров наших вагон-ресторанов устроить туристскую поездку по Франции в порядке, так сказать, обмена опытом...

Сорок восемь человек сели за столы вагон-ресторана одновременно. Два официанта под командованием метра работали, как звери, как жонглеры, как добросовестные люди, наконец. За час с небольшим было подано с кухни двести двадцать блюд, по моим подсчетам. И это не рекорд, это обычная норма производительности труда официанта во Франции. Правда, стоимость обеда включена в стоимость железнодорожного билета, так что время на расчеты сюда не входит, но и эта поправка изменяет не так уж много. Не могли мы пожаловаться и на качество блюд.

Наша золотистая соседка, которая только что в купе жаловалась на то, что у нее нет талона на обед, хитро подмигнула нам с соседнего столика. Очевидно, она и здесь не растерялась...

Сверкающий вечерними огнями Париж встретил нас равнодушно и снисходительно.

Опять Париж

Отель, в котором мы разместились, называется сногшибательно: «Гранд-отель Швейцария — Париж — Ницца» — пять слов, целая страна и два больших города уместились на вывеске одной из самых скверных гостиниц, которые мне когда-либо пришлось видеть. В Париже в эти дни была Международная автомобильная выставка, съехалось слишком много туристов, весь город забит, гостиницы переполнены. Но у нашей было и бесспорное преимущество — она находилась на улице Фобур де Монмартр, в самом сердце Парижа, в десяти шагах от Больших бульваров, в четверти часа ходьбы от Монмартра, если идти туда через площадь Пигаль.

В двух шагах от нас, на улице Лафайет, — большое желтое здание. Через весь его фасад — большая вывеска: «Центральный Комитет Французской коммунистической партии».

Мы проходили мимо этого здания несколько раз в день. Мы невольно вглядывались в лица людей, которые входили туда, которые разговаривали около дверей на тротуаре.

Небольшими группами, по три человека, мерным шагом прогуливаются около ЦК пикеты рабочих. Мы понимаем, что так нужно. Франция переживает серьезное время. Несчастливая война в Алжире продолжается. Чем сильнее слышны голоса протеста, тем больше нагнетают фашистские реакционеры. На ночных улицах Парижа иногда слышны автоматные очереди; террористический акт становится нормой для ультрареакционеров. В окнах парижских магазинов что-то уж очень часто попадает портрет Наполеона... Третьего! Вот уж, действительно, нашли национального героя! Уж хотя бы Первого выставляли. Это было бы по крайней мере хоть не так смешно!..

Мы были во Франции туристами, политических разговоров ни с кем не заводили, но настроение большинства людей, с которыми нам пришлось встречаться, выяснялось

для нас по многим неуловным и часто невысказанным признакам. Авторитет и влияние Советского Союза растут не по дням, а по часам.

Об издаваемой поездке Никиты Сергеевича Хрущева в Париж говорилось неизменно с восторгом и энтузиазмом...

Итак, мы снова окунулись в калейдоскоп людей, машин, зданий, улиц, площадей, бульваров, фонтанов, набережных — в этот бурный и поэтический круговорот, который называется коротко — Париж.

Слова Маяковского:

Я хотел бы
жить
и умереть в Париже,
если б не было
такой земли —
Москва...

становятся вполне понятными только здесь.

Здесь чувствуешь, почему так написал Маяковский; ведь до этого по-настоящему была понятна только та половина фразы, которая говорит о Москве.

Мне кажется, что главное очарование Парижа в его многообразии.

Человек любого круга, любых интересов, самых разнообразных и противоположных, будет чувствовать себя в Париже как дома, причем это ощущение полной неприужденности появляется сразу же, едва вступишь в этот город. Париж — город контрастов, которые уже перестают поражать, так переплелись они между собой, до такой степени слились в монолитное целое. Даже если говорить о знаменитых парижских модах, то общее их направление можно выразить только так: «кто во что горазд» — никаких стандартов, всяк по-своему с ума сходит. Однажды вечером я увидел довольно обычную для Парижа сцену. Художник раскладывал прямо на тротуаре свои произведения. Я глянул — и ахнул. Это были наши родимые кошечки на черном фоне, с изумрудными глазами и красными носиками. Те самые махрово-мещанские уродливые кошечки, которые продаются на рынках в Борисоглебске и Загорске и с которыми уже несколько десятилетий ведет борьбу наша «Литературная газета». И такое в Париже тоже бывает.

Или вот еще картинка.

Вечер на бульваре Осман. Окруженный кольцом любопытных, таким плотным, что движение на улице остановилось, на тротуаре стоит голый по пояс, в одних узких брючках, шарлатан. Горит кусок пакли, облитой керосином. Шарлатан, играя мускулами, обходит кольцо и ведет длинные, с потугами на остроумие разговоры с публикой. Время от времени ему бросают мелочь. Когда денег собрано достаточно, он набирает в рот керосину и устраивает небольшой огненный фонтанчик, дуя на горящую паклю. Успех огромный. Потом длинно повторяется тот же обход, с прибаутками и сбором гонорара, и шарлатан, кривляясь и кокетничая, грызет стеклянную пуговицу. Зрелище совершенно идиотическое...

Но если вы хотите насладиться ным Парижем, идите на Монмартр — там вы увидите настоящий театр в жизни. Прежде всего декорации. На самой высокой точке Парижа — белоснежный, величественный храм Сакре-Кёр. Город виден оттуда примерно так же, как Москва с Ленинских гор. На закате, в последних лучах солнца, это ослепительно красиво. Колоссальная белая мраморная лестница, ведущая от храма вниз, полна народа. Сидят на ступеньках, гуляют люди всех возрастов, всех социальных положений и рангов. Немцы, англичане, американцы, испанцы, алжирцы — все идут сюда взглянуть на Париж. Внизу, под лестницей, сквер, в котором стоит гам, как на птичьем базаре. Там хозяева — маленькие парижане. Бегогня, шум, игры, слезы, смех — все сразу! А по другую сторону Сакре-Кёр — тишина, провинция. Там — Монмартр. Это маленький пятачок на северном склоне холма. Узкие улицы, маленьке старые-престарые двухэтажные домики; в первых этажах — лавки, где продают картины. Чаще всего — халтурные. Но есть среди них и картины, отмеченные талантом, подписанные именами еще не известных, но настоящих художников. А вот и сами

художники. Старые, молодые, бородатые, элегантные и нарочно небрежные. Они сидят со своими этюдниками на выступах тротуаров, за столиками маленьких кафе или прямо на мостовой. Среди них много девушек. Все работают. Это традиции — писать Монмартр. Вот двое стоят на углу. Один очень старый, другой совсем молодой. В руках у одного литр красного вина, у другого — кусок сыру. Они ведут тихий разговор — об искусстве, конечно, — потягивая по очереди из горлышка вино, заедая его сыром. Над их головами — мемориальная доска на стене трактирчика. Читаю: «С 1919 года по 1932 здесь каждый день обедал великий мастер Утрилло».

Проходит мимо ослик с рекламой какого-то циркового балаганчика.

Вот еще художник — рисует за сотню франков моментальный портрет. За спиной художника — жена заказчика. Портрет закончен действительно моментально — одной линией. Слышен одобрительный вздох зрителей и восхищенное «ах!» жены заказчика.

Во дворе маленькой не то церквушки, не то школы — чинные, воспитанные школьницы. Седой аббат ведет разговор с какой-то мамой. Тут же на скамейке, за редким кустом, влюбленная пара замерла в поцелуе. Глаза влюбленной закрыты. Глаза влюбленного косятся на детей. Впрочем, дети не обращают на них внимания.

На тротуаре сидит лохматый, бедно одетый человек. В руках у него полено и нож. Он вырезает некую сложную фигуру. Рядом с ним — тоже сидя на тротуаре — солидный буржуа следит за работой. Трое знатоков наблюдают, остановившись рядом.

На кресле уличного кафе сидит черная как смоль молодая француженка. Перед ней на столике маленькая девочка, белая, как лен. Для обеих не существует никого на свете: мать занята дочкой, они смотрят друг на друга, мать бодает дочку черной лохматой головой, и обе заливаются счастливым смехом.

На узком тротуаре прохожие осторожно обходят большой мольберт. За мольбертом маленькая девица в черных брючках, в блузке с засученными рукавами быстро-быстро накладывает импрессионистические пятна на холст.

Плывет по мостовой круглая монахиня, переваливается с ноги на ногу, и в такт шагам колышется длинный белый козырек ее крахмального сложного головного убора.

Взбираются снизу на холм большие туристские автобусы. Равнодушные пожилые американки изучают через окна «жизнь богемы»...

Мы идем домой вниз, потом по широким пыльным бульварам Рошешуар и Клиши — и вот она, знаменитая площадь Пигаль. Собственно, площади никакой нет, это всего-навсего перекресток нескольких улиц. Чуть не в каждом доме — кабаре и бар. Если не всматриваться подробно в фотографии на витринах, ничего особенного. Но именно здесь центр ларижской тины, ларижской преступности — всего того, что на уличном жаргоне называется «le milieu» — середина. Еще совсем недавно Париж был потрясен одним из уголовных дел площади Пигаль. Молодая женщина — «зазывала» ночного кабаре — была найдена убитой и сожженной в лесу Фонтенбло. Ее убийцей оказался один из «сандов» площади Пигаль, м-р Билль — двадцатилетний молодой человек, сын крупного ларижского коммерсанта г-на Рапэн. В ходе следствия м-р Билль признался еще в нескольких подобных преступлениях. «Я любил убивать», — заявил он следователю...

По дороге из Парижа в Версаль, в конце города, стоит новое здание. Это дворец НАТО. Он загордил ларижанам вид на Булонский лес и за одно это вызывает у них единодушную антипатию. Впрочем, только ли за это? Мы не вдавались в подробности, нам вполне достаточно было услышать то, что мы услышали.

В тот же день к вечеру мы были на кладбище Пер-Лашез. Кладбище — это всегда кладбище, это всегда печально. Но в этом кладбище есть что-то особое. И дело здесь не только в Стене Коммунаров. Знаменитый барельеф теперь вынесен с кладбища на внешнюю его стену. На том месте, где были расстреляны герои Парижской Коммуны, осталась лишь совсем маленькая мемориальная доска, да и барельеф оказался гораздо меньше, чем мне всегда представлялось. На длинной стене по бульвару Менильмонтан он почти теряется. Но и весь участок у Стены Коммунаров как бы дышит дыханием революции. Мы читаем бессмертные имена Анри Барбюса, Марселя Кашена, жертв Сопrotивления — все это здесь же, у Стены Коммунаров.

Здесь есть памятники, которые потрясают. Из-под земли поднимаются две заломленные руки. Надпись: «Здесь похоронены восемь тысяч женщин, расстрелянных и замученных в фашистском лагере Равенсбрюк». Дальше, над общей могилой расстрелянных гестапо,— портрет мальчика лет одиннадцати. Он тоже расстрелян гестапо, этот парижский Гаврош. «Твои папа и мама никогда не забудут тебя»,— написано на могиле.

Я вспомнил: генерал Шпейдель, виновник этих расстрелов, сейчас командует войсками НАТО. Это его резиденция загородила парижанам вид на Булонский лес...

К сожалению, в этой поездке театральных впечатлений получили мы очень мало, но и об этом малом все же стоит рассказать. Знаменитая французская драматическая артистка Эдвиг Фейер пригласила нас смотреть «Даму с камелиями». Роль Маргариты Готье — ее монополия во Франции. Семья Александра Дюма-сына передала артистке исключительное право на исполнение этой роли. Тридцать представлений популярной драмы проходили тогда из вечера в вечер в «Театр де Пари». Зал был неполон. Спектакль начался очень поздно. Мне говорили парижане, что позднее начало представлений — привычка, но из-за этого многие не могут ходить в театр: завтра нужно рано идти на работу. Спектакль начался с кинофильма, который не имел никакого отношения к пьесе. Это был отлично сделанный мультипликационный фильм, реклама автомобильных шин, чулок, дамского белья, школьных принадлежностей. Каждая часть — новая тема, новый предмет рекламы. Для нас это, конечно, выглядело весьма странно, но пришлось припомнить простую истину: в капиталистической стране коммерция решает все, искусству приходится потесниться. Оказалось, что рекламные фильмы понравились большинству зрителей больше, чем спектакль. Коммерция потребовала выдумки, изобретательности, остроумия — всего того, чего как раз не хватало здесь «Даме с камелиями». Это было тем обиднее, что Эдвиг Фейер — превосходная, обаятельная и многоопытная актриса, однако весь ее антураж провинциален, штампован, а постановка более чем примитивна. Давно-давно, еще работая в провинции, я участвовал в этой пьесе. Художественный уровень парижского спектакля оказался не выше того, что видели зрители города Могилева в двадцатых годах. Я вспомнил и другую «Даму с камелиями», в блестящей постановке Мейерхольда, с Зинаидой Райх в главной роли. Ну право, стоило поехать в Париж, чтобы вспомнить, на какой высоте стоял тогда советский театр,— даже когда он обращался к такой слезливо-салонной драматургии, как драматургия Александра Дюма!

В последний вечер перед отъездом из Парижа мы с композитором М. Блантером получили приглашение от известного не только во Франции композитора Филиппа Жерара (не следует путать его со знаменитым, ныне покойным киноактером Жераром Филипом) — посетить кабаре «Милорд-Апаш», где Филипп Жерар работает, где поют его песни и где он проводит почти всю свою «рабочую ночь», так как время с одиннадцати вечера до четырех ночи трудно назвать рабочим днем. Это был самый «парижский» вечер из всей нашей поездки, и о нем стоит рассказать. Автомобиль остановился в глухом переулке старого квартала в районе Пале-Рояль. Этот район на плане Парижа обозначен несколькими надписями «варьете». Находим в уступе улочки маленькую дверь с такой же маленькой надписью: «Милорд-Апаш». Прямо от двери вниз, в подвал, ведет узкая каменная лестница, неярко освещенная. Входим в небольшую переднюю. У одной ее стены — обычный для парижского бара буфет с напитками. Сводчатый потолок украшен прилепленными масками, цилиндрами, котелками, шляпами и кепи. Это — все убранство бара. Несколько человек сидят у стойки на высоких табуретах. Из двери напротив слышна музыка. Открываем эту дверь. Большая низкая комната, почти темная. В углу — треугольником — эстрада, освещенная яркими маленькими прожекторами. Их лучи рассекают тьму подвала. Пол каменный, два десятка простых столов, не покрытых скатертями, простые тяжелые табуреты и скамьи вдоль стен, несколько картин — рассмотреть их не удалось из-за темноты. Вот убранство одного из самых интересных и дорогих кабаре Парижа, где выступают знаменитые артисты и где не гнушается постоянно работать такой выдающийся композитор, как наш хозяин Филипп Жерар. Он встречает нас как старый товарищ не только

по профессии, но и по взглядам, по вкусам, по убеждениям. Мы мельком встречались прежде в Москве, где Жерар был не один раз. С нами вместе в гости к Жерару приехал г-н Жан Руар — президент и генеральный директор большой фирмы граммофонных пластинок «Песни всего мира», человек тихий, скромный и многозначительный. Стараясь не шуметь, мы заняли столик в заднем углу зала, обменялись первыми приветствиями и осмотрелись. Обстановка похожа на «Не рыдай», «Странствующий энтузиаст», «Балаганчик» — богемные кабачки, которые процветали и у нас в двадцатых годах. Тогда в них тоже выступали такие артисты, как В. Н. Давыдов, Б. С. Борисов — лучшие силы Москвы. Посмотрим, что будет в Париже. Но больше всего интересует нас сам Филипп Жерар — человек, симпатия к которому возникает буквально с первых слов, с первого рукопожатия. Он типичный француз и совсем не похож на артиста. Он похож на врача из романа Золя, со своим старомодным пенсне, из-за которого смотрят лукавые, добрые и умные глаза француза до мозга костей, и с его уютными пышными усами, за которыми спрятана добродушная и несколько застенчивая улыбка. Он молод, склонен к полноте, и это тоже почему-то располагает к нему.

Пока он занимается своими хозяйскими делами, мы всматриваемся в происходящее на эстраде. Там работают три актера, одетые в спецодежду, обычную для мимических актеров Европы, — этот жанр распространен здесь довольно широко, мы это знаем по Московскому фестивалю молодежи. На актерах черные, ниже колен, обтянутые трикотажные штаны и такие же свитеры. Шен и руки голые, грима на лице нет. Но это не мимы в чистом виде — они соединяют в себе и танцоров, и певцов, и драматических артистов.

На черном бархате эстрады черные костюмы почти не видны. Видны только шесть рук, шесть ног и три головы — танец поставлен так, что создается впечатление, что это один человек. Вслушиваемся: это марсианин, он попал на Землю и удивляется земным порядкам, а особенно порядкам во Франции. Номер идет в бешеном темпе, моего знания французского языка не хватает на такой темп, и только по бурной реакции зала можно догадаться об остроумии реплик. Номер кончился, марсианин распался натрое; у каждого из троих появился в руке складной желтый метр.

Следующая песенка — о парне, попавшем в Париж и кончившем жизнь на виселице. Комбинация из трех складных метров была и декорацией и реквизитом этого номера. На эстраде появлялись лестницы, стулья, дома, улицы, окна, решетка тюрьмы и, наконец, виселица. Прибавьте к этому задорную музыку, очевидно очень острую тему и хороший текст, и у вас будет некоторое представление о блестяще исполненном и остроумно задуманном эстрадном номере.

В качестве конференсье выступает артист высшей квалификации. Он не очень похож на обычных представителей этой профессии — присяжных остряков из «высшего света». Это просто хозяин варьете (кстати, кажется, он и в самом деле хозяин), который встречает своих гостей. Он обеспокоен тем, чтобы всем было весело, интересно, удобно. Его выступление — это прежде всего диалог с публикой, со всеми вместе, с каждым в отдельности, с группами, с отдельными столиками. Постепенно это превращается в общую сцену, и завершается она общим хохотом. Среди хохота, как нечто неожиданное объявляется следующий номер.

Нужно сказать, что направление конференсье — впрочем, так же как и всей программы, — политическое. Да иначе и быть не может. Злоба дня во Франции — внешняя и внутренняя политика правительства, вопросы войны и мира, вопросы о разоружении, о запрещении атомного и водородного оружия. Программа варьете отражает эти темы, но, конечно, ничего агитационного в прямом смысле в ней нет; это просто веселая, остроумная программа варьете, составленная со вкусом и лишенная какого бы то ни было намека на фривольность.

На эстраду выходит молодой человек в синей шерстяной рубашке без галстука, со спокойным и серьезным лицом, с черными немодными усами. Это Рене Лагари — шансонье. Его песни поразили нас своей грустью, своим глубоким содержанием, простотой и художественностью исполнения. Вот песня о солдате, о молодом парне. Он мечтает о сержантских петлицах, о военной медали, об увлекательных приключениях.

Он идет в строю, здоровый, веселый, молодой, в такт задорному маршу, у него все впереди — ведь он солдат...

А в конце песни он лежит в могиле, в братской могиле на краю света, у него сержантские петлицы и военная медаль, он испытал много увлекательных приключений... Он лежит в могиле — ведь он солдат.

Трудно описывать исполнение песни, но и одно содержание ее тоже говорит за себя. Остальные песни, которые пел в этот вечер Рене Лагари, попадали прямо в сердце слушателей. Он имел большой, серьезный успех.

— Это человек с будущим,— сказал Жерар.— Скоро его будет знать весь Париж.

После нового блестящего фейерверка конференсье эстраду занял известный киноактер. Разнообразный, оригинальный мастер, он смешил нас то в образе маленькой девочки, то в образе богемной дамы, которая идет в церковь, то в образе чудака-провинциала, впервые попавшего в Париж с фантастическим адресом, который невозможно разыскать. Но вот признанного, прославленного мастера сменила молодая певица Клод Сильва, и какой же это оказался свежий, своеобразный и яркий талант! Сильная, с большим драматическим темпераментом, с великолепным чувством юмора, с редкой выразительностью прекрасного голоса, молодая женщина пела чудесные песни под аккомпанемент самого Жерара.

Потом мы сидим в старом кафе с Филиппом Жераром, Жаном Руаром и Рене Лагари. На концертный костюм Рене Лагари, то есть на синюю рубашку, сверху надета кожаная куртка шофера. Он и есть шофер, завтра в семь утра ему нужно выходить на свою основную работу — он водитель маршрутного автобуса. Его артистическая карьера только начинается, и Рене еще не решается броситься полностью навстречу новой судьбе. Филипп Жерар заметил его в Вене на фестивале молодежи и студентов всего несколько месяцев назад и сочиняет для него музыку.

— А кто вам пишет слова?

— Как кто? Я. Я сочиняю слова.

И после этого ответа он стал нам еще милее, этот славный простой парень, который живет почти без сна с тех пор, как стал артистом варьете.

Потом мы еще долго стояли у двери нашего отеля, на улице Фобур де Монмартр, и Лагари сказал, что маршрут его автобуса проходит именно здесь. Через несколько часов мы еще можем его увидеть. Только после бессонной ночи он боится, как бы не задавить кого-нибудь из нас...

Париж, Франция — все это пролетело, как мгновение. Беспорядочные впечатления сразу вдруг ушли из головы, когда на другой день мы уселись в «ТУ-104».

Москва уже завладела нами. Через три часа вернется обычная наша жизнь, привычный труд. С мыслями об этом я развернул газету. И вдруг Париж вернулся и снова на минуту завладел мной. Крупный заголовок: «Убийство на улице Сен-Дени».

«Вчера в час дня на улице Сен-Дени была убита четверым выстрелами в живот Мише Н., известная в квартале под прозвищем «Тигровые штаны». Убийца не был задержан, так неожиданно было все происшествие. Совершив убийство, он ровным шагом пошел по направлению к бульвару. Кто-то из ошеломленных прохожих крикнул:

— Что ты сделал?

— Убил ее. Разве ты не видел? — ответил неизвестный и скрылся в толпе».

Вчера в час дня я еще был вблизи от этого места. Я мог быть свидетелем этого убийства...

Впрочем, нет. Таким я не хотел бы запомнить этот город.

Я запомнил его таким, каким видел, — пестрым, гостеприимным, озабоченным и падеющим.

И я прощался с ним, когда самолет уходил в небо.



ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

К 90-летию со дня рождения В. И. Ленина

ЕК. ЯМПОЛЬСКАЯ

Член КПСС с 1917 года

★

В ТЕ ПАМЯТНЫЕ ГОДЫ

В первые месяцы после Октябрьской революции я работала в московской газете «Социал-демократ». В связи с переездом ЦК партии в Москву газета слилась с «Правдой». Секретарем редакции была М. И. Ульянова, а я стала ее сотрудником.

Находясь в одной комнате с М. И. Ульяновой, я часто слышала ее разговоры по телефону с Владимиром Ильичем, Надеждой Константиновной. К нам в редакцию приходили старые соратники Владимира Ильича — И. И. Скворцов-Степанов, М. С. Ольминский и другие. В их разговоре то и дело слышалось: «Ленин». Мы получали массу писем, заявлений с приветствиями, пожеланиями, жалобами, и в них указывалось: «Ленину».

Ленин... Каков же он?

В сутолоке, тревоге и напряжении тех дней мне все сильнее хотелось увидеть и услышать Ленина. Помогла в этом чуткая и любовно-внимательная к молодежи Мария Ильинична.

Помню, было это в конце апреля 1918 года. Мария Ильинична попросила меня сходить в Политехнический музей, разыскать там секретаря ВЦИК В. А. Аванесова и передать ему записку.

— Ответа не ждите, — сказала она и, помолчав, добавила: — Можете там остаться, будет выступать Ильич.

Выполнив поручение, я пробралась в большую аудиторию Политехнического музея и села на первую попавшуюся скамью, где была еще какая-то возможность примоститься. Никогда до этого мне не приходилось бывать на таких многолюдных собраниях.

Шло расширенное заседание ВЦИК с рабочим активом Москвы. Владимир Ильич должен был выступить с докладом на важнейшую тему — об очередных задачах Советской власти.

Председательствовал Я. М. Свердлов. В президиуме, среди большевиков, я увидела и меньшевика Мартова, левых эсеров Камкова, Карелина, Спиридонову. В зале было очень шумно, со всех сторон слышались реплики. Нелегко было Якову Михайловичу вести собрание.

Вскоре я заметила движение в президиуме — по сцене быстро проходил Ленин. Его появление встретили бурной овацией, долго не умолкали приветственные возгласы, аплодисменты. Люди вскакивали с мест, чтобы лучше видеть Ильича, лица светились любовью. Все с огромным интересом ожидали, что скажет Ленин.

С первых же слов Владимира Ильича в зале воцарилась глубокая тишина.

Ленин начал с заявления о том, что настоящим докладом должна служить статья «Очередные задачи Советской власти», только что опубликованная в «Правде» и в «Известиях». (В этой статье, как известно, В. И. Ленин изложил основные принципы экономической проблемы пролетарского государства в период перехода от капитализма к социализму и дал конкретный план строительства основ социалистической

экономики. «Мы, партия большевиков,— писал Ленин,— Россию у б е д и л и. Мы Россию отво е в а л и — у богатых для бедных, у эксплуататоров для трудящихся. Мы должны теперь Россией у п р а в л я т ь»..) Поэтому, сказал Владимир Ильич, сейчас можно ограничиться лишь дополнениями и пояснениями к докладу, причем наиболее подходящей формой для этого будет полемика.

С большой страстностью Ленин разоблачал мелкобуржуазные взгляды «левых коммунистов», скрытые за революционной фразой. Он подчеркивал, что интересы социалистической революции требуют тщательного учета и контроля в области производства и распределения, железной дисциплины и порядка во всей нашей работе. «Теперь, когда мы впервые вошли в сердцевину хода революции, речь идет о том, победит ли пролетарская дисциплина и организованность, или же победит стихия мелкобуржуазных собственников...»

Речь Ленина захватывала целиком не только друзей, но и его противников. В зале было очень тихо. Помню, как поразила меня железная логика его слов, необычайная их простота. Ленинская правда впитывалась всем сердцем.

Однажды я была одна в комнате редакции. Зазвонил телефон. Я взяла трубку.

— Маняша, это ты? — спросил мужской голос, и я сразу догадалась, кому он принадлежит.

— Нет, Мария Ильинична ушла,— ответила я.

Владимир Ильич попросил взять бумагу и карандаш и записать то, что он продиктует.

Сейчас, по прошествии сорока с лишним лет, невозможно, конечно, воспроизвести все то, что передал мне тогда Владимир Ильич. Помню только, что говорилось о провокационном убийстве двух японцев во Владивостоке и высадке японского десанта. Слушаю не очень понятный мне текст. японские имена, а сама боюсь, что не сумею правильно записать их. И только я подумала об этом, то, как это частенько бывает, на какие-то доли секунды отвлеклась и упустила что-то из текста. А что делать, если Владимир Ильич предложит мне прочитать продиктованное?..

Но этого не произошло. Владимир Ильич закончил диктовку, вежливо поблагодарил и настойчиво просил передать Марии Ильиничне, чтобы материал был напечатан обязательно в завтрашнем номере «Правды».

Кажется, до сих пор ощущаю отчаяние, которое испытала я в тот день, не сумею точно записать довольно быструю речь Владимира Ильича. Выручила меня Мария Ильинична. Когда она пришла в редакцию, я протянула бумагу, сообщила о звонке и о своих опасениях.

— Не беспокойтесь,— быстро и как-то в сторону, легко, как она обычно в таких случаях говорила, успокоила Мария Ильинична.— Мы достанем.

На другой день во всех газетах появилось правительственное сообщение под заголовком «Нападение на Россию с Востока». Оригинал этого материала не сохранился.

Возможно, что В. И. Ленин продиктовал мне не весь документ, а только краткое его содержание, чтобы я могла правильно передать Марии Ильиничне, что именно должно быть срочно помещено в «Правде». Несомненно, что текст был написан до того, как Владимир Ильич звонил в «Правду», иначе Мария Ильинична не могла бы его достать и сличить с моей записью.

Кто же автор этого документа?

Обстановка тогда была очень тяжела для нас, и японская интервенция, начатая с разрешения и благословения Антанты, представляла новый, серьезный удар для молодой Советской республики. В правительственном сообщении об этом так и говорится. Поэтому вполне возможно, что, получив из Владивостока извещение о высадке японского десанта, Владимир Ильич тотчас же написал текст для газет.

В Москве по пятницам проходили широкие митинги. 30 августа 1918 года темой митингов было «Две власти (диктатура пролетариата и диктатура буржуазии)». В путевке Московского Комитета партии на имя В. И. Ленина говорилось, что в этот

день ему нужно было выступить на эту тему, во-первых, в здании хлебной биржи — Гавриковская площадь, Басманный район — и, во-вторых, на заводе бывш. Михельсона — Щипок, Замоскворецкий район.

Время было очень тревожное: контрреволюционная буржуазия и предатели, называвшие себя социалистами, перешли к открытой форме борьбы — террору. В Петрограде были убиты Урицкий и Володарский. Московский Комитет предложил секретарям райкомов быть особенно бдительными.

Я тогда работала в Басманном районе секретарем райкома. Мы поручили члену райкома товарищу Шабловскому охранять Ленина на митинге и проводить его до Замоскворечья. Это решение было вызвано тем, что наша районная милиция была еще очень слаба.

Но вот снова звонок из МК партии, просят срочно прийти. Оказалось, что в связи с тревожным положением Владимиру Ильичу предложено сегодня не выступать. Поистине, как дороги нам были выступления Ленина, как все стремились послушать его — это же настоящий праздник для всего района, — но, считаясь с обстановкой, мы все же почувствовали облегчение, что Ленина на митинге не будет.

Уже вечерело, когда к нам, на хлебную биржу, приехали руководящие товарищи. Помещение биржи имело только один вход и выход на широкую лестницу, которая вела непосредственно с площади в зал, на второй этаж. Против входа в зале были грубо сколоченные подмости, здесь стоял стол для президиума. Митинг начался благополучно, вовремя, слушателей было достаточно. Уже выступала Александра Михайловна Коллонтай, ждали своей очереди Емельян Ярославский, Н. Осинский и другие.

Убедившись, что все идет хорошо, я прошла центральным проходом и остановилась в конце зала, у окна. Оно выходило на Гавриковскую площадь. И вот вижу, по площади бегут люди прямо к зданию хлебной биржи. Что такое случилось? — взволновалась я. Ничего не понимая, поспешила к выходу. В то же время со сцены уже спрыгнул Ярославский и чуть не бегом направился тоже к выходу. И тут я увидела входившего в зал Ленина и за ним целую толпу людей, поднимавшихся по лестнице. Емельян Ярославский обнял Владимира Ильича за плечи и повел его вперед, к трибуне.

А. М. Коллонтай быстро «закруглилась», и слово было дано Владимиру Ильичу. В зале, как всегда при виде Ленина, вспыхнула овация. Ленин говорил минут пятнадцать — двадцать. Он никогда не скрывал правды перед массами, как бы тяжела она ни была. Так было и на этот раз.

В Сочинениях В. И. Ленина речь эта опубликована лишь в виде краткого газетного отчета, буквально в несколько строк. Содержание ее я передаю сейчас по памяти. Помнится, что Ленин особо подчеркивал силу пролетарской диктатуры, действующей в интересах большинства, диктатуры, опирающейся на массы и проводящей политику в интересах масс. Поэтому, говорил Владимир Ильич, как бы ни были велики переживаемые трудности, они носят временный характер и будут обязательно побеждены.

Много было вопросов, особенно устных, и когда Ленин закончил речь и направился к выходу, опять сопровождаемый Ярославским, люди окружили его, шли спиной к дверям, продолжая спрашивать о положении на фронтах, о хлебе, о топливе...

В толпе я заметила и нашего Шабловского, который должен был сопровождать Ленина в Замоскворечье, на завод бывш. Михельсона. Однако Владимир Ильич мягко отказался от его услуг.

— Не беспокойтесь, пожалуйста, — сказал он ему, — дорогу знаем хорошо, спасибо, ничего не надо.

А утром пришла страшная весть: ранен Ленин. Стреляла эсерка Каплан, выполнявшая злодейское поручение своей партии.

Через несколько дней, встретив Марию Ильиничну у входа в редакцию «Правды», я услышала от нее, что она, не доверяя обещанию Владимира Ильича не выступать в тот день, всячески пыталась удержать его от поездки, но из этого ничего не вышло.

Известно, что секретарь МК товарищ Загорский умолял Владимира Ильича не ездить на митинги 30 августа — и тоже безуспешно. Владимир Ильич, наоборот, считал,

что ему сейчас обязательно нужно выступать на рабочих собраниях, так как положение в стране серьезное, задачи стоят сложные и решать их надо вместе с массами, надо советоваться с массами.

В этом весь Ленин.

Летом 1921 года я после болезни жила целый месяц в Горках. В то время недалеко от большого дома, в котором жил Владимир Ильич, когда бывал в Горках, по дороге к реке находилась дача — санаторий Московского Комитета партии. Здесь мы, несколько человек, и размещались.

В комнате-гостиной стояло пианино, к нему я иногда присаживалась, вспоминая любимые вещи. Обычно обитатели дачи, услышав звуки пианино, собирались в гостиную; приходили и гости, приезжавшие в Горки из Москвы.

Как-то к нам заглянули Владимир Ильич и Мария Ильинична. На балконе гостинкой, выходящем в сад, сражались в шахматы, на пианино были раскрыты ноты Восьмой бетховенской сонаты (Патетической), которую я до этого играла по просьбе товарищей.

Владимир Ильич, как только заметил шахматистов, тотчас же прошел к ним на балкон и начал партию с хирургом, старым членом партии Б. С. Вейсбродом. Их обступили «болельщики». Мария Ильинична, увидев ноты, подошла ко мне и попросила сыграть. Я смутилась и стала отказываться: ничего сейчас не получится, буду очень волноваться в присутствии Владимира Ильича. Однако она мягко настаивала и тихонько шепнула:

— Ну, пожалуйста, это любимая соната Ильича.

Я почувствовала, что невозможно отказываться, и, взволнованная, села за пианино. Начала играть — себя не слышу и никак не могу ногой нащупать педаль. Постепенно овладела собой. В гостиной было тихо.

Я кончила и встала у пианино. Через некоторое время на балконе послышался торжествующий голос Вейсброта, выигравшего партию, и шуточки «болельщиков», любовно подтрунивавших над поражением Владимира Ильича. А он, смущенно почесывая лысину, тихо произнес:

— Виновата музыка.

Спускались сумерки, немного потянуло сыростью из сада. Мария Ильинична зябко зябко сказала:

— Нужно идти, Володя.

Я все еще стояла у пианино, когда ко мне подошел Владимир Ильич, пожал руку и мягко сказал:

— Спасибо, товарищ!

АДАМ ЭГЕДЕ-НИССЕН

★

У ЛЕНИНА В СМОЛЬНОМ

Времени — два часа ночи. Только что возвратился из Смольного, где встречался с Лениным. Он не казался взволнованным после покушения, которому недавно подвергся. Было произведено четыре выстрела — по крайней мере один из них попал в машину и задел швейцарского товарища Платтена, который сидел вместе с Лениным. «Это покушение показывает, что власть Ленина непрочно», — говорили враги.

Адам Яльмар Эгед-Ниссен (1868—1953) — видный деятель норвежского рабочего движения, один из основателей и руководителей Коммунистической партии Норвегии. В конце декабря 1917 года он приезжал в Петроград; в качестве гостя от норвежских рабочих присутствовал на III Всероссийском съезде Советов.

Ниже помещаем отрывок из книги А. Эгед-Ниссена «Жизнь в борьбе», вышедшей в Осло в 1945 году. На русском языке публикуется впервые. Перевод с норвежского В. Якуба.

Ленин, со своей стороны, сказал мне, пригласив к чаю в скромной столовой Смольного, что внутреннее положение правительства очень хорошее. Его, наоборот, больше беспокоит позиция немцев. Переговоры продолжаются, и Ленин все время получает сообщения об их ходе.

Мы затронули вопрос о расколе между большевиками и меньшевиками. Я напомнил ему, что на съезде в 1906 году между ними было единство.

— Да, это верно,— сказал Ленин.— Но единство это было более формальным, чем реальным. На съезде в Лондоне мы разделились на две партии. Если меньшевики считают, что следует ограничиться буржуазной революцией, хотя и утверждают, что эта революция носит не только политический характер, мы говорим, что, когда наступит момент, следует осуществить всю нашу социальную программу. Это мы считаем своим долгом. Мы предали бы дело пролетариата, если бы этого не сделали. Программа, которую мы в настоящее время хотим осуществить при участии или без участия Учредительного собрания, будет изложена 18 января, в день открытия этого собрания.

Я спросил Ленина, надеется ли он получить большинство. Он ответил:

— Большинство в Учредительном собрании или же нет, теперь безразлично. Сегодня мы имеем большинство в народе. Мы, то есть большевики и левые эсеры. Да и условия сейчас уже не те, что были во время выборов.

Ленин произвел впечатление человека спокойного. В противоположность многим здешним товарищам он говорит сдержанно и без широких жестов, вместе с тем он, несомненно, обладает чувством юмора.

Очень интересно было встретить председателя большой плановой комиссии, испытанного революционера, с совершенно подорванным здоровьем после многолетнего пребывания в тюрьме, но вполне сильного духовно. По инициативе Ленина комиссия предстояло подготовить предложение о том, где следует расположить новые крупные предприятия. Советская республика должна стать как можно более независимой от импорта. Были вызваны люди из всех крупных губерний русского государства, которые сообщили, что производится в их районах и что можно расширить и изменить.

Планы составлялись и в то время и позднее. Вспомните хотя бы гигантский проект электрификации — также инициативу Ленина. Разрабатывались планы и для тех районов страны, где в то время еще находились враги, — например, Днепрострой.

После роспуска Учредительного собрания состоялось открытие Третьего съезда Советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов всей России. В нем приняло участие свыше семисот делегатов, из них более четырехсот сорока человек составляли большевики.

Как величественно после вступительной речи Свердлова лились звуки «Интернационала» в исполнении военного оркестра!

Затем начались приветственные речи. Представители социалистических партий Швейцарии, Америки, Англии, Румынии, Швеции и Норвегии, делегаты Украины и других частей бескрайней России...

Мне бы очень хотелось передать впечатление от великого съезда рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. «Красный конвент», как его называли многие. Парламент русской Советской республики. Но как описать всю эту страсть, бурный поток слов, столь долго подавляемое стремление к освобождению? Я сижу в президиуме и смотрю в зал. Поистине это само море. Никто не остается пассивным. Большие и малые волны... Эти волны хотят теперь властвовать, свободно разливаясь вокруг.

Еще немного о Ленине. Как он покоряет людей! Как притягивают его добрые глаза, которые так дружески на вас смотрят! Он говорит:

— Моя мечта — полчаса вздремнуть.

Но все же терпеливо выслушивает все, о чем мы ему рассказываем и просим.

— Я больше не оратор,— говорит он.— Не владею голосом. На полчаса — капут. Хотелось бы мне иметь голос Александры Коллонтай.

Он стремится помочь нашим рыбакам раздобыть сырье для сетей, а также другие нужные Норвегии товары, которые может уступить Россия. Он с нетерпением ожидает, когда наладится организация новой жизни. Но это нелегко.

— Разберите часовой механизм на отдельные части и соберите его снова. Мастер это сделает, но ему потребуется известное время. Однако представьте себе, что часы разобраны и некоторые детали приходится переделывать, и вы поймете, какую гигантскую задачу поставил перед собой Совет Народных Комиссаров России.

Ленин простой, в нем все очень естественно. Так же просто он говорит. Без риторических фраз. Ровно звучат его слова о серьезности положения, организованности и сплочении. Люди его понимают. Они восторженно приветствуют своего вождя, и его словами заканчивает свою работу «Красный конвент». Большая часть ночи ушла на утверждение всех декретов Совнаркома по аграрному вопросу — крестьяне не хотят покидать Петроград, пока это не будет сделано.

В последний раз под сводами Таврического дворца раздаются вдохновляющие звуки «Интернационала» и «Марсельезы».

ЛУИЗА БРАЙАНТ (РИД)

★

МОЕ ЗНАКОМСТВО С ЛЕНИНЫМ

Вокруг всякого знаменитого человека возникают легенды. Жизнь вождя великого всемирного движения должна гармонировать с его теорией, его поведение не может не следовать правилам, которые он проповедует... Что касается Ленина, то даже самый строгий моралист не смог бы найти ни малейшего пятнышка в его личном поведении.

Как бы беспокойно ни было у него на душе, его всепокоряющее присутствие духа производило сильное впечатление. Без всякой суеты принял он на себя огромную власть, без суеты встретился лицом к лицу с мировой реакцией, гражданской войной, болезнями, поражениями и столь же невозмутимо относился даже к победам. Без шумихи он отошел на время болезни от дел и так же незаметно снова вернулся к своим обязанностям. Его спокойная твердость порождает гораздо больше уверенности, нежели самая пышная помпезность. Я не знаю ни одного деятеля в истории, который умел бы сохранять такое же полное самообладание, как он, в самые отчаянные дни.

...Мне никогда не забыть тот день в самый мрачный период блокады, когда я отпраивлась к Ленину и попросила у него разрешения поехать в Среднюю Азию, после того как в Наркоминделе мне в этом наотрез отказали. Он просто поднял на меня глаза, оторвавшись от работы, и улыбнулся.

— Приятно слышать, — сказал он, — что в России есть-таки человек, у которого достаточно силы, чтобы окунуться в исследования неизвестного. Вас там могут убить, но во всяком случае поездка эта на всю жизнь останется для вас самым ярким воспоминанием. Стоит рискнуть.

Через два дня я находилась уже в пути, снабженная всеми необходимыми пропусками, дававшими право ехать в любом поезде и останавливаться в любой правительственной гостинице. Я везла с собой личное письмо Ленина, и меня сопровождали в качестве эскорта два солдата. Уже за одну только мысль — в самый разгар революции совершить такую поездку — любой другой человек в России отнесся бы ко мне как к навязчивому искателю приключений...

В беседах с людьми для Ленина не существует незначительных тем. Помню, однажды кто-то из иностранных делегатов разговаривал с ним о русском театре и упомянул, между прочим, о нехватке костюмов и театрального реквизита.

Луиза Брайант — корреспондентка американских прогрессивных газет. Вместе со своим мужем — Дж. Ридом — она осенью 1917 года приехала в Россию, неоднократно бывала в нашей стране и позднее.

В 1923 году вышла ее книга «Зеркала Москвы», отрывок из которой здесь приводится. На русском языке публикуется впервые. Перевод с английского В. Артемова.

Один из делегатов заметил, что Гельцер, великая балерина, жаловалась, что у нее нет шелковых чулок. Делегаты пришли к мнению, что это мелочь. Ленин думал иначе. Он сдвинул брови и сказал, что позаботится, чтобы Гельцер немедленно получила все, что ей нужно. Вызвав стенографистку, он тут же продиктовал об этом письмо Луначарскому. А ведь Ленину, может быть, и не приходилось видеть, как танцует Гельцер, и он никогда больше не возвращался к этому вопросу.

Надежда Константиновна Крупская, жена Ленина, пригласила меня на чашку чая к себе домой, и я с радостью приняла приглашение — мне очень хотелось посмотреть, как живет семья Ленина...

У них две небольшие комнатки согласно существующим в Москве правилам. В квартире царил безукоризненная чистота, хотя, как мне сказала Надежда Константиновна, у них не было домработницы. В комнатах — огромное количество книг, на окнах — цветы, стоят несколько стульев, стол, кровати, на стенах нет ни одной картины.

Оказалось, что Надежда Константиновна обладает тем же очарованием, что и Ленин, и точно так же умеет сосредоточить все свое внимание на том, что говорит собеседник.

Когда вы входите в его кабинет, Ленин, улыбаясь, вскакивает вам навстречу, пожимает руку и усаживает в большое, глубокое кресло. Когда вы уселись, он подвигает к вам поближе другое кресло и, наклонившись чуть вперед, начинает говорить так, словно в мире ничто его так не интересует, как ваше посещение.

Он любит безобидно пошутить и будет весело хохотать над рассказом, к примеру, о том, как мистер Вандерлип во время холодов подрался с каким-то венгром из-за пары поленьев дров, или когда собеседник расскажет о забавном происшествии везде или на улице. Он и сам любит рассказывать смешные истории и рассказывает их мастерски. Но такой разговор «ни о чем» продолжается недолго. Ленин вдруг обрывает смех и спрашивает:

— А что за человек Гардинг, каково его прошлое?

Какой бы решимости забросать его вопросами ни бываешь преисполнен, всегда уходишь от него, поражаясь тому, что сам ты только что без конца говорил и, вместо того чтобы спрашивать, сам непрерывно отвечал на его вопросы. У Ленина необыкновенная способность вызывать собеседника на разговор и располагать его к откровенности.

Это умение устанавливать личный контакт, должно быть, оказывает большое влияние на людей, с которыми он постоянно общается...



ПУБЛИЦИСТИКА

Академик С. СТРУМИЛИН

★

ВСЕОБЩЕЕ РАЗОРУЖЕНИЕ И ЭКОНОМИКА

1

Новая инициатива СССР в решении сократить на целую треть свои Вооруженные Силы — это смелый шаг на путях разоружения и блестящий пример, заслуживающий подражания. Он привлекает к себе всеобщее внимание и возбуждает новый интерес ко всей этой проблеме мирового значения.

Советское предложение о всеобщем и полном разоружении встретило единодушное одобрение всех народов мира. Единодушно одобрили его и делегации всех держав — членов Организации Объединенных Наций, не исключая даже вчерашних поборников «холодной войны». Еще недавно такой крутой их поворот от опасной эквилибристики «на грани войны» к столь миролюбивому и обнадеживающему весь мир решению показался бы совершенно неправдоподобным. И, естественно, возникает вопрос: следует ли это миролюбие вчерашних поджигателей войны рассматривать лишь как очередной дипломатический ход или оно свидетельствует о более серьезных, хотя и вынужденных решениях? Все, однако, говорит за то, что всеобщее разоружение становится ныне объективно все более возможным, необходимым и неизбежным.

Чтобы понять это, нужно прежде всего представить себе характер современной войны.

Всем уже стало ясно, что мировая война на данном этапе грозила бы и побежденным и победителям и даже всем тем народам, которые пытались бы удержаться на нейтральных позициях в этой войне. Военные авторитеты утверждают, что один лишь термоядерный заряд равен по своей разрушительной силе двум миллионам тонн бомб, сброшенных на все объекты Германии и оккупированных ею стран за 1940—1945 годы. Он поражает площадь от трех до пяти тысяч квадратных километров, обращая на ней все сооружения в груды развалин, а всю территорию — в вымершую пустыню. В связи с этим можно думать, что одной водородной бомбы достаточно, чтобы стереть с лица земли такие крупные центры, как Лондон или Нью-Йорк, а восьми бомб хватило бы для поражения целой страны величиной с Западную Германию.

Но и этого мало, ибо еще страшнее последствия неотвратимой и нестремимой радиации, которая охватит своим кошмаром весь мир с первых же дней, как только вместо дипломатической пикировки легковесными потоками материи начнут обмениваться увесистыми термоядерными «любезностями».

Как известно, ракетная техника межконтинентальных сообщений такова, что из любого неизвестного пункта на одном полушарии можно с астрономической точностью угодить без промаха в любой из известнейших центров другого полушария. Достигали ведь уже такие ракетные салюты намеченных целей даже на лунном диске. И, конечно, в первые же часы войны подобных зловещих «салютов» будет направлено во все концы света сотни и тысячи. И если даже допустить, что они не угодят ни в одну цель, наиболее страшная цель будет достигнута: атмосфера, земли и воды, пустыни и города будут отравлены смертоносными радионуклеинами, от которых наука еще не знает

надежных путей спасения. А это значит, что уже в первые часы такой войны погибнут десятки и сотни миллионов людей и еще большее количество в ближайшие же дни будет поражено мучительной лучевой болезнью с такими роковыми последствиями, как либо полное бесплодие, либо рождение уродов, калек и кретиннов.

В таких условиях войны совершенно непонятно, для чего, собственно, люди все еще строят танки и бомбардировщики, умножают наземную артиллерию и броненосные флоты и зачем содержат многомиллионные армии. Ведь раньше, чем эти армии достигнут границ, атомная война уже будет окончена, ибо для этого достаточно привести в действие на несколько часов лишь несколько сот ракет стратегического назначения. Таким образом, многомиллионные армии становятся слишком дорогой и ничем не оправданной обузой. Они отжили свой век и должны быть ликвидированы.

Еще менее понятно, зачем американские стратеги окружили СССР со всех сторон целой сетью военных баз с ракетными установками на территориях всех своих союзников. На содержание их расходуются многие миллиарды. Назначением этих баз объявляется оборонный «ответный удар» на случай советской агрессии. А между тем сам командующий стратегической авиацией США генерал Пауэр авторитетно заверяет своих сограждан, что в случае конфликта советские ракетные установки «смогут за полчаса уничтожить сто баз и установок, откуда мы (то есть американцы) могли бы нанести ответный ядерный удар».

Спрашивается, зачем же было огород городить? Зачем деньги бросать на ветер? Не проще ли принять советское предложение о разоружении и раз и навсегда обезопасить себя от всех подобных опасностей?

А в отношении ядерного оружия прежде всего необходимо немедленное запрещение всяких его испытаний. Радиоизлучения в результате проведенных испытаний не рассеиваются бесследно, а накапливаются в атмосфере и сейчас образуют в ней уже довольно опасный «фон» постоянной вокруг нас радиации. Так, например, даже в Лондоне, весьма далеко от обычных мест испытаний водородных бомб, его жители, по данным 1955 года, регулярно поглощали и накапливали из этого «фона» не менее 0,1 рентгена радиации в год. Ныне же, после новых испытаний, этот «фон» определяется раз в десять выше. А между тем уже 0,3 рентгена в неделю признаются медициной предельной нормой, допустимой на длительный срок без губительных последствий. В результате же войны этот «фон», несомненно, сразу же повысится в десятки, если не в сотни раз. И тогда даже уцелевшие от бомб в течение одного-двух поколений окажутся бы обреченными на муки лучевой болезни.

Самой характерной особенностью войны в современных условиях можно считать то, что ни один из ее зачинщиков не сможет застраховать себя от всех самых страшных последствий. В этой войне не будет ни безопасного тыла, ни спасительных железобетонных и всяких других убежищ. От бомб еще можно укрыться под землей. И даже от радиации можно на время спастись за свинцовой завесой. Но без воздуха долго не проживешь. И когда будет отравлена вся атмосфера, ни один агрессор, будь он хоть трижды Рокфеллер, не сможет надолго укрыться не только в свинцовой камере, но даже в золотом гробу.

В прежних войнах агрессоры всегда рассчитывали на богатые трофеи, почести и награды, их привлекала возможность нагнать чужое добро, покорить чужие земли, захватить чужие рынки. Теперь же, если начнется тотальная война, то (как это становится понятным даже самым тупым стратегам) единственный «трофей», на который они могут твердо рассчитывать,— это близкая и неминуемая «тотальная» лучевая смерть. И хотя каждый из них не устрасялся бы и сотни миллионов чужих смертей, но перспектива и самому вместо трофеев подвергнуться той же печальной участи радикально меняет дело. И потому даже они склоняются ныне к смиреннейшему миролюбию.

Что же в этих условиях может еще помешать всеобщему и полному разоружению народов?

Всем известно, что военные бюджеты всех стран поглощают ныне ежегодно свыше ста миллиардов долларов. Вместе с тем в армиях всех народов под ружьем постоянно отвлекается от полезного труда военной муштрой до двадцати миллионов людей в самом цветущем их возрасте, да сверх того еще раза в четыре больше работников обслуживает эти армии в производстве оружия и прочего их снабжения. Таким образом, всего в целях войны отвлекается от производительного труда до ста миллионов полноценных работников. Чем же можно оправдать такое расточительство производительных сил человечества даже в условиях мирного времени?

В общем итоге военных расходов всех стран на долю одного лишь Североатлантического блока стран, возглавляемого США, падает более шестидесяти процентов, хотя в населении мира на их долю приходится не свыше пятнадцати процентов. Значит, эти страны в распоряжении своими миллиардами значительно расточительнее других. Можно бы сие объяснить тем, что эти страны богаче других. Но в условиях, когда никому не угрожает и открыта возможность полного разоружения всех народов, богатство отнюдь не может служить оправданием расточительности. Да и вообще, как весьма резонно заметил Н. С. Хрущев, «расточительство никогда не было признаком богатства, это скорее признак глупости».

Еще недавно западные дипломаты пытались оправдать свое расточительство народных средств в бесплодной гонке вооружений мнимыми военными угрозами со стороны СССР. Да и сейчас еще кое-кто по инерции не брезгает этим излюбленным оружием обанкротившейся дипломатии. Напомним хотя бы совсем недавнюю попытку государственного секретаря Гертера оправдать «огромную военную машину» США тем, что их военный бюджет составляет всего девять процентов от «валового национального продукта», в то время как в СССР он достигает будто бы уже более пятнадцати. Однако вторая из этих цифр заведомо фантастична. И тот, кто подсунил ее мистеру Гертеру, несомненно подшутил над ним, грубо обманув его доверие. А между тем всему миру, кроме разве мистера Гертера, известно, что военный бюджет СССР на 1960 год даже по отношению к общему итогу государственных доходов не превышает 12,4 процента (96,1 из 773 миллиардов рублей). Но государственный бюджет СССР охватывает не свыше 56 процентов всего народного дохода. Стало быть, по отношению к народному доходу Советской страны расходы на оборону не достигают и семи процентов ($12,4 \times 0,56$), а по отношению к валовому общественному продукту их величина была бы еще раза в два ниже. Это в то время, как в США военный бюджет уже в 1957 году составил не менее 12,4 процента от национального их дохода в 358 миллиардов долларов и достиг 64 процентов в общем итоге федерального бюджета США (44,4 из 69,4 миллиарда долларов). Как видим, соотношение получается диаметрально противоположное тому, какое изобразил в поучении своим согражданам мистер Гертер.

Можно еще сопоставить и абсолютные размеры военных бюджетов тех же стран. По бюджетам СССР расходы на оборону в 1959 и 1960 годах утверждены в одной и той же цифре — 96,1 миллиарда рублей. Для перевода в доллары, во избежание излишних ссор, воспользуемся тем «паритетом» (1 доллар = 10 рублям), который рекомендовал нам вице-президент США Никсон, побывав в СССР. В таком случае СССР расходует на оборону, по «курсу Никсона», не свыше 9,6 миллиарда долларов в год. А по бюджету США на 1959 год военные расходы увеличены «с позиции силы» до 45,8 миллиарда долларов и как будто уже раз в пять превышают советские ассигнования.

Кто же кому угрожает агрессивней при таком соотношении в масштабах военных приготовлений?

Пользуясь преимуществами планового хозяйства, в СССР оказалось возможным с меньшими затратами, чем на Западе, достигнуть лучших результатов, обеспечив на решающем участке все необходимое для обороны страны. Общеизвестно, что советские ракеты по своей мощности, дальности действия и меткости боя не имеют себе равных. Но, направляемые только в космические цели в интересах мировой науки, они демонстрируют советское миролюбие.

Численность Советской Армии сокращается на миллионы людей, а военные бюджеты — на миллиарды рублей. А между тем — у страха глаза велики! — западным стратегам все еще мерещатся военные угрозы со стороны СССР. Во всяком случае, они запугивают этой мнимой опасностью своих сограждан и под этим предлогом форсируют финансовое напряжение страны в неустанной гонке вооружений. Достаточно сказать, что за последнее десятилетие, с 1950 года, военный бюджет США в условиях мирного времени вырос с тринадцати до сорока шести миллиардов долларов — в три с половиной раза, — поглотив безрезультатно за десять лет свыше четырехсот миллиардов долларов, то есть больше, чем за всю последнюю мировую войну (за 1942—1946 годы этот бюджет поглотил двести восемьдесят восемь миллиардов долларов). США — богатая страна, но и она изнемогает от такого военного бремени.

Правда, в основном это бремя перелagается здесь на плечи рабочего класса, но тем оно чувствительнее в стране, где рабочие и служащие составляют не менее девяноста процентов всего самостоятельного населения. Тяжесть обложения их с 1940 года выросла более чем втрое. Государственный долг, за который расплачиваться придется тем же рабочим, тоже растет в США неуклонно и только с 1940 года увеличился миллиардов на двести. В государственном бюджете все чаще зияют прорехи. За 1958/59 бюджетный год этот дефицит достигал двенадцати с половиной миллиардов долларов. И даже в бюджете на 1960 год, который в СССР сведен с превышением доходов над расходами в двадцать семь миллиардов рублей, в США ожидается дефицит до четырех миллиардов долларов.

В таких условиях стратегия, толкающая на дальнейшую гонку вооружений, невзирая на то, что война — заведомое самоубийство, на которое все равно никто не решится, — это негодная стратегия. Расходовать по сорок и больше миллиардов долларов в год на смертоносное оружие, зная, что его нельзя безнаказанно использовать и что оно будет ржаветь до тех пор, пока не обратится в лом или не будет уничтожено по договору разоружения, — это не разумная политика. А поощрять такое расточительство, измышляя легенды о советских военных угрозах, — это не дальновидная дипломатия.

Отличить правду от лжи не так уж трудно при современных средствах культурной связи народов. И недавняя поездка Н. С. Хрущева в США показала, что даже там, за океаном, совсем не так уж много осталось легковверных людей, готовых еще прислушиваться к голосам той бездарной и лживой дипломатии, которая так долго мешала взаимопониманию народов и мирному их соревнованию на экономическом поприще. И хотя «бывшие люди» этой, в общем, провалившейся дипломатии все еще не унимаются и по-прежнему, подобно мистеру Ачесону, пугают Запад «наступательными» замыслами советского руководства, отвергая в то же время его планы полного разоружения как «фантастические», они уже потеряли свой былой кредит. В такой дипломатии едва ли можно усмотреть ту «честную игру», к которой они сами зывают. Не проявилось в ней за много лет ни на грош и сособой мудрости. И им попросту не верят.

3

В защиту «холодной войны», помимо лжевоенных, выдвигаются и другие, не менее распространенные, псевдоэкономические соображения. В гонке вооружений на Западе усматривают весьма действенное профилактическое средство против промышленных кризисов и спасительный рецепт против бедствий массовой безработицы. Такой «теорией», по которой гонка вооружений может быть использована в качестве рычага хозяйственного регулирования для ликвидации кризисов — без ликвидации самого капитализма, их порождающего, — увлеклись не только буржуазные экономисты, но и некоторые ревизионисты из числа бывших марксистов. В развитии западной экономики за послевоенный период многие усматривают и фактическое подтверждение этой апологетической теории, поскольку в эти годы — за целых пятнадцать лет «холодной войны» — не наблюдалось еще ни одного «спада» конъюнктуры, хоть сколько-нибудь подобного памявному кризису тридцатых годов. И все же эта «теория» не стоит и выведенного яйца.

Ликвидировать периодические кризисы перепроизводства, как показал уже опыт СССР, действительно возможно. Но для этого необходимо сознательное устремление

к достижению той пропорциональности в развитии всех отраслей труда в соответствии с общественными потребностями, которая осуществима лишь в плановом, социалистическом хозяйстве. В обществе, «свободном» от какого-либо общего плана действий, то есть там, где каждый капиталист соблюдает только свои собственные, частные интересы, следуя лишь велениям слепой стихии рынка, неизбежны частнохозяйственные диспропорции, перерастающие с их накоплением в разрушительные кризисы.

Что же может изменить одна лишь «плановая» гонка вооружений в таком по-прежнему бесплановом во всех других отношениях частнокапиталистическом хозяйстве?

Разумеется, ровно ничего, кроме еще одной дополнительной диспропорции вдобавок ко всем остальным. Накопление термоядерной смерти, как заново вздувшийся односторонний огромный флюс, дополняя все прочие внутренние болячки капитализма, отнюдь не украшает его внешнего фасада. И это уродство никак не скроешь от самых широких народных масс. Термоядерные запасы не могут удовлетворить никакой общественной потребности, ибо ни одно общество не стремится к самоубийству. Их нельзя, стало быть, использовать в военных целях. А между тем гонка вооружений требует радикальной перестройки всех народнохозяйственных пропорций на военный лад. Такая перестройка сопряжена с большими трудностями и жертвами даже в условиях планового хозяйства, а в бесплановом она создает такие дополнительные диспропорции, которые здесь значительно ускоряют повторение присущих капитализму кризисных потрясений.

Эти потрясения современные адвокаты капитализма именуют «спадами», радуясь, что каждый из них в условиях гонки вооружений оказался много легче рекордного кризиса 1932 года. Однако никакой рекорд не может быть принят за норму типичных проявлений той или иной закономерности. Если за меру глубины кризиса принять сокращение продукции от высшего докризисного уровня, то в 1932 году это падение по всей мануфактурной промышленности США превзошло за три года сорок семь процентов уровня 1929 года, в то время как по всем остальным кризисам нынешнего века до второй мировой войны это падение в США не превышало в среднем за четыре рядовых кризиса (1904, 1908, 1922 и 1938 годы) и пятнадцати процентов от высшего уровня. Иными словами, рядовые кризисы по глубине падения, да и по длительности их, раза в три уступают рекордным показателям кризиса 1929—1932 годов.

Но в условиях «холодной войны» за последнее десятилетие мы наблюдали в США уже три «спада»: в 1948—1949 годах с октября по октябрь — на 23 процента, в 1954 году, начиная с августа 1953 года, за один год — на 9,6 процента и в 1957—1958 годах, с октября по апрель, всего за полгода, — на 13 процентов с одновременным возрастанием числа безработных с 2,5 миллиона в октябре 1957 года до 5 437 тысяч в июне 1958 года, то есть почти на три миллиона полностью безработных, не считая всех остальных. Средний процент сокращения продукции по этим трем «спадам», как видим, не ниже пятнадцати процентов ($45,6 : 3 = 15,2$). И в этом отношении гонка вооружений ничуть не облегчила «спады» по сравнению с рядовыми кризисами прежних лет. А если еще учесть, что они участились в годы «холодной войны» и вместо одного кризиса за десятилетие повторяются трижды, то в общей сумме причиненных потерь они превзойдут и любой рекорд мирных лет. В самом деле, выражая промышленную продукцию кризисных лет в ценах 1957 года и подсчитав по приведенным нами процентам общую сумму потерь за последнее десятилетие по сравнению с рекордными потерями 1932 года, мы получим такие итоги:

	Продукция в млрд. долл.	% потерь	Потери	
			абс.	в %
Кризис 1929 г.	65	47	30,6	100
«Спады»: 1948 г.	114	23	26,2	86
1953 г.	147	9,6	14,1	46
1957 г.	157	13	20,4	67
	418	14,5	60,7	198

Рекордные потери в промышленности США за 1932 кризисный год все же раза в два ниже потерь от кризисных «спадов» за годы «холодной войны». Но это далеко еще не полный их итог. К ним надо прибавить и все ассигнования на гонку вооружений, которые рассматриваются зарубежными экономистами как лучшая страховка от бедствий кризисов и безработицы. На деле же эта гонка ни от каких бедствий и неизлечимых пороков, органически присущих капитализму, перестраховать, разумеется, не может. А между тем она и сама является добавочным к ним общественным бедствием. Напомним, что еще в 1939 году военный бюджет США не превышал 1,08 миллиарда долларов, а в среднем за последние десять лет в условиях якобы всеспасающей гонки вооружений он не меньше 42,5 миллиарда долларов, то есть уже раз в сорок превзошел военные потребности мирного времени и за один лишь десяток лет умножил потери США по этой статье минимум на четыреста миллиардов долларов.

Итак, допустим даже, что «холодная война» действительно могла бы предохранить американскую экономику от потерь, связанных с кризисами, чего нет и быть не может. Однако не безумно ли избрать для этой цели такое средство, как гонка вооружений на последних гранях ядерно-ракетной войны? Ведь этим путем даже в лучшем случае можно бы спасти тридцать или шестьдесят миллиардов долларов за десятилетие, потеряв на таком бизнесе не менее четырехсот миллиардов! И это совсем не блестящий бизнес. А в худшем случае можно спровоцировать такую мировую катастрофу, в которой не уцелеет ни один из самих бизнесменов. Это уже и вовсе никуда не годная коммерция даже для самых заядлых торговцев смертью.

4

Выдвигается против разоружения защитниками «холодной войны» и такой еще аргумент. Сокращение ассигнований на военную промышленность и демобилизация армии угрожают будто бы очень опасным сокращением занятости рабочей силы. И этот аргумент, к сожалению, подхватывают вслед за буржуазными экономистами и некоторые лидеры рабочих профессиональных союзов на Западе. Вот, например, как оценил совсем недавно перспективу разоружения один из лидеров профсоюзов английских литейщиков Фрэд Буллок: «Разоружение для Запада — это сотни тысяч рабочих, выброшенных на улицу, массовые локауты, голодные марши и так далее. А бывшие солдаты, летчики, моряки? Их судьба представляется мне крайне незавидной».

Этот взгляд, связывающий разоружение с перспективой неизбежной депрессии, разделяют, конечно, и все фабриканты оружия. Но тем показательнее, что совсем другого мнения придерживаются представители всей остальной промышленности, работающей на широкий внутренний и внешний рынок.

Правда, в докладах американского Совета внешних отношений, в котором сильно сказывается влияние людей донны воинствующей еще династии Рокфеллеров, контролирующей свыше шестидесяти миллиардов капиталов страны, даже переговоры о разоружении расцениваются пока лишь как оружие стратегии, которая должна опираться на «собственную военную силу». Но и этот «мозговой трест» влиятельнейших монополий США уже вполне усвоил и осознал простую мысль о том, что «гонка вооружений с ее опасностью тотальной катастрофы» обвязывает США к заключению «международного соглашения по ограничению и сокращению вооружений». Еще дальше в признании целесообразности разоружения идут высказывания других, не менее влиятельных кругов американской буржуазии. В этом отношении особенно показательна статья, опубликованная в ноябрьском бюллетене «Морган гаранти сарвей», издаваемом одним из крупнейших банков США — «Морган гаранти траст компани оф Нью-Йорк».

Люди дома Морганов, вращающего капиталом в шестьдесят пять миллиардов долларов, не только приветствуют идею разоружения в надежде «облегчить колоссальное финансовое бремя и ликвидировать угрозу для жизни людей». Они вовсе не согласны с теми кругами США, которые в терзаются подозрением, что американская экономика нуждается в поддержке в виде программы широкого вооружения». Гонку вооружений они рассматривают как тяжелое бремя для народа, «а не стимул процветания». И в заключение этой программной статьи ее авторы заявляют, что перспективы посте-

пенного сокращения вооружений «не должны вызывать страха перед экономическими последствиями. Наоборот, это принесло бы больше и длительные выгоды». Еще решительнее высказывается в том же духе орган торговой палаты США, журнал «Нейшнс бизнесс», предсказывающий, что разоружение автоматически вызовет «бум».

Конечно, последствия разоружения для фабрикантов оружия и для предпринимателей мирной промышленности и торговли не могут быть равными. Отсюда и пестрота мнений. Но, во всяком случае, мнение самых широких кругов США, по-видимому, определенно склоняется в сторону прекращения дальнейшей гонки вооружений. Это мнение недавно неплохо отразил и представитель американской науки Поль Бэрен в журнале «Нейшнс» в такой весьма энергичной форме: «Избегать безработицы с помощью гонки вооружений — это верх социального безумия!»

И действительно, гонка вооружений в США все еще продолжается, но безработные по-прежнему исчисляются миллионами. И если за довоенный период даже в год самой высокой военной конъюнктуры — 1929 — число их не падало ниже 1550 тысяч, то за последние десять лет гонки вооружений оно ни разу еще не достигало и такого минимума. А в среднем за 1948—1952 годы, даже по преуменьшенным данным официальной отчетности, полностью безработных насчитывалось 2 430 тысяч, за 1953—1957 годы — 2595 тысяч, за 1958 год даже в среднем их число достигало уже около 4 681 тысячи, но, снизившись летом 1959 года с улучшением рыночной конъюнктуры, оно к ноябрю того же года снова возросло почти на четыреста тысяч, причем министерство труда США ожидает и дальнейшего их роста в январе — феврале 1960 года до 4 250 тысяч полностью безработных. С учетом иждивенцев эта армия безработного люда в богатейших США достигает, стало быть, не менее пятнадцати — семнадцати миллионов голодных ртов.

А между тем, как известно, правительство США уже неоднократно объявляло о том, что им разработан план ликвидации безработицы в этой стране. Как видно, разрабатывать подобные планы много легче, чем приводить их в исполнение. В особенности, если для реализации этих «планов» в распоряжении буржуазной науки и практики планирования нет ничего лучшего, чем все та же гонка вооружений, этот «верх социального безумия», по признанию самих американцев. Но если, планируя таким образом, без большого ума, ликвидацию безработицы дорогой ценой гонки вооружений, достигается пока лишь дальнейшее ее расширение, то не лучше ли начать с другого конца и ликвидировать — с умом, конечно, — прежде всего эту гонку как заведомо негодное средство к оздоровлению экономики всего современного мирового хозяйства?

5

Посмотрим, что может дать такая демилитаризация мирового народного хозяйства развитию торгово-промышленного оборота всех стран и какое облегчение она сулит всему населению этих стран не только в моральном отношении — избавлением от кошмарных угроз термоядерной войны, но и в экономическом — освобождением от непосильных налоговых тягот и трудовых потерь, связанных с отрывом от мирных занятий в армейских подразделениях.

Задача всеобщего и полного разоружения сводится к радикальной перестройке производственных пропорций военизированной экономики на мирный лад. Дело далеко не новое, ибо его уже не раз приходилось осуществлять всем народам после каждой войны. Но на этот раз задача намного облегчается уже тем, что среди тех стран, которые будут ее решать, не будет ни одной побежденной и разоренной вражеским вторжением. Демобилизовать предстоит гораздо менее широкий контингент армий и в более спокойных темпах. При четырехлетнем сроке разоружения имеется полная возможность, сокращая военную продукцию постепенно, замещать ее мирной в таких масштабах и темпах, при которых занятость рабочей силы в стране вовсе не сократилась бы, а даже возрастала в меру роста ее естественных резервов и сокращения демобилизуемых армий.

В самом деле, проверим для примера хотя бы возможность США в этом отношении. Военная промышленность получила здесь наиболее мощное развитие, обслуживая

не только собственные, но и многие чужие армии всех союзников. Своя армия в 2,8 миллиона людей требует затрат на содержание — жалование и зарплату — 9,7 миллиона долларов, а весь военный бюджет США на 1959 год, не считая содержания и пенсий ветеранам прежних войн, достигает уже 45,8 миллиарда долларов. За вычетом содержания личного состава армий на долю военной продукции остается, стало быть, $45,8 - 9,7 = 36,1$ миллиарда долларов. Это очень большая сумма. По нынешним нормам выработки индустриальной продукции в США (до девяти тысяч долларов в год на работника) на тридцать шесть миллиардов долларов продукции требуется до четырех миллионов работников. И полное разоружение, сократив спрос на военную продукцию до нуля, на первый взгляд угрожает серьезным увеличением армии безработных. Но это мнимая угроза, ибо одновременно с разоружением отпадут и расходы на «холодную войну». Откроется, стало быть, возможность снизить государственные налоги трудящихся и тем самым повысить их покупательную способность на сорок шесть миллиардов долларов в год или около того. А такое расширение спроса на мирную продукцию потребует даже значительного расширения занятой рабочей силы, с той только разницей, что вместо смертоносных ракет и бомб будут производиться иные, гораздо более полезные вещи. К этому ведь, собственно, и сводится вся задача перестройки производственных пропорций в соответствии с наличными потребностями общества.

6

США богаче многих других стран, но неудовлетворенных потребностей и там в результате гонки вооружений накапливается с каждым годом все больше. Возьмем хотя бы бесспорный факт острой жилищной нужды в США. Правда, с учетом дворцов буржуазии там уже к 1940 году в среднем на одного жителя насчитывалось около пятнадцати квадратных метров жилой площади. Но такие средние не показательны. К тому же за годы войны (1941—1944) жилищное строительство в США сократилось по объему в шесть с половиной раз. Этот ущерб и к 1950 году не был, по-видимому, полностью перекрыт новым строительством. Жилищная перепись этого года обнаружила, что свыше пятнадцати миллионов жилищ в США «непригодно для жилья». В этих домах, которые, по оценке профсоюзов, не соответствовали даже «минимальным нормам приличия», проживало, однако, свыше пятнадцати миллионов семей, то есть до шестидесяти миллионов человек, если не больше, ибо в наихудших из этих трущоб, «похожих на мышеловки», проживало как раз в особой тесноте по пятнадцати человек в одной комнате! Население США к началу 1950 года не превышало полуторасти миллионов. Значит, в негодных для жилья трущобах уже тогда проживало до сорока процентов всех американцев. С 1950 года жилищное строительство несколько повысилось, давая от семидесяти пяти до восьмидесяти пяти миллионов квадратных метров в год¹. Но за вычетом из них на снос самых негодных домов хотя бы от одного до полутора процентов от наличного жилищного фонда, то есть до тридцати миллионов квадратных метров, это строительство не превышает нужд даже естественного прироста населения США. По признанию самих американцев, для постепенной ликвидации имеющихся трущоб необходимо строить по крайней мере вдвое больше жилищ, чем сейчас.

Но для такого удвоения потребовалось бы увеличить ежегодные ассигнования на жилищное строительство в размерах до десяти миллиардов долларов в год. Однако это не единственная нужда. Необходимо значительно расширить ассигнования на здравоохранение, образование, социальное обеспечение и прочие культурные потребности трудящихся масс.

7

Американский образ жизни требует, чтобы за все и про все — и за учение и за лечение — в основном расплачивались сами нуждающиеся в этом. Плата же за все культурные блага так высока, что непосильна далеко не всем. И хотя средний уровень

¹ Для сравнения укажем, что в СССР за 1960 год будет построено только в городах 101 миллион квадратных метров жилой площади, не включая колхозного строительства.

заработной платы в США выше, чем во многих других странах. все же, по обследованию 1955-года, половина рабочих семей находится по уровню оплаты труда ниже прожиточного стандарта, исчисляемого официальной американской статистикой, а двадцать три процента (12,4 миллиона рабочих семей, или около пятидесяти миллионов человек) оказалось на уровне жизни «ниже нищенского». Им-то уж и вовсе не по карману было бы обучение своих детей в колледжах и университетах или платное лечение в дорогих больницах.

А между тем все то, что федеральный бюджет США ассигнует за счет государства в качестве дотации или своих «даров» (grants) на все социально-культурные нужды страны, едва достигает трех миллиардов долларов в год (1957). В переводе на советскую валюту по самой высокой расценке доллара, предложенной мистером Никсоном, это составит не свыше тридцати миллиардов рублей. Чтобы убедиться, сколь скромны эти «дары», напомним, что в бюджете СССР ежегодные ассигнования на те же социально-культурные нужды достигают уже 247,8 миллиарда рублей (1960), то есть раз этак в восемь выше. Показательно также, что ассигнования на военные цели в федеральном бюджете США за тот же 1957 год (44,4 миллиарда долларов) были в четырнадцать с лишним раз щедрее, чем на культурные мероприятия в стране, в то время как в СССР, наоборот, затраты на даровые блага культуры трудящимся в 2,6 раза выше вынужденных ассигнований на оборону (96,1 миллиарда рублей в 1960 году). Интересы войны и требования культуры в этом их соревновании диаметрально противоположны. Но разоружение неизбежно. А оно позволит и трудящимся США гораздо шире приобщиться к благам духовной культуры. И это можно будет только приветствовать.

Вполне понятно, что чем больше средств направляется на гонку вооружений, тем меньше их остается на такие блага, как народное здравоохранение, наука и культура. С бременем финансового напряжения «на грани войны» не справляются даже США, о чем свидетельствуют и бюджетные дефициты, и отрицательный платежный баланс, и прямая утечка золота из США, и обесценение доллара, и много других, не менее показательных симптомов нарастающего перенапряжения. Еще сильнее чувствуется это финансовое напряжение в менее богатых странах Запада.

В Англии бывший министр финансов Торникрофт еще в 1958 году вынужден был заявить в палате общин: «В течение двенадцати лет мы пытались делать больше, чем позволяли наши ресурсы, и в результате серьезно себя ослабили... мы стремились стать ядерной державой, соревнуясь в производстве ракет и антиракетного оружия. и в то же время сохраняя большие обычные вооруженные силы... Это означает, что в течение всех двенадцати лет мы скользили от одного кризиса к другому. Одно время это был кризис платежного баланса, в другое время — валютный кризис, но всегда был какой-то кризис». Несладко приходится и французским деятелям, глубоко увязшим в алжирской колониальной авантюре. И даже в Западной Германии, которая только еще готовится стать термоядерной державой, ее военный министр Штраус уже жалуется на «перегрузку немецкого хозяйства военными заказами» со всеми вытекающими отсюда угрозами. И все же старый Аденауэр в воинственном азарте все еще жаждет крови и объявляет войну... собственным согражданам, поднявшим свой голос за прочный мир между всеми народами.

Однако столь устаревшие пережитки «холодной войны», как нынешний германский канцлер, уже не делают погоды. Не определяют ее в мировом масштабе и такие ближайшие советники канцлера, как Пфердменгес и другие крупнейшие магнаты ФРГ — Крупп, Тиссен, Сименс и Маннесманн. Флик и прочие, уже просчитавшиеся однажды со своим выдвигателем Гитлером. Мировая конъюнктура властно требует перестройки. Прирост промышленной продукции в ФРГ, достигавший еще в 1955 году пятнадцати процентов, в 1957 году упал до пяти, а в 1958 году — до трех процентов. Не менее заметно тормозятся и экспортные возможности Западной Германии. Правда, фабриканты оружия здесь донныне весьма преуспевают, получая баснословные прибыли в качестве торговцев смертью. Но если спрос на этот товар будет полностью ликвидирован, то они на худой конец смогут торговать не без успеха и другими товарами. В условиях

разоружения, во всяком случае, сильно возрастут шансы и внутренней и международной торговли продуктами мирных отраслей труда.

Конечно, вместо бешеных военных сверхприбылей фабрикантам оружия придется примириться с более умеренными, по общей норме. Придется им затратить кое-что и из прежних накоплений на переоборудование военных заводов, чтобы вместо пушек и танков производить экскаваторы и тракторы, а вместо бомб со смертельной начинкой — атомные реакторы для новых электростанций и химические удобрения для восстановления плодородия выпавших полей. Но такие вложения не разорят Рокфеллеров и Круппов и послужат лишь новому подъему производительных сил мировой экономики.

8

Какой же эффект даст всеобщее разоружение, если освобожденные им производительные силы будут использованы рационально — не с позиций силы тупой солдафонской стратегии, а с позиций человеческого разума и творческих его возможностей?

Прежде всего разоружение позволит снизить налоговое бремя трудящихся. Повышая их покупательную способность и спрос на предметы потребления, это создаст и новый, дополнительный спрос на рабочую силу в производстве легкой и пищевой промышленности.

Допустим, что за счет ликвидации военных бюджетов до шестидесяти процентов их суммы будет обращено на снижение налогов, двадцать — на жилищное строительство, десять — на строительство школ, больниц и прочие культурные надобности. В США это создало бы дополнительный спрос на предметы широкого потребления на сумму не менее 28 миллиардов долларов ($45,8 \times 0,6 = 27,5$). Ассигнования на ликвидацию трущоб можно было бы повысить на девять миллиардов в год, на культурное строительство — на четыре с половиной миллиарда в год. И на ежегодную помощь слабообразованным народам оставалось бы в резерве еще не меньше четырех-пяти миллиардов долларов в год. Каждый работник США создает в год новых ценностей не свыше чем 6,3 тысячи долларов, и, стало быть, чтобы увеличить их сумму на 41,5 миллиарда долларов в год ($28 + 9 + 4,5 = 41,5$), потребуется не менее 6,6 миллиона новых работников. Перестройка тяжелой промышленности за счет прибылей корпораций¹, если они хоть наполовину используют их для умножения машин и материалов, потребляемых в строительстве, легкой и пищевой промышленности США, также потребует до двенадцати с половиной миллиардов долларов дополнительных вложений и до двух миллионов новых работников. При таком расширении рабочей силы на восемь миллионов шестьсот тысяч человек могут быть, разумеется, использованы и все работники ликвидируемой военной промышленности — до четырех миллионов — и вся армия США после ее демобилизации в два миллиона пятьсот тысяч человек, и за счет сокращения армии безработных пришлось бы еще позаимствовать до двух миллионов работников.

Таким образом, в этом отношении разоружение никаких угроз трудящимся не представляет. А вместе с тем, помимо резкого снижения налогов (на зарплату раза в три), это разоружение позволило бы ежегодно строить в США двойное число жилых домов и раза в два с половиной умножить затраты бюджета на культурные потребности. Если же, помимо США, подсчитать общие результаты полного разоружения по всей мировой экономике, то, конечно, масштабы их будут во много раз грандиознее. В печати уже приводились расчеты, по которым за счет ликвидации ежегодных военных расходов можно было бы обеспечить хлебом население всего земного шара, где и донныне каждый год голодной смертью умирают миллионы людей. Но это еще не все.

Разоружение не только сэкономит те сто миллиардов долларов, какие ныне расточаются на вооружение и содержание армий, но, обратив до ста миллионов людей, занятых ныне безрезультатно в казармах и по обслуживанию их, на производство новых ценностей, оно увеличит эти сбережения по меньшей мере на триста миллиардов долларов в год. А за счет таких ресурсов можно было бы за каждый год построить — сверх нынешних объемов — и новых жилищ на десять миллионов семей, и двадцать

¹ В 1957 году после уплаты налогов — 22 миллиарда долларов, в 1959 году — до 25 миллиардов.

пять тысяч больниц на четыре миллиона коек, и пятьдесят тысяч новых школ для подрастающих детей, и тысячи промышленных предприятий в так называемых слаборазвитых странах, не говоря уже о хлебе насущном для тех из них, которые еще не оправдывались от векового колониального режима и многолетней послевоенной «опеки» великодержавных империалистов.

Уже из этого видно, как много теряет человечество благодаря тому, что государственные мужи никак не могут договориться о таком, в сущности, простом и естественном решении, как всеобщее и полное разоружение. Ни многолетние разговоры в ООН, ни многотонная по весу исписанной бумаги дипломатическая переписка о разоружении не дали в атмосфере всеобщего недоверия никаких осязательных результатов. В условиях, когда кое-кто, теряя разум от избытка чувств, полон еще иллюзий реваншизма, расизма и милитаризма, нелегко, по-видимому, добиться согласия на одновременное общее разоружение всех стран.

Тем ценнее уже не первый почин СССР к такому всеобщему разоружению в одностороннем его решении снова сократить сразу на миллион двести тысяч человек свои вооруженные силы. Ломая уже не на словах, а на деле этими решениями сплошной фронт взаимной подозрительности и всенного напряжения соревнующихся народов, СССР одновременно усиливает свои экономические позиции в дальнейшем мирном их соревновании.

Одно лишь это сокращение армии и военного флота в СССР сулит ему ежегодную экономию в бюджете до семнадцати миллиардов рублей. Кроме того, миллион с лишним новых работников, включенных в производство, смогут увеличить народный доход страны минимально на тридцать три миллиарда рублей в год, а за четыре года после демобилизации эта общая экономия еще в пределах текущей семилетки даст до двухсот миллиардов рублей сверхплановых поступлений. Легко себе представить, как такое пополнение можно использовать и на досрочное перевыполнение намеченных планов, и на содействие развитию братских и союзных народов, и на любые другие мирные достижения.

Ясно также, что все страны, которые не последуют благому примеру Советского Союза, накажут только себя крупнейшими потерями за каждый год своего промедления в деле разоружения. Но, даже отвлекаясь полностью от этих экономических соображений, можно сказать о тех, кто стал бы ныне противодействовать всеобщему разоружению, что они приняли на себя этим слишком тяжкую историческую ответственность.

Это было бы азартной игрой судьбами человечества.



ЛЕОНИД ИВАНОВ

★

В ПОХОД НА СОРНЯКИ!

В постановлении декабрьского Пленума ЦК КПСС «О дальнейшем развитии сельского хозяйства» сказано, что важнейшей задачей является увеличение производства зерна не менее чем до десяти-одиннадцати миллиардов пудов в год. От успешного выполнения этой главной задачи зависит и развитие животноводства.

В своем выступлении на Пленуме Н. С. Хрушев сказал: «...Мы должны теперь в области сельского хозяйства идти не только вширь, но и вглубь, идти не только путем увеличения посевных площадей, но и путем повышения урожая за счет внедрения лучшей агротехники...»

Размышления об этом вызвали в памяти многие встречи с людьми села, научившимся выращивать высокие урожаи, «идти вглубь». Но тут же возникали и другие видения — тощенькие урожаи... И невольно думается: решая задачу, поставленную Пленумом, — бороться за досрочное выполнение семилетки по каждому хозяйству, — нельзя забывать об одном из важнейших резервов поднятия урожая.

Правда, о нем упоминается во всех агрономических рекомендациях, но похоже на то, что резерв этот пока еще не выставлен напоказ, он растворяется в таком всеобъемлющем понятии, как культура земледелия.

РАЗГОВОР НА ТОКУ

Минувшей осенью, в разгар страды, я побывал в Сосновском зерносовхозе Омской области. Привело меня в это хозяйство сообщение о высокой механизации токов. Действительно, здесь можно было наблюдать отличную организацию работы. Зерно свозили в одно место от тридцати пяти комбайнов, а с его подработкой в механизированном амбаре управлялись лишь пятеро. Три-четыре года назад на этом же току работало в каждой смене по пятьдесят—шестьдесят человек, и они не всегда поспевали. А тут — пять человек!..

Но если механизированный амбар обслуживали втятером, то у хлебного вороха на самом конце просторного тока, возле двух сортировок, возилось человек восемь.

— Это все конструкторы сортировок, — объяснил мне директор совхоза. Чему-то усмехнувшись, добавил: — Некоторые второй год уже...

Оказывается, здесь работали представители двух «враждующих» учреждений — ВИМ и ВИСХОМ (Всесоюзного научно-исследовательского института механизации сельского хозяйства и Всесоюзного научно-исследовательского института сельскохозяйственного машиностроения). Они испытывали свои конструкции сортировок. При каждой сортировке, так сказать, «состояло» три крупных специалиста и по одному лаборанту. Директор совхоза организовывал подвозку сорного зерна в экспериментальный бунт, а представители науки с часами в руках проверяли производительность машины, делали анализы зерна на засоренность.

К группе людей у сортировок подъехала легковая машина. Стоявший поближе успел спросить у шофера о приезде. Тот бросил отрывисто:

— Из министерства!

Товарищ из министерства, кивнув испытателям, начал рыться в зерне.

— Овсяг-то почти не отбирает, — нахмурился он.

— Как же не отбирает? — возразил один из испытателей. — Конечно, не полностью, но все же...

— А надо чтобы все сорняки отбирала!

— А где вы видели такую сортировку, чтоб все отбирала?

На это ответил заведующий током Андрей Филатович Хомченко. Я его знал и раньше — он здесь на току вот уже лет пятнадцать. Андрей Филатович сказал:

— Вот сортировка Тимофея Архиповича Острожко, та все отбирает.

Это замечание было оставлено без внимания. И причина тому понятна. Тимофей Архипович Острожко, местный изобретатель, долгое время работал в Черлакском совхозе. Он самоучка, но изобретенная им сортировка замечательна. Первый образец его машины, которую в Сибири так и называют «Острожко», выпущен еще давно. Теперь известен уже четвертый вариант этой сортировки — она два года испытывается в Казахстане, куда, кстати, переехал и сам Острожко. Эта машина по производительности в пять-шесть раз превосходит самые последние образцы заводских сортировок. В печати уже сообщалось, что производительность «Острожко-4» достигает тридцати—сорока тонн зерна в час. А обслуживают эту сортировку три человека — столько же, что и любую заводскую.

Но никак не может полюбившаяся всем «Острожко» пробить дорогу к серийному производству. Никак! Почти в каждом совхозе области есть сортировки «Острожко», сделанные кустарно, в своих мастерских. Обходится это, конечно, втридорога. Однако, раз руководители хозяйств идут и на такие расходы — значит, они оправдываются.

То, что произошло дальше, приоткрыло завесу.

Разговор между представителем министерства и испытателями все обострялся, начались колкости. Представитель сказал решительно:

— Эти ваши образцы не внушают надежд.

Один из испытателей воскликнул:

— Эти несовершенны, может быть, но они лучше тех, которые конструируют работники министерства и которым, конечно, ход дадут.

Представитель министерства промолчал и, не простившись, уехал.

Слушая эти распри, Андрей Филатович укоризненно покачивал головой. Когда все немного поуспокоилось, он сказал:

— Не с того боку беретесь, товарищи. — Видя недоуменные взгляды, разъяснил: — Для успеха ваших экспериментов нужно, чтоб на поле овсяга было побольше. А лучше-то по-другому. Лучше, чтобы овсяг с поля вывезти — вот главное-то. Тогда и вам нашлась бы более благодарная работенка...

Не с того боку... А ведь, пожалуй, верно. Даже очень верно!

ВРАГ НОМЕР ПЕРВЫЙ

Несколько лет назад корреспондентские дела привели меня в Ададымский зерносовхоз Красноярского края. Здесь пришлось быть очевидцем такой картины. Руководящие работники совхоза — главный агроном и два управляющих отделениями — вознились в зарослях хлебов. Не сразу и поймешь, что они там делали: то ли определяли густоту стояния растений, то ли занялись видовой оценкой урожая. Очертив метровку в квадрате, агроном Христенко начал подсчитывать стебли, крикнув при этом:

— Я считаю пшеничные колосья, а вы — эти..

Теперь как будто все стало ясно: на поле, оставленном под паровую обработку, выросло какое-то количество пшеницы-падалицы. Такое в Сибири случается довольно часто — иногда падалица, то есть зерно, осыпавшееся в момент уборки, прорастает весной и дает урожай до тонны с гектара. Видно, и здесь так. И поэтому руководители решают: если пшеницы порядочно — оставить ее на зерно.

Но эта моя догадка оказалась ошибочной. Все было как раз наоборот: весной здесь сеяли пшеницу, а вот убирать ли ее? Этот вопрос и предстояло решить комиссии.

Комиссия составила акт, один экземпляр которого я взял на память (он и сейчас хранится у меня). Вот что, между прочим, было записано в этом акте: «На указанной площади овсюг преобладает над основной культурой, на одном квадратном метре пшеницы не более тридцати—сорока стеблей, а в некоторых местах вообще трудно обнаружить пшеницу. Овсюга на этих площадях до четырехсот стеблей на метре».

Вот ведь до чего дошло! Овсюг, этот злейший сорняк, стал забивать пшеницу.

Был вынесен и приговор: два поля площадью в 460 гектаров немедля скосить на сено, пока не вызрел и не осыпался овсюг. В совхозе — многие тысячи гектаров, и овсюг хотя и не преобладал над основной культурой, но потеснил ее изрядно: по двести—двести пятьдесят стеблей на квадратном метре. Он отнимал у культурных растений больше половины полезной площади — значит, забирал и половину влаги и половину питательных веществ. А в довершение всего оставлял после себя огромные запасы своих семян, осыпавшихся на землю.

Такие же акты на списание посевов пшеницы, заросших сорняками, были составлены в ряде других хозяйств, в том числе даже и в семеноводческом Крутоярском совхозе. В семеноводческом!

Теперь, спустя несколько лет, положение, видимо, улучшилось. И сорняки уже не преобладают на поле.

Но везде ли улучшилось? Факты говорят, что далеко не везде.

Вот сведения по Омской области. За последнее пятилетие средний сбор зерна с гектара увеличился почти на два центнера — это в сравнении с предыдущим пятилетием. Однако по некоторым районам картина не такая уже благополучная. Оказывается, рост урожая произошел преимущественно за счет районов массового освоения целины — Черлакского, Дробышевского, Русско-Полянского. Здесь сборы зерна за пятилетие увеличились на три-четыре центнера с гектара. Целина выручила!

А вот в Тюкалинском, Крутинском, Называевском и ряде других районов, где новых земель осваивалось сравнительно мало, урожаи зерна оказались даже ниже, чем в предыдущем пятилетии. Симптом очень тревожный.

В чем же дело? А дело, оказывается, опять-таки в сорняках. На старопашотных землях их развелось очень много, они грабят хлеборобов, что называется, среди бела дня, отнимают у культурных растений пищу, влагу, свет.

В сентябре прошлого года я слышал, как лаборантки Павлоградского хлебоприемочного пункта журили шоферов, привезших сорное зерно, хотя водители машин тут были явно ни при чем. Но надо же было кому-то излить свое возмущение. Лабораторные анализы показали, что с пятого отделения Краснодарского совхоза зерно поступает с наличием сора, главным образом овсюга, до пятнадцати процентов. Такое же сорное зерно шло и с некоторых отделений совхозов «Нива» и Павлоградского.

— Бывает и «почище»! — негодуют лаборантки. В их устах «почище» — это не чистое зерно, а засоренное сверх всякой меры. Такое они отказывались принимать, возвращали обратно.

Вид полей этих хозяйств убеждал всякого, что здесь сорнякам большое раздолье. И привезенные на элеватор пятнадцать процентов сора в зерне далеко не отражают истинной картины засорения полей. Дело в том, что сорняки созревают обычно раньше, чем культурные растения, и в значительной мере успевают осыпаться до начала уборки хлебов, а мелкосеменные высыпаются на полосу и после молотыбы.

Павлоградский район соседствует с Одесским. Эти районы часто соревнуются, благо природные условия у них равные. В прошлом году Одесский район получил почти по двенадцати центнеров с гектара, а павлоградцы собрали чуть ли не самый низкий в области урожай — что-то около семи центнеров с гектара. Чем же объяснить такой конфуз? А тем, что на полях большинства хозяйств Одесского района сорняки чувствуют себя не так привольно, как в Павлоградском.

Вот ведь как еще обкрадывают нас сорняки! А что такое для Павлоградского района пять центнеров зерна с гектара, то есть достижение уровня Одесского? Это значит получить дополнительно зерна три с половиной миллиона пудов!

В целом ряде других районов — Иртышском, Таврическом, даже в целинном Русско-Полянском — на значительном количестве полей в прошлом году сорных растений оказалось не меньше, чем культурных.

Недавно я прочел в газете «Сельское хозяйство» статью агронома из Павлодарской области В. Галимского. Вот что он пишет о сорняках: «За последние годы засоренность полей в области значительно возросла. Во многих колхозах и совхозах практически нет земель, чистых от сорняков. Они заселили и вновь освоенные массивы целины».

Автор перечисляет эти сорняки: овсюг, сурепка, осот, березка, мыши и много-много других. Прав Галимский: сорняки заселяют уже и массивы недавно освоенных целинных земель. Мне самому приходилось наблюдать это в ряде совхозов Омской области. Беда не только в том, что из-за сорняков недобирается огромное количество хлеба и других сельскохозяйственных культур. Трудно даже подсчитать, какие огромные расходы денежных и материальных средств вызывают эти сорняки. Сюда входят дополнительные обработки полей, необходимость иметь большие площади чистых паров, колоссальные затраты на послеуборочную сортировку засоренного зерна.

Кстати, о сортировках.

Передо мной справка, взятая из годового отчета совхозов Омской области за 1958 год. На сортировку и сушку намолоченного зерна совхозы израсходовали свыше 24 миллионов рублей и затратили около 700 тысяч человеко-дней. Для большей наглядности приведем и такие цифры: на уборку всего урожая зерновых культур и обмолот его совхозы области затратили 777 тысяч человек-дней — чуть больше, чем на сортировку зерна. В колхозах эти затраты еще выше, так как там тока механизированы хуже и ручного труда расходуется больше.

К слову сказать, в совхозы Омской области приезжали на уборку урожая люди из разных городов, для того чтобы отработать как раз те 700 тысяч человеко-дней, которые затрачены на подработку зерна. А ведь расходы на горожан, не считая их фактического заработка в совхозах, превысили двадцать миллионов рублей!

И еще один пример, наглядно показывающий, какую страшную дань отдаем мы этим самым сорнякам.

В 1957 году председатель колхоза «Память Ильича», Дробышевского района, Валерий Дмитриевич Соломатин добился, чтобы одно колхозное поле обработали гербицидами. Делалось это с самолета, и для опыта один угол трехсотгектарного поля оставили неопыленным. Буквально через неделю злостный сорняк осот, по выражению колхозников, «опустил крылья»: поник и быстро засох. Пшеница сразу ожила, хорошо пошла в рост.

Вот результаты: на поле, обработанном гербицидами, снято по 11,5 центнера с гектара, а на двадцатидвухгектарном уголке этого же поля, где сорняки не потревожены, зерна вместе с сором намолотили лишь по 6,2 центнера.

И тут пять центнеров недобранного урожая. И здесь зерно с очищенного поля отгружали на элеватор без дополнительной сортировки на току, намолоченное же с засоренного участка сортировали несколько раз.

Вот каков он, первый враг хлебороба!

КТО ЖЕ ХОЗЯИН НА ПОЛЕ?

Когда проезжаешь по полям некоторых хозяйств Павлоградского, Таврического и некоторых других районов Омской или Челябинской областей и видишь огромные массивы заовсюженных и засоренных посевов, то невольно задумываешься: а кто же хозяин на этой земле? Человек или дикарь-сорняк? Хочешь не хочешь, а по виду некоторых полей предпочтение отдашь дикарю-сорняку; местами он так сильно овладел землей, что, как говорится, пихнуть не дает человеку с его культурными растениями, с его мощной техникой, с его химией, способной вершить чудеса.

И действительно, кое-где сорняк надолго закрепил за собой большие массивы земли, протянул уже руку и к бывшей целине. Пробные анализы, проведенные научными

работниками и агрономами, показывают, что в ряде случаев на гектаре пашни хранится до двадцати миллионов семян сорняков.

Двадцать миллионов семечек, отложенных про запас, на одном гектаре! А пшеничных зерен на такой же площади высевается всего лишь четыре-пять миллионов штук. И когда такое поле оставляем без вмешательства человека, когда рассуждаем примерно так: нусть соревнуются между собой сорные и культурные семена — то победу одерживает, как правило, сорняк. С природой у него дружба сильнее: он и расти начинает при более низкой температуре, нежели культурное зерно, и засуху переносит легче, и корнями своими пробирается глубже. Не вмешайся человек, сорняк быстро вытеснит культурные растения.

Но сильнее-то, конечно же, человек!

Кто бывал в колхозе имени Калинина. Одесского района, тот обращал внимание на чистоту большинства посевов этого хозяйства. И здесь есть, конечно, сорнячки, но мало, и с каждым годом их все меньше.

Мне тоже доводилось отмечать это. Ездили мы с председателем артели Александром Степановичем Швыммером. Он уже пожилой человек (семьдесят лет), грузноватый, но подвижной, энергичный. Я знал, что без его ведома ни одно поле не засеивается. А полей много, и количество их все увеличивается — сперва к колхозу присоединилась одна отстающая артель, потом другая. Однако Швыммер как-то успевает бывать на всех полях, хотя здесь только зерновыми культурами засеивается двенадцать с половиной тысяч гектаров.

Председательствует Александр Степанович вот уже двадцать лет. Мне еще в райкоме говорили, что «дед» — так все в колхозе и в районе зовут Александра Степановича — умеет «приводить в чувство» любую землю. И это действительно так. Земли первого влившегося сюда колхоза были сильно засорены, урожаи там снимали обычно в два раза ниже, чем в головном колхозе имени Калинина. С момента объединения прошло пять лет, и теперь те поля не отличишь от старых калининских. Больше того, теперь именно на добавившихся полях собирают наиболее высокий урожай. А урожай в колхозе за два последних года, которые оцениваются специалистами как неблагоприятные по метеорологическим условиям, составил около пятнадцати центнеров с гектара.

Или совсем свежий пример. В марте прошлого года к колхозу присоединилась артель имени Кирова. Надо сказать, что если в 1958 году калининцы собрали почти стопудовый урожай зерновых с гектара, то их соседи — лишь шестьдесят семь пудов, или одиннадцать центнеров. Минувший год был менее благоприятным, однако на полях кирозцев урожай составил уже около двенадцати центнеров — лишь на центнер ниже среднего по укрупненному колхозу.

А ведь только одну весну хозяйничал на тех полях Александр Степанович. Не зря же признали его мастером высоких урожаев и удостоили звания Героя Социалистического Труда!

Сам Александр Степанович все это объясняет просто:

— Дружить надо с землей... Слушать ее — она тоже умеет говорить. Своим языком, но умеет. — Поразгладив свои пышные и все еще темные усы, продолжал: — Язык земли надо знать лучше, чем любой другой. Это, конечно, для хлебороба, — уточняет он. Копечно же, человек сильнее!

Но вот что не может не волновать: почему в одном и том же хозяйстве собирают урожай, колеблющийся по отдельным полям от трех до двадцати пяти центнеров с гектара? Так именно было в прошлом году в передовом в области целинном совхозе «Сибиряк». В соседнем хозяйстве «Целинный» — разрывы от двух до двадцати двух центнеров. Да возьмите любое другое хозяйство — везде резкие колебания. И спросите о причине этого. Я спрашивал. А ответ неизменно получал такой:

— На засоренных полях урожай получился низкий. Сорняки подвели...

Но вот Северо-Любинский совхоз. Это хозяйство возглавляет тоже вот уже больше двадцати лет Герой Социалистического Труда Константин Дмитриевич Никифоров. В минувшем году средний урожай зерновых здесь составил около восемнадцати центнеров с гектара, самые худые полоски дали по десяти. Разница тоже большая, но все

же не то, что в большинстве других. Конечно, наименьшие урожаи оказались там, где сорняки.

Не хотят они сдаваться, борются за свое существование. И хотя не могут уже одержать большую победу, но урон наносят все еще огромный.

В чем же дело?

В этом, думается, следовало бы разобраться посерьезнее.

Многие агрономы и ученые, пожалуй, могут сказать: «Эку новость открыл! Кто ж не знает о вреде сорняков? Повысится культура земледелия — исчезнут и сорняки».

Конечно, уровень культуры земледелия у нас все время растет. Но если при этом в Павлодарской, Омской и других областях сорняков на полях прибавилось, приходится делать вывод: главный враг урожая не схвачен еще за горло.

И потому возникает вопрос: достаточно ли активна агрономия в Сибири? Ведь сорняки-то еще не сдаются, а кое-где даже продолжают наступать, творят свое черное дело.

На декабрьском Пленуме ЦК КПСС приводились данные об освоении правильных севооборотов. В большинстве хозяйств они все еще не освоены. А ведь у нас в каждой сельскохозяйственной зоне есть научно-исследовательские институты, опытные станции, накоплен огромный опыт передовых колхозов и совхозов. Так почему же все еще повсеместно не введены оправдавшие себя системы?

Почему высоки и устойчивы урожаи в колхозе имени Калинина, о котором рассказывалось выше? Потому что здесь давно закончились дискуссии о системе земледелия и вот уже двадцать лет как введены правильные севообороты. Все эти годы они совершенствовались, улучшалась агротехника, семенное дело, практика учила, как выбрать лучшие сорта, в какие сроки выгоднее сеять. И теперь колхоз застраховал себя от плохих урожаев. Даже в самые засушливые годы, когда многие хозяйства получают по четыре-пять центнеров зерна с гектара и даже меньше, здесь берут минимум десять.

Давно действуют правильные севообороты также в Северо-Любинском совхозе, Нижне-Иртышском, Омском и еще в некоторых. Но, к сожалению, их не так уж много. И сбор зерна в десять центнеров с гектара здесь считается неудержимым.

Как же в этих хозяйствах изгоняются сорняки с полей?

— Это не хитро, — сказал мне Александр Степанович Швыммер. — Не хитро, а все же сложно.

Я приготовился записывать советы опытного хлебороба, но в его кабинет зашел незнакомый мне человек.

Вскоре выяснилось, что это председатель Кзылтуского райисполкома Кокчетавской области. Он коротко объяснил цель своего приезда:

— Мы ваши соседи, и наши товарищи бывали на ваших полях. Нам интересно узнать, как вы добились устойчиво высоких урожаев. У нас они и нынче оказались чуть не в два раза ниже, чем у вас.

Короче говоря, казахстанские товарищи приглашали Швыммера к себе на районное совещание с участием всех агрономов, директоров совхозов, председателей колхозов, бригадиров.

Было это в дни работы декабрьского Пленума ЦК КПСС. Александр Степанович пообещал приехать, рассказать.

Понятно, что после всего этого мой интерес к разговору с председателем колхоза имени Калинина еще больше возрос. Но его рассказ был удивительно краток.

— Не так уж трудно выводить сорняки с полей, — сказал он. — Если поля сорные, то все наши прогрессивные приемы — и перекрестный сев, и многие другие, и даже удобрения — никакого влияния на урожай не оказывают. Сорные земли можно, конечно, очищать хорошей обработкой. Но это частично. Если много развелось сору, то нужны радикальные меры, то есть чистые пары!

— А гербициды?

— Мы их не применяли: у нас мало сорняков. Но я ездил смотреть, как они действуют. Хорошо. Очень полезно! Только... — Александр Степанович потрогал свои усы,

покрутил головой.— Все же как получается? Эти химические средства уничтожают те сорняки, которые уже выросли и, следовательно, успели землю-матушку истощить — высосали влагу, питательные вещества, обидели культурные растения. Так? Вот видите. Гербициды хорошо убивают сор, но лучше бы сору этого было как можно меньше.

Мысли Александра Степановича сводились к тому, что и гербициды нужны, но главное все же — уничтожать сорняки до того, как они вылезли наружу, чтобы не давать им грабить землю, обкрадывать хлеборобов. Значит — культура земледелия!

По мнению Александра Степановича, сильно засоренные земли нужно обязательно паровать. Чистый пар пока единственное радикальное средство в борьбе с сорняками. Он имеет и другие полезные свойства, но здесь это сейчас самый надежный путь.

В последние годы о парах ведется много разговоров. Среди сибирских ученых и практиков мне не приходилось встречать таких, которые утверждали бы, что в засушливой зоне Сибири и Казахстана можно строить правильные севообороты без чистого пара.

А много ли чистых паров в Сибири и Северном Казахстане? Очень мало. В Павлодарской области менее пяти процентов, в Омской — не больше трех процентов.

Хлеборобы засушливых районов хорошо знают, что такое чистый пар. В Нижне-Иртышском совхозе (директор совхоза Кирилл Александрович Хорошун — Герой Социалистического Труда; звание это он получил за умение выращивать высокие урожаи) в 1959 году собрали средний урожай зерновых свыше восемнадцати центнеров с гектара — самый высокий в Саргатском районе, да, пожалуй, и в области. В совхозе сохранены чистые пары, обрабатываются они по методу Т. С. Мальцева, а результаты говорят сами за себя: в прошлом году на первой ферме совхоза на паровом поле собрали яровой пшеницы по двадцати восьми с лишком центнеров с гектара. На второй ферме пшеница, посеянная по чистому пару, дала тридцать два центнера. А ячмень, шедший второй культурой после чистого пара, обрадовал тридцатью девятью центнерами зерна с гектара.

Цифры-то какие! Дух захватывает!

Так разве можно жалеть, что паровое поле отдохнуло годик? Оно же после отдыха за все рассчитается даже с излишком.

Кирилл Александрович говорит, что самое главное в земледелии — жестокая борьба с сорняками. В его совхозе вся агротехника направлена на первоочередное истребление этого врага.

— Чистый пар способствует накоплению влаги, — говорит Хорошун, — и именно в паровом поле можно хорошо очистить землю от сорняков. Но важно, конечно, чтобы и дальше не давать им пощады.

И здесь не дают пощады сорнякам. Все поля сразу после уборки обязательно взлущивают дисковыми лущильниками. Прием, понятно, не новый, однако в последние годы он в Омской области, например, почти не применяется. А ведь известно, что если взлущить поле сразу после уборки, то на нем взойдут семена осылавшихся и занесенных ветром сорняков. Вот тут-то их и умертвить последующей вспашкой на зябь.

Особенно тщательно нижеиртышцы ведут бой с сорняками весной. На тех полях, где отмечено их появление, делают двойную культивацию; первую — ранней весной, чтобы разрыхлить верхний слой и создать условия для прорастания сорняков, а вторую — для уничтожения проросших сорняков. А уничтожил сорняки — сразу и сей. В этом хозяйстве и сроки сева устанавливаются в зависимости от засоренности полей: вначале сеют по более чистым землям, а на сорных полях — только после того, как сорняки прорастут и будут истреблены культивацией.

Конечно, и в этом нет ничего нового, оригинального. Все же в прошлую весну, как и во многие предыдущие, большинство полей в Омской области засевалось не после второй культивации, а после одной-единственной, причем некоторые поля и вовсе остались без культивации. Сорнякам и раздолье!

И вот о чистых парах...

На декабрьском Пленуме ЦК КПСС Н. С. Хрущев говорил о той целине, которая распахана, но полностью не освоена. В том числе и занятые пары в Сибири и Казах-

стане. Никита Сергеевич подчеркнул, что это не означает, что надо покончить с черными парами.

О занятых парах в Сибири сказал мне недавно такой страстный поборник черных паров, как Александр Степанович Швыммер. Это он доказывал, что при отсутствии черного пара с сорняками быстро не управиться. И вдруг сам он..

— Никита Сергеевич очень правильно подметил насчет занятых паров,— говорил Швыммер.— У нас можно начинать на занятые пары переходить. Мы уже попробовали в 1959 году. Ничего, выходит.

Александр Степанович выложил интересные расчеты. В колхозе под чистыми парами две с половиной тысячи гектаров. Это ведь большая площадь. В прошлом году попробовали одно поле засеять смесью подсолнечника с овсом. Почему именно этой смесью? Потому, что ее можно убирать на силос уже в июле, а сняв урожай, начать обработку поля по типу пара. Получается нечто вроде полупара.

— А нынешней весной,— продолжает Александр Степанович,— мы половину паровых полей засеем ячменем. Его рано можно сеять, и эта культура быстрее всех созревает. Ячмень и на зерно можно убирать в конце июля. Пусть он только по тонне даст — это же столько хлеба! А уберем мы его в июле и сразу начнем обработку: вспашем, до осени успеем очистить поле от сорняков — прокультивируем, пролущим, если надо, и перепашем.

— Без чистых паров останетесь?

— Нет, не совсем. На полях третьей бригады — той, что влилась к нам в прошлом году,— земли сильно засорены, там без чистых паров пока нельзя. А на своих старых, где уже два цикла севооборотов прошло,— там можно переходить и на занятые. Где сорняков еще много, не обойтись без чистых паров. Ни в коем случае! — подчеркнул Александр Степанович.

Точно так же поступают и в Северо-Любинском совхозе. И здесь осуществляют переход на занятые пары. Но вот что интересно: здесь тоже есть прирезки — около грех тысяч гектаров прирезали от других хозяйств, и земли эти оказались сильно засоренными. С чего же начали хозяйничать на этих землях нынешние, более опытные хлеборобы? А с того, что в первый же год почти треть пашни отвели под чистые пары.

Значит, вырисовывается путь к более высоким сборам продукции. В передовых хозяйствах, где земли в значительной мере очищены от сорняков, вводить занятые пары. В тех же хозяйствах, где борьба с сорняками остается еще проблемой, без чистых паров никак нельзя! Это сильнейшее оружие против «врага номер первый» надо использовать в полной мере.

В ПОХОД НА СОРНЯКИ!

Вообразите такую картину: кто-то на машине заехал в густую пшеницу, смял ее, затантал. Конечно же, это вызовет всеобщее возмущение, и можно не сомневаться, что виновные будут наказаны.

А теперь представьте себе такое положение: из года в год руководители хозяйства пренебрегают элементарными приемами агротехники, тем самым помогая распространению сорняков на полях. Чем они лучше тех, кто топчет и мнет выросший хлеб? Там, где вытоптали хлеб, в будущем вырастет другой. А вот там, где засорили поле и где количество сорняков увеличилось,— там и в будущем и во многие последующие годы неизбежен большой недобор урожая. Но за это пока не наказывают.

Не пора ли начать всенародный поход на сорняки? Ведь избавление от них — это один из главных резервов повышения урожайности. Значит, и в планах борьбы за урожай главное внимание надо уделять уничтожению сорняков. Истреблению любыми путями! А их, этих путей, много, очень много. И, право же, надо бы наказывать невероятных хлеборобов, допускающих засорение полей, порчу всенародного достояния.

Немало сорняков на поля приносится ветром. Для борьбы с ними нужно, чтобы межи и все места у лесов и дорог обкашивались до того, как созреют семена сорняков.

Решением декабрьского Пленума предусмотрено увеличение производства химических средств борьбы с сорняками. Это очень правильно. Но нельзя не обратить внимания на замечание Александра Степановича Швымера: все же гербициды уничтожают лишь выросшие сорняки, те, что уже снизили урожай, ограбили землю.

Не смогут ли наши славные химики принять заказ хлеборобов — изготовлять химикаты, с помощью которых уничтожались бы не только выросшие сорняки, но и их семена в земле и корневища, не успевшие еще дать отростков? Чтобы, скажем, поле можно было обработать такими химикатами перед пахотой на зябь или на пары. Американские фермеры, приехавшие к нам, говорили, что у них есть такие гербициды. Они могут быть и у нас, они очень нужны. Вот тогда-то и в самом деле не потребовалось бы в условиях Сибири миллионы гектаров земель отводить под черные пары так часто, как требуют этого разрабатываемые схемы севооборотов.

Агрономы должны возглавить борьбу с сорняками.

Мне много раз приходилось видеть агронома совхоза «Боевой» Николая Михайловича Климанова за чтением интересной «книжки». Назвали ее здесь: «История полей». В ней можно узнать о поведении каждого совхозного поля: какая обработка ему дана в любом году, когда оно засеяно, какой урожай получен. И обязательно — какие сорняки в каком году проявили себя. Это же очень важно. Известно, что не все сорняки дают о себе знать ежегодно. Например, сурепка вырастает не каждый год, даже овсюг не всегда одинаково активен. Следовательно, надо «засекать» каждый появившийся сорняк и принимать меры к его уничтожению еще в земле.

Совхоз «Боевой» тоже добился больших успехов в выращивании урожая. На тех отделениях, где севообороты давно освоены, урожай зерна неизменно превышает сто пудов с гектара.

А многие ли агрономы ведут книги истории полей?..

Нужны, конечно, и государственные мероприятия в борьбе с сорняками. Мы уже говорили об ответственности за засорение полей. А вот вам пример, так сказать, узаконенного засорения. Речь идет о семенах.

Когда-то были разработаны стандарты на семенной материал; к посеву пшеницы разрешались такие семена, в килограмме которых имеется сто семян сорняков, а по весу — даже полтораста. Допустим теперь, что на гектар высеяли сто шестьдесят килограммов такой пшеницы. Значит, уже занесено шестнадцать тысяч (!) семян сорняков. В первый же год они дадут урожай, достаточный для хорошего обсеменения всего поля, — сорняки более урожайны, нежели культурные растения. Но в действительности высеивается много семян с гораздо большим наличием сорняков, чем даже предусмотрено стандартами.

Разве нельзя поставить вопрос так: ни единого сорняка, занесенного на поле с семенами?

Можно. А главное, нужно! Возросший уровень техники позволяет очищать семена от сорняков. А может, химики и в этом деле помогут — чтобы уничтожить семена сорняков в момент сортировки зерна или в момент его посева.

Надо как-то перекрыть все каналы к засорению полей. Ведь от успешного решения этой задачи зависит получение нескольких дополнительных центнеров зерна с каждого гектара, огромная экономия затрат на сортировке, на обработке чистых от сора полей. Нам кажется, все это можно выразить такими словами: уничтожить сорняки на полях — это значит досрочно выполнить задание семилетки по повышению урожайности всех культур.



ОТКЛИКИ И КОММЕНТАРИИ

По страницам иностранных литературных журналов

ПОСЛЕСЕНТЯБРЬСКИЕ РАЗДУМЬЯ

США

«А т л а н т и к», ежемесе-
чный литературно-пуб-
лицистический журнал.
№№ 10, 12. 1959. Бостон.
Редактор Эд. Уикс.

На исходе минувшего лета в редакции журнала «Новый мир» побывала группа американских литераторов, посетивших СССР по приглашению Союза советских писателей.

Гостей было трое. День тот выдался, как и все прошедшее лето, знойный, и, может, поэтому разговор шел не то чтобы очень уж оживленный, но и не вовсе вялый. Похоже было, что спрашивающие — по крайней мере двое из них, драматург и критик, — строят беседу, как заранее рассчитанную шахматную комбинацию. Но ходы их не были неожиданными...

Третий гость в игре не участвовал. Самый старший из всех по возрасту, он с искренней заинтересованностью задавал простые вопросы, касавшиеся существа обыденной журнальной кухни: сколько штатных сотрудников работает в редакции? Каковы взаимоотношения редакции с типографией? Как платится гонорар? Много ли приходит в журнал читательских писем?..

Эдуард Уикс — так звали этого нашего собеседника — издает и редактирует один из самых крупных и, пожалуй, самый серьезный американский литературный журнал «Атлантик», выходящий в Бостоне. Журнал этот у нас хорошо знают все, кто интересуется американской литературой. Там после долгого перерыва, последовавшего за публикацией книги «Старик и море», Хемингуэй напечатал не так давно два новых рассказа; там нередко выступали Дос Пассос и Стейнбек. И вместе с тем публицистика на страницах «Атлантик» никакими особыми достоинствами в ряду прочих американских журналов не отличалась, авторы статей не чурались общепринятого тона «холодной войны» — разве только старались соблюсти интеллигентную солидность.

Впрочем, про эту сторону дела разговора в тот день не было. О журнальной же технике с Уиксом говорить было интересно, как всегда бывает интересно толковать по существу дела с человеком, который это свое дело знает и любит. А впечатление от знакомства с Уиксом было такое, что в издательском деле он видит не только разновидность «бизнеса» и что репутация журнала и плоды труда тех писателей, которые с его журналом связаны, ему также дороги.

В заключение беседы по инициативе Уикса зашел разговор о том, что первый и весьма поначалу поверхностный контакт между американским и советским литературными журналами стоило бы закрепить и использовать, для того чтобы взаимная информация читателей стала обильнее и глубже, чем прежде. Это были хорошие слова, и мы с ними согласились.

На том мы тогда и простились с гостями, а уже несколько месяцев спустя смогли убедиться, что разговор о пользе контактов был далеко не пустым разговором.

За это время в жизни всего современного мира произошли огромные перемены, и, конечно, исторической приметой и одновременно причиной этих перемен явилась сентябрьская поездка главы Советского правительства Никиты Сергеевича Хрущева в Соединенные Штаты.

Новые и глубокие послесентябрьские раздумья охватили после этих событий самые различные круги общества в США. И одно из весьма выразительных подтверждений этому заключалось также и в пакете, присланном не так давно Эдуардом Уиксом

★

из редакции «Атлантик» в редакцию «Нового мира». Ункс прислал вырезанную из десятой книжки «Атлантик» статью Льюиса Мэмфорда, а также гранки двенадцатой книжки, содержащие ряд читательских откликов на эту статью.

Статья называется «Мораль массового уничтожения».

Ее автора журнал характеризует в небольшом вступлении, предпосланном статье: «Философ, писатель, авторитет в области городского планирования и американец, откровенно высказывающий свое мнение, Льюис Мэмфорд напоминает нам о полном уничтожении, которое грозит человечеству, если эксперименты с ядерным оружием будут продолжаться без всякого контроля. Теперь, во время прямых переговоров с Н. С. Хрущевым, необходимо, чтобы обе стороны помнили о страшных последствиях, к которым может привести существующее ныне положение».

Статья кажется нам содержательной и глубоко симптоматичной, и мы (благодаря при этом г-на Эдуарда Ункса за ее присылку) предлагаем эту статью нашему читателю, незначительно сократив лишь те места, которые касаются сугубо внутренних обстоятельств американской жизни и требовали бы специальных разъяснений для нашего читателя.

ЛЬЮИС МЭМФОРД

МОРАЛЬ МАССОВОГО УНИЧТОЖЕНИЯ

Начиная с 1945 года американское правительство использовало большую часть нашей национальной энергии для подготовки полного истребления человечества. Эта несколько странная задача изображалась как научный метод обеспечения всеобщего мира и национальной безопасности, однако и в том и в другом отношении поставленные цели достигнуты не были. Наши безрассудные экспериментальные взрывы атомных бомб — всего лишь маленький рекламный образчик того, что может принести атомная война, но и они уже причинили значительный ущерб человечеству. По закону возмездия первыми жертвами наших ведущих к геноциду экспериментов наряду с обитателями тихоокеанских островов и японскими рыбаками становятся наши собственные дети и, что еще ужаснее, даже будущие дети наших детей.

Почти с самого начала все наши усилия в развитии ядерного оружия были совершенно открыто направлены против одной страны — Советской России. Пока наше правительство было поглощено проблемой, которую оно само себе навязало, — как помешать России и силой воспрепятствовать распространению коммунизма, — мы совсем забыли об иных, гуманистических целях. Теперь политическая и военная стратегия, которую, исходя из уверенности, что за нашей страной навсегда закреплено превосходство в ядерном вооружении, проводили наши руководители, потерпела полное банкротство — настолько полное, что скорее всего ликвидировать последствия этой стратегии без больших потерь не удастся.

При существующем положении даже оправданные полицейские акции — в качестве представителя ООН и при поддержке большинства его членов — мы можем проводить только с согласия России и Китая. Если же они отказывают в своем согласии, как это было в случае с Кореей, то даже еще возможная для нас, по мнению некоторых наших стратегов, ограниченная война превращается в безграничное унижение, о чем нам должно постоянно напоминать злополучное перемирие в Корее, где все спорные вопросы так и остались неразрешенными. Однако, если мы вознамеримся оспаривать это вето, нам придется прибегнуть к нашему тотальному оружию, которое окажется теперь столь же роковым для нас и для всего остального человечества, как и для России и Китая. Заслуженные боевые генералы, которые позволили себе вслух заявить об этом бессрочно, были вынуждены подать в отставку.

Такое положение вещей должно заставить нас задуматься. Хотя каждый новый этап развития науки в области разработки ядерного оружия и межконтинентальных баллистических ракет только увеличивает размах подготовляемой нами катастрофы, угрожающей уже существованию самой планеты, наши руководители по-прежнему сосредотачивают все усилия нации на ускорении этого развития. Так почему же мы продолжаем прислушиваться к тем ошибочным советам, которые обрекли нас на «холодную войну», хотя наши же собственные военные планы привели к тому, что

никакая реальная война уже невозможна, поскольку единственным логическим завершением напряжения, созданного в первую очередь нами самими, может быть только всеобщее уничтожение? Благоразумно ли по-прежнему верить паши жизни политическим, военным и научным советчикам, которые близоруко поставили самое существование нашей страны в зависимость от определенного вида оружия и уже потерпели поражение в этой рискованной игре,— и в том случае, если даже, отчаявшись, они и попытаются пустить это оружие в ход, и в том случае, если, так и не прозрев, решатся скрыть свою ошибку, не пустив его в ход совсем?

Так что же именно дало толчок цепной реакции ошибок, просчетов, заблуждений и принуждения, которая привела нас к нынешнему невозможному положению? Пока мы откладываем признание наших национальных ошибок, трудности их исправления и угрожающая нам опасность с каждым днем все растут.

Для того чтобы выработать новое направление нашей политики, нам нужно вернуться к тому моменту, когда мы приняли роковое решение во всем полагаться на оружие массового уничтожения. Необходимо помнить, что этот моральный срыв не был вызван какой-либо угрозой со стороны России или мирового коммунизма и уж во всяком случае не наличием у России подобного оружия. Ведь, кстати сказать, сама доктрина массового уничтожения возникла задолго до того, как была изобретена атомная бомба.

Принципы, на которых строилась стратегия массового уничтожения, впервые были провозглашены фашистскими военными теоретиками и, в частности, генералом Дуэ, который, подобно нашему майору Северскому, считал, что небольшие воздушные силы могут заменить значительную наземную армию, совершая массированные налеты на мирное население и тем самым подрывая волю нации к сопротивлению. Такое возвращение к варварским правам бронзового века, когда практиковалась тотальная война, было логическим следствием той готовности, с какой фашизм обратился к террору и пыткам как орудию государственной политики. Когда методы массового уничтожения были впервые применены на практике — Муссолини в Абиссинии, Гитлером в Варшаве и Роттердаме,— они пробудили ужас в наших еще не зачерствевших сердцах. Как мы правильно тогда заключили, система взглядов, оправдывающая подобные действия, направлена не только против демократии — она направлена против всего человечества.

В разгар второй мировой войны взгляды англоязычных союзников претерпели решительное изменение — так в «Гамлете» во время последней дуэли Гамлет схватывает шпагу, которую Лаэрт намазал ядом, чтобы наверняка покончить со своим врагом. Фашистские державы стали жертвой собственной стратегии — и США и Великобритания прибегли к массированным бомбовым ударам, как скромно назывались воздушные налеты, имевшие целью полное разрушение крупнейших городов, истребление и терроризирование их жителей.

Приняв этот метод ведения войны в качестве дешевой замены всех прежних — дешевой потому, что сберегались жизни солдат, по стоимости бесчисленных жизней других людей, а также уничтожения невозстановимых богатств, накопленных множеством предшествовавших поколений,— демократические правительства санкционировали каннибальские приемы фашизма. И это была самая прочная победа фашизма, самая унижительная капитуляция демократии. Это моральное перерождение омрачило конечный военный триумф демократических стран и по сей день продолжает отравлять нашу политику, как внешнюю, так и военную.

В цивилизованном обществе война всегда была зверством, даже если она велась во имя благородной и справедливой цели. Однако на протяжении пяти тысяч лет человечество создало определенные моральные нормы и запреты. Так, например, моральный кодекс современного солдата не позволяет ему отравлять воду или уничтожать невооруженное население мирных городов, хотя такие приемы представлялись вполне закономерными и похвальными какому-нибудь Ассурбанипалу или Чингисхану — нравственным вырождакам, чьи имена стали в истории символом бесславия. И вот почти за одну ночь наши соотечественники превратились в подобных вырождаков. Собственно говоря, лагеря смерти, где нацисты кремировали более шести миллионов беззащитных

евреев, принципиально мало чем отличались от крематориев, в которые превратились кварталы Токио, когда наша авиация обрушила на город напалмовые бомбы. Таким способом мы за одну ночь сожгли живого больше людей, чем их погибло от атомных бомб и в Хиросиме и в Нагасаки. Мы стремились к иным целям, но наши методы ничем не отличались от тех, к которым прибежал злейший враг человечества.

До сих пор война представляла собой совокупность операций, проводимых военными силами против военных объектов. По давно установившейся традиции считалось, что небольшая воюющая часть нации — армия — представляет собой всю нацию. Даже в тех случаях, когда армия терпела полный разгром и бывала стерта с лица земли, нация, которую она представляла, продолжала существовать; никто не убивал безоружных пленных или гражданское население, чтобы закрепить поражение страны или отпраздновать победу. Даже наши военно-воздушные силы, в значительной мере определяющие нашу современную политику, некогда гордились щепетильной точностью своего бомбометания, которое производилось только днем, чтобы обеспечить поражение исключительно военных объектов.

Еще весной 1942 года, как мне лично известно, военным советникам в Вашингтоне был разослан меморандум, ставивший следующий вопрос: если при ведении войны против Японии традиционными методами потребуется пять—десять лет, чтобы сломить сопротивление врага, а применяя массовые налеты и бомбардировку японских городов напалмовыми бомбами, этого можно добиться в один-два года, то будет ли использование второго метода морально оправданным? Право, трудно сказать, что удивительнее: что тогда в военных кругах серьезно дебатировался вопрос, насколько морально оправданным является массовое истребление, или что ныне даже большинство духовенства без всяких дебатов считает его вполне совместимым с моралью.

Именно это внезапное превращение войны во всеобщее истребление, более чем любое другое событие современности, изменило весь ход человеческой истории.

Совершенно очевидно, что принятие массового истребления как нормального следствия войны подорвало все выработывавшиеся веками моральные запреты, которые препятствовали активному выражению заложенного в человеке инстинкта разрушения. Война, какой бы жестокой и истребительной она ни была, имела формальное начало и могла окончиться официально оформленным компромиссом или капитуляцией. Но ни у кого нет ни малейшего представления о том, как можно будет остановить раз начавшееся массовое истребление с помощью ядерного оружия. И уж во всяком случае никто не представляет себе, какой, собственно, цели можно добиться с его помощью — если, конечно, не считать того, что смерть принесет избавление от невыносимого беспокойства и страха. Однако незачем заглядывать так далеко вперед. Важно помнить одно: не атомное оружие повинно в этой решительной перемене — оно лишь дало нашей стратегии, уже раньше отвергнувшей нормы морали, более эффективное средство самовыражения.

Как только идея массового истребления была сочтена приемлемой, опухоль войны на теле цивилизации — сама по себе являющаяся атактистическим рудиментом — стала злокачественным раковым образованием, грозящим отравить весь ток живой крови. Теперь любая язвочка мелкого конфликта или местных вооруженных столкновений может роковым образом захватить весь организм, лишенный защиты тех моральных и политических запретов, которые оберегали здоровое тело.

К тому времени, когда была изобретена атомная бомба, наше правительство уже не нуждалось в специальном оправдании, чтобы пустить ее в ход. Гуманное требование не употреблять этого оружия, которое выдвинули ученые-атомники, неожиданно осознавшие моральную дилемму, возникновение которой они не предвидели во время работы над атомной бомбой, было автоматически оставлено без внимания, так как уже существовал прецедент трехлетней давности. Однако трагедия взрыва в Хиросиме и Нагасаки заставила всех с ужасом и сомнением по-новому оценить происходящее; на какой-то срок ощущение нравственной вины заглушило чувство торжества и гордости. Эта запоздалая реакция была непродолжительной. И все же она заставила Генри Стимсона, государственного деятеля, чья личная безупречность всегда была выше подозрений, выступить со статьей, защищавшей правительственное решение пустить в ход атомную бомбу.

Аргумент, использованный мистером Стимсоном для того, чтобы оправдать атомный геноцид — термин, придуманный позже и резервированный исключительно для обозначения действий наших противников, — заключался в том, что в результате войны кончилась быстрее и было спасено более миллиона драгоценных жизней американских солдат. В этой статье нет нужды оспаривать такое чрезвычайно спорное утверждение. Ведь при помощи столь же практических и «гуманных» обоснований победоносная армия могла бы широко применить пытки, чтобы помешать партизанскому движению и заставить население безотлагательно согласиться на условия палачей.

Тот факт, что лишь горсточка людей рискнула выступить с критикой официального мнения, показывает всю глубину моральной апатии, которая менее чем за двенадцать лет охватила наших соотечественников. И те, кто прибегал к вышеупомянутому сравнению, не удивились, узнав, что французы — сами недавние жертвы тщательно разработанных Гитлером планов пыток и массового уничтожения — десять лет спустя разрешили военным властям применять пытки в Алжире. Наша родина в какой-то мере сделала такие зверства возможными благодаря нашей общенациональной политике. Эта политика все еще не подвергнута общественной критике и не отброшена...

Надо точно отдать себе отчет, что является причиной, а что — следствием. Не наше ядерное оружие навязало нам стратегию массового уничтожения; наоборот, наша решимость сконцентрировать все усилия на разработке методов массового уничтожения привела нас к чрезмерному увлечению ядерным оружием в ущерб всему остальному...

Общий характер нашего морального срыва, который (как и появление атомной бомбы) еще пятьдесят лет назад совершенно точно предсказал Генри Адамс, можно определить на основе одного только факта: большинство американцев не замечает этой перемены или — что еще хуже — не признает ее существенной. Они не сознают ни величины своей коллективной вины, ни того, что своим молчанием каждый из них индивидуально берет на себя ответственность за нее.

Наше современное увлечение ядерным оружием и равным ему по бесчеловечности химическим и бактериологическим оружием следует оценивать именно с точки зрения этого чудовищного морального перерождения...

...Наши руководители предпочли построить вокруг России грозное кольцо авиационных баз, вместо того чтобы терпеливо и осмотрительно искать пути ко взаимопониманию и сотрудничеству. И вот трудное стало невозможным.

Еще в 1947 году положение было только серьезным, но не катастрофическим. Сама наша ошибка, заключающаяся в обращении к доктрине массового уничтожения, могла бы, если бы мы честно и открыто признали ее, помочь как нам, так и всему миру вернуться на правильный путь. В то время наша система тотального оружия еще окончательно не консолидировалась и пока не угрожала нашим демократическим институтам; война скорее влила в них новые силы, и они еще не были ослаблены официальной секретностью, подозрительностью, малодушной покорностью и коррупцией, которые неизбежно сопутствуют абсолютной власти, огражденной от контроля общественного мнения. А тем временем доктрина массового уничтожения, которой противопоставлены общественное обсуждение или открытая оценка, занимала, к несчастью, все более прочные позиции...

Сделав в тот период, когда генерал Эйзенхауэр был начальником генерального штаба, ставку на стратегию массового уничтожения, Соединенные Штаты оставили без внимания своевременные предупреждения ведущих ученых мира и соображения, диктуемые простой гуманностью. Вместо того чтобы провести ряд всемирных конференций, на которых опасности, таящиеся в использовании ядерной энергии, были бы полностью раскрыты не только физиками, но и учеными других специальностей, наши официальные круги стали сознательно преуменьшать эти опасности, используя все виды цензуры, чтобы ограничить распространение сведений, необходимых для правильной их оценки. Упрямо стремясь эксплуатировать ядерную энергию исключительно в интересах своей страны, наше правительство с помощью самой широкой рекламы пыталось создать ложное ощущение безопасности. Вместо того чтобы вернуть нам наш

моральный авторитет, прекратив безрассудные эксперименты, которые, распространяя все накапливающуюся отраву, вполне справедливо внушали миру серьезные опасения, мы наотрез отказались пойти на это, позволив таким образом России, когда она догнала нас, взять на себя благородную инициативу в этом вопросе. Даже на сессии ООН, где опасность, грозящая миру, была обрисована совершенно ясно, наши представители помогли провалить русскую преамбулу к решениям сессии, требовавшую полного прекращения экспериментальных ядерных взрывов.

Для объяснения этого упрямого цепляния за позорную доктрину массового уничтожения следует помнить, что побочные ее следствия оказались столь же деморализующими, как и основная цель. Менее чем за десятилетие Соединенные Штаты успели вложить в орудия массового уничтожения огромные капиталы — как в сами расщепляющиеся материалы, так и в весьма доходные отрасли промышленности, изготавливающие электронное оборудование, самолеты и управляемые снаряды, которые должны доставлять эти расщепляющиеся материалы к намеченной цели. Имеются десятки тысяч ученых и инженеров, занятых изысканиями в области ядерной физики, бактериологии и химии, чтобы увеличить радиус действия и эффективность смертоносного оружия, хотя мы хвастливо заявляем, что уже накопленных у нас запасов достаточно для уничтожения всей планеты. Имеется также ряд организаций — воздушные силы, комиссия по атомной энергии, крупные промышленные корпорации и располагающие гигантскими фондами атомные центры, — чья мощь и претензии неуклонно возрастают по мере роста их доходов и престижа. При данном положении вещей сила этих организаций зависит от того, насколько послушно мы будем принимать ошибочные постулаты, которые они нам навязывают. Все эти организации в настоящее время отгораживаются от остальной страны стеной тоталитарной тайны, совершая свое тоталитарное оружие и функционируя вне досягаемости общественного мнения и общественной цензуры. Каковы бы ни были научный багаж и специальные познания людей, работающих в этой области, однобокость их интересов и ограничения как в профессиональной деятельности, так и в общении с другими людьми не могут не наложить свой отпечаток на их восприятие жизни. В силу своего призвания они живут в суженном и искаженном мире. Вся сумма их коллективных суждений остается неполноценной, так как в полученные ими директивы не был с самого начала включен моральный критерий.

И разве удивительно, что даже в том узком секторе науки, которым, по мнению наших ядерных деятелей, они полностью овладели, они делали одну ошибку за другой? Они снова и снова вынуждены были признавать, что завышали «допустимые», по их подсчетам, лимиты воздействия радиации, причем, судя по накопившимся новым данным, им придется снова свидетельствовать, что их цифры были завышены. Точно так же они допустили напугавший их самих просчет при определении радиуса распространения радиоактивных осадков и их летальности после взрыва водородной бомбы и пытались скрыть этот просчет с помощью клеветы, начав с отрицания несчастья, постигшего по их вине японских рыбаков. Некоторые из них, опираясь на свой научный авторитет, даже выступили с псевдонаучными заверениями, отрицающими неизбежность биологических мутаций, — заверениями, истинность которых можно будет проверить лишь через пятьдесят лет. Более того, в вопросах, непосредственно входящих в их область точного знания, суждения этих авторитетов неоднократно оказывались ошибочными и пагубными.

Все это не должно нас удивлять: ни наука, ни ядерная энергия не наделяют тех, кто пользуется ими, сверхъестественными способностями. Однако удивления достоин тот факт, что американский народ верил заботу о своем благополучии и безопасности, о самом своем существовании этим опрометчивым, легко ошибающимся людям и тем, кто санкционировал их уничтожающие мораль планы. Под видом рассчитанного риска наши ядерные стратеги подготовили рассчитанную катастрофу. И в какой-то момент, которого нельзя предугадать, их безумные фантазии могут превратиться в невыразимо ужасную действительность.

Неужели кто-нибудь искренне верит, что, если не случится чуда, наша современная политика может привести к иному исходу? Если эта политика имела хоть какое-то подобие оправдания до 1949 года, когда Россия создала свою первую атомную

бомбу, то она была полностью дискредитирована в 1950 году, во время войны в Корее, и стала самоубийственной, когда Россия доказала свое преимущество в области ракетной техники. Тот факт, что Россия обладает теперь таким же, если не более мощным, оружием массового уничтожения и проводит те же губительные эксперименты, что и мы, увеличивает грозящую нам опасность, но несколько не уменьшает нашей первоначальной вины. Не оправдывает этот факт и глупого упрямства, с которым мы цепляемся за устаревшую, дискредитированную стратегию, основанную на отрицании морали и здравого смысла.

Единственным реальным оправданием того, что мы продолжаем опираться на оружие тотального уничтожения могла бы послужить уверенность, что в настоящее время оно безвредно, а в будущем ни при каких условиях не будет пущено в ход ни одной из сторон. Но какой разумный человек способен утешаться подобной надеждой? Ведь даже наши экспериментальные взрывы, вдвое более многочисленные, чем русские, уже отравили молоко, которое пьют наши дети, нарушили хрупкое экологическое равновесие в природе и — что еще хуже — осквернили нашу генетическую наследственность. Что же касается предположения, что ядерное оружие не будет пущено в ход, — спросите об этом наших детей, которых периодически подвергают садистским репетициям поведения во время воздушных налетов и учат «играть в катастрофу». Трудно себе представить, какой гигантский вред причинили юным душам эти холодные ванны страха и вражды, служащие в конечном счете только одному — как можно надежнее закрыть единственный путь к спасению.

Есть люди, готовые защищать эти планы, ссылаясь на то, что лучше благородно умереть за демократию и свободу, нежели жить под гнетом коммунизма. Эти апологеты атомного оружия, пожалуй, слишком уж преувеличивают разногласия, существующие между нашими двумя системами, но еще больше они оцифруются, применяя к массовому уничтожению лозунг, который был оправдан только до тех пор, пока подобная смерть была скорее символической и пожинала относительно небольшое число жертв на ограниченной части планеты. Но ядерное оружие наносит урон все возрастающий и непоправимый. Оно не допускает запоздалого признания ошибки или раскаяния и не дает пощады.

Какой же здравый смысл может предоставить каждому данному правительству или даже целому поколению — склонным к ошибкам и самообману, близоруким и заблуждающимся — право принимать окончательные решения, от которых зависит существование хотя бы одной страны? Более того, как может одна страна считать своим внутренним делом решение, от которого зависит здоровье, жизнь, все дальнейшее существование человечества?

Нет слов, способных выразить всю безмерную дерзость подобной мысли или всю безмерность преступления, которым явилась бы любая попытка осуществить ее на деле. Те, кто считает, что какая-либо одна страна имеет право принимать подобные решения, безумны не менее, чем капитан Ахав в романе Мелвилла «Моби Дик». В России они видят белого кита, которого во что бы то ни стало надо догнать и загарпунить. И, как Ахав, они, поглощенные этой безумной охотой, не слушают напоминаний о родном доме, любви, семейном долге; чтобы уничтожить объект своей ненависти и страха, они готовы выбросить за борт секстанс и компас, которые могли бы напомнить им о правильном моральном курсе; и кончится тем, что они потопят свой корабль вместе с командой. Вот ради каких антигуманных, развращающих душу целей и вот каким неуравновешенным людям наше правительство готово доверить наши жизни в случае необходимости, которую, к сожалению, нетрудно себе представить. Эти люди вынуждены были признать, что даже несчастная случайность может привести к тем страшным результатам, которые они запланировали, — и несколько раз это уже чуть не произошло. Для того чтобы принять их планы и вытекающие из них решения, нам пришлось сознательно анестезировать нормальные мнения, чувства, тревоги и надежды, которые могли бы помочь нам опомниться.

Никто не может объяснить, каким образом мы могли бы в необходимой мере возродить чувство моральной ответственности и инициативу. Невозможно также предсказать, когда именно наша страна поймет недопустимость уничтожения человеческих

жизней как во время экспериментальной разработки этого гнусного оружия, так и в случае начала решающего конфликта, методы ведения которого сводят к нулю самую возможность поставить перед собой какую-либо рациональную цель. Безусловно, сомнительно, чтобы давление общественного мнения смогло вызвать подобное изменение правительственной политики — разве что под влиянием какого-то внезапного и устрашающего кризиса, но тогда, пожалуй, будет уже поздно. Однако твердое и правильное руководство в нужную минуту сможет очистить атмосферу и осветить путь впереди. Пока мы еще не воспользовались нашим оружием массового уничтожения, все, совершенное нами до сих пор, можно исправить и загладить — все, разумеется, кроме того, что наша пища и наша генетическая наследственность уже отравлены стронцием 90 и углеродом 14. Однако, прежде чем мы сможем скомандовать в политике «вперед шагом марш», мы должны сделать моральный «поворот кругом».

С другой стороны, если американский народ сумеет правильно оценить мораль массового уничтожения, новый политический курс и необходимые решения появятся сами собой. Это значительно быстрее приведет к улучшению отношений между двумя державами, ныне вынужденными готовиться к взаимному уничтожению друг друга, чем бесконечные переговоры между главами правительств.

Моральный «поворот кругом» вовсе не означает, как полагают те, чей здравый смысл заморожен «холодной войной», полную сдачу всех позиций русскому коммунизму или ряд бессмысленных уступок; не означает он и усиления опасности, которая нам уже угрожает, — напротив. Те, кто не видит иного выхода, кроме гонки вооружений, все еще живут в доатомном веке, они не понимают, что наш главный враг не Россия, а наше собственное коварное оружие и что именно наше увлечение этим оружием мешало и мешает нам найти и предложить необходимые меры для обеспечения всеобщей свободы, а главное, для охраны человечества от бессмысленного отравления и истребления.

Никакая опасность, с которой нам придется столкнуться после нашего отказа от самой возможности массового уничтожения, не будет столь грозной, как та, что угрожает нам теперь... Конечно, надо рассуждать трезво и не преуменьшать трудностей этого переходного периода и возможных потерь, однако не следует также преуменьшать и действенность новой политики, направленной на полное восстановление морального контроля и политического сотрудничества, необходимых для того, чтобы человечество могло покончить с угрозой злоупотребления могучей и разрушительной энергией, находящейся ныне в его распоряжении.

Даже в чисто военном смысле это изменение ориентации может создать величайшие затруднения для тех коммунистических правительств, которые, не поняв его значения, попытаются использовать его в узконациональных целях. Россия так же не может избежать воздействия наших гуманных планов и человеколюбивых предложений, как не могла она уклониться от нашего вызова в гонке ядерного вооружения. Если мы обратимся к силам гуманизма, милосердия и морали с той же энергией, с которой мы питали человеконенавистнические силы разрушения, то какое правительство, даже самое недоверчивое и подозрительное, сможет выступить против нас, не боясь ответственности перед собственным народом?

Сейчас не время и не место формулировать тот новый политический курс, который начнется с полного отказа от ядерного вооружения, предназначенного для массового уничтожения, и приведет к развертыванию созидательной работы во всех тех областях, которые мы из-за «холодной войны» вынуждены были забросить. К счастью, Джордж Кеннан, единственный государственный деятель — или, вернее, бывший государственный деятель, — у которого хватило мужества признать наши прежние просчеты, уже наметил основные черты лучшего политического курса, и его предложения можно было бы расширить и дополнить во многих отношениях, когда мы наконец преодолеем наш официальный страх перед Россией и нашу упорную веру в массовое уничтожение как панацею от всех бед.

Однако основой всех практических предложений должно быть возвращение к человеческим чувствам и совести, к моральным нормам и уважению к человеческой жизни в качестве факторов, контролирующих работу разума. Проблемы, которые наша

страна пыталась разрешить только с помощью бездушного оружия, управляемого отвлеченным, лишенным моральных устоев, бездушным разумом, таким способом разрешить было нельзя. Подлинный руководитель поймет, что теперь настало время, когда надо возродить утерянные принципы истинной человечности и выдвинуть благородные предложения, цель которых — обеспечить нормальное существование и дальнейший прогресс человечества.

* * *

На этом кончается статья Льюиса Мэмфорда.

Нет надобности повторять нашему читателю то, о чем стоило бы напомнить американскому автору.

С автором этой несомненно честной, взволнованной и доброй статьи нельзя, например, согласиться, когда свою веру в здравый смысл человечества он противопоставляет такому конкретному и полезному проявлению этого здравого смысла, как переговоры между главами правительств. Ведь до сентябрьской встречи Н. С. Хрущева с Д. Эйзенхауэром мы что-то не читали в американской печати статей, подобных выступлению Л. Мэмфорда в журнале «Атлантик».

И не поздно ли писать, что «американская» инициатива в вопросе об отказе от ядерного оружия сделала бы неизбежным воздействие таких гуманных планов и «на Россию»? Такая инициатива не может и никогда не будет принадлежать США, ибо она давно уже принадлежит именно России: об этом в полный голос заявил с трибуны ООН Никита Сергеевич Хрущев; с обращением по этому поводу Верховный Совет Советского Союза обратился ко всем парламентам мира. И следует полагать, что не Россия, а как раз Америка, как говорит в своей статье Льюис Мэмфорд, «не может избежать воздействия наших гуманных планов и человеколюбивых предложений».

Но как же отнеслись к этой статье читатели журнала «Атлантик»?

В гранках, присланных нам из редакции «Атлантик», содержалось пятнадцать читательских писем.

Двенадцать из них написаны в поддержку статьи Мэмфорда; три решительно против нее возражают.

Начнем с этих последних.

Кому не понравился напечатанный в журнале «Атлантик» послесентябрьский призыв к отказу от политики страха и от игры с испепеляющим огнем?

Большинство писем, публикуемых в журнале, не имеет указания на род занятий автора и на его социальное положение. Но из трех оппонентов Мэмфорда двое сообщили о себе весьма подробно.

Их ответы мы здесь приводим полностью. Суть возражений, заключенных в этих двух письмах, объясняется соседствующими с подписью титулами, и это избавляет нас от необходимости комментировать и спорить.

Под остальными письмами указаны лишь имена и адреса.

Надо думать, что это и есть те конкретные «простые люди» сегодняшней Америки, на которых обычно ссылаются «институты общественного мнения», существующие в США. Пять авторов — женщины. Все они приветствуют появление статьи.

В «Атлантик» письма напечатаны вперемежку. Мы нарушаем этот порядок, публикуя сперва высказывания двух (из трех) оппонентов, а затем четверых (из двенадцати) защитников Льюиса Мэмфорда.

Итак, письма.

1

Сэр,

Я несказанно удивлен полным отсутствием понимания реального положения, которое характеризует статью Мэмфорда. По-видимому, он считает, что «холодную войну» изобрели Соединенные Штаты!

Написав пять с половиной журнальных страниц истин и полуистин о «холодной войне», мистер Мэмфорд затем категорически заявляет, что «нашим величайшим врагом является не Россия, а наше собственное коварное оружие». Кто, собственно, под-

разумеается под этим «наше»? Относится ли это слово только к Соединенным Штатам или оно включает и Советский Союз?

Итак, предположим, что мы уничтожим наше (Соединенных Штатов) ядерное оружие. Неужели мы наивно поверим, что Советский Союз тоже уничтожит свое оружие, что он не пустит его в ход против нас?

Явно будучи не в состоянии предложить какое-либо решение проблемы, мистер Мэмфорд торопится избрать легкий выход из положения, ссылаясь на то, что «сейчас не время и не место формулировать новый политический курс». А почему, собственно, не время и не место? Или почему бы не воспользоваться для этого следующим номером «Атлантик»? Если Мэмфорд может предложить лучший план развития отношений с Советским Союзом, чем тот, которому следует наше правительство, его моральный долг — сообщить об этом своим согражданам американцам.

Джон Слемп, редактор. Миссия американской баптистской конвенции, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк.

Сэр.

2

В «Морали массового уничтожения» Льюис Мэмфорд дает, с нашей точки зрения, совершенно неправильный анализ чрезвычайно серьезной проблемы, имеющей к тому же такой характер, что неверное решение ее не только опасно, но просто недопустимо.

Мэмфорд обрушивается на американское общество за то, что оно пытается «разрешить наши проблемы с помощью только бездушного оружия», а затем предлагает, чтобы мы «отказались» от ядерного оружия во имя того, что он называет «нормами морали».

Попытка разрешить наши проблемы с помощью «одних только моральных средств» столь же несостоятельна, как и попытка разрешить их с помощью «одного только бездушного оружия», — во всяком случае, если эти «моральные средства» не будут подкреплены материальными силами.

Мистер Мэмфорд впадает в ту же ошибку, что и многие другие. Он забывает, что основа наших противоречий с коммунистическим миром лежит в области политики и что гонка вооружений — лишь одно из следствий этих противоречий. Он, как и многие другие, ищет способа борьбы со следствием, а не с причиной. Ему хотелось бы, чтобы мы «в одиночку» занялись «моралью», пока русские будут по-прежнему преследовать те политические цели, отказываться от которых они, видимо, и не собираются.

Аллан Чарльз Браунфилд, председатель Комиссии по развитию ядерного вооружения. Уильямсберг, штат Виргиния.

Сэр!

3

Поздравляю «Атлантик» с опубликованием в октябрьском номере журнала прекрасной статьи Льюиса Мэмфорда «Мораль массового уничтожения». Это именно то, чего ждали те из нас, кто избежал разлагающего влияния маккартизма. Теперь, когда Мэмфорд проложил путь, возможно, и другие найдут в себе смелость признать, что нельзя возводить здание человеческого общества на фундаменте страха, ненависти, лжи и что только подлинная моральная сила способна вынести все испытания.

Д. М. Ле Бурде. Торонто, провинция Онтарио, Канада.

Сэр!

4

Выражаю Вам свою признательность за опубликование мужественной статьи мистера Мэмфорда. Не только большинство населения, но и наше руководство находится в печальном неведении относительно той страшной опасности, которая ежедневно нам угрожает. Это неведение явилось результатом рассчитанной политики наших близиоружных военных и гражданских властей, а также тех деятелей науки и промышленности, чье благополучие связано с созданием все более совершенного и мощного атомного оружия.

С самого начала работы по программе атомных исследований велись в глубочайшей тайне и сознательно дробились между исполнителями. Лишь горстке руководителей известен весь объем этой программы и связанные с ней опасности, а тысячи людей, активно работающих над ее осуществлением, осведомлены только о той крошечной ее доле, которая поручена непосредственно каждому из них. Существование именно такого положения вещей доказывается тем трудом, с которым подбираются и сохраняются научные штаты для этих работ. Американские ученые привыкли к свободному обмену научной информацией и не могут примириться с научной изоляцией.

Чтобы избавить ученых от несправедливых обвинений, я хотела бы указать, что многие из тех, кто работал над созданием атомного оружия, горячо выступали против его испытаний и использования и были вознаграждены за это лишь потоками гнусной клеветы или черствым равнодушием. Примером тому может служить судьба доктора Роберта Оппенгеймера, сыгравшего ведущую роль в создании первой атомной бомбы. Нет, настоящие виновники — мы сами, те, кто своим равнодушием или молчанием поощрял подобное безумие.

Наша программа гражданской обороны — чистый фарс, и игнорирование ее требований населением является вернейшим показателем того, насколько мало оно осведомлено об истинных размерах опасности.

Эйлин Милс. Бернт-Хилс, штат Нью-Йорк.

5

Сэр!

Благодарю Вас за публикацию «Морали массового уничтожения». Для всех нас полезно, чтобы нам напоминали о тех фактах, на которые мистер Мэмфорд обращает внимание своих читателей. Я не страшусь за будущее человечества, ибо я верю в человеческий разум. Подобные статьи укрепляют мою веру.

Нора Уолн. Уоллингфорд, Пенсильвания.

6

Сэр!

Льюис Мэмфорд утверждает, что он «обратится к силам гуманизма, милосердия и морали» и привлечет внимание общественного мнения к деятельности отдельных людей и организаций, занятых изготовлением и испытаниями ядерного оружия. Можно надеяться, что беседы президента Эйзенхауэра и премьерера Хрущева приведут к подобным же результатам.

Между Америкой и Россией необходимо установить какой-то минимум взаимного доверия. Иной исход означает самоубийство. Мне нравятся мои сограждане, и в настоящее время я искренне наслаждаюсь жизнью.

Дэвид Джейкобус. Бостон, штат Массачусетс.

* * *

Мы не знаем, кто таков Дэвид Джейкобус, проживающий в Бостоне (штат Массачусетс), там же, где издается журнал «Атлантик». Но, право же, меньше всего мы хотели бы помешать ему любить своих сограждан и наслаждаться жизнью.

И нас только радует тот факт, что послесентябрьские раздумья, несмотря на сердитое противодействие поборников «холодной войны» типа Браунфилда и Слемпа, помогли многим людям в Америке разглядеть, в чем таится истинная угроза их радости жизни.

А. М.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Д. ДАНИН

★

ЖАЖДА ЯСНОСТИ

(Что же такое научно-художественная литература?)

« — Это драма, драма идей,— сказал он».

(Из воспоминаний Инфельда
об Эйнштейне).

1

«**П**опулярные книги никогда научить не могут».

Страшное утверждение... Но беда в том, что оно принадлежит Фарадею. Спорить с великими трудно: они имели обыкновение не произносить ничего не значащих слов. И потому, когда даже очень хочется их опровергнуть, лучше сначала попробовать с ними согласиться.

Может быть, фарадеевский приговор популярной литературе не так уж несправедлив, как это кажется с первого взгляда? Сейчас неважно, по какому поводу был он вынесен. Важнее — не подавать кассации. В словах Фарадея содержится убеждение, что не существует двух вариантов науки: легкого — для всех и трудного — для специалистов. Есть один вариант — истинный. И нужно только решить: если научная вязь сложна, можно ли без потерь сделать ее простой? Своим приговором Фарадей отвечает: нет, нельзя. И разве он не прав?

Когда итоги науки доступны всякому любопытствующему, как это часто бывает в искусствоведении, популяризация и не нужна. Когда недоступны, как это еще чаще случается в естествознании, популяризация необходима, но почти невозможна.

В этом виновата неуступчивость природы. Она не делает тайны из своих законов — их действие она демонстрирует открыто и непрерывно, всюду и всем: «На-

блюдай и понимай!» Но она не приходит людям на помощь. И она не знает различий между простым и сложным. Наши трудности ее не касаются...

Нынешнее естествознание страшит современника чудовищной изощренностью своего научного аппарата и заумностью своего языка. Это как стена, через которую не перелезть. А перелезть так хочется! Кажется, там, за неодолимой стеной, гуляют на воле великие и ясные истины — все, до чего додумался наш век ядерной энергии и космонавтики, кибернетики и биофизики... Кажется, снести бы только эту чертову стену, упростить бы только форму современного знания, и всех осенит всеведение!

Этого мы обычно и ждем от популярных книг.

Но в науке форма знания — прямое выражение его существа. И чаще всего — единственное выражение. И самое экономное. Термины и формулы не похожи на архитектурные излишества. Неперелезая стена ограждает лабиринт, а вовсе не парк для прогулок: когда начинают сносить стены лабиринта, поемному исчезает и он сам. Преграды рвутся, но остается голое место... Упрощение формы знания связано с этим риском.

Есть люди — нередко это писатели, — которые любят с безгрешной восторженностью поговорить о мудрой простоте в устройстве Вселенной. Хотя бы однажды в жизни каждый предавался надежде, что это так и есть. Может быть, она, эта надежда, и не пуста, да только совершенно неизвестно, что стоит за нею. Критерии простоты — наши, человеческие. Они услов-

ны, и никто не решится на них настаивать. А втайне за этой верой в простоту прячется все та же жажда доступного знания.

Но как часто доступность обманчива!

Что может быть проще закона постоянства скорости света в пустоте? Его математическое одеяние скромно, как пабедренная повязка дикаря: $V = C$. Только и всего! И к этому нечего прибавить, кроме того, что «С» — мировая постоянная: она всегда и всюду одна и та же. для любого наблюдателя — и для того, кто сам при измерении стремительно движется за световым лучом, и для того, кто при этом остается на месте... Вопиющая нелепость, не так ли? Физика отвечает: нет, закон природы. Как же его осилить нашему разуму?

За внешней простотой этого закона Эйнштейну открылись в картине движущейся материи такие неожиданные и странные черты, что до сих пор теория относительности представляется нефизикам чем-то безнадежно непостижимым — «абракадаброй XX века», как позволил себе выразиться один английский литератор. Но сегодня уже никто не сможет пуститься в разговор не только об «устройстве Вселенной», но и об устройстве знаменитого ускорителя атомных частиц в подмосковной Дубне, не сославшись сначала на идеи и выводы специальной теории относительности.

А соотношение неопределенностей Гейзенберга... Оно лежит в основе еще одной «абракадабры XX века» — квантовой физики. Чтобы и этот закон записать на бумаге математическими значками, нужна секунда, не больше. Но для того, чтобы ученые и философы примирились с его физическим содержанием, оказалось мало трех десятилетий — споры длятся и сегодня.

Так не начинается ли простота там, где кончается наше любопытство? Сложность исчезает только в тот момент, когда мы перестаем спрашивать «почему?». А пока этот проклятый детский вопрос вертится у нас на языке, все неисчерпаемо сложно!

И наша тоска по простоте — это на самом деле жажда ясности, когда знание в деталях нам недоступно. К такой ясности популяризация и стремится.

Но, вынужденная оставлять без ответа даже те «почему», на которые наука уже умеет ответить, популяризация упрощает вместе с формой знания его существо. Она

неизбежно пренебрегает доказательностью знания. И тут ничего не поделаешь. Потому-то с развитием науки приговор Фарадея становится все справедливее: сегодня еще меньше, чем прежде, популярные книги «могут научить».

Но если они этого не могут, то они и не должны к этому стремиться. Остро и безошибочно раскритикованные «Комсомольской правдой» книги из научно-популярной серии издательства Академии наук тем и дурны, что «хотят научить» — хотят того, чего не могут. В результате ученым они не нужны, а простым смертным утомительно непонятны. Иными словами, они никому не адресованы.

И вот если Фарадей прав, то надо задуматься над неожиданным вопросом: где же заимствуют популярные книги свое несомненное право на существование? Не могущие научить, что они могут?

2

Недавно переизданная Детгизом прекрасная книжка покойного физика М. Бронштейна «Солнечное вещество» помогает ответить на эти вопросы.

Академик Л. Ландау предпослал ей ротенское предисловие. Он решил ее назвать «незаурядным явлением в мировой популярной литературе». Что может прибавить критик к такой высокой и такой авторитетной оценке? Новые похвалы? После отметки «пять», выставленной одним из крупнейших физиков современности, они будут выглядеть ненужно и слабо. Но хочется понять, в чем незаурядность «Солнечного вещества»...

Это история гелия. Только и всего. Ныне известны сто два химических элемента. У каждого своя биография. И едва ли не любая достойна книги — нашелся бы летописец! Значит, перед нами сугубо частный случай? Да. Но в науке, как в искусстве, а в искусстве, как в жизни, частный случай содержит в себе ровно столько, сколько каждый сумеет в нем увидеть.

В истории открытия гелия физик Матвей Петрович Бронштейн сумел увидеть так много, что, дочитав его книжку до конца, с превеликим удивлением взвешиваешь ее на ладони: мыслимо ли, чтобы в ней не было и ста страниц?! Так много, что, написанная для детей, эта книжка обрадует

и любого взрослого... Так много, что, предназначенная для несведущих, она увлечет и любого физика-профессионала...

Вот это последнее всего интереснее. Но, конечно, для надежности тут надо бы располагать свидетельством самих физиков-профессионалов. К счастью, академик Л. Ландау прямо сказал об этом в своем предисловии. Теперь подумайте, как неожиданно такое признание: детская популярная книжка по физике увлекает физика — всеведущего специалиста! Чем же? Не научными же сведениями? Нет, очевидно перед нами вовсе не «книжка по физике».

Можно знать о гелии все. Можно не знать ничего. В обоих случаях — по противоположным причинам, но с одинаковой вероятностью — читатели скажут: «Это не для нас...» Но кто решится отвергнуть книжку о доблести человеческого разума? Все знают об этом немало, но никто никогда не будет знать об этом достаточно много... Это вечная тема.

«Солнечное вещество» — повествование о дорогах и тропинках научного познания. И главный герой в этой книжке не гелий, а искания человеческого ума. Опираясь на старое сравнение ученых с разведчиками, следопытами, сыщиками, можно бы сказать, что в «Солнечном веществе», как в детективе, весь интерес сосредоточен не только на том, кого ищут, но главным образом на действиях тех, кто ищет. Тайна не интересна вне путей ее раскрытия... Другими словами, это — повествование о том, как делается наука.

«Я расскажу о веществе, которое люди нашли сначала на Солнце, а потом уже у себя на Земле», — так начинает автор, и вы сразу попадаете в плен: надо читать! «У гелия была судьба необыкновенная», — пишет автор в конце, когда все приключения уже рассказаны, загадки разгаданы, узлы развязаны. И вы, конечно, соглашаетесь: да, необыкновенная! Но дайте себе труд припомнить задним числом перипетии этой судьбы, и вы не найдете среди них ничего такого, что не повторялось бы тысячи раз в истории других научных открытий...

Непонятные явления. Случайные находки. Напрасные ожидания. Оправдавшиеся надежды. Странные совпадения. Забытые

опыты. Бессонные труды... Что еще? Внезапные озарения? Настоятельные поиски? Мук сомнения? Наконец, коллективные усилия?.. Да, разумеется, все это было в истории гелия. Но сразу видно: ее необыкновенность — шаблон в истории науки.

«Солнечное вещество» написал талантливый физик. Однако почти столетнюю биографию гелия создавали на равных правах с физиками еще и астрономы, химики, геологи. Это тоже вполне обычная вещь: скрещение интересов многих наук на решении одной проблемы. Автор выступает «един в четырех лицах»: именно скрещение разных дорог познания сделал он основой невыдуманного сюжета своей книги. Но быть как у себя дома в четырех разных областях знания (в астрономии, физике, геологии, химии) одному человеку невозможно, в XX веке — абсолютно невозможно! И достоинства «Солнечного вещества» нельзя объяснить ни талантливостью автора как ученого, ни его эрудицией. Первое здесь вообще ни при чем, а второе отразилось в детской книжке просто не могло.

Дело в том, что у М. Бронштейна была еще и пятая ипостась: он оказался писателем! Это-то всего важнее.

Но не странно ли? Автор — писатель, а книга, созданная его несомненным даром повествователя, — не повесть в обычном смысле, не традиционный очерк, не «записки ученого»... Неизвестно, как ее окрестить! Книга, просто книга. Можно бы добавить — популярная. Но это не определение литературного жанра. Это лишь указание на неограниченность круга читателей.

Однако тут сразу приходит в голову, что как раз такого рода свойством — быть адресованной всем — обладает литература художественная! Вот и хочется понять — просто ли случайно это совпадение? Или, быть может, есть популярная литература, по необходимости причастная к искусству? Тогда о мерилах такой причастности стоит подумать. О них стоит поспорить хотя бы потому, что с годами книги о науке (не «научные», а «о науке»!) будут наверняка становиться все более нужными и все более желанными для всех... Такой нынче век за окном и в человеческих душах!

3

Есть термин — научно-художественная литература. Его смысл, казалось бы, очевиден. Однако что же при этом очевидно?.. Блаженный Августин говорил о времени: «Что же такое есть время? Если никто не спрашивает меня об этом, я знаю, если же я желаю объяснить это тому, кто спрашивает, то я не знаю...» Наш случай скромнее, но беда почти та же.

Само сочетание слов — научно-художественная — загоняет в тупик привычную логику. Оно выглядит незаконнорожденным, как «веселое уныние» или «черная белиза». У древних такие вещи назывались красивым словом — оксюморон. В невежливом переводе это означало «острая глупость», в более вежливом — «глупо-остроумное». Но можно сразу утешиться, вспомнив, какую глубину таили и таят иные оксюмороны! Разве не такова, например, механика микромира с ее вполне определенным соотношением неопределенностей, с ее сочетанием прерывности и непрерывности в двойственном образе «волн-частиц»?.. А вся природа и сама жизнь разве не вечные оксюмороны? Они ведь воплощенные единство борющихся противоположностей... Сочетать несочетаемое — любимое занятие не одних поэтов, а и самого мирового хода вещей.

С этойкой высоты не так уж страшно взглянуть и на нашего кентавра — на соединение научности и художественности в едином сплаве. И все-таки нужна была истинная смелость, чтобы поверить в такой сплав и утвердить за научно-художественной литературой законные права гражданства. Мы обязаны этим Горькому, его убежденности, что быть существом мыслящим — безусловная обязанность человека и что отправление этой обязанности — наслаждение!

Но Горький сказал только законодательное слово. Оно не забылось, но и мало развивалось. Особенно после войны. Большая и спорная статья о научно-художественной литературе, превосходно написанная несколько лет назад Кириллом Андреевым и напечатанная в альманахе «Год тридцать седьмой», осталась разговором без продолжения. И я думаю, что у каждого, кто заговаривает сегодня на эту тему, должно возникнуть такое чувство, точно он начинает все сначала, на него обрушиваю-

ся все самые простые и самые трудные вопросы.

Сколько ни ссылайся на диалектику и на Горького, от этих вопросов некуда скрыться: если книга должна быть научной, как ей стать еще и художественной? А художественная — как может она умудриться быть еще и научной? Диалоги в драме Брехта «Галилей», к счастью, не наука. А ученые «Диалоги» Галилея по необходимости не драма. В романах нелепы научные объяснения, а в ученых трудах немислима беллетристика. Так возможна ли смесь? И нужна ли смесь?

Можно пуститься в длинейшее рассуждение: атомный век... покорение космоса... растущая жажда знаний... недоступность языка науки... общедоступность языка искусства... И в результате будет неопровержимо доказано: смесь нужна!

Нужна? Но ведь она непереносима для нормального читателя. И ученые улыбнутся ее научности, а писатели отвергнут ее художественность.

Можно пуститься в другое столь же длинное рассуждение: эмоциональность искусства... рационализм науки... изобразительность — в одном случае, логические построения — в другом... И в результате столь же неопровержимо будет доказано: смесь невозможна!

Невозможна? Но ведь научно-художественная литература существует. И даже радует читателя.

Как же вылезти из тупика?

По-видимому, есть один путь — признать, что эта литература вовсе не смесь научности и художественности. Она есть нечто самобытное. И черты этой самобытности надо уловить.

Тут неизбежны споры, потому что в конце концов разговор идет об эстетических правах и возможностях такой незаконнорожденной литературы.

4

Самое, казалось бы, естественное и потому самое распространенное представление о научно-художественной литературе, к несчастью, пренебрегает именно ее самобытностью. По этому представлению она отличается от всей прочей прозы тем, что ее герои — люди науки. Вот и все!

Можно бы без промедления и доказательств сказать, что это вздор. Да ведь

многие не согласятся. Напротив, скажут: конечно, все дело только в героях-ученых!

..У нас бытуют термины — производственный роман, колхозная повесть, военный рассказ. Встречаются градации и потоньше — студенческая пьеса, метростроевская поэма, заграничные стихи. Чем тоньше дробление, тем оно фельетоннее. Вот случай, когда доведенно до абсурда — кратчайший способ критики: оно помогает тотчас понять первородный грех таких классификаций в литературе, которую Горький назвал ч е л о в е к о в е д е н и е м. Она человековедение, а не ведение профессиональных добродетелей. Она изображение жизни, а не отправления служебных обязанностей.

Неделимо — человека и его жизнь — литературные рубрики делят на части. Оттого они и бесплодны: попробуйте уложить «Казаков» в рубрику «военная повесть»! А чеховская «Скучная история»? Не отнести ли ее к разряду научно-художественных произведений? Смешная идея, не правда ли?

Но позвольте, почему же смешная, если верить, что определяющий признак научно-художественной литературы — действительно принадлежность ее героев к кругу ученых? «Скучная история» — монолог старого профессора. И для Чехова крайне важно, что его патологоанатом — знаменитый ученый! Остается возразить, что чеховский герой вовсе не занимается на страницах рассказа патологической анатомией, и потому эти гениальные страницы глупо было бы причислять к научно-художественным.

Ах, вот как?! Значит, герою такого рода произведений мало быть ученым, даже знаменитым? Надо еще заниматься в тексте наукой? Но, стало быть, «самое естественное» представление о научно-художественных вещах не такое уж верное. Понадобилось дополнение: ученые должны изображаться на поприще науки.

Это, казалось бы, открывает выход из всех затруднений. Однако тут снова иллюзии.

В самом деле, как быть тогда с Мартином Эроусмитом Льюиса или с героями маленькой лаборатории Бэлчина? Разве не занимаются они наукой из всех сил и прямо на наших глазах? А герой последнего романа Александра Бека или герои последней книги Юрия Германа — молодой

Устименко и старые профессора с их пристальным вниманием к делу, которому они служат. — разве не изображены они в неустанной деятельности на своем поприще?.. Однако придет ли кому-нибудь в голову рассматривать романы Спиклера Льюиса или Юрия Германа, Бэлчина или Бека как явления научно-художественной литературы? Что-то не то. Что-то не так. Не получается. Рубрика жмет в плечах... Перед нами просто художественная литература, человековедение в обычном горьковском смысле.

Отчего же своеобразие нашего кентавра снова ускользнуло от нас? Ведь дополнение казалось исчерпывающим: к изображению ученых прибавилось изображение их деятельности! Чего же еще не хватает?

Вернемся на минуту к Чехову. Да, он не мог сделать своего героя генералом или, скажем, актером: вся горечь «Записок старого человека» стала бы менее горькой, вся их тонкость менее тонкой, если бы они не были пронизаны тем, что сам Чехов назвал в письме к Суворину «профессорскими мыслями»... Герой «Скучной истории» — ученый, это запоминаешь навсегда, но долго ли помнится, что он патологоанатом?

Разумеется, Уилсон не мог сделать героя «Жизни во мгле» клерком или учителем: бесследно испарился бы исторический драматизм его «атомной судьбы»... Эрик Горин — атомщик сороковых годов нашего века, в этом смысл его образа, но сможете ли вы сказать, какими проблемами занимался Эрик? А если бы и смогли, то какое это имело бы значение?

Как видно, напрашивается еще одно дополнение, которое кажется уж и в самом деле решающим если для смысла произведения существенно важно «имя-отчество» научной проблемы, над коей бьется герой, вот тогда-то уж перед нами вне всяких сомнений литература научно-художественная!

Однако и это иллюзия.

В «Искателях» Даниила Гранина Лобанов разрабатывает идею локатора для мгновенного розыска повреждений в подземных кабелях. В абсолютной конкретности этой новаторской задачи — сила лобановского творчества. У проблемы, решаемой братьями Мэллори в романе Митчела Уилсона, тоже точнейшее «имя-отчество» — телевизионное. Конкретность исканий в обоих слу-

чаях так важна, что переименование проблем обошлось бы авторам очень дорого — ценой переработки книг! И все же кто решился бы окрестить эти романы научно-художественными? Снова что-то не то, что-то не так... Перед нами снова просто романы, человековедение без рубрик.

Можно нагромождать все новые дополнения, но от этого «самое естественное» представление о нашем гибриде ни на йоту не станет истиннее. Эти дополнения как вопросы следователя к невинному человеку: сколько ни расспрашивай, он не станет виновнее. Мы удлиняем анкету, на которую должен отвечать человек науки, как «самый естественный» герой научно-художественной литературы, а между тем, по-видимому, вовсе не он подлинный ее герой! Подлинный — это значит царствующий над повествованием, решающий в последней инстанции, что нужно для текста и что не нужно.

Так неволью к концу этой главки выясняется, что она была лишней. Впрочем, не совсем: хотя самобытность слава науки и художественности по-прежнему не далась нам в руки, но по крайней мере стало ясно, чего не надо требовать от научно-художественных произведений. Очевидно, не надо заставлять их притворяться обычными романами, повестями, рассказами, очерками. Из такого притворства ничего хорошего не может выйти. Очевидно, не надо мерить их достоинства мерилami обычной прозы и не надо видеть их недостатки в отступлении от обычных эстетических эталонов. Не надо авторов этого рода произведений понуждать к тому, чтобы у них все выглядело «как у людей».

Подлинный герой научно-художественной литературы выдвигает свои особые требования к тексту, над которым он главенствует.

5

Кто же этот герой?

Как подпоручик Кнже, он «фигуры не имеет». И в этом его необычность, его неуловимость. Этот герой — научные искания. Такой ответ представляется мне единственно разумным. Все, что бесспорно принадлежит к миру научно-художественных вещей, начиная со старых общепризнанных книг Поля де Крюи и кончая такими последними книгами наших писателей, как «Заполярный мед» М. Пришвина или «Жизнь

побеждает» А. Шарова, «На горах — свобода!» В. Сафонова или «Вдохновение и упорство» Е. Строговой, очерки Б. Агапова или М. Шагинян, — посвящено изображению этого героя.

Тут осуществляется странный и, кажется, не учтенный теорией литературы случай, когда тема произведения становится самим главным героем повествования. Странно? Так на то и оксюморон!

Понимаете, он, этот герой научно-художественной литературы, — не сама наука и не сам ученый, а только (!) научные искания. Или поиски истины, пути познания, научное творчество... Можно называть нашего подпоручика Кнже любым подходящим псевдонимом, но двух вещей с ним делать нельзя. Нельзя олицетворять в нем человека науки «во всем его многообразии», как часто пишут в критических статьях литераторы. И нельзя олицетворять в нем какую-нибудь отрасль знания «во всей ее полноте и систематичности», как нередко пишут в рефератах ученые.

Оба перевоплощения не под силу нашему кентавру. Они противоречат его существу, уничтожают его привлекательную самобытность и обманывают ожидания читателя. Это видно сразу.

Наука как связанная цепь опытов, гипотез, теорий, доказательств — герой литературы чисто научной, от кратких первосообщений до многолетних курсов.

Человек как стукот всего человеческого — герой литературы просто художественной, от лирического дневника до многолистных романов.

А научно-художественная литература заведомо препарирует и науку и человека. Тот, кому угодно будет сказать: не препарирует, а обедняет! — вправе говорить и так. Но только он должен сознавать, что это половина правды. Вторая же ее половина, утраченная за пренебрежительностью глагола «обедняет», всего важнее. Нашему роду искусства под силу кое-что, не доступное ни литературе чисто научной, ни литературе просто художественной. Это кое-что позволило Горькому говорить о «широчайших перспективах для образного научно-художественного мышления».

...В принципе с титула каждой подлинно научной работы может быть снято имя автора: его личность не имеет права ощущаться в итогах исследования. В них должна узнавать себя только сама приро-

да, она одна! И время действительно постепенно снимает со многих открытий, выводов, идей мемориальные доски... Так, в тригонометрии, кажется, только и остались «формулы Мольвейде» (для устрашения семиклассников), все прочее — тригонометрический фольклор, без имени, без адреса, без века. Научным фольклором полны все учебники. Их страницы — как улицы столиц, прочерченные линиями безыменных зданий; лишь как редкие памятники на людных площадях, одиноко стоят поименованные законы...

Наука удивительно равнодушна к своей истории. И это легко понять. Все, что имеет в ней лишь историческую ценность, бесполезно для ее текущих целей. Воображаемый флогистон — особое пламярядящее вещество — сегодня не нужен для объяснения явлений горения. И он забыт. Волновавшие столько ученых воображаемые элементы небулий и короний стали ненужными для объяснения непонятных спектральных линий, когда выяснилось, что виновник непонятного — взвешенный кислород. И они были забыты.

Наука исторична только в том глубоком смысле, что всегда владеет лишь относительной истиной, ограниченной историческими возможностями и уровнем познания.

Наука равнодушна и к биографиям своих сегодняшних, даже великих, ценностей... Для того чтобы сдать на экзамене общую теорию относительности, нужно знать тензорный анализ и совсем не нужно знать, как на прогулке в Альпах, с улыбкой разъясняя смысл своих десятилетних усилий, Эйнштейн говорил Марии Кюри: «Я хочу понять, что происходит в падающем лифте...» Можно с безусловным успехом оперировать методами квантовой механики, не помня или вовсе не зная, как один из ее создателей — Шредингер — в бессильном бешенстве называл квантовые скачки «проклятыми», а другой ее основоположник — Гейзенберг — переживал дни и недели отчаяния перед лицом Непостижимого...

Все это без нужды самому предмету физики, и потому об этом молчит строгая научная литература.

А литература художественная, даже выбирая себе в герои людей ученых, не таясь обходит стороной чисто научную суть их трудов, борьбы и тревожных. И поступать иначе она не может: формулы, теории, до-

казательства — как сделаться им предметом изображения в романе, если по самому смыслу своему они не должны носить ни малейших следов человеческой личности?!

Исторический роман Леопольда Инфельда «Эварист Галуа» знакомит нас со всеми деталями революционной деятельности гениального юноши-математика. Мы ощущаем и драматизм его научной судьбы. Но что узнаем мы о содержании его великих алгебраических работ, так безжалостно оставленных без ответа знаменитым Коши, не понятым Пуассоном, отвергнутых академией? Ничего, кроме названий проблем. Случай этот замечателен тем, что автор романа — сам широко известный ученый и уж конечно не затруднился бы в изложении идей и методов Галуа.

Суть научных проблем — без надобности искусству, и потому о таких вещах молчит художественная литература.

В двойном равнодушии — к собственной истории и к личности своих творцов — проявляется высшая холодная объективность науки, совершенно чуждая искусству. Искусство в свой черед отвечает на это вынужденным равнодушием к познавательной сути науки.

Вот уже перед нами стена тройного равнодушия. Или, лучше сказать, «ничья земля», промороженная встречными холодными потоками. Ее утепляет и воздвигает то научно-художественное мышление, о котором говорил Горький. Вот что умеет наш самобытный кентавр! Для этого-то он и выбирает себе в герои науку. В рассказе о них он соединяет ненужное для научной литературы с недоступным для литературы художественной... (В шутку хочется заметить, что это ведь нешуточный подвиг — соединять ненужное с недоступным.)

Научные искания — удивительная область: в ней железная бесстрастность объективного знания сплавлена с живой страстью ищущего человека. Оттого эта область, подвластная, казалось бы, только анализу историка науки, подвластна еще и художественному прозрению писателя! Пусть не смущает здесь слово «история» — речь может идти о вчерашнем дне, так же как о сегодняшнем: писатель умеет рассказывать и о том, «как дело было», и о том, «как дело идет»... Завершенность истории необязательна.

6

Горький говорил: «Науку и технику надо изображать не как склад готовых открытий и изобретений, а как арену борьбы, где конкретный живой человек преодолевает сопротивление материала и традиции».

Здесь все абсолютно бессюрно. Но не расшифрованы две загадки: первая — что значит и з о б р а ж а т ь н а у к у, вторая — каков объем понятия конкретный человек... Это действительно загадки. И вправду: как изображать, казалось бы, неизобразяемое — знание?! И чем ограничиться в, казалось бы, неограниченном — в подробностях человеческой личности и судьбы?! Тот, кто расшифровал бы до конца эти загадки и показал писателю, что делать в каждом случае, высказал бы о возможностях научно-художественной литературы, в сущности, все. Но, как известно, нельзя сказать всего о том, что не может быть исчерпано.

Каждому писателю всякий раз приходится заново и ошупью отгадывать, как поступить. Я уверен, что ни один художник не испытывает такого упорного сопротивления материала жизни самому процессу изображения, как писатель, пишущий о научных исканиях. В этой сфере материал жизни — события на горьковской «арене борьбы», где участники схватки — человек и природа. Писатель выходит на арену, он не просто зритель... Впрочем, остановимся на минуту.

В такой общей форме картина конфликта «человек и природа» годится только для искусства вообще. Оно ведь никогда не интересуется конкретным течением схватки: как истый болельщик, оно заинтересовано только самочувствием своего извечного любимца — человека; второй участник в искусстве безличен — даже когда точно назван по имени-отчеству, как микробы в «Мартине Эроусмите» или атом в «Жизни во мгле». Больше того. Искусство по праву и преднамеренно засекречивает те силы и явления природы, с какими ведет борьбу его герой — человек. Засекречивает, затемняет, окружает их ореолом недоступности... И делает это не от одного того, что не может справиться с их конкретностью, но и оттого, что не должно с нею справляться: в конфликте «человек и природа» искусству важен лишь человеческий пафос борь-

бы, ее романтика и психология, ее исторический смысл и общественное звучание.

В научно-художественной литературе важен еще и познавательный смысл этой борьбы. Писатель появляется на арене схватки в сложной роли болельщика, судьи и комментатора одновременно. Как болельщик он весь на стороне человека. Как судья он должен честно следить за всем ходом борьбы и никому не приписывать преждевременных побед или поражений. Как комментатор он обязан рассказывать с возможной точностью о действиях обеих сторон.

Вот с этого-то вынужденного совместительства и начинаются все трудности!

Над какой бы научно-художественной вещью ни работал писатель — над публицистическим или проблемным очерком, над документальной повестью или биографической книгой, над путевым дневником или историческим рассказом, — все равно он в той или иной степени трудится под гнетом двух противоположных соблазнов.

Его тянут к себе люди — реальные ученые с деталями их быта и бытия, характера и поведения, внешнего и внутреннего облика. Всякая узанная мелочь жизни, всякая подмеченная живая подробность просится на бумагу... И тянет к себе наука — тонкая красота ее неумолимой логичности, изощренность ее экспериментальных уловок, разоблачение головоломного хитроумия природы, неизменно ускользающей от полноты познания. И здесь всякая узанная мелочь, все второстепенности, ставшие достоянием твоего собственного понимания, просятся в дело...

Как первому ученику, писателю все время хочется отвечать больше, чем его спрашивают, и дольше, чем его собираются слушать.

Но Хемингуэй хорошо заметил, что всякая вещь в литературе должна быть похожа на айсберг: у него видимая часть неизменно меньше той, что скрыта под поверхностью океана, однако только благодаря этому невидимому основанию айсберг вообще существует! Незримое для читателя, основание научно-художественного произведения тем солиднее, чем больше писатель знает. И кроме того, чем успешнее боролся он с обоими соблазнами. Но о ними-то всего труднее бороться именно тогда, когда материал как бы «переевоен» узнаванием подробностей.

7

Мне пришлось быть недавно свидетелем такой трудной борьбы, когда молодая писательница Анна Ливанова работала над очень интересной научно-художественной повестью «Три судьбы», сначала опубликованной в «Знамени», а затем вышедшей отдельной книжкой.

Это повесть о рождении неэвклидовой геометрии. Повесть о двухтысячелетних поисках доказательства постулата о параллельных — тщетных поисках, завершившихся созданием новых геометрических систем. Даже в отвлеченной математике это сугубые отвлеченности. Как вообразить себе повесть о подобных вещах! Но, с другой стороны, сплетение вокруг Пятого постулата трех научных и человеческих судеб — русского Лобачевского, венгра Бояи, немца Гаусса — так трагично и так единственно, что повесть о рождении неэвклидовой геометрии раньше или позже должна была появиться.

Однако не обычная повесть, а только научно-художественная...

Разве могла бы открыться читателю вся мера фанатической одержимости Бояи-старшего, вся глубина отчаяния Бояи-младшего, бесчеловечность настороженного поведения всепонимающего Гаусса, грандиозность научного подвига Лобачевского и вся тяжесть его одиночества, если бы оставалась затемненной сама многовековая проблема, на которой скрестились судьбы этих ученых?

Чувствуете ли вы, какой страстной и драматической атмосферой было окружено рождение неэвклидовой геометрии? (Фанатизм, отчаяние, бесчеловечность, одиночество — слова-то какие! Но в них — ни грама преувеличения.)

К чести Ливановой, она первой, по крайней мере в нашей литературе, решилась не беллетристически завлекательно, а всерьез рассказать, «как было дело».

Что же это значит — всерьез? На мой взгляд, это означает лишь одно: рассказать обо всем происшедшем именно как об исторической драме рождения неэвклидовой геометрии, то есть как о драме, герой которой прежде всего — великие научные искания!

Ни Лобачевский, ни Бояи не были поняты современниками — за исключением одного Гаусса. Кстати сказать, когда искус-

ство берет себе в герои ученых, оно охотно избирает тему такого исторического одиночества революционеров науки. Старая, грустная и благодарная тема... Но приходило ли вам в голову, что романисты и драматурги часто не замечают при этом одного странного обстоятельства: их герои остаются, в сущности, непонятыми и читателем! По сцене жизни ходит провидец, столь же непостижимый для нас, как и для современников героя, ибо научный смысл его исканий и суть его надежд пребывают засекреченными. Именно таков Эварист Галуа у Инфельда — ближайший пример... Нравственный пафос произведений от этого часто даже возрастает, он приобретает заведомо обобщающую силу. Но научно-художественная литература этим удовлетвориться не может и не имеет права.

Анна Ливанова решила написать свою вещь так, чтобы казанский профессор и трансильванский офицер, непонятые своими современниками, были поняты нами.

Ливанова проделала громадный труд. Она обратилась к венгерским книгам о семье Бояи, к переписке Гаусса, к материалам о Лобачевском и, конечно, к сочинениям по геометрии. Все естественно: так и приходится обычно работать авторам научно-художественных вещей — сначала, как студентам перед госэкзаменами, а как литераторам — потом. На первой стадии все казалось важным и нужным, зато на второй — накинулись соблазны.

Для рассказа о рождении новой геометрии сверхдостоаточно было показать неизбежность ее основных идей, но захотелось еще продемонстрировать, как выглядят и доказываются на неэвклидовом языке эвклидовы теоремы; захотелось поглубже залезть в сегодняшнее естествознание, где идеи Лобачевского оказались по-новому плодотворными, а для этого надо было начинать «рассказывать физику». И вправду все интересно, все существенно, но... Ливанова не сразу почувствовала, что ей грозит «перебор».

А с другой стороны, захотелось живописать жизнь трех математиков так, чтобы ни одно из добытых биографических сведений не осталось втуне, чтобы все было похоже на обычную, испытанную прозу.. Детали дуэлей и музыкальных занятий Бояи, душевная болезнь его матери, скучное детство Лобачевского, подробности экзаменов и студенческих проказ, пейзажи Гран-

сильвании, Германии, России и прочее и прочее — все хотелось с ненужной щедростью выложить перед читателем. Хотелось забыть, что лишь немногое из этого, порою мелочного. богатства автора может и в самом деле обогатить главенствующего героя повествования — драматические искания новых путей к раскрытию истинной геометрии мира.

В конце концов писательское чутье Анны Ливановой — «чутье целого» — победило оба соблазна. Но не всюду с равным успехом. Если есть в ее хорошей повести слабые места, то прежде всего там, где беллетристический соблазн одержал над нею верх. Научному она противилась энергичнее — правда, тоже не до конца: в книжном варианте повести появились геометрические чертежи с отпугивающими пояснениями. Появились, вероятно, ради иллюзорной «полноты изложения», все равно недосягаемой в нашем гибриде.

Соблазн беллетризации так велик, что с ним не справился даже многоопытный Стефан Гейм в очерках о Дубне, написанных с увлечением и с желанием рассказать о великой сути научных исканий в этом «атомном городе». Нельзя понять, почему такой «точный» писатель вдруг, без всякого убедительного повода, стал говорить о том, как любят наши физики купаться, плавать, охотиться, в свободные дни ходить на лыжах, в свободные месяцы — по горам. Очевидно, это просто должно было убедить нас, что они живые люди... Не один Стефан Гейм, а многие писатели вообще прилагают в своих научно-художественных и не научно-художественных очерках много стараний к тому, чтобы заставить нас поверить в обыкновенность и одушевленность высококолобых ученых. Задача нетрудная, потому что мы заранее в этом уверены! Но пусть и она достойна усилий, пусть ученые не выглядят в очерках монашествующими сверхчеловеками — служителями Непостижимого... Однако все детали должны работать на главное. Иначе они не более чем беллетристика.

Прогулка в Альпах с Марией Кюри безотказно работает на образ ищущего Эйнштейна. А если еще очень хочется рассказать, что Эйнштейн обычно не носил ни галстука, ни пояса, ни носков, то сначала надо суметь распознать в этом нечто существенное. Сумел — рассказывай! В противном случае, я полагаю, лучше замо-

розить узанное в подводной части айсберга.

Стефан Гейм решал легкую задачу словно бы ради нее самой: тривиальнейшие подробности внелабораторной жизни физиков он просто положил в текст то тут, то там для «озеленения». Они и лежат, а не работают.

Есть столь же наглядные примеры обратного.

Когда в «Профиле невидимки» Юрия Вебера доходишь до рисунка — герой бреется — и тут же читаешь, как жена торопит героя в театр, на мгновение возникает чувство уже привычной, к сожалению, досады: «Неужели это рассказывается лишь затем, чтобы внушить нам — глядите, какой у меня конструктор культурный, какой показательный?..» Ведь это — неуважение к герою, к читателю, к литературе, наконец! Вспоминая почерк Вебера, все же думаешь — нет, не может быть... (Однако, зная книги Гейма, разве не думаешь того же самого, когда читаешь «озеленительные» абзацы в его дубенских очерках? Тоже надеешься на нечто большее, но пустяки так и остаются пустяками. Велик соблазн!)

К счастью, Вебер не обманывает: вежнее бритве, театр, даже понукания жены, все срабатывает у него на главное — на изображение конструкторских исканий молодого Клейменова.

Да ведь у него герой и не столько бреется, сколько бессмысленно манипулирует бритвой перед зеркалом, забывая о театре и раздражая жену. В бессмысленности манипуляций их смысл: Клейменов видит отражение движущейся бритвы, и его осеняет нужная идея — идея «двойного плоскопружинного параллелограмма». Вы думаете, это натяжка? Нет, с Клейменовым происходит то, что может произойти только с одержимым искателем: мелочь жизни приобретает для него громадное, несвойственное ей самой по себе значение. Поэтому она получает право и на внимание автора!

Но, может быть, всего интереснее, что в этой сцене с бритвой нечаянно стал предметом изображения не один Клейменов с его одержимостью, а еще и сам механический принцип «зеркальности» в будущей конструкции. Психологический образ слился с научным. Вот награда автору за истинное уважение к основному герою повести — поискам инженерной правды!..

В клейменовском зеркале разом отразились и человек и наука.

Стоит запомнить этот беглый пример, потому что мы подошли к наименее очевидному и, наверное, самому спорному пункту в этом разговоре.

8

Уже отчетливо видно: мастерство в нашем «жанре» сродни мастерству вивисекции — надо резать по живому, ничего не поделаешь! Но вместе с тем это — мастерство хирургии: надо, чтобы у науки не остановилось ее живое сердце, и надо, чтобы человека-исследователя не покинула его живая ищущая душа.

Ученым педантам и полным величайшего самоуважения «художникам пера» вся научно-художественная литература, право же, чем-то должна напоминать уэлловский остров доктора Моро, где живут искусно созданные кентавры научности и художественности. (Созданные не искусно — они не живут.) Зрелище и впрямь немножко страшноватое.

Но мне хочется доказать, что произведения этой литературы вовсе не искусственные чудовища, что они рождаются совершенно естественно.

В общем, это трудная область искусства слова, живущая под перекрестным огнем научной и эстетической критики.

Правда, с научной критикой дело просто: ясно, что ошибки недопустимы, и писатель, согрешив, должен опускать повинную голову. Ясно и другое: права научной критики ограничены сутью темы. Но зато с литературной критикой все гораздо сложнее — ее права не ограничены ничем: этот род литературы принадлежит искусству! А мерил его художественности, в сущности, нет.

Неясны даже его границы. Они условны. Обычно условность, скажем, жанровых границ никого не страшит. Когда рассказ кажется не совсем рассказом, все понимают, что он залезает либо на территорию повести, либо во владения очерка, и пограничные конфликты тут не в счет: они происходят в одной сфере — искусства. И всякие жанровые недовольства в этих случаях, вроде недавних странных упреков Юрия Нагибина по адресу прекрасных, но «незаконных» рассказов Веры Пановой, выглядят наивно...

Пограничные стычки у нашего «жанра»

серьезнее. За одним рубежом лежит художественная литература с героями-учеными. Она свободна от научности. За другим рубежом лежит популярная литература с героем-научником. Она свободна от художественности. Конфликты на этой второй границе особенно часты, и в них труднее всего разбираться: в них сталкиваются две разные стихии — искусство и наука... Я уверен, что многие писатели отнесутся с чувством протеста к тому, что этот разговор о научно-художественной литературе начался с Фарадея и книги М. Бронштейна «Солнечное вещество». Они скажут: «Поводы для разговора взяты из другой области, не путайте научно-популярную литературу с нашим высоким искусством!»

Путаницы пока еще нет, но ясности — тоже.

Существует убеждение, будто вся художественность в нашем гибриде зависит от полноты и достоинства изображения ищущего человека, а показ существа его исканий — самой науки — лишь сопутствующее этой очевидной добродетели неустрашимое зло. Сопутствующее и неустрашимое — как вес у птицы, мешающий ей летать. При этом все, разумеется, понимают, что бестелесная птица была бы и бескрылой, так что не о чем было бы и говорить... Научно-художественной литературы без науки просто нет!

Но черты художественности, идущие от изображения человека, представляются естественными («У члена-корреспондента мелькала в голубых глазах лукавая смешинка»). А черты художественности в познавательном материале рисуются по меньшей мере насильственными («Если растопить молекулу этого полимера в одну линию и наделать из нее бусы, можно было бы осчастливить 687 Золушек — вот какая длинная молекула»).

Хотя оба примера в скобках вполне стоят один другого, так как оба не стоят ничего, кажется все-таки, что первый имеет отношение к искусству, а второй — только жалкое ухищрение популяризатора. Это несправедливо: стремление к изобразительности лежит за обоими штампами. Правда, в обоих оно похоронено, как во всяких штампах. Но это лишь доказывает, что можно одинаково плохо изображать и человека науки и предмет его исканий. Однако не видно, почему «лукавой смешинке» члена-корреспондента нужно от-

давать предпочтение перед образным выражением для удивительной длины полимера. Нельзя доказать, что в первом случае изобразительность хоть и скверная, да законная, а во втором — и скверная и незаконная, то есть вообще не изобразительность.

Когда в научно-художественной книге хочется пропускать «все, что про науку» и хочется снова и снова перечитывать «все, что про людей», можно не обинуясь сказать: книга не удалась. В идеале слитность обеих этих сторон научно-художественного повествования должна быть такова, чтобы и обсуждать-то их по отдельности было невозможно. Или по крайней мере затруднительно. Клейменовское зеркальце у Вебера тем и привлекательно, что дает такое слитное отображение механического принципа (наука) и одержимости искателя (человек).

Такие удачи есть в каждой достойной научно-художественной вещи: Эти находки — как счастливые рифмы в стихотворении: ищущий, конечно, обрящет... Но суть в том, что поэтичность счастливой рифмы накапливается во всей строке!

Читатель — доброхот. Он ведь вправе и не читать И микроудачи автора ускользнут от его внимания, если в произведении нет макроудачи. Читатель просто не дойдет до авторских находок, когда дороги к ним унылы и ничего не сулят. Не дошел бы он и до клейменовского зеркала и до других довольно выразительных деталей в «Профиле невидимки», если бы не увлекал весь рассказ Юрия Вебера о поисках конструкции тонкого прибора.

Нет, художественность в нашем гибриде — такое же макросвойство вещи, как и в обычном искусстве. И ее нельзя искать только в портретах ученых и только в тех счастливых находках, где сливаются человек и наука. Черты художественности можно открыть и в познавательном материале, если он освоен писателем!

Наверное, это нелегко доказать безупречно и неопровержимо. Беда в том, что мерила художественности, хотя искусство и старше науки, остаются во многом делом интуиции. Говоря языком кибернетики, они не поддаются полному программированию. Впрочем, скорее это счастье, чем беда.

Для нашего кентавра это особенное счастье: он был бы погублен в зародыше программированием его художественности по

правилам обычных критических оценок. И не думайте, что слово «погублен» слишком сильное...

Здесь можно бы рассказать, что приемная комиссия Союза писателей вот уже несколько лет не соглашается признать писателем И. Халифмана — автора прекрасных книг о пчелах и муравьях. Члены высокой комиссии читали его книги с истинным наслаждением: это настоящая научно-художественная литература. Но, очевидно, они полагают, что в достоинствах «Пчел» виноваты пчелы, а в живой увлекательности «Пароля скрещенных антенн» — муравьи. Академик Л. Ландау, далекий от литературы, совершил с этой точки зрения оплошность, объяснив незаурядность «Солнечного вещества» талантливостью автора: тут виновник удачи, очевидно, гелий... Тогда вообще единственным писателем на свете надо признать саму жизнь, а не тех, кто ее исследует и рассказывает о ней.

Вся штука в том, что если бы И. Халифман написал даже не слишком выдающуюся повесть о пасечниках, честь называться писателем была бы присвоена ему без особых затруднений. А в «Пчелах» нет пасечников, есть только их мысли, догадки, исследовательские заботы, споры, мучения, искания, искания. Только это! Без информации о лукавых смешинках, без диалогов («Ну, как нынче наши пчелушки?» — «Роятся, бархатные!»).

С «Солнечным веществом» дело обстоит примерно так же, даже несколько лучше: на пространстве ста страниц там хоть однажды встречается вполне человеческий портрет ученого.

«В конце восемнадцатого века жил в Лондоне ученый-химик, которого звали Генри Кавендиш. Это был нелюдимый и одинокий человек. Он появлялся на улицах с узловатой палкой, в длинном дедовском сюртуке и в широкополой шляпе. О его странностях и причудах по городу ходило множество слухов...»

По обычной критической программе можно было бы с удовлетворением воскликнуть: «Вот тут ясно видно, что автор — писатель, правда не очень-то оригинальный, но писатель!..» Между тем истинное писательское мастерство покойного М. Бронштейна всего более обнаружилось в том, что такого рода портрет в его книге — единственный. Единственный потому, что только он один был действительно необходим чудачества

Кавендиша объясняли необъяснимое — почему замечательно точные опыты знаменитого лондонца остались тайной для современников и лишь через столетие удивили ученых. А капризы характеров других исследователей, так же как борода Рамзая или усы Резерфорда, не играли в истории гелия кавендишевой роли. И Бронштейн не дал портретов этих гигантов.

Его писательское мастерство — в научной и эстетической обоснованности каждой строки.

Но не вернулись ли мы к уже пройденному — к борьбе с соблазном беллетризации? Нет, теперь речь идет о другом: мы видим, что писатель, совсем расстающийся с этим соблазном, лишается права считаться художником по обычной критической программе.

А по необычной?

По необычной — от беллетризации художественность может вообще не зависеть! Источник эстетических достоинств вещи может скрываться и в способе освоения самого научного материала. Мерила такой художественности надо искать. Легкая ли это задача или трудная — не так уж важно, была бы уверенность, что она разрешима. На мой взгляд, разрешима. И вот почему... Но в двух словах этого не скажешь. самое спорное (хотя, по моему убеждению, бесспорное) тут сгущается — значит, надо постараться быть доказательным, а на это нужны слова.

9

Как все искусство, научно-художественные книги адресованы всем. Даже самим ученым. Вспомните признание академика в предисловии к «Солнечному веществу».

Стоит сразу заметить, что литература научно-популярная далеко не всегда стремится к такой всеобщности. Чаще бывает наоборот. ученый-популяризатор заранее ограничивает круг своих будущих читателей определенным образовательным цензом и адресуется то к школьникам, то к студентам, то к специалистам других областей... Это оговаривают введения, аннотации, рекламные строки на суперобложках. А есть, как мы знаем, и особые случаи (скверные случаи!), когда высокоученый автор не адресуется ни к кому, озабоченный, вопреки Фарадею, невыполнимым же-

ланием «научить» или (что гораздо хуже!) не озабоченный вообще ничем.

Мотив создания популярной книги очень существен для ее последующей жизни. Можно было бы издать «Золотую серию» забываемых книг, написанных большими людьми науки для людей, от нее далеких. Что двигало ими? Почти закон, правда статистический, что они начинали чувствовать внутреннее побуждение к популяризации знаний, уже миновав точку зенита в своем научном творчестве — на обратном склоне горы. Это полно значения.

Фарадею было шестьдесят девять лет, когда он вдруг заметил, что у него есть время и потребность беседовать в стенах Королевского института о тайнах химии с лондонскими подростками. Так возникла знаменитая «История свечи».

Дарвин, Тимирязев, Солди, Эддингтон, Вавилов — все начинали рассказывать о науке (а не только делать ее!), когда позади был уже долгий собственный путь познания.

Правда, Эйнштейн в самом зените написал книгу о теории относительности с пояснением в скобках: «Общепонятная». Но когда ему было пятьдесят семь лет, он сам посмеялся над этим пояснением, сказав, что надо было сделать другую надпись: «Общенепонятная». А действительно популярную «Эволюцию физики» создавал вместе с Инфельдом уже не тот молодой, «общенепонятный» Эйнштейн, а другой — умудренный жизнью гений, который страдал «обособленностью ученого» и захотел наконец построить «мост между наукой и обществом». В воспоминаниях Инфельда есть удивительные строки:

«Эйнштейн был возбужден мыслью о нашей книге.

— Это драма, драма плей,— сказал он.

Тут слышится голос уже не только исследователя такие вещи не говорят на ученых заседаниях и не произносят у грифельной доске «Драма, драма идей»... Какая энциклопедия могла бы так определить эволюцию физических знаний!

Не потому ли живут долгой жизнью популярные книги больших людей науки, что они, эти книги, порождены духовной жадной их великих авторов выйти на обратном склоне горы из плена долгого ученого одиночества — покинуть секту своих всезнающих коллег и сделать поэзию познания достоянием возможно более широкого круга

современников? Это—словно поиски наследников, словно инстинкт продолжения рода.

И в создании этих книг есть что-то сходное с рождением искусства. Недаром их неизменная цель — нарисовать перед современниками образ научного мышления, а вовсе не нагрузить читательскую память изобилием фактов науки. В этих книгах научное познание как бы записывает рукой ученых свою сокровенную автобиографию. И мне кажется, что из всей разноплановой популярной литературы именно такие книги по своему происхождению всего ближе к литературе научно-художественной.

Но только по происхождению! Такая близость лестна для нашего кентавра, однако ее не надо преувеличивать. Не надо и нельзя: писатели не создают мира науки, а лишь изображают его. Но у них есть своя гордость.

«Мне все равно, как вы это напишете. Вам виднее. Но эта идея обязательно должна быть в книге». Так говорил Эйнштейн своему соавтору, когда они вместе работали над «Эволюцией физики». К счастью, Инфельд писал хорошо, что редко отличает ученых. Однако, если бы он писал и хуже, Эйнштейн этого, наверное, не заметил бы: хуже, лучше — велика ли разница, если главное выражено, ведь драма идей заключена в самой их логике — значит, логики и достаточно...

А писатель знает, что это не совсем так. Он знает, что любая драма должна быть раскрыта, иначе есть угроза, что она останется понятной лишь ее участникам — тем, кто ее пережил, — и не сделается перживанием всех. То, что было безразлично Эйнштейну — «как вы это напишете», — не может быть безразлично писателю уже по одному тому, что он сам из числа «всех».

Ученые думают об уме-разуме читателя, а художники — обо всей его психологии.

Ученые даже в популярных своих книгах разговаривают о науке на ее собственном языке. (Среди немногих исключений были академик Ферман и академик Крачковский — так просто же их считали своими и ученые и литераторы!)

Рассказывая о научных исканиях, писатель никогда не обращается к аудитории с кафедры и не терзает в руке мелок. Он сознает, что у него нет внутренних прав на учительство. Да и меньше всего он хочет, чтобы его принимали за лектора. Он понимает, что от него не ждут такого превра-

щения. У писателя свои преимущества — он может вести рассказ о науке не на собственном ее языке.

Вот тут-то и получает возможность пробиться наружу родничок искусства! Он естественнейшим путем пробивается сквозь толщу академизма: в самом деле, если язык науки непригоден для писательского рассказа о ее проблемах, то поневоле возникает нужда в ином языке. Писателю ничего не остается, кроме как искать его и находить. Искать — в меру своего упрямства, и находить — в меру своего таланта.

В истории любой науки есть одна черта, которая оправдывает такие искания и обнадеживает ищущего.

Бесчисленные научные термины имеют поэтическую родословную. Новые идеи, небывалые представления, прежде неведомые свойства вещей — словом, очередные завоевания науки — почти всегда в момент своего рождения вступают в конфликт с устоявшимся научным языком. Новые знания нельзя тривиально вывести из предыдущих, и потому оказывается, что для новых открытий не хватает прежних слов. И вот, когда эта новизна еще «корчится безъязыкая», ученые вдруг превращаются в поэтов. И в каких поэтов! Отчаянно смелых, к которым могли бы возревновать даже безудержные новаторы нашего века...

«Пишу светом!» — осторожный классик не рискнул бы на такой образ, а оптики в прошлом веке рискнули: термин «фотография» именно это и означает. Назвать камень «обманщиком», а газ — «солнечным» отважился бы не всякий сказочник, но минерологи отважились на первое, окрестив «фенактом» обманчиво похожий на кварц бериллиевый минерал, а астрономы решились на второе, присвоив имя «гелий» открытому в солнечном спектре новому веществу. А термины атомной физики — «электронное облако», «мезонная шуба», «волна-пилот» и, наконец, «странность» или «дипольный призрак»... Кажется, поэты-реалисты и поэты-романтики подсказывали ученым эти неученые или получученые слова!

И вот писатель, рассказывающий с ем о сути научных исканий. Уже по самому смыслу своей задачи он должен всякий раз чувствовать себя человеком, как бы впервые открывающим неведомый людям мир.

Общаясь ко всем, а не к избранным, он

не вправе рассчитывать ни на чью осведомленность. Максимум уступки, которую он может сделать себе,— это возложить надежду на уровень развития читателя, но не на его знание предмета. Поэтому в любом случае — пишется ли книга для детей или для взрослых — писатель попадает в положение ученого, которому повезло обнаружить в природе новые явления и черты: он должен сам — впервые! — назвать открытое новыми словами.

Ученый в этих случаях превращается в поэта, а кем становится писатель? Ответ очевиден: самим собой!

Ведь можно и на все искусство взглянуть с этой именно точки зрения: все оно — умение говорить о вещах точно и выразительно, но не на их «собственном языке», все оно — умение открывать мир как бы впервые. «Собственный язык» явлений только определяет их, «несобственный» — изображает! Так музыка может рассказать о тишине, а немая живопись — о яростном грохоте боя. Так излюбленные басней животные на самом деле рассказывают о человеке, а юмористические сцены довольно часто — о невеселых вещах. Так словами ненависти к войне поэзия рассказывает о любви к жизни, а сказочные сюжеты говорят о реальности...

«Собственный язык» вещей — это язык натурализма. Он не освещает жизни новым светом и не открывает в ней больше того, что уже есть в нашем непосредственном опыте. Снова обратившись к стилю кибернетики, можно бы сказать, что натуралистические описания не способны нести в себе никакой другой информации об идеях и явлениях, кроме той, что задаром выдается нам самой жизнью. Поэтому натурализм только притворяется искусством.

Но под угрозой превратиться в шифр с потерянным ключом «несобственный язык» вещей не вправе быть каким угодно. Когда порою в живописи, музыке, поэзии человек и природа начинают говорить на языке до такой степени «несобственным», что в нем уже нельзя открыть никакой информации о человеке и природе, искусство тоже перестает быть самим собой. Пожалуй, в этом часто и состоит изначальный грех абстракционизма.

Научно-художественная литература может стать жертвой обеих крайностей, и тогда она делается либо ненаучной, либо нехудожественной. Подобие натурализма

в ней — это рассказ о науке на языке самой науки (тогда может сохраниться научность, но исчезает художественность, как это и бывает при скверной популяризации). Подобие абстракционизма — это рассказ о науке на языке, лишенном всякой внутренней связи с ней (тогда может ощущаться беспредметная художественность, но не остается и следа от научности, как это и происходит в дурных очерках).

В обоих случаях нашего кентавра нет!

Поиски «несобственного языка» науки для писательского рассказа о научных исканиях, разумеется, дело глубоко индивидуальное. Общих правил и норм тут не найти. Но мерил художественности и здесь могут опираться на такое же прочное основание, как в обычной литературе. Вот это мне и хотелось сказать. Мне хотелось лишь убедить (и не только других, а и себя самого), что кентавр научности и художественности — законнорожденное дитя, что он по праву обладает постоянной пропиской в обширных владениях искусства слова.

10

И еще — хочется быть понятным правильно. Я вовсе не думаю, что в научно-художественной литературе поиски «несобственного языка» сводятся к переименованию терминов и понятий науки.

Образы, метафоры, сравнения — в нашем гибриде это явление столь же обычное, как и во всей литературе. Такое образное переименование вещей бывает ярким и емким. Ральф Лэпп назвал круговой ускоритель «каруселью». Г. Бабат увидел в разности потенциалов «электрическую гору», с которой заряды падают совершенно так же, как обычные камни с обычной горы, ускоряясь тем ошутимее, чем выше гора... Я сказал о находке Бабата больше, чем о лэпповской «карусели» потому, что тут легче обнаруживается продуктивность емкого образа. Писатель может его развивать, постепенно извлекая из одного счастливого сравнения целую картину сложного явления — неожиданно точную и вместе с тем общепонятную, впечатляющую уже одной своей зримой ясностью.

Но образное переименование вещей — уподобление непонятого обиходно известному — далеко не всегда возможно и не всегда достигает цели.

Академик Л Ландау на недавней встрече с писателями высказал мысль, всех поразившую: триумф познающего человеческого разума, сказал он, заключается ныне в том, что наше сознание оставило далеко позади возможности нашего воображения. И ум физиков сегодня свободно работает там, где воображение человека уже бессильно!

Для рассказа о научных исканиях в таких сферах заведомо бесцельно пытаться найти зримые сравнения и метафоры. Но нельзя поверить, что в науке есть области, неприступные для рассказа о драме идей, которая там разыгрывается. Просто «несобственный язык» науки в нашем жанре — это не только микроязык удачных образов и ярких эпитетов. Как всюду в искусстве, этот язык — не только слова.

В него входят и другие микро- и макро-черты произведения. Весь тон повествования должен противоречить бесстрастности научного текста. Непредвиденность ассоциаций может, с научной точки зрения, выглядеть нелепой; композиция — непоследовательной; юмор — ненужным; лирические отступления — неоправданными; атмосфера рассказа — слишком очеловеченной; логика — перевернутой с ног на голову (лишь бы не утраченной!)...

Короче говоря, писателю годится все, что работает на его замысел. Даже точнейшие цитаты из научных сочинений, даже цифры и подсчеты, даже выписки из лабораторных дневников приобретают в научно-художественном тексте значение «несобственного языка» науки, потому что сверх деловой информации в них волей писателя включена еще «информация» иная — не научная, а психологическая, романтическая, историческая... Получив гелий из минерала клевента, Рамзай послал его в запаянной трубочке знаменитому Круксу для спектрального анализа, но в сопроводительной записке написал, что это какой-то новый газ, который он предлагает назвать криптоном: Рамзай был осторожен. Рассказав эту историю, М. Бюштейн привел дословно деловую записку, сделанную Рамзаем через неделю: «Во время опытов получил телеграмму от Крукса: «Криптон — это гелий, 58749, приезжайте — увидите». Поехал и увидел». Чувствуете ли вы, как работает в тексте книги эта ланидарная записка? Даже число 58749 — спектроскопическое обозначение линии гелия — играет здесь неожиданный

эстетическую роль: оно усиливает фронтальную краткость донесения Крукса и тант в себе сдержанное, подспудное торжество первооткрывателей, так же как цезаревские слова «приезжайте — увидите» и «поехал — увидел».

«Несобственный язык» науки в нашем жанре гибок и разнообразен. И он открывает неограниченные возможности для расшифровки каждый раз на новый лад горьковской загадки — «как изображать науку?». Да, ее можно изображать, когда изображаются научные искания!

Но вы уже, конечно, заметили, что произошло нечто незаконное: из обсуждения этих эстетических возможностей нашего «жанра» как бы выпал человек... Однако еще важнее заметить, что эта потеря не оказалась роковой: надежда на истинную художественность не стала тщетной, не утратилась! Только ее источником сделалась еще и сама действительность науки.

Остается показать, что и потеря человека здесь чисто мнимая.

Но нет ли тут заведомо какого-то обмана? Ведь, принадлежа искусству, научно-художественная литература не может не быть человековедением. А какое уж там человековедение без человека!

Именно этот довод выдвигают обычно против «безлюдных» произведений нашего рода литературы полные величайшего самоуважения художники пера. Именно поэтому пчелы без насечников и туманности без астрономов признаются предметом, недостойным искусства слова. Именно из-за несоответствия традиционным нормам человековедения такого рода научно-художественные вещи постоянно нуждаются в защите, в оправдании, в доказательстве их права на прописку в литературе. (Впрочем, в этом нуждается весь наш гибрид со всем его жанровым разнообразием, потому и в статье о нем приходится оговаривать вещи, казалось бы, очевидные.)

Нет, обмана не произошло. И человек не остается за бортом научно-художественной литературы даже тогда, когда ее произведения по всем внешним признакам безлюдны.

11

Это звучит, как казунтика. Раз нет человека — значит нет. И нечего морочить голову взрослым людям!.. Несомненно,

многие в таком духе и решают вопрос о населенности искусства. И на их стороне преимущество простоты подхода к делу. Но, вспомните, у нас уже был случай спросить: а не начинается ли простота там, где кончается наше любопытство?

Искусство «устроено» несколько не проще природы. А его законы известны нам еще менее точно. Только мы в этом не признаемся так охотно. И часто лелеем свои предрассудки, которые всегда суть поспешное обобщение чего-то непонятого. Одни из таких предрассудков — требование обязательной населенности произведений искусства.

Я помню статьи о живописи, в которых прорабатывали художников за безлюдность их пейзажей и натюрмортов. И ничего, проходило! (Критиков не вязали по рукам и ногам, хотя это было покушением на жизнь если не художников, то их искусства.)

Безлюдны музыка и архитектура. Звукоподражания смеху, крику или плачу в первой и скульптурные фигуры во второй — редки и еще реже — оправданы. В прямом смысле безлюдна лирика: в ней нет конкретного человека с именем и фамилией. А когда есть, это не делает стихи лучше и не проясняет их поэтического звучания. Чаще напротив — затемняет: надо лезть в комментарии литературоведов, чтобы у Пушкина, скажем, выкинуть в обращение к Каверину, а у Маяковского, скажем, понять «Ромку Яacobсона»...

Как же быть с человековедением в самых человеческих искусствах — музыке и поэзии? Очевидно, надо признать, что человековедение — не судебное следствие и вовсе не предполагает обязательного ведения паспортно-конкретного человека!

Сила музыки и лирики как раз в их всеобщности. И архитектуры — тоже. И сказки — тоже... Да ведь в этом сила всего искусства! Требование типичности в реализме — это требование углубиться в конкретность человека и жизни ради раскрытия в них всеобщего. Музыка и лирика, вероятно, достигают этого кратчайшим путем: у них нет достаточных средств и времени для блужданий в лабиринте конкретного, но они умеют доказать, что могут сбойтись и без этого... И, может быть, поэтому-то восемь веков звучит Омар Хайям, два века — Иоганн Себастьян Бах и через тридцать веков доходят за тридцать

земель до всех и каждого сказки любых народов? И, может быть, оттого бессмертна первая в Европе научно-художественная книга — поэма Лукреция Кара «О природе вещей»?

Что ж, весьма вероятно, что так оно и есть, что именно всеобщность без оболочки дает гарантированное бессмертие многим произведениям искусства. Но и всеобщность в живой оболочке конкретного надеяется столь же прочным бессмертием создания других мастеров. Это означает лишь, что не надо ссорить между собой различные возможности такой таинственной силы, как человековедение.

Так не надо ссорить безлюдные вещи в научно-художественной литературе с населенными. Не надо одним выдавать индульгенции, а других посылать на костер. Первые от этого предпочтения все равно бесплатно в рай не попадут, а вторые от этого пренебрежения все равно без особых причин не сгорят. Не надо из-за предрассудков и предубеждений отлучать от человековедения то, что может ему по праву принадлежать!

Вторая нерасшифрованная Горьким загадка — каков объем понятия конкретный человек? — расшифровывается в разных произведениях нашего рода литературы, как и во всем искусстве, по-разному. Пусть так и будет! Величина избранного писателем объема «человеческой конкретности» сама по себе не может служить мериллом художественности.

Хорошая документальная книга Анатолия Аграновского «Репортаж из будущего» рассказывает о творческих исканиях создателей новой техники. Столь же бесспорно научно-художественный очерк Бориса Агапова повествует о рождении идей большой химии полимеров. Книга Аграновского многолюдна, как конструкторское бюро. Люди у него разговаривают, спорят, работают. Вещь Агапова безлюдна, как университетская площадь на рассвете. В сущности, только один человек задумчиво проходит по ней, вспоминая, размышляя, споря с самим собой. Этот человек — автор...

Автор! Как вовремя подвернулся он на нашем пути! Давно надо было вспомнить о нем.

Вот чье неизбежное присутствие превращает в человековедение музыку и архитектуру, лирику и публицистику.

Вот чьи мысли и чувства, восторженность и равнодушие, сомнения и вера делают обитаемыми даже патиорморт и орнамент.

Имя автора не может быть снято с титула научно-художественных произведений — ни населенных, ни безлюдных, потому что его личность не только имеет право, но должна ощущаться в этих произведениях! Вот почему я думаю, что популярные книги больших людей науки, созданные ими на обратном склоне горы, как правило, по происхождению своему близко стоят к нашему гибриду: в глубинах текста — строгого, научного, объективного — прячется душа ученого, жаждущая высказаться перед всеми. (И если бы еще она умела изъясняться перед современниками на «несобственном языке» науки, близость к искусству превращалась бы в кровное родство.)

Автор научно-художественных произведений всегда присутствует в них со всей своей философией, со всеми своими пристрастиями и мечтами. И в рассказе о научных исканиях он открывает людям доступные его видению четкие или смутные грани той драгоценнейшей человеческой всеобщности, которую проще всего определить как разум и волю познающего человека.

Населенные или безлюдные, научно-художественные книги рассказывают о разуме и воле познающего человека в действии. В разных планах, на разные лады они всякий раз говорят нам об эйнштейновской драматической идее. Так если рассказы о том, что делает человека человеком — существом, в котором природа дошла до самопознания, — если рассказы об этом не человековедение, то что же они такое? И что такое тогда само человековедение?

12

Мы подходим к концу этого спорно-бесспорного разговора. Но конец возвращает нас к началу.

Мне представлялось правильным начать с вопросов популяризации, потому что люди берут в руки научно-художественные книги и щедро отдают им свое время в конце концов из одного побуждения: им хочется знать и понимать, чем живет и дышит современная наука. На наших глазах она превратилась в могущественную силу истории. На наших глазах ее успехи делают мир иным, чем он был прежде. На

наших глазах побеждающий коммунизм выигрывает научное соревнование со старым Западом... Людям хочется быть современниками современности!

Никогда еще простая и вечная человеческая любознательность не была окрашена в такие тона, как сегодня: это уже не школьная любознательность («Как устроен электрический звонок?») и уже не празднотско-философское любопытство («А не сдается ли вам, сударь, что природа весьма гармонична?») — теперь это глубокий и драматический интерес к путям познания, которое, оказывается, и вправду «все может»!

Люди читают про атомную энергию не для того, чтобы «подковаться по физике». Их волнуют судьбы человечества.

Люди читают про кибернетику не оттого, что им хочется дома «вести автоматику». Их будоражит мысль о границах ее возможностей.

Люди читают про полимеры не затем, чтобы «подучиться химии». Их пленяют перспективы преображения всего мира вещей, которыми они окружены...

И так во всем — в области любых научных интересов. Любознательность стала исторической. (Даже интерес к снежному человеку уже не просто жажда поглядеть на его фотографию, а следствие глубокого удивления: может ли быть, чтобы в XX веке еще оставались такие загадки в мире живой природы? И, кажется, большинство не верит в успех этих поисков не из скептицизма, а по причине громадного доверия к науке — не могла она пропустить такую «мелочь»!)

Научно-художественная литература обольщает людей своей доступностью, увлекательностью, человечностью. И писатели не вправе обманывать тех, для кого пишут. Об увлекательности и человечности шла речь выше. А доступность — это как раз та проблема нашего жанра, с которой начался разговор, — проблема популяризации. Ее не должна решать обычная художественная литература — точнее, ей не приходится эту проблему решать, ибо у нее другой герой, чем в нашем гибриде: человек, а не научные искания.

В научно-художественной вещи писатель обязан быть популяризатором науки. Читатель будет обманут, если он найдет в такой вещи лишь беспредметную романтику поисков истины вообще, перасшифрованный героизм ученых и незаземленную

поэзию познания. Он жаждет черного хлеба проблем, заранее радуясь их живительному вкусу и земному духу.

Это ясно сознают даже авторы биографических книг об ученых, хотя они-то уж заведомо выбирают себе в герои всего человека — с его родословной, детством и юностью, зрелостью и смертью. Но если их книги не романы, а действительно научно-художественные биографии, то в них замечательные люди науки предстают перед нами как живое олицетворение научных исканий. Оттого ведь эти люди и замечательные!

Для Олега Писаржевского нет Менделеева без химии и Ферсмана — без наук о земле, а для Виктора Болховитинова нет Столетова без физики... И ни Писаржевский, ни Болховитинов не скупятся на популяризацию непонятого, как не скупятся конструкторы на проработку деталей, дабы машина действовала. Так художники не скупятся на краски, дабы картина жила. Все снова сводится к одному и тому же: без понимания проблем нет образа ученого.

Вадима Сафонова подстерегала опасность превратить Александра Гумбольдта в мистического идола сверхъестественной работоспособности и сказать читателю: не надейся постигнуть, преклоняйся, но не спрашивай! И впрямь, 636 томов ученых сочинений едва ли не по всем областям знания — пугающая гора, на нее не взобраться. Но Сафонов сумел прорыть туннель к сердцевине этой горы, он показал Гумбольдта в научных спорах эпохи и продемонстрировал, как «точка зрения универсального ученого неизменно руководила им» (объект науки един, это — мир). Писатель сделал почти невозможное: на десяти печатных листах он дал научно-художественный портрет великого энциклопедиста. Это — чудо нашего кентавра, позволяющего мастеру превращать сами научные проблемы в живые портретные черты ищущего человека. Такое чудо было бы невозможно без образцовой популяризации.

Но если даже в биографических книгах она неизбежна, то что же говорить о проблемных очерках, документальных повестях, публицистических работах? Между тем как часто можно услышать в среде литераторов непостижимо странное мнение, что о б ъ я с н я т ь вещи не дело писателя, что научный материал враждебен художественности. Короче говоря, согласно этому

мнению, писатель должен старательно оберегать свое художническое целомудрие, чтобы не стать популяризатором... И не думайте, пожалуйста, что я изобрел воображаемого противника и сражаюсь с ветряными мельницами: голос такого мнения звучит в Союзе писателей достаточно часто и достаточно громко. Мельницы, если не ветряные, то ветреные, совершенно реальны. Споры вокруг вопроса о законности популяризации в научно-художественной литературе не затихают.

Мне кажется, что спорить тут решительно не о чем. «Несобственный язык» науки в нашем гибриде всего успешнее служит именно популяризации. Необходимость о б ъ я с н е н и й не надо истолковывать как тягостную вынужденность. Это радостная задача для писателя. На мой взгляд, дважды радостная: с простой человеческой точки зрения — всегда увлекательно свое открытие мира, а с точки зрения чисто профессиональной — всегда доставляют наслаждение поиски не с о б с т в е н н о г о языка вещей (такие поиски знакомы даже критику). Словом: «ниго твое — благо, бремя твое легко».

Нелегко и бесцельно брать на себя лишь непосильное бремя. Его не донести до читателя. Именно в этом прежде всего могли бы упрекнуть Мариэтту Шагинян академики Л. Арцимович, П. Капица, И. Тамм, когда они выступили в ноябре 1959 года против нездоровой сенсационности в пропаганде научных знаний.

Для писателя непосильное бремя — пытаться сделать понятной теорию, еще не ставшую достоянием самой науки с ее неподкупной логикой и неподкупным экспериментом — другими словами, еще не ставшую з н а н и е м... В конце своего страстного публицистического монолога «Время с большой буквы» Мариэтте Шагинян пришлось сказать о теории профессора Козырева: я верю! Это худшее, в чем может признаться писатель и просветитель. Такое признание равносильно другому: «Я не понимаю!» Но тогда остается добавить: «И потому молчу!»

Простоты нет. Однако возможна ясность. Жажда ясности одолевает читателя, когда он слышит о новаторских идеях в современной науке. И обретенная ясность — ни с чем не сравнимое маленькое торжество для каждого. Но даже самого маленького торжества нельзя доставить читателю,

если сначала не испытал его сам. А непонимание удручает и унижает человека. И он идет к писателю, чтобы освободиться от этого гнета. А писатель вдруг начинает обольщать его тем, что пониманию недоступно. Зачем?

Письмо трех академиков меньше всего может дать повод сделать из всей истории с профессором Козыревым и бабьегородским «чудом» тот неоправданный вывод, что писатели — некомпетентные люди и потому им не должно писать о науке.

Ведь тогда им не должно писать вообще ни о чем, кроме как о собственных переживаниях. Но даже если так, то писатели, пишущие о науке, кстати сказать, сначала делают ее своим собственным переживанием — иначе им и за стол-то садиться не хочется. Сравнительная компетентность благоприобретаема: писатель старается приобрести ее, если он добросовестен, в размерах гораздо больших, чем это нужно для его прямой цели (вспомните айсберг!). И такое относительное овладение материалом часто дается ему ценой огромного, хотя и никому не ведомого, черного труда.

Но разве писатели разрабатывали несимметричную механику, разве писатели вели и консультировали опыты на «Сантехнике»? И то и другое делали люди науки — аттестованные профессора, доктора, кандидаты. Они издавали об этом книжки и печатали статьи. И академики вынуждены были критиковать людей, по всем признакам компетентных, но только с точки зрения своей еще более высокой и непререкаемой компетентности. Больше ничего нельзя логически извлечь из этой истории, если говорить о праве писать о науке. Компетентность, как видно, относительна даже в среде научной. Винить за это писателей едва ли справедливо...

Зато наверняка справедливо, что сами ученые слишком мало и слишком неохотно пишут о своих исканиях для всех. Еще справедливее, что у них нет желания писать о науке не на ее собственном языке. Их популярные книги обычно трудны.

Нет, без писателей самой науке, право же, одиноко было бы жить на свете: искусство связывает ее с человечеством — со всем обществом, для которого и ради которого работают ученые.

Горький, впервые узаконивший наш про-

творечивый гибрид, говорил: «В нашей литературе не должно быть резкого различия между художественной и научно-популярной книгой. Как этого добиться? Как сделать просветительную книгу действенной и эмоциональной?»

Научно-художественные вещи советских писателей показывают, как этого добиться, как это сделать! И потому нельзя сомневаться, что у нашего кентавра громадное будущее. Чем большую роль будет играть наука во всей жизни человеческого общества, тем желаннее будут книги этого рода всем людям — маленьким и взрослым, ученым и не ученым. А в нашем коммунистическом завтра, которое само возникает на основах научных, такая литература станет одним из самых влиятельных средств воспитания человека.

Помните, убедившись в правоте Фарадея, нам пришлось спросить по поводу книг популярных: не могут ли научить, что они могут? Другими словами: не властные сделать человека химиком или археологом, не способные преподавать ему математику или биологию, где заимствуют они свое несомненное право на существование?

Популярные по благородному долгу и внутренней необходимости, книги научно-художественные возбуждают те же вопросы. Что же они могут?

Никого не сажая за парту, они приобщают к миру науки всех. Они вербуют в передовую науку читателя юного и расширяют кругозор читателя взрослого. Они без насилия просвещают невежественного и неожиданно обогащают даже знающего специалиста. Они возвышают всех и каждого, делая современников зрителями и вместе участниками той великой драмы плей, которая и есть нескончаемый процесс познания. Словом, не могут научить, эти книги воспитывают людей.

Фотография оборотной стороны Луны, добытая советскими учеными, повысила самоуважение человечества. Без долгих доказательств, весомо и зримо, она показала неограниченность силы познающего разума. Литература, рассказывающая всем, как делается наука, прибавляет роста человеку. Она служит ему нравственно. Как и все искусство, она делает человека человеком. Вот что она может!

А. БЕРЗЕР

★

ОБЩЕСТВЕННЫЙ ВКУС К ИЗЯЩНОМУ

Об уровне искусства судят не по количеству плохих книг, а по характеру, по направлению хороших.

Плохие книги не уходят в будущее, они только могут чуть-чуть задержаться со своими современниками. При этом вред от них становится особенно серьезным и приобретает общественный характер в тех случаях, когда их начинают возносить и расхваливать.

Верность и своевременность оценок, острота и глубина критики дают возможность даже плохие книги сделать орудием художественного воспитания, орудием борьбы за искусство.

Именно поэтому, вероятно, Белинский считал своим долгом не только рассказать о молодом поэте Лермонтове, не только с восторгом возвестить о появлении «Мертвых душ», но и с гневом показать пошлость расхваленных тогдашней критикой стихотворений Бенедиктова.

Значит, борьба с пошлостью тоже входила в революционную программу великого критика. И это естественно, потому что Белинский говорил о воспитании «общественного вкуса к изящному».

«Часто случается,— писал Белинский,— что критик, изложивши свой взгляд на условия творчества сообразно с современными понятиями об этом предмете, прилагает его ложно и, верно описавши характер греческого ваяния, показывает вам разбитый глиняный горшок, в котором варили щи, и божится и клянется, что это греческая ваза? Отчего это? Оттого, что эстетика не алгебра, что она, кроме ума и образованности, требует этой приемлемости изящного...»

Мы, к сожалению, мало занимаемся воспитанием «общественного вкуса к изящному», как будто это нечто второстепенное, малозначительное, достояние эстетов и формалистов.

Правда, в последнее время стали гораздо чаще, чем прежде, писать о воспитании эстетического чувства. Но говорят об этом большей частью в общей форме и, кроме того, имеют в виду прежде всего живопись, музыку и меньше всего литературу, словно бы литература гораздо слабее других искусств связана с понятием прекрасного.

Есть глубокий смысл в словах Белинского о воспитании «общественного вкуса к изящному». Не о каком-то изысканном вкусе избранных заботился критик, а об эстетических нормах общества, о высоком чувстве изящного у народа, у самых широких кругов читателей. Это требование Белинского, как и все остальные,— и народно и демократично.

Борьба за передовые эстетические идеалы в критике не принесет пользы, если вести ее в общей форме, без связи с конкретным разбором конкретных произведений.

А так иногда получается в статье М. Кузнецова «О путях развития современного романа». Статья охватывает множество произведений, ставит огромное количество весьма важных проблем. В этом и ее достоинство и ее недостаток. Автор обзора как будто все время стремится вширь, а не вглубь, словно боится остановиться и подумать. Возможно, сама форма этого обзора, стремление охватить, назвать, упомянуть почти все, что вышло в последнее время, неизбежно привели именно к такому

* См. статью М. Кузнецова «О путях развития современного романа». «Новый мир», № 2, 1960.

характеру статьи. Поэтому некоторые проблемы, особенно связанные с эстетической стороной искусства, находят у М. Кузнецова беглое, случайное истолкование.

Говоря, например, о пошлости, мещанстве, проникающих в иные произведения, М. Кузнецов зачастую сводит эти недостатки к отдельным безвкусным фразам и ситуациям в изображении семейных, любовных отношений, мало говоря об идейных, нравственных критериях писателей, о единстве их этических и эстетических идеалов.

А между тем просто слабые книги не так вредны, как пошлые. Первые обычно бросают, не дочитав. Вторые же могут затянуть, отравить эстетическое чувство.

...Молодая женщина, которую обманул и бросил с ребенком «бесчестный соблазнитель», бежит на станцию, узнав, что он проедет сегодня мимо. Она целый день готовится к этой встрече: «...справа разложены ее лучшие летние платья. Почему несколько? Разве все сразу она их наденет? Ведь только одно?.. В том-то и дело, что одно. А вот какое? Труднее задачи не бывает!»

Ксения долго думает:

«Конечно, лиловое лучше, если пойду с Володькой. У него тоже есть что надеть в тон платью... Но лиловое усиливает тень под глазами».

«Ксения подавляет вздох. «Я в голубое оденусь, а Володьку одену в белое... Резкие пятна. Как-то уж очень грубо...»

Долго в таком духе размышляет Ксения Ильина, героиня одноименной повести Михаила Никулина. Ну это же хорошо, скажет читатель, писатель удачно воспроизвел мещанский облик своей героини. Нет, это очень грустно, ответим мы ему. Потому что Ксения, по замыслу автора, — олицетворение всех положительных качеств: она прелестна, как думает писатель, в своем горе, все ее любят, все восхищаются ею, наконец она тонка и интеллигентна, учит детей литературе, думает о Толстом, о Чехове...

Но каждая ее реплика, каждый поступок находятся в кричащем противоречии с авторской характеристикой. И это не такой уж безобидный процесс, так как при нем смещаются моральные оценки, нарушаются критерии добра и зла. Ведь Мих. Никулин даже не замечает, что его героиня в тяже-

лейшие, трагичные минуты своей жизни думает о своем ребенке лишь как о детали туалета, как о цветовой пятне, сочетающемся — хорошо ли, плохо ли — с общим тоном костюма. Писатель, видимо, хотел показать, какой у Ксении тонкий, изысканный вкус, а мы видим только чудовищную эмоциональную неграмотность.

Так в маске положительного героя на сцене появляются мелкие, маленькие люди с чувствами мелочными, показными, суррогатными.

«...Через десять минут она стояла перед зеркалом в сером костюме, в светло-серых туфлях и в круглой соломенной шляпке, украшенной сбоку маленьким пучком ромашки.

«Сорвать его?»

Но тут же она возразила себе:

«Нет. Ходила же я так на педсовет, в районо, в райком».

Этот пучок ромашки на соломенной шляпке героини играет значительную роль и в дальнейшем развитии повествования. Так, в самом конце произведения, когда Ксения наконец освобождается от своей любви и успокаивается, она пишет письмо своему другу. «...Села написать задумчивое письмо, — пишет эта учительница литературы, которая только что успешно участвовала в вечере чеховского рассказа. — Превняя Ксения для меня стала коротким сном. Приснитесь и улетит на крыльях... И чем глубже во мне зреет чувство настояренности и взыскательности к тем, кто нас обманывает, тем глубже я начинаю любить и ценить настоящих людей...»

Дорогая Людмила Васильевна, у нас еще по-настоящему тепло, и я хожу в круглой соломенной шляпке. И поделюсь с Вами одним душевным пустяком: мне кажется, что новая, сдержанная, задумчивая радость не вяжется с пучком ромашки, что сбоку шляпки. Хочу его сорвать. Не смейтесь, что обращаюсь к Вам с вопросом: так сорвать или не надо?»

Дело, конечно, не в том, что «чувство взыскательности к тем, кто нас обманывает», — безусловно новое и свежее чувство, не нашедшее ранее отражения в литературе; такая форма взыскательности, вероятно, очень устроит тех, кто обманывает...

Но дело, повторяю, не в этих безвкусных и не очень грамотных фразах. Главное в том, что в образе Ксении Ильиной, в ее переживаниях и страданиях нет подлинности

человеческого горя, а есть только мещанская забота о внешней стороне жизни.

Ведь Ксения думает не просто о красивых платьях и шляпках — что само по себе, особенно в женщине, черта скорее положительная, чем отрицательная, — она думает о том, чтобы пучок ромашки помог ей сконструировать новое состояние «сдержанной, задумчивой радости», которое она собирается «носить», как носят шляпу или платье.

Во всяком случае, только эти ненатуральные, показательные побуждения и размышления передал писатель, а внутренние, подлинные чувства героини, если они и есть у нее, остались скрытыми и непонятными. Поэтому даже в момент самого острого отчаяния и тоски Ксения умоляет: «Но об одном попросите его, чтобы хоть на один час появился здесь. Пусть все наши увидят его со мной и пусть думают, что он помнит про нас с Володькой. И пусть потом уедет туда, куда собирался...»

Тут нет ни горя, ни любви, ни оскорбленного самолюбия, ни множества других естественных женских чувств, которые могут возникнуть в подобном положении. Только одно — мещанская боязнь того, что скажут, что подумают, как это выглядит со стороны. Эта боязнь убивает все настоящее, толкает на любую ложь, любые унижения.

В повести Мих. Никулина происходит процесс, который в некоторых книгах, к сожалению, получил распространение, — условно его можно назвать процессом разрушения образа. Сводится он, если говорить коротко и схематично, к тому, что авторы своими руками уничтожают задуманный ими характер, заставляют героя произносить слова, совершать поступки, прямо противоположные тому, что было бы естественным в подобных обстоятельствах. Это смещение не только логическое (хотя при нем и нарушается логика развития образа, неправильно, ненатурально раскрывается характер) — это смещение и эмоциональное, нравственное, эстетическое. Читатель и писатель стоят как бы на различных этических полюсах: писатель восхищается словами и поступками героя, а читателя, в лучшем случае, корбит от них.

Поэтому писатель не может разрешить поставленные им самим моральные, воспитательные задачи.

Это можно наблюдать и в недавно опубликованном романе Дм. Еремина «Семья». Замысел здесь, как это повелось говорить,

самый благородный. Но замысел, если судить по некоторым статьям, величина постоянная — он почти всегда бывает благородным. Как будто замысел — что-то не связанное с самим произведением, лежащее вне его, как будто слово «замысел» не имеет никакого отношения к слову «мысль», а мысль книги и художественное воплощение — две параллельные линии, которые могут никогда и не встретиться...

Роман Еремина — семейный роман; в нем рассказывается о жизни потомственной рабочей семьи с Красной Пресни, о матери-героине Анне Егоровне Беловой, о ее детях, взрослых и еще маленьких, об их судьбах.

Роман начинается в день, когда Анна Егоровна получает орден «Мать-героиня». Анна Егоровна и ее муж, Николай Ильич, окружены почтительным восторгом создавшего их автора. Их отношения друг к другу, к детям, к воспитанию, их нравственный кодекс — обо всем этом рассказано с умиленной многозначительностью.

Анна Егоровна, по убеждению писателя, — воплощение материнской мудрости: она обладает «мастерством материнства», от имени матерей она произносит речь на торжественном заседании в Большом театре, с ней беседуют корреспонденты, о семье Беловых пишут статьи, печатают их фотографии. Значит, это не просто многодетная семья, но и выдающаяся по своим нравственным устоям, по красоте и прямоте отношений. В чем же эти устои? Как складывалась эта семья?

«Каждый год приносил в жизнь страны и семьи Беловых что-нибудь новое, важное. Отмечая это, Николай Ильич всякий раз находил подходящий предлог и для доводов в пользу роста семьи. Только первенец, Николенька, родился у них без всякого замысла, «просто так».

Писатель хочет утвердить особую высокую идейность своих героев, даже дети у них рождаются не «просто так», а только в честь важных событий в жизни страны. Поэтому, когда Анна Егоровна решила «остановиться» на шестом ребенке, «Николай Ильич сказал:

— Напрасно ты заленилась...

...— Стыд и срам: снял меня со стола, — возмущалась Анна Егоровна, отправляясь с мужем домой, а на душе у нее становилось все радостнее и теплее. — С ума сошел? Меня уж совсем приготовили...

— То, что приготовили, не обесудим,— добродушно посмеиваясь, откликнулся Николай Ильич, осторожно ведя жену по знакомым улицам к дому.— Зато у нас будет еще один юнец-молодец!

— А если юная гражданочка? — уже с интересом спросила жена.

— И от гражданочки отказываться не будем. Славно иметь и советскую гражданочку, умненькую да веселую».

Так это столкновение между супругами было улажено, мотив гражданственности, как видим, победил и в этом вопросе..

Ощущение эмоциональной бестактности возникает буквально с первых страниц романа и не оставляет нас до конца. Кажется бы, действительно воспитание детей — дело большой общественной важности, против этого не возразишь. Но у Еремина происходит такая вульгаризация этого бесспорного положения, что остается лишь чувство неловкости и фальши.

Дм. Еремин стремится показать, как в жизни детей осуществляются высокие принципы семьи Бедовых. Сюжетные линии романа и составляют истории детей, воспроизведенные то более, то менее подробно.

Старший сын, Николай, в детстве сошелся с уличным заводилой. «Безделье, частые выпивки... карточная игра со все растущим долгом сбивали его с пути. Николай Ильич был в то время в расцвете сил, увлеченно работал вторым секретарем райкома и мало занимался... детьми».

Об истории с Николаем сообщается мимоходом, очень коротко. Как это событие отразилось на характере, на жизни героя — об этом в романе ни слова. Да это и не интересует автора. Забегая вперед, следует сказать, что история детей Бедовых строится по нехитрой схеме — с каждым из них что-нибудь случается неприятное, каждый на некоторое время скатывается на обочину, а потом, под конец романа, выпрямляется и как ни в чем не бывало продолжает путь вперед.

Так и Николай: в детстве он «свихнулся». Но потом его друга «за кражу со взломом... выслали из Москвы. Это напугало и остановило Николая». Видно, если бы не испугался, то и не остановился бы. Так следует понимать

Затем Николай очень быстро и просто становится инженером, в институте встречает Гаю, которая «заставила впервые понастоящему встрепенуться его душу».

И вдруг новое несчастье — от рака умирает Галя, ставшая его женой.

Однажды, «охваченный в минуты одиночества сжимающим сердце горем», Николай опустился на скамью в скверике. «В это время Ольга Александровна Севастьянова (она была членом месткома управления) опустила ладонь на его рукав... Он прикрыл глаза ладонью, и вместе с его рукой к лицу прикоснулась ладонь Севастьяновой... Растроганность этой минуты не прошла бесследно». Они вместе пошли по улице.

Затем Севастьянова проводила Николая на семейное торжество в честь матери-героини. Сама она в дом не вошла, но один из младших братьев видел ее вместе с Николаем.

А в доме идет праздник, много гостей. Но Анна Егоровна, забыв обо всем, распаляется страшным гневом и устраивает при гостях громкий скандал. Ничего не могло измениться «в настроении матери, рассерженной и оскорбленной непристойным поступком Николая. Именно непристойным, иначе Анна Егоровна и не могла назвать приход сына с посторонней женщиной на семейный праздник... Она... внутренне похолодела. Многие мужчины бывают неразборчивы, но чтобы подобное позволил себе Николай... Как он посмел?» Анна Егоровна кричит, плачет и выгоняет Николая из дому.

Дм. Еремин восхитен этим малопривлекательным зрелищем нелепого публичного скандала. Ему кажется, что в этом видны и прямота, и честность, и резкость Анны Егоровны. Он забывает только что описанную им в столь чувствительных тонах сцену высокой духовной близости Николая и члена месткома Севастьяновой.

Грубый, пошлый скандал выведен в романе как образец, достойный подражания. Мещанская подозрительность, которая везде видит только дурное, только низменное, выдается за эталон поведения и воспитания.

В героях Еремина нет благородства, нет культуры чувств, которая, как известно, не находится в прямой зависимости от диплома или аттестата зрелости.

Много места уделено в книге истории любви дочери Бедовых Зои — работницы литейного цеха одного из заводов — к уловнику Сашке Шмелькову.

Это первая любовь, любовь буквально с одного взгляда, необычайно возвышенная,

как кажется автору, и романтическая. Впервые Зоя увидела Сашу на соревнованиях по баскетболу. Он сразу же поразил ее воображение: его «длинные сильные руки, посылая мяч в сетку, так неожиданно взлетали над головами игроков заводской команды, что временами казались Зое стремительными крыльями».

Во время игры Зоя часто слышала обращенный к ней возглас Шмелькова: «Жми их, Глазастая!» Это окончательно доконало ее, устоять уже было невозможно. Вскоре Сашка пригласил Зою на свидание: «Придешь, Глазастенькая? Вечерок погуляем!» — и взглянул на нее такими таинственными глазами, что сердце Зои дрогнуло.

Свидание прошло хорошо. «Наслаждаясь самим разговором, они заспорили о том, какая из фабричных команд лучше подготовилась к весеннему сезону. Потом поделились соображениями о недавних международных состязаниях боксеров...»

«Зоя мечтательно протянула:

— Ох, Саша... Как хорошо быть счастливым, полезным. Верно?»

Удивительную бедность, убогость чувств, мыслей изобразил здесь Еремин — изобразил, как само собой разумеющуюся норму. Можно ли при этом почувствовать разницу между передовой комсомолкой Зоей и выгнанным из комсомола продавцом Шмельковым, участником воровской браконьерской шайки? Зоя, допустим, могла не понять, кто он такой, — она влюбилась. Но от автора-то можно было ждать трезвости оценок.

Затем герои встретились второй раз, «полные обоюдной радости». Сашка, зная, что его матери нет дома, везет Зою к себе. Он предлагает выпить, но Зоя непреклонна.

Потом вдруг Сашка «искренне и многословно» объясняет Зое, что он жулик. Сначала она заволновалась: «Обманщик! Подлый ловчила, мелкий воришка!» Но очень скоро у нее «стало радостно на душе». «Сбивчивый, искренний разговор как-то размягчил и даже обессилил Зою». Поэтому она тут же стала его женой.

Дальше идут длительнейшие мучения, терзания. Сашка продолжает воровать, но при этом ведет себя по отношению к Зое очень порядочно, и кончается все благополучно.

Почти невозможно передать все многообразие оттенков пошлости, безвкусицы,

запечатленных в этой истории. Весь этот «роман» идет на каких-то вопиющих моральных сдвигах, нигде не видно собственных нравственных, художественных оценок автора, его мира чувств и мыслей.

Во многих книгах возникает удручающая схема: бледными, бесплотными тенями надвигаются на нас благородные девицы, обольщенные подлецами-мужчинами. Прекрасная Ксения из одноименной повести Мих. Никулина, комсомолка Зоя из романа Еремина «Семья», медсестра Аллочка, обманутая бесчестным доктором Брудаковым из повести «Кругизна» В. Дягилева... Одни подлецы раскаиваются, другие нет, у одних девиц рождаются дети, другие делают аборт, у одних аборт проходит благополучно, другие от них чуть не умирают, но коллектив сотрудников приходит на помощь и сообща возвращает обесцеленную жертву к жизни. Возможны и другие варианты, хотя их и не так уж много. Иногда бдительный автор до «падения» не доводит, перевоспитывает героев раньше и потом уже ведет «под венец».

Так, например, произошло с одной из многочисленных героинь романа К. Лагунова «Будни», опубликованного в 1959 году в трех номерах «Гулистана», альманаха Союза писателей Таджикистана.

Любушка, член бюро райкома комсомола, познакомилась с молодым парнем Вдовинным. События, как и во всех произведениях подобного типа, разворачиваются стремительно (количество встреч до «решающего момента» колеблется от одной до двух), но К. Лагунов вносит в этот сюжет и кое-что новое — его герой сначала признается в своих чувствах, а потом уже выясняет у героини ее имя. До фамилии дело не доходит... А дома Люба «только на рассвете забылась в легком розовом сне».

Вскоре «на лазурном небосводе Любушкиного счастья появилось первое облачко». Вдовин оказался хулиганом, но вместе с тем он «очень гордый. Гордый и смелый», но его могут посадить в тюрьму, и ей хотелось «прижать к груди эту глупую, гордую и милую голову» хулигана и «целовать ее».

Можно ли полюбить хулигана... Можно ли полюбить спекулянта... Можно ли полюбить негодяя... Вот круг проблем, которые ставятся в этих книгах. Трудно спорить с авторами. В жизни бывает по-разному.

Запретных для литературы тем не может быть.

Ведь о грустной истории обманутой любви написано немало великих книг. И сколько же при этом можно поведать миру о людях, о жизни, сколько можно поднять острейших нравственных, социальных, философских вопросов.

Но печально, когда вся «философия» произведения сводится к душеспитательной морали жестокого романса, или к хехитрому выводу «все мужчины подлецы», или к нескольким прописным истинам — банальным, выветшим и потрепанным, не имеющим никакого отношения к сфере искусства.

Бескрылость, отсутствие подлинного высокого нравственного кругозора лишает эти и подобные им произведения хоть какой-нибудь, хоть маленькой идеи.

В них нет ни мысли, ни чувства, нет трагедии, горя, нет, наконец, и любви, хотя они полны высокопарных декламаций на эту тему. Не случайно так однотипно плоско показано в этих книгах зарождение чувства — без проникновения в психологию человека, в его характер.

У младшей дочери Бедовых, Лиды, из романа Дм. Еремина «Семья» любовь развивается приблизительно по той же схеме, только с положительным итогом: познакомились случайно на публичной лекции (или на стадионе, или на танцах), сразу влюбились, при второй встрече объяснились. Нечто похожее происходит и в других произведениях. Там тоже обычно не хватает штампов для описания чувств, поэтому герои или идут в загс (если оба положительные), или начинают терзаться (если он — отрицательный или полуотрицательный). Сколько же можно повторять одно и то же!

«...Она все последние дни была бесконечно счастливой» — это Дм. Еремин о Лиде.

«А она все стояла, полная радости и сматения...» «Неужели это любовь?» — думала она, радуясь и сомневаясь», — так пишет он о Зое.

«Любушка действительно влюбилась, — рассказывает К. Лагунов. — ...Любовь принесла с собой большое счастье. Оно не уместилось в девичьей груди, ярко лучилось из горячих карих глаз, срывалось искрами улыбок, проступало в уверенных движениях молодого сильного тела».

Однотипные штампы: «радуясь и смеясь»

или другой оттенок — «радуясь и сомневаясь», открытия вроде «любовь принесла большое счастье» или «она была бесконечно счастливой» — все это кочует из одного произведения в другое, без труда сопровождает самых разных героев: хороших и плохих, счастливых и несчастных, веселых и печальных.

В романе Дм. Еремина много таких условно разных людей с механически распределенными условными несчастьями. Можно подумать, что автор устроил лотерею, приготовил специальные билеты, на которых обозначены разные оживляющие сюжет несчастья, и заставил детей Бедовых тянуть жребий: кто что вытянет — тому уж и судьба такая.

У Николая — смерть жены, у Зои — любовь к проворовавшемуся продавцу. Студент Павел терзается от любви к кареглазой мещанке Соне, которая давно «внесла сумятицу в его сердце». Соня попала под влияние дьякона-футболиста с модной прической и стала петь в церковном хоре. Павел сначала не понял степени падения Сони, ему казалось, что ее переход из конторы в хор певчих — «просто результат его собственного недосмотра и ослабления массово-политической работы комсомола среди молодежи вообще. Он так и подумал, сердясь: «Ослабили, запустили работу среди неорганизованной молодежи. И вот результат!..» Но все оказалось гораздо серьезнее, и муки неразделенной любви к недостойной Соне тянутся еще долго. Другой брат, Андрей, — спортсмен, преподаватель института физкультуры — мучится от происков злойредной мещанки тещи и полумещанки жены. Старшая дочь, Клавдия, которая появляется в романе много позднее других детей, когда уже все варианты «осложнения» их судеб, видимо, были исчерпаны, обречена на противоположную ненависть к родному сыну.

Так течет жизнь Бедовых... А тут же рядом почему-то щелкают фотоаппараты, умиляются корреспонденты, Анна Егоровна с трибуны торжественного собрания произносит речь о семье Бедовых и о ее традициях.

Почему же герои Дм. Еремина так легко попадают в мещанские сети, почему мещанство буквально обступает их со всех сторон и они даже отбиться не в состоянии? Да, пожалуй, только потому, что за рабочую семью писатель выдает семью мещанскую,

с узким, ограниченным взглядом на жизнь. Недаром Анна Егоровна, в которой сосредоточены для писателя все мыслимые идеалы, на наших глазах совершает множество поступков, которые выражают лишь душевную грубость и бестактность: она читает дневники детей, подглядывает за старшим сыном, она устраивает отчаянную общесемейную «проработку» одному из младших сыновей, когда он съел конфеты, она уговаривает Андрея примириться с алчной хищницей тещей, она зачем-то ведет влюбленного в Зою венгерского студента в гинекологическую больницу навестить Зою, которая лежит там после аборта, и т. д.

Все это выдается за образец воспитания. Вполне понятно поэтому, что и дети также на каждом шагу проявляют свою душевную неразвитость. Так, например, каждый раз, как встречаются сестры Бедовы — Зоя и Лида, Дм. Еремин спокойно, старательно и сочувственно описывает, как Зоя завидовала Лиде. «Завидовала тому, что Лида окончила институт, а она, Зоя, в двадцать лет еще не закончила и вечерней школы. Завидовала тому, что Лида считалась в семье самой красивой...», и т. д.

Или в другом месте, после «падения» Зои, мы узнаем: «Зоя чувствовала это (счастье Лиды.— А. Б.), завидовала сестре, ощущая еще сильнее вину перед родными...»

Зависть как бытовая, нормальная черта, как естественная форма взаимоотношений между ближними — это ли не вопиющая черта мещанского восприятия мира?

Да и хвастливое самодовольство: «Мы, Бедовы...», «у нас, у Бедовых...» — тоже меньше всего свойственно потомственным трудовым рабочим семьям. Оно не имеет ничего общего с чувством рабочей гордости, за которым всегда стоит труд, поиски, открытия, подлинная жизнь, а не чванливое мещанское самоутверждение. Ведь мещанство боится быть самим собой, оно всегда под что-то подделывается, всегда старается выдать себя за что-то другое, оно не может не утверждать себя, не хвастать и не кичиться, не быть кричащим и претенциозным, не доказывать свое превосходство всевозможными внешними, показательными приемами и черточками. Выглядеть, а не чувствовать, казаться, а не быть — особенность мещанина. Подделка может в равной мере быть и под интеллигенцию и

под рабочий класс. Это видно и в литературе. Так, Мих. Никулин, например, принарядил свою Ксению в интеллигентско-утонченные наряды, а Дм. Еремин выставил своих героев в «рабочей одежде». Но пошлую сущность мещанства невозможно ни спрятать, ни приукрасить.

Характерно, что в трудовой семье Бедовых почти отсутствует интерес к трудовой деятельности героев. Конечно, роман Дм. Еремина — роман семейный, бытовой, не надо требовать от писателя того, что и не входило в его задачу: изображения производственной жизни героев, производственных конфликтов и т. д. Я имею в виду другое: профессия, труд, общественные интересы героев романа начисто вытеснены из сферы их духовной жизни, из кругозора повседневности, что лишний раз подчеркивает узость и косность их мещанского домашнего мирка, в который, поскольку действие протекает не на работе, а дома, не проникают никакие интересы, никакие волнения, кроме склок с тещей, псевдолюбовных терзаний, семейных праздников или семейных скандалов.

Чувствуя, вероятно, этот зияющий пробел, сам автор иногда говорит о труде героев. Большею частью это стертые общие декларации, вроде: «Николай Ильич любил свой завод» или «Дело было интересное и большое. Оно, несмотря на горе, вызванное неизлечимой болезнью жены, с каждым днем все сильнее увлекало Николая». После этого сам Николай о своем деле ни разу и не вспомнил. Еще мы узнаем, что Андрей по утрам работал над диссертацией; о чем, для чего — неизвестно. И так в отношении всех героев: формальное упоминание о деле, которое никак не входит в жизнь, не задевает никаких душевных струн, не переступает с героями за домашний порог. Единственная «работа», которая описана в романе со всей тщательностью, во всех подробностях, — жульнические операции Сашки Шмелькова.

И в повести Мих. Никулина «Ксения Ильина» учительская деятельность героини не больше чем условный значок, который можно снять или сменить на другой.

Роман же К. Лагунова «Будни» отличается тем, что выводит обывательскую склоку на широкий простор, делая ее основной формой деятельности стоящего в центре произведения райкома комсомола, Клевета, подсиживания, подметные

письма — главные сюжетные узлы этого весьма объемистого произведения, в котором всевозможные нелепые картонные злодеи с поразительной лихостью раскрывают свою подлую сущность, а весьма немногочисленные положительные комсомольцы рассуждают, как убогие мещане.

Есть еще одна весьма характерная черта мещанина — стремление во что бы то ни стало изъясняться «красиво». Ведь он хочет спрятать подлинное свое существо, приукрасить себя, создать дымовую завесу из каскада «возвышенных» слов, прикрывающих, как маска, его лицо.

И тогда в книге происходит убийственное, невозможное в искусстве совпадение речи героев самых разных полюсов; разговор отлеплого пошляка и разоблачающего его, противопоставленного ему героя течет в одном общем ключе. А ведь в литературе зеркалом души является речь героя.

Порой и сами авторы с такой же «возвышенностью» рассказывают о чувствах своих героев.

«Вопрос был робким, — читаем мы в повести Мих. Никулина, — так как поставил его голый рассудок женщины... Как непрочную крышу снимает разбушевавшийся ветер, так и живые, горячие чувства Ксении отбросили всякие колебания... Эти терпкие мысли заставили ее посмотреть на себя с той стороны, с какой все близкие люди сейчас смотрели на нее... Вы назвали его злым слепцом... Ни сердца мужа, ни совести отца! Вот и разорено мое первое плохо свитое гнездо... А слезы уже проворно бежали по ее щекам».

«Слезы щемящей сердце радости, — читаем мы в романе «Семья», — подкатили к горлу. Стараясь сдержать себя, он провел ладонью по шершавой коре ветлы, нащупал сухой сучок и сказал с улыбкой: «Люблю!»

«Тяжелые слезы потекли по его щекам...»

«Виталий... — это имя она с нежностью и благодарностью повторяла в течение дня десятки раз».

Трудно определить здесь индивидуальную манеру авторов, узнать их почерк. Все пользуются одинаковым набором штампов.

В этих книгах обнаруживаешь странный прием. Прием этот несложен. Берется какое-нибудь обычное, примелькавшееся выражение и несколько видоизменяется. Так, например, рассказывая о болезни жены Николая, Еремин пишет: «Она уже лежала

в больнице и таяла на глазах у всех, как тонкая восковая свеча...» Но это описание кажется писателю слишком слабым и невыразительным, и он добавляет: «и таяла, как тонкая восковая свеча на жаркой плите...» Результат получается обратный, образ доводится до обесмысливания, до уничтожения — он был бы уместен только в том случае, если бы свечи, как котлеты или олады, жарили на раскаленной плите.

Или читаем в другом месте: «Галя... заставила впервые по-настоящему востропнуться его душу». И в этом случае в стандартное словосочетание вставляется для «обновления» слово «по-настоящему», которое вносит в него одну только нелепость (разве можно востропнуться не по-настоящему?).

Этот странный путь украшения штампов, обвешивание их какими-то елочными побрякушками не дает никакого результата, фразы от этого не приобретают свежести, они только теряют свой элементарный смысл и становятся еще более напыщенными, еще более выпренными. Видно, что автору хочется обязательно, во что бы то ни стало взять ноту повыше, найти сравнение попронзительнее.

Трудно при таком методе показать благородные характеры людей.

Создается впечатление, будто грубо раскрашенную маску писатель принял за человеческое лицо, поэтому он не сможет сорвать эту маску, обнажить подлинную, а не мнимую, не показную сущность своего героя.

Мы знаем в нашей литературе немало блестящих образов такого обнажения. Из произведений последних лет достаточно вспомнить «Жестокость» Павла Нилина и действующего в этой повести журналиста Узелкова.

Узелков писал в газете примерно так: «Среди ночи сторож потребилки услышал подозрительный шорох. Ночь была мгlistая, небо заволакивали черные тучи, и силуэты всадников причудливо рисовались на фоне бархатисто-темного неба...»

Но в «Жестокости» по-иному «действует» автор, и это видно почти с первых страниц повести. Правда, «действует» тонко, почти незаметно, но одновременно с яростной определенностью мыслей, чувств, моральных оценок.

Сразу же за этой как будто бесстрастно приведенной цитатой из газеты вступает

рассказчик, молодой парень из угрозыска, от имени которого ведется повествование (участник описанных Узелковым событий): «Я скрывать не стану: мне нравилось в те времена, как писал Якуз. Слова его нравились. Но мне неприятно было, что он пишет неправду. Всадников не было, туч тоже не было. Были пешие бандиты и сторож, но он спал».

Герою даже нравилось «в те времена» (и это очень существенная поправка), как писал Узелков. Но писателю Нилину не нравится И поэтому он сразу же обнажает внутренний смысл высокопарных, надутых фраз Узелкова — они, как мишура, прикрывают неправду. И чем дальше, тем более полно раскрывается эта неправда мира Узелкова, злобная вредоносность пошляка.

Ребятам из угрозыска сначала показалось, что в этой мишуре скрывается что-то недоступно привлекательное, а пачальника, «тоже любившего необыкновенные слова», Узелков покорила с первой же встречи.

В любви «к необыкновенным словам» некоторые писатели могут поспорить с этим героем.

Ложное представление о том, что красота и выпрєнная красивость—одно и то же, сводит на нет самые лучшие намерения, приводит к резкому противоречию между художественным, эмоциональным смыслом вещи и тем заданием, которое ставил перед собой автор.

В «Зависти» Юрия Олеши есть исчерпы-

вающее, как формула, определение пошлости. «Король пошляков» Иван Бабичев говорит: «А фамилия Кавалеров мне нравится: она высокопарна и низкопробна». Высокопарный и низкопробный... Такая смесь на первый взгляд может показаться даже противоестественной, но в действительности она вполне закономерна. Ведь именно потому и высокопарный, что низкопробный, именно потому высокопарный, что хочет скрыть свою низкопробность, а другой ширмы у него нет, и найти ее он не может, не умеет.

Читая иные произведения, начинаешь думать, что авторы их стремятся открыть новое сочетание: высокопарно и благородно. Увы, это занятие не приводит к успешным результатам, это сочетание невозможно, оно убивает искусство,

Смешение эстетических и моральных оценок, как всегда в искусстве, не может оставаться нейтральным, частным недостатком, оно, естественно, наносит непоправимый ущерб общему и дейному содержанию вещи.

И мне хочется еще раз вспомнить приведенные в начале статьи слова Белинского о воспитании общественного вкуса к изящному. Не просто вкуса, не личного, не индивидуального, а именно общественного. Следовательно, речь идет о нормах всего общества, о восприятии искусства, об эстетическом воспитании народа. Именно у нас, в нашем обществе, эти вопросы могут решаться во всей их полноте.



КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ



ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

З. Паперный. Хорошо! — **Инна Соловьева.** Намерения были самые добрые... — **А. Анастасьев.** Искусство критика. — **Л. Осповат.** Поэзия Габриеллы Мистраль. — **А. Лебедев.** Антонио Грамши об искусстве.

ПОЛИТИКА И НАУКА

Кандидат исторических наук **Ю. Шарапов.** Путеводитель по ленинскому литературному наследию. — **И. Пешкин.** Дыхание семилетки. — **А. Ханьковский.** Дела и люди хлебного Алтая. — Кандидат исторических наук **А. Ефремов.** Опасный перекресток. — **С. Эпштейн.** Новая форма социальной демагогии.

Литература и искусство

Хорошо!

Отзывы, мысли, высказывания о Чехове писателей, постановщиков, актеров, чтецов разных стран мира: Арбузова, Еланской, Леона Кручковского, Артура Миллера, Эрвина Пискатора, Джона Б. Пристли, Розова, Бориса Смирнова, Тарасовой, Товстоногова и многих других. Ясное ощущение: после Чехова уже нельзя писать так, как писали до него. И нельзя играть по старинке.

Впервые публикуемые отрывки из режиссерских экземпляров «Трех сестер» Станиславского и «Иванова» Немировича-Данченко. Выдержки из писем Книппер-Чеховой к Чехову. Например, о подготовке спектакля «Вишневый сад»: «...все с таким наслаждением, с такой радостью приходят на репетиции, что передать тебе не могу. Точно праздник, а не репетиция».

Интересные дополнения к «Летописи жизни и творчества А. П. Чехова», сделанные неутомимой собирательницей материалов о нем — Н. Гитович. Малоизвестное свидетельство о словах Чехова, сказанных в 1903 году: «Нагрянут в России такие события, которые все перевернут вверх дном. Мы переживаем такое же время, какое

переживали наши отцы накануне Крымской кампании».

Статьи М. Туровской, Е. Суркова, М. Строевой, К. Рудницкого, В. Виленкина, Л. Фрейдкиной, статьи-воспоминания М. Кнебель и Рубена Симонова, стенограммы лекций и выступлений талантливого исследователя Чехова А. Роскина, погибшего на фронте в 1941 году, «Заметки на полях» А. Владимирской.

Материалы о чеховских постановках на сцене МХАТа, других советских театров.

Богатейшие иллюстрации, портреты лучших исполнителей чеховского репертуара — В. Комиссаржевской (Нина Заречная), О. Книппер-Чеховой (Елена Андреевна, Маша, Раневская), Станиславского (Астров, Вершинин), Б. Добронравова и В. Орлова (Войницкий), В. Качалова (Иванов, Трофимов, Гаев), Хмелева (Тузенбах), Москвина (Епиходов), Б. Смирнова (Иванов), актеров Москвы, Ленинграда, Киева, Нью-Йорка, Парижа, Лондона, Рима, Вены, Хельсинки, Будапешта, Амстердама, Пекина...

И все это — в одном номере, в одной — чеховской — книжке журнала «Театр», открывающей 1960 год.

Получился даже не обычный журнальный номер, но целостная книжка, не просто составленная, а написанная дружным коллективом авторов.

Мы много и справедливо говорим, что в журналах еще часто дает себя знать скука, пережевывание общезвестных мыслей, комплектный набор определений. Приятно прочитать книжку журнала, сделанную с любовью, с выдумкой, старанием, и убедиться в том, как много у нас неиспользованных возможностей, насколько лучше, живее могли бы стать наши журналы.

В январской книжке «Театра» подкупает и то, что сквозь статьи разных авторов проходят некоторые мысли, как бы скрепляющие номер. С разных сторон приближаются авторы к важному положению: Чехов-художник показал изжитость, исчерпанность старых форм жизни, верований (М. Туровская); он подводит нас к мысли — уклад, строение жизни не зависят от воли одного человека, дело не в отдельных людях (М. Строева); его герои бьются над общими вопросами бытия и поэтому «чаще разговаривают сами с собою или с нами, зрителями и слушателями, чем со своими непосредственными партнерами, собеседниками» (К. Рудницкий). Последние слова требуют поправок, но в целом такой подход к Чехову-драматургу уберезжет от излишнего «обывовления» пьес, от перенесения главного внимания на узко личное содержание споров, столкновений, ссор. И в то же время ценную мысль эту легко огрубить. Нельзя раскрывать конфликт чеховских героев с жизнью, «минуя» собственные столкновения героев. Поэтому, когда мы читаем в передовой статье: «Первый в мире Чехов создал драму, где персонажи почти не борются между собой. Все вместе — точнее, каждый сам по себе — они борются с общим врагом, проклятой жизнью, которая грозит их всех перемолоть», — мы чувствуем, что верная мысль здесь сформулирована так прямолинейно, что уже утрачивает свою убедительность. В самом деле, разве не сталкиваются друг с другом Серебряков и дядя Ваня, Наташа и сестры Прозоровы? Разве можно сказать, что у всех у них общий враг и что жизнь равно грозит их «перемолоть»? Серебрякову, Наташе, Протопопову жизнь вовсе не грозила.

Нельзя уравнивать между собой чеховских персонажей и говорить, что все они, мол, несчастные, все страдают от окружающей их жизни и т. д. А именно так и получилось, например, у К. Рудницкого: «Любовь не смогла вывести Вершинина и Машу из пошлой среды. Она была смелой, эта любовь, но ведь любовь Наташи к Протопопову тоже по-своему смела... Пошлая любовь Наташи, пародируя красивую любовь Маши, уравнивается с этой красивой любовью в границах адюльтера, преступить которые им обоим не дано».

Вот до каких обидно несправедливых вещей можно договориться, односторонне исходя из определения чеховских пьес как «драмы, где персонажи почти не борются между собой», равно выступают жертвами общего уклада.

Интересна статья Е. Суркова «Путь через театр». Ее отличает то, что еще так недостает многим работам о Чехове-драматурге — живое ощущение современного Чехову театра. Прав автор, когда ставит в связь между собой судьбу первых постановок «Иванова», «Лешего», «Чайки» и делает вывод о глубоком взаимоотношении Чехова и театра восьмидесятых годов. Верно, пишет критик, что Чехов шел к встрече с Художественным театром «из глубин старого русского театра, познав его силу и слабость до дна, ценой трудного и во многом плодотворного опыта».

Мало исследованы чеховские традиции в советской драматургии. С тем большим интересом читаешь статью М. Строевой. Здесь много точных наблюдений. Радует широта подхода к проблеме чеховских традиций, отказ от сведения их к одной «линии» (Арбузов, Розов). Однако, стремясь к расширению «площадки» исследования, автор иногда чересчур увлекается сопоставлениями и «параллелями». Например: «Нашествие» — чеховская пьеса Леонова еще и потому, что внутренний конфликт ее связывается с внешним, а внешний не ограничивается столкновениями Федора с Колесниковым, с Ольгой, с отцом, а через них, сквозь них протягивается к великим бедам народным, которые заражают Федора «честнейшей идеей века» и ведут к подвигу. Так внутренний конфликт разрешается через конфликт внешний, понимаемый очень широко». Думается, такие определения излишне общи, отвлечены от мате-

риала сравниваемых пьес. К счастью, не они определяют содержательную статью М. Строевой.

Книжка оформлена изящно — ее украшают редкие снимки и со вкусом сделанные рисунки художника Андрея Крылова.

Много еще хорошего можно было бы

сказать о январской книжке «Театра», посвященной Чехову. И самое приятное, пожалуй, то, что она свободна от «юбилейности», от того самого «дорогого, многоуважаемого шкапа», который так чужд подлинному Чехову.

3. ПАПЕРНЫЙ.

★

Намерения были самые добрые...

Роман оборван на самом интересном месте. Единственный мужчина, который на протяжении трех номеров «Звезды» оставался бесчувствен к обаянию Алены Строгановой, раскрыл тайну своего сердца. Он любит! Это бесповоротно выяснилось в купе вагона, спешившего к Ленинграду, где на платформе Алену ждал жених. И так, за комсомольской нетерпимостью Александра Огнева к недостаткам самой талантливой студентки актерского факультета таилась молчаливая страсть. И сейчас Алена ответно вспыхивает. Тем более, что поезд уже подъезжает. «Она рванулась к нему... Мысли ее как ветром расшвыряло. И она вдруг смутно ощутила, что с ней что-то случилось».

Мы и раньше отдавали себе отчет в великой женской неотразимости центральной героини романа Екатерины Шереметьевой «Весны гонцы». На протяжении первой части книги, печатание которой завершила «Звезда», Алена Строганова одержала завидное количество побед. Еще до зачисления на первый курс Строганова покорила своего будущего соученика Валерия — у Алены сразу же «возникла уверенность, что он думает о ней, и громко говорит и смеется для нее, и идет так особенно плавно и легко, высоко подняв голову, тоже для нее». Одновременно был сражен Джек Кочетков с их же курса: при первом взгляде он нашел Алену удивительно оригинальной, «потом он сказал, что руки у нее музыкальные, нервные, необычайно выразительные», и под конец предложил «всерьез... это самое... руку и сердце». Студент Женя, простак по своему будущему сценическому амплу и по своему нынешнему назначению в романе, тоже вздыхает по Алене и пишет ей страстные стихи. Далее, ее снисходительности добивается красавец и подлец Гартинский.

Е. Ш е р е м е ть е в а. Весны гонцы. «Звезда», №№ 3, 4, 5, 1959.

Впрочем, может ли быть порядочным человеком персонаж, которого зовут Всеволодом Германовичем Гартинским? Самим именем-отчеством ему уготована роль соблазнителя с богемно-космополитическим уклоном, каковую роль он и выполняет в романе. Он шепчет Строгановой за кулисами новогоднего детского представления: «Вы упорно снитесь мне, Лена» и «все равно, не уйдете от меня», и в итоге возвращает — правда, не Алену, но зато «трепетную лань вроде Комиссаржевской», Лилию Нагорную. Героиня с именем Лилия — не жилица на свете, и обольщенная лань сначала чуть не погибает от аборта, а потом кончает жизнь под машиной.

Алена равно неотразима для отрицательных и положительных героев. Она чуть не становится жертвой грязно-страстных посягательств некоего Леонтия, о котором известно только, что он связан с кондитерским производством. Строганова встречается с ним на вечере у бесстыдно худой и бесстыдно декольтированной балерины Люсеньки; «прямо в глаза ей из-под опухших век жадно смотрели узенькие серые глаза, серое длинное лицо с глубокими складками у неестественно яркого рта приближалось к ее лицу, обдавая запахом вина». Возмущенная Алена спасается из пьяного вертепа, но любовная удача прямо-таки продолжает ее преследовать: «обе ноги ее, разом скользнув, вылетели вперед», Алена упала навзничь, и близ нее затормозила личная «Победа» моряка Глеба Щукина. Моряк довозит ее до общежития, прочно и скромно влюбляется и становится тем самым женихом, о котором Алена забывает в вагоне наедине с Огневым.

Казалось бы, хватит уж, видно, что Алена чарующе хороша. Довольно? Но не для автора романа. Алена успевает внушить серьезную любовь одному из зрителей во время поездки актерской молодежи на

целину, и лучший комбайнер и рекордист пылкий Тимофей ночь напролет уговаривает ее выйти за него замуж. К списку закрепленных женских достижений нужно добавить великое множество мимолетных побед. При виде Алены восторженно робеет молодой интеллигентный человек в автобусе, замирает юный военный, заглянув на улице эй в лицо, млеют случайные знакомые на вечеринках, а в институте «все чаще ловил Алена внимательные взгляды, все чаще заговаривали с ней студенты других курсов, все настойчивее предлагали вместе делать этюды». Даже мимолетний попутчик, пожилой архитектор, «ласково по-мужски рассматривая Алену», свидетельствует, что она «принадлежит к тому типу женщин, в которых все хоть немного влюбляется...»

Итак, Алена любима. Но никто из героев не обожает ее так, как автор. Екатерина Шереметьева старается не ослепляться прелестью собственного создания, подчеркивает, что Алена не без недостатков. (Эти недостатки посажены, как кокетливые мушки, чтобы оттенить общий розовый тон лица.) Но то, что будущая артистка необыкновенно талантлива, что это личность незаурядная, что она прекрасна и умна, — вне сомнений для романистки. Да и сама Алена знает себе цену. Рассказывает ли героиня о своих путевых впечатлениях — она чувствует, «что рассказывает занятно, остроумно, для всех интересно». Идет ли она в гости — опять же чувствует себя «сильной, талантливой, интересной, приятной людям». После ее показов на экзаменах она слышит кругом слова: «обаяние, темперамент, артистизм, свобода». А главное — оригинальность. Это слово чаще всего применяется к Алене.

...Разрыв между тем, какой видит свою героиню писательница, и тем, какой она практически написана, разителен и грустен.

Екатерина Шереметьева подыскивает для Алены самые красивые слова, она хочет отдать все самое лучшее, наделить ее необыкновенной свежестью восприятия мира. Вот Алена вспоминает Крым, места своего детства — «раннего безоблачного детства», как написано на первой странице... Что же за образы встают перед нею? «Змевшееся внизу шоссе», «море, чуть подернутое рябью»; бодрящий воздух и прозрачный прохладный вечер, «ласковая прохлада волн», «раскаленный солнечный диск»... А впечатления от Ленинграда?

Алена едет на Острова. Ей нравятся «бесконечные пруды, живописные мостики, центральная аллея, окаймленная пышно разросшимися цветниками, пестрота деревьев, разукрашенных осенью, и, наконец, знаменитый мысок, где гранитные ступени спускаются прямо в море...» Но море ей не нравится — «лужа», «этакая серятина».

Банальность восприятий, стертость ассоциаций сразу же настораживают, ставят под сомнение авторское мнение о художественной одаренности героини. Но ладно. Алена Строганова готовится не в пейзажисты, она поступает на актерский факультет, и для нее всего существеннее острота и нестандартность психологических наблюдений, дар портретиста.

Наблюдательность и приглядку к людям Шереметьева отмечает в Строгановой особо. Чуткость у нее необыкновенная. Так, заведующий кафедрой актерского мастерства Барышев, «улыбающийся одними губами при стеклянно холодных глазах, — почему-то вызвал у нее антипатию». Почему-то! Вы бы, читатель, увидав, как вам улыбается человек при стеклянно холодных глазах, размягченно подумали бы: «Экий миляга!» — а Алена насторожилась, и, вероятно, в дальнейшем — во второй части — ее подозрения оправдаются... Думает она и о товарищах по курсу. Вот Зина Патокина, хорошенькая, но фальшивая и плакса, улыбается так, что десны вылезают, и смеется пискливо. Валерий — умный и красивый, но разонравился: зачем дает Зине над собой командовать? «А Миша Березов старый — был даже на войне, ему чуть ли не двадцать семь лет. Но так он симпатичный, здоровущий». Вообще же размышления о людях идут у Строгановой точно в направлении, подсказанном вопросом ее ближайшей подруги: «Тебе кто из наших мальчишек лучше нравится?»

После своего успеха на экзаменах, пишет Шереметьева, Алена стала смелее отстаивать свои мысли. Но на протяжении всех трех номеров «Звезды» мы ни разу не услышали из уст студентки Строгановой чего-либо, что можно было бы считать мыслью, тем более своей. Оригинальная и талантливая чаровница сыплет, не скупясь, общими местами.

Изъясняется Алена, как абсолютное большинство действующих лиц романа, на особом наречии, этаком гитисовском жаргоне. Притом языковая характеристика за-

взятых пошляков и безупречных героев идентична. Попробуйте отгадать, какие слова принадлежат отрицательной и бездарной Кларе, какие — положительной и даровитой Глаше, строго нравственной театроведке Вале и угодившему в стилиги Джеку. (Бедняга! Он не так виноват. Стилижий пошиб предопределен тут опять-таки именем: может ли соблести себя персонаж, окрещенный Джеком Кочетковым?) «Дайте, девочки, капелюшеньку пожратки», «Как вы насчет погулять», «С ума сошлятый день», «Посмотри на Агнию — бледно-розовый скелет», «Непонятная сосуля вроде креста» (разговор об архитектуре), «Женя, прицепляйтесь!», «Миленько. Очень миленько. Вот как миленько. Право, миленько», «Свиньи полосатые!», «Ты очень уж беспокойная, даже паническая», «Сашку озарила идея. По-моему, гениальная. Четырьмя конечностями голосую «за»...

«Кошмар», — как выражаются сами герои.

Но это текст. А, так сказать, подтекст? «Внутренний монолог» действующих лиц романа? (Если уж пользоваться вслед за Шереметьевой терминологией «системы» Станиславского, обстоятельным переложением которой романистка заполняет главу за главой.)

Внутренние монологи героев напоминают то абзацы передовиц, испещренные эмоциональными многоточиями («Нет, я не буду жалеть себя! Служить народу! Это же потрясающе! Быть примером! Какая ответственность! Воспитывать в себе человека с большой душой... Изучать жизнь... Нам нельзя жалеть себя! Учиться, учиться и... работать»), то дортуарные вздыхания институток. Чаще всего содержание монолога Алены составляют ревные сравнения себя все с той же Зиной Патокиной: «Она такая хорошенькая», «длинные, как у жеребенка, тоненькие маленькие ноги» и столько плачев...

В минуты особенно углубленного раздумья, пишет Шереметьева, будущей артистке «было страшно, что она никогда не научится разбираться в окружающем: отцеживать, удерживать главное, делать выводы — то есть изучать жизнь, а не просто подряд запоминать то, что увидишь». Да, в самом деле, это страшная угроза, если к тому же и простейшее запоминание

лишено у героини и у автора артистичности.

«Ближним», среднеграмотным наблюдениям отвечает «ближние», среднеграмотные слова. (Притерпелость к штампу доводит до курьезов. В решительный момент в голосе героини неожиданно слышится особая сила, все стихают — «стены послушались бы ее», пишет автор. Ну почему стены? Уж так они обычно неукротимы, так и прыгают, если их не остановит властный голос?..) Та же неотобранность, что и в словесном материале романа, видна в его композиции. План повествования определен планом подготовки будущих артистов: сюжет движется от зачета к зачету, от вакаций до вакаций. Роман может продолжаться бесконечно — предположительно лишь, что, поскольку началом его были конкурсные испытания в театральном вузе, он завершится госэкзаменами. «Весны гонцы» — книга без движения, хотя герои ее приезжают и уезжают, меняют свои «предметы», терпят неудачи и добиваются удач; это книга без движения, поскольку в ней нет никакой темы, которая требовала бы развития.

В основу романа легли два-три разумных и бесспорных положения. А именно: творчество актера связано с трудом. Богема опасна для молодого художника. Встречи с жизнью обогащают талант артиста. Эти бесспорные мысли высказаны сразу же и сполна. В дальнейшем Шереметьева занята лишь тем, чтобы проиллюстрировать их примерами. Любым количеством примеров. Так и строится роман.

Идеи и чувства, которые желала бы выразить романистка в «Весны гонцах», — добрые. Ничему, кроме как хорошему, не собирается она учить читателя. Меньше всего тут можно говорить о халтуре: мы уж упоминали о влюбленности Шереметьевой в свою героиню, писательница занята своим трудом с полной добросовестностью и с полной любовью. Бесспорно, у нее самые добрые намерения. И это совершенно обезкураживает.

Бывает, что критика ставит в затруднительное положение сама очевидность выводов, которые надлежит сделать. Случай с романом «Весны гонцы» именно таков. Эта книга обезоруживающе ясна в своих недостатках, в своей наглядной и стойкой банальности. Жаль, право, потраченных на нее усилий писателя.

Инна СОЛОВЬЕВА.

Искусство критика

Еще один сборник критических статей поставили мы на книжную полку — «Образы времени» А. Мацкина. Широки интересы автора, в разных критических жанрах рассказал он о театре и литературе последнего двадцатилетия. Драматургия Погодина, проза Павленко, публицистика Эренбурга. Искусство Станиславского, Немировича-Данченко, Вахтангова, Хмелева, Дикого. Короткие, но очень емкие по мысли рецензии на спектакли московских и ленинградских театров. Очерк «Писатель в строю», где главная мысль — действенная роль литературы в нашей жизни. Острая критика неверного освещения современности и антиисторических тенденций в литературе и театре. Взгляд за рубеж — творчество Кручковского, Брехта, Пристли. Утверждение правды в изучении истории советского театра.

Множество статей, написанных в разные годы. Общее для них — ясная партийная позиция, подлинная научная объективность и талант глубоко заинтересованного в судьбах нашего искусства критика.

В предисловии автор замечает, что статьи его написаны «по разным, почти всегда конкретным поводам». И это верно. Причем спектакль, роман или научная книга для А. Мацкина не только повод, но явление, которое он тщательно и глубоко анализирует. Так, скажем, «Триумф Хмелева» — это подробное, от эпизода к эпизоду, описание игры артиста в спектакле «Анна Каренина». Кто не видел Хмелева в роли Каренина, тот, прочитав статью А. Мацкина, зримо представит себе этот образ — настолько точно в о с т а н а в л и в а е т критик внешний и внутренний облик толстовского героя. Рецензии на «Чайку» в театре Вахтангова или книгу А. Дикого — это сочинения, в которых также дается представление именно об этих явлениях искусства.

Однако искусство А. Мацкина состоит в том, что, анализируя частное явление, он всегда выходит далеко за его пределы и затрагивает вопросы, важные для всего нашего художественного творчества, стремясь к широкому обобщению. Поэтому большинство работ критика, написанных в разное время, так интересно и сегодня.

А. Мацкин. Образы времени. Статьи о литературе и театре. Редактор. М. Малхазова. 408 стр. «Советский писатель». М. 1959.

Лишь восемь книжных страниц занимает статья о вахтанговской «Чайке», но в ней поставлена большая проблема — современное воплощение Чехова на сцене.

Статья «Быт в комедии» посвящена критике ныне уже почти забытых пьес: «Клевета» Н. Вирты, «Моль» Н. Погодина, «Страшный суд» В. Шкваркина. Но почему читаются они с таким интересом, почему размышления автора имеют прямой адрес и в нашей современной комедиографии? Опять-таки потому, что автор, отталкиваясь от частных явлений, решает вопрос о комедийном жанре в нашей драматургии очень широко, выделяя его главные звенья.

Вот как пишет А. Мацкин: «В «Страшном суде» речь идет о современном мещанстве — почему же оно выглядит так безобидно, так вопиюще нелепо, как будто не несет в себе никакой угрозы? Ведь в наши дни мещанство становится особенно опасным, когда выступает в скрытой форме, под разными невинными личинами, когда оно маскируется и не сразу дает себя распознать; мещанин и в политике и в быту постоянно находит новые и новые воплощения, применительно к условиям и требованиям момента. Зачем же сатирику вести огонь по сбитым мишеням, когда перед ним опасный и живучий противник?»

Мысль критика становится особенно убедительной оттого, что факты литературной жизни и свои выводы он освещает теорией. Вполне законен вопрос: с кем драматурги, стреляющие по сбитым мишеням, — с Белинским, который утверждал, что комедия должна мстить за «униженное человеческое достоинство», «открывать торжество нравственного закона», или с автором «Драматургии» В. Волькенштейном, где сказано, что «персонаж комедии чистого жанра есть слепец или бессовестный и не слишком опасный негодяй...»?

Как видим, эти мысли о комедии приобретают все более широкое значение: они затрагивают самые основы современной драматургии — понятие о конфликте. И если мы подумаем о бедах нашей сегодняшней драматической литературы (и ее комедийного жанра), то отчетливо увидим, что статья А. Мацкина, написанная в 1940 году, сохраняет свою критическую и конструктивную силу.

Критическое начало весьма ощутимо в книге А. Мацкина. Автор не мирится с художественными произведениями на сцене и в литературе, умно и тактично подмечает недостатки в хороших в целом произведениях искусства, вступает в горячий спор о месте режиссера в советском театре. Но критик становится особенно решительным, когда встречается с чуждыми нам идеями в искусстве. В этом смысле весьма примечательна статья «Пристли и его герои», где А. Мацкин, отдавая должное таланту английского писателя, спорит с театрами и драматургами, поддавшимися его влиянию, обнажая у Пристли его философию «безучастия, его мнимый объективизм, его технологический принцип в искусстве».

Плацдарм идейной борьбы критик видит и там, где на первый взгляд речь идет о чисто художественных, формальных вопросах. Так, критикуя книгу В. Сахновского «Мысли о режиссуре», привлекая опыт многих русских и западноевропейских художников, А. Мацкин весьма убедительно доказывает, что предложенный В. Сахновским путь к современности «через магию искусства», его метод «интуитивных прозрений» есть на самом деле отступление от идейности, от реализма.

Самый главный враг А. Мацкина — это неправда в искусстве, в чем бы она ни проявилась. Прочитав «Очерки истории русского советского драматического театра», критик пишет о том, как предвзятая схема, попытка «улучшить», выпрямить историю театра, приводит к неправде и обеднению нашего театрального наследия.

Участник Отечественной войны, крепко стоящий на позициях «мужественной правды» (Немирович-Данченко), А. Мацкин восстает против рассказов, фальшиво, идиллически рисующих людей трудной военной поры. И рука его не дрожит оттого, что приходится говорить с большими, талантливыми советскими писателями — К. Паустовским, Б. Лавреневым, Л. Никулиным. Не потому неприемлемы для критика рассказы «Ленинградская ночь», «Чайная роза», «Лейтенант Шумский», что война в них показана лишь краешком, что невероятные случаи стали основой сюжета. «У войны, как говорили еще в древности, смелая фантазия», — пишет А. Мацкин. Потому плохи эти рассказы, что в них проглядывает неверная идея утешительства, что люди, совершающие великий подвиг, оказываются до примитивно-

сти «простыми». И «нет ли здесь,— с тревогой спрашивает критик,— снисходительности старшего к младшему, барственного недоверия к богатству духовной жизни обыкновенного нашего современника?»

Критика А. Мацкина резка, бескомпромиссна. Но как ни трудно выслушивать такую критику, мне кажется, что она не обижает подлинных художников и подлинных ученых. (Наверное, не случайно К. Паустовский не включил в собрание сочинений «Ленинградскую ночь», а коллектив авторов Очерков истории театра согласился с критиком, что к работе над первым томом необходимо вернуться для второго издания.) Критические суждения А. Мацкина читаются со вниманием и без обиды потому, что каждый видит — они высказаны со знанием дела, очень доказательны и в них всегда ощущается интонация разговора товарища с товарищем.

Впрочем, порой мягкий, «интеллигентный» тон критика сменяется другим — резким, насмешливым, колющим. Это в тех случаях, когда речь идет о прямой неправде, о фальсификации жизни, истории в угоду ложным концепциям. Так написан блестящий критический памфлет «Услужливые биографы», где автор показал полную несостоятельность ряда биографических пьес и сценариев.

Однако, как ни силен А. Мацкин в отрицании плохого в нашем искусстве, его литературное мастерство и гражданский пафос особенно чувствуются в утверждении передового, прогрессивного, в радости сознания новаторской силы нашей литературы, нашего театра. Эта радость сквозит и в критических, но всегда проникнутых чувством перспективы статья: критик судит неудачи с высоты задач и достижений советского художественного творчества. Но особенно хорошо чувствует себя автор книги «Образы времени», когда он встречается с писателем или актером в пору их удач, когда художники и литературные герои находятся на большой высоте.

Мы уже говорили о страницах, посвященных Хмелеву в роли Каренина: помимо точности и образности описания, в них есть заражающая радость от встречи с настоящим искусством. В книге нет статьи о Немировиче-Данченко, но легко угадывается, что этот художник особенно близок А. Мацкину, который часто словно бы советуется с ним, поверяет свои мысли его опытом. Торжест-

вующие ноты звучат в статье о возобновлении «Егора Булычова» в театре имени Вахтангова: автор не скрывает, что сегодняшняя радость от нового спектакля, от выдающейся работы С. Лукьянова для него дороже даже, чем воспоминание о первом Булычове — великом Щукине.

«Мечта и действие» — так называется статья, открывающая книгу. Она посвящена «Кремлевским курантам» Н. Погодина. Теперь все высоко оценили это произведение, о нем существует уже немалая литература. А. Мацкин писал статью в 1940 году. И уже тогда он очень точно определил не только ценность этой пьесы, но ее принципиальное значение для художественного воплощения образа Ленина, увидел то новое, чего достиг Погодин, и радостно поддержал это новое.

Среди литературно-критических сочинений особое место занимает в книге статья «Писатель в строю». Это не научная работа о действенной, практической роли литературы. Это очерк, в котором на частных фактах восприятия читателями книг Маяковского, Ильфа и Петрова, Макаренко, Н. Островского, Гайдара, Горбатова, Симона, В. Василевской, Довженко выражена мысль о воспитательной, духовно преобразующей силе советской литературы.

Очерк этот закончен в 1943 году, потому на нем глубокая печать военного времени. «Мы не благословляли войну, но, выиграв ее, будем вспоминать с трепетом и уважением каждый день, который приблизил нас к победе. Война нас не испугала, не истощила нашего воображения и не растоптала нашей поэзии», — так заканчивается очерк. По сути дела, это самая настоящая боевая публицистика с дальними выходами в жизнь, в историю. И вот в этой особенности — в сочетании публицистики и эстетического анализа искусства — приметная черта дарования А. Мацкина. Она ясно сказала в статье «Человек для людей» — о романе П. Павленко «Счастье», в очерке «Эренбург в дни войны», в размышлениях о пьесах «Юлиус и Этель» Л. Кручковского и «Мамаша Кураж» Б. Брехта.

Если ко всему сказанному добавить, что А. Мацкин обладает завидной для каждо-

го пишущего эрудицией, что слог его ясен, а язык богат, можно бы и закончить рецензию на хорошую книгу «Образы времени».

Что же, она не вызывает никаких возражений, с автором не хочется поспорить? Разумеется, это не так. В книге анализируется множество произведений, и не с каждой оценкой соглашаешься: так, думаю, например, что А. Мацкин несправедливо начисто отверг очень острую комедию Н. Погодина «Моль». Неверным кажется мне отрицательное суждение критика о студийном начале в современном театре, и нет никаких оснований утверждать, что студия, созданная в 1940 году А. Арбузовым и В. Плучеком, была обречена на смерть, так как в «Городе на заре» якобы «был исчерпан жизненный опыт, принесенный в студию молодыми актерами». Это, по моему, не так. А студия «Современник», возникшая совсем недавно, при всех трудностях на своем пути утверждает жизнеспособность и плодотворность студийных театров. Непонятно мне, почему, вступая в спор с литераторами или художниками, автор часто не называет их имен.

Однако не этими замечаниями хочется закончить рассказ о впечатлениях от книги А. Мацкина. В предисловии «От автора» сказано, что статьи сборника «объединены общей внутренней темой — искусство и жизнь, художник и народ». Думаю, что точно такую же внутреннюю тему могут обозначить и авторы других критических сборников — настолько эта тема широка, всеобъемлюща. Но что действительно собирает статьи книги «Образы времени» в единое целое — так это облик, индивидуальность их автора. Те, кто не знает А. Мацкина лично, прочитав его книгу, по моему, непременно почувствуют, что написал ее умный, талантливый литератор, аналитик и публицист, очень пристально, взглядом ученого наблюдающий наше искусство и горячо, активно заинтересованный в его движении вперед по пути правды и идейности. Те же, кто встречался с автором, порадуются, что в своей книге он так же деятелен, молод и принципиален, как в жизни.

А. АНАСТАСЬЕВ.

★

Поэзия Габриелы Мистраль

В двадцатом веке поэзия Чили, до этого почти не известная даже в соседних странах, выдвинула двух поэтов, завоевавших всемирную славу. Одного из них мы хорошо знаем — это Пабло Неруда. Теперь советский читатель знакомится с творчеством его старшей современницы Габриелы Мистраль.

С тех далеких дней, когда начальница лица в маленьком городе Темуко открывала своему ученику сокровища русской литературы, и до конца жизни Габриелы Мистраль, умершей в 1957 году, оба поэта были связаны дружбой. И хоть шли они во многом различными путями, творчество каждого из этих поэтов принадлежит одной и той же великой эпохе — эпохе пробуждения угнетенных народов Америки.

Первая книга Мистраль была опубликована лишь в 1922 году — всего на год раньше юношеского сборника Неруды, — но творческий путь поэтессы начался лет за двадцать до этого. Чилийская — да и вся испано-американская — поэзия была тогда наводнена подражательными и манерными стихами. Героини этих стихов, как замечает один из исследователей, «возлежали на палисандровых ложах, среди шелковых подушек, за лаковыми ширмами, украшенными изображениями диковинных китайских птиц и чудовищ, неизвестных на нашей обыкновенной американской земле».

И вдруг в этой поэзии пробился и зазвучал голос простой женщины — искренний, чистый, глубокий... Безыскусственными, идущими из самого сердца словами, близкими к ладу народной песни, рассказала Габриела Мистраль о своей мучительной неразделенной любви.

Он прошел с другою
на глазах моих.
Мирная дорога,
легкий ветер тих.
А он прошел с другою
на глазах моих!

Любит он другою,
а земля в цвету.
Тихо умирает
песня на лету.
И любит он другою,
а земля в цвету!

(«Баллада»)

Габриела Мистраль. Стихи. Составление, перевод с испанского и предисловие О. Савича. 248 стр. Гослитиздат. М. 1959.

Пережив большую личную трагедию, поэтесса не замкнулась в одиночестве — со своим горем она шла к людям, доверчиво делясь с ними своей нестерпимой болью и тоской по умершему возлюбленному.

Сказала ему, что смерти
хочу я, но он не хочет;
он хочет быть в ветре со мною
и в снег меня кутать ночью,

и в снах моих, как на волнах,
всегда подниматься на гребень,
и звать меня отовсюду
зеленым платком деревьев.

Вежать под другое небо?
Была в горах и у моря,
но шел он рядом со мною
и каждому вздоху вторил.

О, как ты была небрежна —
старуха, что тело омыла,
но глаз ему не закрыла
и рук в гробу не сложила.

(«Одержимость»)

Суровая, выстрадавшая сила этих стихов — скольким людям она помогала (и не раз еще поможет): в тяжелый час!.. А сколько матерей повторяло колыбельные песни, написанные Габриелой Мистраль, которая сама так и не узнала счастья материнства!

Тела моего кусочек,
выношенный в глубине,
словно зябкая пушинка,
спи, дитя, прильнув ко мне.

Куропатка спит и слышит:
клеввер ходит в тишине;
что тебе мое дыханье,
спи, дитя, прильнув ко мне.

(«Прильнув ко мне...»)

Скромная школьная учительница, оставившая по себе благодарную память почти во всех уголках родной страны — от селитренных пустынь Антофагасты до самого южного города в мире, ледяного Пунта-Аренас, — Габриела Мистраль долгие годы жила одной жизнью с народом, разделяя его страдания и надежды. То были годы, когда лишь первые подземные толчки возвещали о грядущем подъеме освободительного движения. Но сердце поэтессы, как чуткий сейсмограф, улавливало эти толчки. Ее лирика проникнута ощущением своего времени — это исповедь страстной,

мятущейся души, не желающей мириться со злом, господствующим в мире, и готовой вызвать на тяжбу самого господ бога. В служении людям видела Габриэла Мистраль долг поэта, и стихи ее о своем призвании невольно воскрешают в нашей памяти грозный пушкинский образ поэта-пророка.

Уж двадцать лет, как в грудь мою
вложили —
ее рассек кинжал —
огромный стих, встающий, словно в море
девятый вал.
Я покорилась, но его величие
меня лишает сна.
Устами жалкими, что лгали прежде,
я петь должна?
(«Пытка»)

Сквозь трагизм этой лирики пробивается тревожное и радостное предчувствие великих перемен. «Мы завтра утесы раздвинем и будем сады разбивать», — предсказывает поэтесса.

Бывали утра — пустые руки:
все обещали и обманули.
Увидеть утро, другое утро!
Оно оленем с Востока прыгнет,
оно живое, оно всем внове,
богато счастьем, трудом чревато.

Расправь же, брат мой, больные плечи,
ему навстречу скорее выйди
и будь достоин его прихода!

(«Время»)

Творчество Габриэлы Мистраль возвестило о начале духовного раскрепощения женщин Латинской Америки. Никогда еще во всей испано-американской поэзии женщина не заявляла с такой простотой и силой о своих сокровенных чувствах:

Сына, сына, сына! В минуты счастья земного
сына, чтоб был твой и мой, я хотела;
даже в снах повторяла твоё каждое слово,
и росло надо мной сияние без предела.

Сына просила! Так дерево в крайнем
волненье
весной поднимает к небу зеленые почки.
Сына с глазами, в которых растёт изумленьё,
сына в счастливой и сотканной богом
сорочке!
(«Поэма о сыне»)

Бунтарский дух и христианское смирение, неистовая влюбленность во все земное и аскетическая мораль переплетаются и борются в поэзии Габриэлы Мистраль так же, как боролись они между собой в сознании тех людей, от имени которых она

говорила, — миллионов простых людей Латинской Америки, едва лишь начавших приобщаться к исторической деятельности. Эти противоречия выступают в стихах Мистраль с почти рельефной наглядностью. Вот, например, одно из ее лучших стихотворений — «Руки рабочих», — вдохновенный гимн труду, прославляющий всемогущество рабочих рук, что

месяц глину, тешут камни,
разрыхляют почву сада,
медно-красны в белом хлопке,
треплют лен и гонят стадо.

...Слышу, как стучат кувалдой,
вижу — у печей пылают,
и летят над наковальной,
и зерно перебирают.
Я их видела на шахтах,
в голубых каменоломнях...

Уже как будто готова прорезаться догадка: да ведь эти вездесущие и неутомимые руки, создающие все богатство мира, — они и есть та самая сила, которая сокрушит вековую несправедливость, построит жизнь, достойную человека... Но нет, стихотворение заканчивается всепримиряющими, в духе христианской морали, строками. После трудового дня руки рабочих «засыпают в ранах, в шрамах, испещренные металлом».

Но во сне копать и строить,
мыть и сеять продолжают;
и Христос берет их в руки
и к груди их прижимает.

И все-таки земное, мятежное начало одерживало верх в поэзии Габриэлы Мистраль. Недаром, когда поэтесса еще в молодости хотела поступить в учительский институт в городе Серена, этому решительно воспротивился капеллан института, объявивший ее стихи «социалистическими» и «языческими».

Нельзя отказать его преподобию в известной пронизательности. Право же, он лучше иных критиков сумел определить черты, ставшие ведущими в творчестве Габриэлы Мистраль. Ненависть к угнетению и собственничеству, жажда справедливости, стремление к всечеловеческому братству стихийно влекли ее к социалистическому идеалу. И хотя поэтесса так и не сумела прийти к последовательному социалистическому мировоззрению, самой заветной ее мечтой всю жизнь оставалась мечта о том дне, когда — не на небе, а на

земле — рухнут все перегородки между людьми и

выйдут люди в мир открытый,
как проснувшиеся дети,
услышав, как злые двери
падают на целом свете.

(«Двери»)

Читая стихи поэтессы, мы остро чувствуем и то, что было названо «язычеством», — неразрывную связь ее творчества с удивительно свежим, стихийно пантеистическим мироощущением индейцев. И опять-таки Габриэла Мистраль была одним из тех первых поэтов Латинской Америки, кто сделал это мироощущение достоянием литературы, — она воплотила его в самом поэтическом строе своего стиха. В ее стихотворениях напевность испанского романсеро соединилась с индейской анимистической образностью, порожденной еще не утраченным единством человека с природой. Чувство этого единства живет и в любовных стихах поэтессы, где силы природы выступают как равноправные участники человеческой драмы, и в созданных ею картинах американской земли, в том, что дерево для нее — это «брат дерево», а початок маиса сравнивается с новорожденным младенцем. Этим чувством подсказан могучий образ: Земля — индейский барабан. Стоит лишь приложить к ней ухо, как

чудесные услышишь вещи:
огонь встает и опадает, —
он ищет небо и трепещет;
бегут колеса, мчатся реки,
а водопады — и не счесть их;
мычат стада, крадутся звери,
топор упорно сельву жлещет,
пост за прялкой индианка,
цепы молотят, праздник плещет.

...Для всех открыт и неподкупен,
все грузы на него легли;
несет он тех, кто спит, кто пашет,
идет вблизи, плывет вдали, —
несет живых, несет умерших
индейский барабан Земли.

(«Инвентарь мира»)

Сборник стихов Габриэлы Мистраль на русском языке — результат большого тру-

да поэта О. Савича, являющегося не только переводчиком и составителем этого сборника, но и автором содержательной вступительной статьи, написанной с подкупающим волнением и влюбленностью в поэзию, которых так часто недостает статьям подобного рода.

Чтобы передать все своеобразие поэзии Габриэлы Мистраль, вобравшей самые разнородные традиции и, при всей своей кажущейся простоте, прошедшей школу современного испанского стиха, недостаточно было формального мастерства — требовалось проникновение во внутренний мир поэтессы. Переводы О. Савича дают пример именно такого проникновения: большая часть стихов Мистраль звучит по-русски, не утратив своего обаяния.

В издававшихся у нас до сих пор книгах испанских и испано-американских поэтов принимал участие, как правило, целый коллектив переводчиков. Даже в тех случаях, когда все участники коллектива давали хорошие переводы, подобный принцип очень вредил цельности впечатления. Сборник стихов Габриэлы Мистраль — убедительный аргумент в пользу такого порядка, при котором стихи одного поэта одним же поэтом (добавим: настоящим) и переводятся.

...В ноябре 1959 года в столице Чили Сант-Яго происходил Конгресс женщин Латинской Америки. Имя Габриэлы Мистраль не раз упоминалось на этом конгрессе — ведь замечательная поэтесса была выдающимся деятелем женского движения, участницей борьбы за мир. И когда советский делегат, член Президиума Верховного Совета СССР Г. Е. Буркацкая торжественно вручила президиуму конгресса сборник стихов Габриэлы Мистраль, изданный в Советском Союзе, — весь зал поднялся в овации. Представительницы целого континента приветствовали эту небольшую книжку в синей обложке как дар дружбы советского народа, свидетельство его любви и уважения к культуре молодых народов Латинской Америки.

Л. ОСПОВАТ.

Антонио Грамши об искусстве

Имя Антонио Грамши уже давно известно каждому итальянцу, каждому — каких бы убеждений он ни придерживался, какого бы уровня культуры ни достиг. И это естественно. Грамши — национальный герой Италии, великий борец с фашизмом, основатель Итальянской коммунистической партии, «один из самых глубоких и гениальных, — по словам Пальмиро Тольятти, — мыслителей-марксистов». Ныне имя Грамши становится известным все большему кругу людей и за пределами его родины. Издание избранных произведений Грамши на русском языке дает возможность нашему читателю составить более полное представление об этом замечательном человеке.

Перу Грамши, филолога по образованию, принадлежит ряд интереснейших работ по эстетике, теории литературы, критике и истории культуры и искусства. Содержание этих работ не может быть, конечно, исчерпано ни в краткой статье, ни, мы убеждены, даже в каком-либо одном специальном исследовании. К этим работам суждено в дальнейшем постоянно обращаться людям, рассматривающим самые различные проблемы современного развития человечества. Цель настоящей рецензии заключается лишь в попытке самого предварительного и самого общего наброска круга тех вопросов, которые занимали Грамши, когда он обращался к искусству и культуре.

Но прежде еще несколько слов о Грамши-революционере.

Грамши рано связал свою жизнь с революционной борьбой итальянского народа. Еще в 1919—1920 годах молодой социалист Грамши, возглавив борьбу героического туринского пролетариата против буржуазного миропорядка, за социалистическое переустройство общества, сплотил вокруг печатного органа туринских социалистов «Ордине нуово» («Новый порядок») ту группу людей, которая затем стала истинно марксистским ядром итальянской

компартии. В. И. Ленин писал тогда, что во всей социалистической партии Италии лишь группа «Ордине нуово» занимает подлинно коммунистические позиции, и предлагал итальянским социалистам созвать экстренный съезд для «исправления линии партии» и для очищения ее от «некоммунистических элементов».

Во главе социалистов Италии стояли тогда люди шаткие, крайне непоследовательные в решении самых принципиальных вопросов политической борьбы, огромным влиянием пользовались реформисты и ревизионисты. В результате раскола социалистического движения и родилась в 1921 году молодая итальянская компартия. Но ошибка Грамши, по словам Пальмиро Тольятти, заключалась в том, что «он не сумел в этот момент и в первое время существования коммунистической партии вести борьбу на два фронта» — против правых элементов и одновременно против «революционеров фразы», сектантов и догматиков типа Бордигги. Преодолевая недооценку сектантской опасности, Грамши возглавляет борьбу «за возрождение марксизма» в итальянском коммунистическом движении.

Первый том избранных произведений Грамши — его статьи из «Ордине нуово» — это не просто ряд работ по тактическим вопросам партийной деятельности, это летопись великой борьбы всего итальянского народа. И если эта борьба не увенчалась тогда победой, если коммунистам не удалось тогда одолеть фашистскую чуму, то из этой же борьбы родилась и та непоколебимая вера в силу правды, в конечное и окончательное торжество истинно человеческого в мире, которая всегда жила в итальянском народе и которая с такой мощью выразилась затем в творчестве Антонио Грамши. Эту веру Грамши черпал в ясном понимании глубокой связи коммунистического движения с истинно жизненными потребностями широчайших народных масс, с neodолгим движением самой истории. Десять лет провел Грамши в фашистском застенке. Он умер в 1937 году. Задолго до того он знал, что обречен, но он никогда не знал чувства обреченности.

«Письма из тюрьмы» и «Тюремные тетради» Грамши, составившие второй и третий тома его избранных произведений, издан-

Антонио Грамши. Избранные произведения в трех томах. Том I. Ордине нуово (1919—1920). Перевод с итальянского В. Антонова, К. Холодковского. 512 стр. М. 1957. Том II. Письма из тюрьмы. Перевод Т. Злочевской, Е. Шухт. 310 стр. М. 1957. Том III. Тюремные тетради. Перевод В. Бондарчука, Э. Егермана, И. Левина. 566 стр. Издательство иностранной литературы. М. 1959.

ных на русском языке,— произведения совершенно особого жанра. Можно сказать, что «Тюремные тетради» — цикл заметок по самым различным вопросам философии, истории, социологии и, что для нас особенно интересно, по вопросам теории искусства и литературной критики. Но это богатейшее собрание великолепных образцов творческого, подлинно марксистского осознания действительности вместе с тем есть своеобразное «Слово перед казнью». Таковы же и «Письма из тюрьмы»: единство настроения и мысли создает здесь атмосферу несколько необычного лирического дневника, в котором так естественно и прочно слились воедино философские раздумья, наблюдения над жизнью и забота о ближних, любовь к ним и боль за них, печаль и ирония, гнев и улыбка.

Появление «Тюремных тетрадей» произвело на итальянское общество огромное впечатление. Сразу же после их публикации «Тюремные тетради» заняли, бесспорно, центральное место в духовной жизни широких кругов итальянской интеллигенции, о них узнали миллионы простых людей страны.

Какие же качества, какие черты этой замечательной работы обеспечили ей такое широкое признание и идеологическую действительность?

Не пытаюсь здесь более полно охарактеризовать смысл и содержание «Тюремных тетрадей», мы должны сказать о том главном, что выдвигает это произведение в число образцов истинно творческого марксизма. Без сомнения, это главное заключается в очень естественном слиянии высокой культуры, широкой эрудированности с истинной, до конца последовательной народностью...

«Конкретная связь между мыслью и действием» составляла, по словам Пальмиро Тольятти, «основную канву... всей жизни Антонио Грамши». С этой позиции Грамши и решает те важные вопросы, которые определяют круг его философских, социологических и эстетических воззрений. На первом месте им рассматриваются в их соответствующей логической последовательности такие проблемы, как «теория и практика», «интеллигенция и массы», «писатель и народ».

«Одна из наибольших слабостей всех имманентных философий вообще,— говорит Грамши в своих «Тюремных тетрадях»,— состоит как раз в том, что они не сумели

создать идеологического единства между низами и верхами, между «простыми людьми» и интеллигенцией». Подлинная жизненность всякого великого культурного движения, а также его историческая правомерность осуществляются, по мысли Грамши, «только при условии, что между интеллигенцией и «простыми людьми» существует такое же единство, какое должно существовать между теорией и практикой...». С этой точки зрения всякое преуменьшение значения теории в соотношении «теория — практика» столь же неправомерно, как и абсолютизация теоретической деятельности. Последнее ведет к догматизму, к отрыву от действительных потребностей масс. Первое открывает путь к преклонению перед стихийностью общественного движения, к игнорированию великой исторической роли передовой культуры и революционной теории, без которых исторический прогресс невозможен.

Естественно, что, переходя к вопросам литературы, художественной критики, Грамши на первое место выдвигает проблему народного искусства. Рассмотрение этой проблемы на конкретном материале итальянской культурной жизни и составляет основной смысл и действительное содержание его рассуждений о соотношении «писатель — народ», «искусство — массы».

С позиций утверждения народного искусства Грамши ведет борьбу против официозного искусства Италии той поры с его «напыщенностью, риторикой, декламационным стилем, стилистическим ханжеством», против попытки привить народу преклонение перед эстетическими вкусами и идеалами господствующего класса. И с тех же позиций утверждения подлинно народного искусства Грамши выступает против идеализации тех «мелодраматических» предрасудков, которые коренятся в самом народе, его отсталых слоях и которые усиленно культивируются идеологами господствующих классов в качестве «истинно народных» художественных идеалов.

Грамши неоднократно указывает на то, что самые важные с точки зрения общего культурного роста человечества вопросы художественной жизни встанут во всю свою ширь лишь после победы социалистической революции в стране. Эти вопросы можно будет решить лишь после того, как миллионы и десятки миллионов, как он го-

ворит, «простых» людей непосредственно приобщатся к культурной политике, почувствуют возможность и испытывают желание управлять ею. Но вместе с тем Грамши считает, что сама проблема становления истинно народного искусства может быть решена уже в условиях широкого общедемократического движения в стране. Такое движение, охватывая большинство трудящихся и эксплуатируемых, постепенно подводя огромные массы этих людей к осознанию идеалов и целей социалистического авангарда — передового отряда рабочего класса, способно, по мнению Грамши, породить действительно народную литературу, подлинно народное искусство, противостоящее культуре и искусству господствующего класса. И постоянно, говоря о борьбе за «новое искусство», Грамши рассматривает ее как часть общей борьбы за новую культуру, в конечном счете за социалистическое переустройство общества. «Кажется ясным,— писал он в «Тюремных тетрадях»,— что в интересах точности следовало бы говорить о борьбе за «новую культуру», а не за «новое искусство» (в прямом значении). Может быть, в интересах точности нельзя также говорить и о том, что борьба идет за «новое содержание искусства, поскольку последнее нельзя мыслить абстрактно, отдельно от формы. Борются за новое искусство — это значило бы бороться за создание отдельных художников нового типа, а это абсурдно, поскольку художников нельзя создавать искусственно. Следует говорить о борьбе за новую культуру, то есть за новую нравственную жизнь, которая не может не быть внутренне связана с новой жизненной интуицией,— о борьбе до тех пор, пока она не станет новым способом чувственного восприятия и видения реального мира, а следовательно, культурой, внутренне присущей новым «возможным художникам» и «возможным произведениям искусства». Но, продолжает Грамши, «невозможность искусственно создавать отдельных художников не означает, следовательно, того, что новый круг культурных интересов, за который идет борьба, пробуждая гуманные пристрастия и увлечения, не пробудит неизбежно «новых художников»; иными словами, нельзя сказать, что такой-то и такой-то (имярек) станет художником, но можно утверждать, что движение породит новых художников».

Выступая, таким образом, еще в довоенный период как крупнейший марксистский теоретик подлинно народного искусства, Грамши со всей определенностью, со всей ясностью указал на то, что сила и исторический смысл этого искусства — в приобщении широчайших демократических масс к социалистическим идеалам и что ни на каком ином пути нельзя в нынешнюю эпоху добиться устойчивого подъема в искусстве. Так применительно к искусству решалась Грамши задача, которая, по словам В. И. Ленина, заключалась в том, чтобы «соединить борьбу за демократию и борьбу за социалистическую революцию, подчиняя первую второй».

Следует сказать, что в решении этой задачи Грамши опирался и на опыт русских литераторов-марксистов (таких прежде всего, как Плеханов и Луначарский) и на замечательную демократическую национальную традицию, связанную прежде всего с именем крупнейшего итальянского литератора — просветителя и демократа — Франческо де Санктиса.

Можно с известным правом сказать, что роль, сыгранная литературно-критическими воззрениями де Санктиса в формировании эстетических и литературно-критических взглядов Грамши, в какой-то степени сходна с той ролью, которая была сыграна русскими революционными демократами шестидесятых годов в развитии марксистской эстетической мысли в России. Это путь от демократического гуманизма и утопического социализма к пролетарской революционности и гуманизму социалистическому. И именно на этом пути Грамши выступил как фигура исключительно мощная и самобытная. Искусство нашло в нем истинного глашатая революции и прогресса, революция нашла в нем авторитетнейшего идеолога искусства.

Но, настаивая на подчинении литературы задачам и целям социалистического движения, рассматривая борьбу за эту литературу как часть общеполитической борьбы за социалистическое переустройство общества, Грамши никогда не огрублял проблемы, не забывал о специфике литературного дела, о самобытности художественного постижения действительности. И в отстаивании этой специфики, этой самобытности он находил весьма действенное оружие для борьбы с вульгаризаторами марксизма — левыми фразерами из бордигианского лаге-

ря. «Оценка произведений искусства с точки зрения их художественности,— писал Грамши,— наглядно показывает, в особенности в философии практики (то есть марксизме.— *А. Л.*), самодовольное простодушие тех попугаев, которые, располагая несколькими избитыми шаблонными формулировками, считают себя обладателями ключей, открывающих любые двери (эти ключи называются, собственно говоря, «отмычками»).

«Тюремные тетради» и «Письма из тюрьмы» содержат целый ряд интереснейших замечаний Грамши относительно специфических, внутренних проблем искусства.

Особую ценность представляют суждения Грамши о принципах и целях марксистской литературной критики. И в данном случае Грамши, говоря о безусловном подчинении литературно-критической деятельности целям политической борьбы, ставя эту деятельность в зависимость от решения важнейших общенародных задач, постоянно подчеркивает ее особое назначение и характер. «Эта критика,— писал Грамши,— должна слиться воедино — со всем пылом пристрастия, пусть даже в форме сарказма — борьбу за новую культуру, то есть за новый гуманизм, критику нравов, мнений и мировоззрений с эстетической или чисто художественной критикой».

Несомненно, подобная формула очень близка известным высказываниям Луначарского относительно принципов и задач марксистской художественной критики. (Вспомним хотя бы такие выступления Луначарского, как его «Тезисы о задачах марксистской критики» или его статью «Пушкин — критик».) И такое совпадение не случайно. Оно естественно. Оно порождено общностью мировоззрений и теоретических позиций, общностью эстетических идеалов и художественных интересов.

В «Письмах из тюрьмы» содержится ряд замечаний, позволяющих почувствовать, до какой степени тонко и точно понимал Грамши специфику эстетического восприятия, до какой степени осторожно подходил он к проблеме эстетического суждения, к задаче объективной оценки явления искусства.

Грамши оглично сознавал, что такие очень часто встречающиеся в нашей критике и эстетике категории, как «идейность» и «художественность», неразрывно слиты и взаимообусловлены в качестве реальных свойств живого явления искусства. Он был очень далек от какого бы то ни было согласия с требованиями «суждения чистого вкуса». И неоднократно и весьма недвусмысленно высказывается против оценки явлений искусства с позиций некоего эстетического абсолюта, или, как мы теперь говорим, с позиций «эстетства» и «эстетического формализма». И вместе с тем он свободен в своем подходе к художественным произведениям от всякой предвзятости и заданности. (Ибо, как неоднократно подчеркивал Грамши, высшая объективность и есть истинная марксистская партийность.) И уж, конечно, нет у него никаких попыток обойти какой-нибудь «слишком острый» вопрос, никакой тяги к тому, чтобы наговорить по поводу такого острого вопроса кучу каких-то банальностей...

Изучение, освоение, внимательное и объективное, творческого наследия Грамши и, может быть, в первую очередь его теоретико-литературных воззрений — долг нашей науки, ибо Грамши выступает как теоретик культуры и искусства в ряду виднейших представителей марксистской мысли. И потому серьезное, вдумчивое и систематическое овладение опытом его деятельности сможет существенно обогатить нашу философию и эстетику.

А. ЛЕБЕДЕВ.

★

Политика и наука

Путеводитель по ленинскому литературному наследству

Среди множества книг, выпускаемых нашими издательствами к девяностолетию со дня рождения Владимира

Хронологический указатель произведений В. И. Ленина. Книги, статьи, выступления, письма и другие документы. Ч. I. 702 стр. Госполитиздат. М. 1959.

Ильича, особое место занимает «Хронологический указатель произведений В. И. Ленина. Книги, статьи, выступления, письма и другие документы». Труд этот, подготовленный Институтом марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, охватывает период с 1886 по 1923 год.

Указатель является подлинным путеводителем по бесценному ленинскому литературному наследию. А оно огромно — свыше десяти тысяч документов Треть их вошла в четвертое издание Сочинений Владимира Ильича, свыше пяти тысяч материалов опубликовано в Ленинских сборниках, около полутора тысяч документов напечатано в журналах и газетах.

Вышла в свет первая часть указателя (1886—февраль 1917 года).

Каждое ленинское слово бессмертно. И книга, написанная В. И. Лениным, и записка, набросанная его рукой, бесконечно дороги советскому человеку. И, как указывал Центральный Комитет партии в связи с созданием Института Ленина в 1923 году, мы «не должны забывать того, что всякий маленький обрывок бумаги, где имеется подпись или пометка В. И. Ленина, может составить огромный вклад в изучение личности и деятельности вождя мировой революции и поможет уяснить задачи и трудности, стоящие на том пути, по которому мы идем, руководимые В. И. Лениным».

Составители указателя тщательнейшим образом собрали и в хронологическом порядке расположили весь материал книги.

Вот, к примеру, №№ 700—940. Это сводка документов В. И. Ленина, относящихся ко II съезду РСДРП. Сто семьдесят ленинских документов — доклады, речи, проекты, выступления, планы, статьи, предложения, реплики и так далее. Все они относятся к короткому отрезку времени в три месяца — июнь, июль, август 1903 года. Какая титаническая работа, какая напряженнейшая борьба за партию нового типа!

В январе 1913 года В. И. Ленин на новом этапе, в годы революционного подъема, намечает задачи большевистской партии. Проследим по указателю, от № 3155 до № 3190, записи о напечатанных (только напечатанных!) ленинских работах. Владимир Ильич пишет резолюции совещания ЦК РСДРП с партийными работниками: «Революционный подъем, стачки и задачи партии», «Строительство нелегальной организации», «О думской с.-д. фракции», «О нелегальной литературе», «О страховой кампании», «Об отношении к ликвидаторству и об единстве», «О «национальных» с.-д. организациях». Эти резолюции развивают решения Пражской конференции, воодушевляют большевиков на борьбу за единство пар-

тии, намечают конкретные задачи в новых условиях.

В этом же месяце В. И. Ленин написал известные статьи: «О народничестве», «Буржуазия и реформизм», «Итоги выборов». Владимир Ильич продолжает оживленную переписку с А. М. Горьким. В указателе зарегистрировано два его письма к писателю, письма к Я. М. Свердлову, Н. И. Подвойскому, Н. А. Рубакину. В связи с двадцатипятилетием со дня смерти Евгения Потье В. И. Ленин пишет проникновенную заметку об авторе текста «Интернационала».

И так день за днем, месяц за месяцем, год за годом. Четыре тысячи пятьсот двадцать два документа зарегистрировано в вышедшем томе указателя. Если сюда прибавить еще не напечатанные, архивные материалы, можно представить себе не имеющие примера масштабы и объем деятельности В. И. Ленина в предоктябрьские годы, когда он готовил партию и пролетариат России к социалистической революции. Огромной исторической важности деяния встают за данными хронологического указателя трудов Владимира Ильича.

О каждом ленинском документе в книге сообщается не только его название (заглавие и подзаголовок), дата и место написания, но приведены также сведения о первой публикации, авторизованных и прижизненных изданиях (до Великой Октябрьской социалистической революции), архивная справка.

Раскрывающее хронологическую панораму теоретической и организаторской деятельности В. И. Ленина, издание это станет ценнейшим библиографическим справочником, без которого не обойдется ни один историк КПСС, исследователь ленинизма, ученый, глубоко изучающий биографию В. И. Ленина. К услугам этого фундаментального справочника будут прибегать и лекторы, пропагандисты, учащиеся, библиотекари, широкие круги нашей интеллигенции, все те, кто читает и перечитывает ленинские труды.

А таких миллионы. И не только в СССР, но и во всем мире. По сообщению бюллетеня «Индекс трансляционум» (издание ЮНЕСКО), в 1955 году в пятидесяти пяти странах было издано свыше двадцати четырех тысяч произведений переводной литературы. На первом месте — труды В. И. Ленина. Только в одном этом году

триста семьдесят одна работа Ленина была переведена и издана в различных странах.

Как образно выразился английский общественный деятель Айвор Монтегю, «написанное Лениным — не архив, а арсенал. Когда наступает час битвы, мы листаем страницы его книг точно так, как перед атакой набиваем патронами пулеметные ленты».

Выпуск «Хронологического указателя произведений В. И. Ленина» — дело чрезвычайной сложности. Читатели поблагодарят составителей за хороший подарок к девяностолетию со дня рождения Владимира Ильича. Поблагодарят и с нетерпением будут ждать второй части указателя.

Кандидат исторических наук
Ю. ШАРАПОВ.

★

Дыхание семилетки

Высоким творческим подъемом ответил наш славный рабочий класс, ученые, инженеры на решения XXI съезда КПСС. Непрерывным потоком идут сообщения о новых и новых примерах борьбы за досрочное выполнение семилетнего плана, о самоотверженной работе советских тружеников, неустанно ищущих новые пути, совершенствующих производство.

Одним из средств, превращающих начин передовика в пример для тысяч других тружеников, являются брошюры, повествующие о новаторах производства или, что еще интереснее, написанные ими самими. «Жгучими, как огонь», назвал А. М. Горький маленькие книжки, авторами которых были ударники, инициаторы разворачивавшегося в то время социалистического соревнования.

Расскажем хотя бы коротко о нескольких брошюрах, посвященных успехам нашей промышленности. В них чувствуется живое дыхание семилетки. Они проникнуты подлинным новаторским духом, патриотическим стремлением помочь своей Родине в ее поступательном движении по пути строительства коммунизма. Эти брошюры представляют собой как бы отдельные главы летописи наших достижений.

Ф. Орлов. *Рядом с нами отстающих не будет.* Редактор С. Гуров. 44 стр. «Московский рабочий». 1959.

В. И. Горбунов. *Думы о съезде.* Редактор А. Толмачев. 40 стр. Госполитиздат. М. 1959.

С. Калинин. *Личный план на семилетку.* Редактор Ю. И. Синяков. 32 стр. Лениздат. 1959.

В. П. Карякин. *Творчество миллионов.* Редактор М. М. Мягков. 55 стр. Профиздат. М. 1959.

В. Березин. *Широким шагом.* Редактор Д. М. Хвостов. 27 стр. Профиздат. М. 1959.

Когда на комбинат Глуховского хлопчатобумажного комбината имени Ленина, где работали ткачихи Цветкова и Васильева, прислали помощника мастера Кулекина, ему не очень обрадовались. «Поопытнее мастера не могли наладить станки, где уж ему, работающему без году неделю», — сказали они и... ошиблись.

В апреле 1959 года Наталья Цветкова и Зоя Васильева вместе с помастера Сергеем Кулекиным перешли на отстающий участок. Ткачихи взялись обслуживать по двадцати станков вместо шестнадцати, а помощник мастера — сорок вместо тридцати двух. Правда, пришлось временно поступиться заработком. Но благодаря бережному, подлинно хозяйскому отношению к технике отстающий участок вскоре стал передовым. Ткачихи добились самой высокой в цехе производительности, причем 99 процентов продукции начали выпускать первым сортом.

Об этом рассказывается в книжке «Рядом с нами отстающих не будет». Она состоит из нескольких репортажей и о других последователях Валентины Гагановой на предприятиях Московской области. Репортажи эти коротки — каждый по две-три страницы, но они дают обильную пищу для раздумий, показывают, как раскрываются резервы для досрочного выполнения плана семилетки.

«Чтобы сделать достойный вклад в семилетку, надо работать с коммунистическим чувством», — пишет в брошюре «Думы о съезде» делегат XXI съезда КПСС В. И. Горбунов, слесарь-монтажник ленинградского Адмиралтейского завода. На этом заводе построено много прекрасных судов, пополнивших флот СССР и дружественных нам стран. В дни, когда происходил XXI съезд партии, коллектив завода

строил первый в мире атомный ледокол «Ленин». Чувство ответственности перед страной, чувство гордости за оказанное доверие окрыляли весь коллектив. Об этом и рассказывает В. И. Горбунов в своей наполненной глубоким содержанием книжке.

Он пишет и о том, как готовился к выступлению с высокой трибуны съезда. Речь Горбунова была критической: он вскрыл недостатки в организации конструкторской работы, в снабжении. С большевистской откровенностью он сказал о том, что мешает нашему движению вперед, препятствует ускоренному строительству отечественного флота. Заканчивая свое выступление, В. Горбунов заверил делегатов съезда, Центральный Комитет партии, что атомный ледокол выйдет в свой первый рейс в установленный срок.

Адмиралтейцы сдержали свое слово — атомный ледокол «Ленин», гордость нашей Родины, в строю. Это явилось следствием того, что адмиралтейцы непримиримы к недостаткам — своим и чужим. Горбунов пишет, что ему приходилось слышать упреки, зачем он «полез» на трибуну съезда с критическими замечаниями. «Ты бы лучше, — говорили Горбунову, — подробнее перечислил наши производственные победы». На это он отвечал: «А по-моему, нам нужно именно этих побед еще больше. Нам нужно идти вперед. Именно поэтому я и указал на помехи, которые могут замедлить темпы нашего роста и с которыми мы не можем справиться у себя на заводе, потому что они существуют в масштабах целой отрасли промышленности».

Рассказывая о впечатлении, которое произвели тезисы доклада Н. С. Хрущева, В. Горбунов приводит слова одного старого рабочего: «Каждый из нас должен прежде всего себя спросить: что ты сам делаешь для коммунизма, есть ли у тебя твой, личный семилетний план?»

Как бы непосредственным продолжением книжки В. Горбунова служит брошюра «Личный план на семилетку» секретаря парткома Кировского завода в Ленинграде С. Калинина. В душу советских людей запали слова из резолюции XXI съезда КПСС: «Во имя великой цели построения коммунизма можно и нужно хорошо потрудиться». С. Калинин рассказывает о рождении новых форм социалистического соревнования. На Кировском заводе широко распространение получило составление

личных планов на семилетку. Как родилось и развертывалось это движение? Ответом может служить пример трех токарей одного цеха — потомственного рабочего И. Рудакова, В. Короткова и совсем молодого рабочего, пришедшего на завод после окончания семилетки, И. Безрукова.

Рудаков — изобретатель, рационализатор. Он модернизировал свой станок, подняв его на уровень, соответствующий наиболее современным моделям. Детали, обработанные Рудаковым, сделаны тщательно, — можно сказать, виртуозно. Рудакову предоставили почетное право сдавать продукцию без технического контроля.

У Рудакова правило: придумал что-либо новое — сразу добивайся, чтобы у всех так было.

«Чтобы у всех» — тогда строительство коммунизма пойдет быстрее.

Рудаков был одним из инициаторов разработки комплексных планов повышения производительности труда на каждом рабочем месте. Как бы переключаясь мыслями со старым рабочим Адмиралтейского завода и многими другими ленинградцами, Рудаков говорит: «Есть семилетка страны, есть семилетка завода. Надо каждому из нас иметь свою семилетку, личный план. Давайте определим для себя рубежи».

По-своему претворяет в жизнь эту мысль В. Коротков, овладевший станками разного назначения. Он токарь-карусельщик, но его можно увидеть не только на карусельном, но и на токарно-револьверном или шлиценакатном станке, а то и на испытательном стенде. Но и этого ему мало — в его личном плане записано: освоить еще несколько профессий. «При коммунизме, — говорит он, — человек не будет привязан к своей специальности». Его цель — достигнуть уровня производительности труда, запланированного на семилетку, за пять лет.

Такое же обязательство принял И. Безруков. Он добивается личного клейма, да к тому же за семилетку намерен закончить институт.

Инициатива трех рабочих Кировского завода нашла широкую поддержку. Пятьдесят тысяч ленинградцев работают по комплексным планам повышения производительности труда.

О том, какой размах приняло движение рационализаторов и изобретателей, мы

узнаем из книжки В. Карякина «Творчество миллионов».

На московском заводе «Каучук» создан фонд рационализаторских предложений имени Семилетки, принято обязательство сберечь за семилетку семьдесят пять миллионов рублей. Вклад новаторов киевского завода «Ленинская кузница» оценивается в тридцать миллионов рублей, четыре тысячи тонн черных и тридцать тонн цветных металлов, восемьсот тысяч нормо-часов, свыше полутора миллионов киловатт-часов электроэнергии и так далее. Токарь В. Семинский имеет на своем счету семьдесят пять рационализаторских предложений, давших экономию свыше четырехсот тысяч рублей. За семилетку он обязался внести сто предложений с экономическим эффектом в полмиллиона!

Семилетка способствовала огромному усилению активности изобретателей. За 1959 год поступило три миллиона триста тысяч заявок на изобретения, технические усовершенствования и рационализаторские предложения. Внедрено более двух миллионов, давших эффект, оцениваемый более чем в одиннадцать миллиардов рублей. Вновь созданное Общество изобретателей объединяет более миллиона рабочих и инженеров, способствует более широкому развертыванию инициативы. В книге «Творчество миллионов» сообщается о комплексных бригадах на Московском заводе твердых сплавов, на Кировском заводе в Ленинграде и других.

О содружестве рабочих и инженеров Ростовского химического завода имени Октябрьской революции, поставивших задачу механизировать и автоматизировать производство, рассказывается в брошюре директора этого завода В. Березина «Широким шагом». Вот один из примеров подлинно коммунистического отношения к труду.

Однажды к начальнику цинкобелильного цеха подошли девушки из комсомольско-молодежной бригады.

— Разрешите нам на упаковке белил работать втроем,— попросили они.— Четвертый у нас лишний.

Прошло всего несколько дней, и листки «молнии» сообщили, что девушки за смену выполнили полторы нормы. Но «лишних людей» у нас нет. Нашлась работа и для четвертого члена бригады. Вот и ответ на вопрос, который никак не могут решить капиталисты,— о взаимоотношениях рабочих и администрации.

В нашем обществе сила примера приобрела громадное значение. Об этом неоднократно говорил и писал В. И. Ленин. Вот почему так важно заботиться, чтобы о практике передовиков рассказывалось возможно полнее и глубже. Надо признать, однако, что в этом наши издательства не очень-то преуспевают. Рассмотренные брошюры, конечно, не могут сколько-нибудь полно осветить то, что повседневно происходит на наших заводах, фабриках, шахтах, электростанциях, новостройках. Просматривая списки новых книг и планы новых изданий, легко убедиться, что этому делу все еще не уделяется надлежащее внимание. Даже технических описаний новаторских приемов, прогрессивной технологии издается все меньше. Можно подумать, что издательства, а также книготорговые организации потеряли «вкус» к пропаганде опыта новаторов. А между тем о первостепенной важности такой пропаганды недавно напомнило постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР о работе Выставки достижений народного хозяйства, призывающее широко распространять опыт новаторов производства.

Настоятельно необходимы новые, яркие книги новаторов и о новаторах, о тех, кто шагает в авангарде армии строителей коммунизма. Эти книги, верно отражающие нашу стремительную, прекрасную жизнь, будут способствовать скорейшему достижению задач, поставленных семилетним планом развития народного хозяйства страны.

И. ПЕШКИН.

Дела и люди хлебного Алтая

Алтай и Казахстан. Пожалуй, именно здесь можно наиболее явственно разглядеть плоды великих сдвигов, совершившихся за последние годы в нашем сельском хозяйстве. О больших делах, творящихся в Алтайском крае, о людях, которые напрягают все свои силы, заставляя природу наиболее эффективно «работать» на построение коммунистического общества, рассказывает в книге «Герои Алтая».

Обширнейшими сельскохозяйственными угодьями богат Алтайский край. По посевным площадям, достигающим семи с половиной миллионов гектаров, Алтай превосходит такие государства, как Англия, Франция, Германия, Испания или Италия. В необозримых алтайских черноземных степях растет почти все — от пшеницы до кукурузы. Две трети посевных площадей засеваются пшеницей. Успешному развитию сельскохозяйственной экономики края благоприятствуют метеорологические, климатические и почвенные условия. Хотя зимой температура снижается до сорока градусов ниже нуля, летом жара доходит также до сорока градусов.

К сожалению, до самого недавнего времени — до 1954 года — богатейшие сельскохозяйственные возможности Алтая использовались очень слабо. В 1940 году, например, государство закупило у алтайских хлеборобов всего лишь сорок восемь миллионов пудов хлеба. А в 1950 году посевные площади этого края не достигали еще и четырех миллионов гектаров.

После сентябрьского Пленума ЦК КПСС картина коренным образом изменилась. За несколько лет алтайцы сумели ввести в сельскохозяйственный оборот более двух с половиной миллионов гектаров плодородных целинных и залежных земель. Алтай превратился в одну из богатейших житниц Советского Союза, где возделываются прекрасные сорта высококачественной пшеницы. В 1956—1958 годах Алтай начал ежегодно поставлять государству по двести семьдесят миллионов пудов зерна, которое здесь обходится в среднем всего по двадцати шести рублей за центнер.

Массовый опыт работы хлеборобов, составляющих две трети всего населения

края, показал, что имеются отличные условия для дальнейшего развития сельскохозяйственного производства: Алтай условно в состоянии со временем удвоить количество товарного хлеба. Дело не только в том, что край еще не исчерпал своих фондов целинных и залежных земель, но и в том, что великолепные возможности движения вперед здесь могут быть достигнуты на путях интенсификации, повышения культуры земледелия. Это направление диктуется самим характером социалистического сельского хозяйства.

За последние годы многие хозяйства Алтая увеличили урожайность полей в несколько раз. Решающую роль сыграла система агротехнических мероприятий. Практика убедительно показала, что разумное использование передового опыта — верный залог крутого экономического подъема земледелия, создала обилия сельскохозяйственных продуктов.

В колхозе имени Сталина Краснощековского района, например, где трудится известный опытник Г. Щербинин, сумели резко повысить урожайность зерновых культур. В 1956 году там на всей площади в 18,8 тысячи гектаров получили в среднем по 21,5 центнера с гектара. За один год было собрано больше зерна, чем за три предыдущих года; государству было продано один миллион четырехста тысяч пудов хлеба.

Книга «Герои Алтая» является коллективным трудом. В ней двадцать восемь статей, подавляющее большинство которых посвящено оригинальному опыту практиков сельского хозяйства — агрономов, бригадиров, селекционеров, механизаторов, директоров совхозов, МТС и РТС, председателей колхозов и секретарей райкомов.

В нашей стране давно известно имя прославленного мастера высоких урожаев М. Е. Ефремова. Он на практике показал, что на Алтае можно получить с гектара по пятьдесят — шестьдесят центнеров зерна. Его «стройная система взаимосвязанных мероприятий» дает поразительные результаты. О нем писал еще великий русский агроном академик В. Р. Вильямс. «Разве это не потрясающий всю историю факт, что неизвестный в прошлом, по барской классификации «мужик». Ефремов, оказался во главе целого научного направления стаха-

новской борьбы за высокий урожай, что этот человек не ограничивается получением совета от ближайшего агронома. Он сам глубоко вникает в самые сокровенные тайники науки и уже со всех сторон освещает поставленный перед собой вопрос».

Замечательно и опять-таки характерно для нашего социалистического строя, что некоторые из продолжателей Ефремова, используя его систему, сумели превзойти своего учителя. И. Н. Ракитин добился урожая пшеницы по 79,8 центнера с гектара, а И. Е. Чумаков получает по 86,8 центнера. Эти люди не ждут милостей от природы, а берут ее высоким умением и самоотверженным трудом.

С интересными фактами знакомит очерк А. И. Житникова, посвященный секретарю Кытмановского райкома КПСС Ф. Ф. Золотухину. В этом районе урожай зерновых из года в год не превышали пяти-шести центнеров с гектара. Район не выполнял планов хлебопоставок, жил в бедности и был на Алтае словно бельмо на глазу. Таковы были печальные плоды негодной «системы» земледелия. Способный организатор, Ф. Ф. Золотухин сумел, если можно так сказать, «взрыхлить» не только почву, но и умы и души людей. Посланец партии появился в районе в начале 1954 года, а уже в 1956 году хлеборобы Кытмановского района заставили каждый из своих ста семнадцати тысяч гектаров давать по сто десять пудов зерновых. Этот выдающийся успех был закреплен в последующие годы.

Немало места в книге отведено рассказу об опыте передовых механизаторов края, в частности о «герое Кулунды» — комбайнере и бригадире С. Пятнице.

Весьма поучителен очерк о колхозе «Родина» Шипуновского района и его председателе Ф. М. Гринько. Это процветающее многоотраслевое электрифицированное хо-

зяйство — великолепная школа передового опыта, умелого использования науки, техники, продуманной организации труда. Ф. М. Гринько в свое время учился у Мичурина. Он создал в колхозе сад, который дает в урожайные годы миллион рублей дохода. Тем самым практически доказано, что садоводство может найти широкое развитие и в Сибири.

Опыт работы бригадира колхоза «Дружба», Пospelнхинского района, Г. Н. Буханько, собственно говоря, породил целое движение, имеющее тысячи последователей не только в Алтайском крае, но и далеко за его пределами. «Секрет» успеха Г. Н. Буханько — в правильном сочетании методов и способов комплексной механизации сельскохозяйственного производства с передовыми достижениями современной агрономической науки. В 1958 году он стал начинателем социалистического соревнования бригад за высокую культуру земледелия. Талантливый механизатор, Г. Н. Буханько систематически получает с гектара на пять-шесть центнеров зерна больше, чем соседи, работающие в таких же условиях.

В заключение хотелось бы сказать, что, как это обычно бывает в сборниках, не все статьи книги «Герои Алтая» представляют одинаковую ценность, не все авторы сумели выявить и показать самое важное из опыта передовых работников сельского хозяйства края. Но не это определяет общую оценку книги. Она с интересом и, что еще важнее, с пользой будет прочитана. Опыт новаторов хлебного Алтая может быть с успехом использован и в других местах.

В связи с этим нельзя не выразить удивления по поводу непривычно малого тиража книги. Сельхозгиз «рискнул» выпустить ее лишь в количестве пяти тысяч экземпляров.

А. ХАНЬКОВСКИЙ.



Опасный перекресток

Небольшая брошюра американского профессора Дейча и увесистый, роскошно оформленный сборник статей, выпущенный

H. C. Deutsch. *New crisis on Berlin*. Toronto. 1959 (Г. С. Дейч. *Новый берлинский кризис*. Торонто. 1959).

Berlin am Kreuzweg Europas, am Kreuzweg der Welt. Berlin. 1958 (Берлин на перекрестке Европы, на перекрестке мира. Берлин. 1958).

в Западном Берлине, — таковы различные по внешности, но удивительно схожие по присущему им духу образцы пропагандистской стряпни, которую под этикеткой «берлинский вопрос» подносят публике идеологические кулиныры Запада.

Трудно поверить, перелистав страницы этих двух изданий, что их авторы живут на разных континентах. Обе работы удивли-

тельно напоминают написанные на заданную тему сочинения школьников, сидевших за одной партией и подглядывавших в тетрадь соседа.

Впрочем, этому, пожалуй, нечего удивляться. И профессор университета в Миннесоте Дейч и министр ФРГ Леммер, возглавивший группу западноберлинских деятелей, участников сборника, заглядывали в один и тот же источник — речи канцлера Аденауэра. Черная тень этого «упрямого старика», как нередко величает западная пресса боннского самодержца, витает над писаниями этих авторов. Их усилия направлены на то, чтобы подкрепить идеологическими подпорками довольно-таки шаткую позицию канцлера в вопросе о Западно-Берлине.

Вопрос этот, как известно, занимает одно из первых мест в системе международных отношений. Остроту проблемы неоднократно подчеркивают и сами авторы. «Ныне Берлин — это самая чувствительная точка на земном шаре», — заявляет профессор Дейч.

Что и говорить, западные державы действительно весьма чувствительны ко всяким попыткам разрядить накаленную атмосферу Западного Берлина. Всем памятно, какую истерику подняла западная пресса, когда Советское правительство внесло предложение превратить Западный Берлин в демилитаризованный вольный город. Генералы НАТО срочно занялись тогда арифметическим подсчетом: хватит ли у них атомной авиации, а также танков и самолетов, чтобы поддержать стратегию «меча и щита». Американский журнал «Бизнес уик» предлагал тогда «подумать об отправке бомбардировщиков к Москве», а бургомистр Западного Берлина Вилли Брандт пересек океан и, потрясая кулаками, убеждал американских телезрителей: «Лучше атомная война, чем коммунистическое господство».

Визит Никиты Сергеевича Хрущева в Соединенные Штаты Америки способствовал образованию первых трещин во льдах «холодной войны», ослаблению международной напряженности. Появились благоприятные предпосылки для того, чтобы общими усилиями найти пути решения берлинской проблемы. Но это встретило яростную оппозицию со стороны врагов мира. Они требуют, чтобы Западный Берлин по-прежнему выполнял миссию, уже

давно возложенную на него международной реакцией. Об этой миссии авторы рецензируемых книг говорят довольно пространно.

Оказывается, в Западном Берлине мир видит, если верить Аденауэру, не что иное, как... «форпост свободы». Брандт со своей стороны говорит о «маяке демократии». Но всему миру известно, что такое свобода и демократия в понимании боннских реваншистов. «За фасадом германской демократии растет чудовище милитаризма и фашизма», — писали недавно лейбористские депутаты английского парламента.

На зловещий огонь брандтовского «маяка» слетаются сейчас наследники и душеприказчики Гитлера. Это они в канун 1960 года покрывали знаками свастики стены домов «форпоста свободы». Это они распевали в Глиникерпарке фашистскую песню — «Сегодня нам принадлежит Германия, а завтра весь мир».

В Западном Берлине, сообщает сборник, семьсот типографий. Многие из них большими тиражами печатают реваншистскую литературу, которую усилению плодит не только окружение Аденауэра, но и милитаристы стран НАТО. Множество усилий тратится на то, чтобы через западноберлинские шлюзы грязный поток этой страшилки растекался по территории ГДР. Номер журнала «Дер шпигель», продающийся в ФРГ за одну марку, стоит в Западном Берлине всего сорок пфеннигов.

Недавно судебные власти ФРГ сделали еще один очередной сюрприз «знаменитой (как ее называет Дейч) радиостанции РИАС». Теперь радиогангстеры могут подкрепить свои налитанные ядом реваншизма передачи цитатами из «классиков» фашизма. Дело в том, что в Западной Германии снят запрет с распространения грампластинок с речами Гитлера, Геринга и Геббельса. Заботу о производстве этих пластинок взяли на себя американские фирмы.

На митингах, созданных реваншистами, ползущая фашистская волна, входящих в состав территории Польши и Советского Союза. Каждый полдень — это с особым восторгом подчеркивают авторы сборника — раздается звон «колокола свободы», привезенного в здание ратуши из Америки. По вечерам берлинское небо освещается светом факелов. Это бургомистр Брандт во главе своих приспешников шествует на очередную демонстрацию в знак солидар-

ности с политикой Бонна — политикой «холодной войны».

Не в этих ли фактах следует усматривать истинные корни, из которых выросли взволновавшие недавно весь мир открытые гитлеровско-расистские выступления, прокатившиеся по всей Западной Германии и перехлестнувшие далеко за ее границы, в другие страны НАТО?

В брандтовской вотчине творятся черные дела. «Нет сомнения, — пишет Дейч, — что условия въезда и выезда делают город идеальным центром для проведения операций плаща и кинжала и для заброски агентов в районы за железным занавесом». Пять сотен агентов, выловленных за последние годы в ГДР, немало поведали о поджогах и взрывах, провокациях и актах саботажа, организованных ими с благословения боссов из Западного Берлина.

Такова роль «форпоста свободы» в выполнении «общегерманской задачи», о которой упомянутый выше господин Леммер повествует, впрочем, весьма скупо. Федеральный министр куда более словоохотлив, когда речь заходит о «европейской миссии» западноберлинцев. На них, уверяет Леммер, возложена задача создавать «единую Европу», центром которой и предстает быть Берлину.

Что при этом имеется в виду, весьма обстоятельно разъясняет господин Брандт. «Европа не кончается на Эльбе. Обширные пространства европейской родины простираются и дальше к Востоку», — глубокомысленно замечает бургомистр. Впрочем, Брандт здесь не оригинален. Один из ближайших клевретов Аденауэра, Хальштейн, как-то изрек: «Европейскую интеграцию следует осуществлять «вплоть до Уральского хребта».

Как бы в унисон этой галиматье профессор Дейч отмечает, что «германские сухопутные войска стали самыми могущественными на континенте Запада». Заодно он предостерегает, что урегулирование берлинского вопроса привело бы к «стабилизации коммунистического мира». А этого, как огня, боятся поборники «холодной войны».

Немало места на страницах сборника занимают разглагольствования Леммера и ниже с ним о том, будто важнейшая задача Западного Берлина — способствовать воссоединению Германии. Авторы сообщают даже, как должны выглядеть «общегерманские» правительственные здания, проекты

строительства которых уже поручено разработать архитекторам ФРГ.

Но хотя ли на Западе этого воссоединения? Профессор Дейч не может скрыть того, что во Франции, в Бельгии, в скандинавских странах многие «смотрят с реальным опасением на возможность воссоздания Германии с семидесятимиллионным населением», и «немало англичан и американцев думает так же». Клятвам правящей верхушки ФРГ о том, что она в самом деле хочет «германского единства», теперь верят все меньше и меньше. «Воссоединение, в сущности, нежелательно для канцлера Аденауэра», — пишет английская газета «Обсервер».

Практическая деятельность брандтовцев лишней раз подтверждает эту истину. Они всячески противятся установлению экономических связей с ГДР, которые, вполне можно было бы и созданию базы для воссоединения страны. В сборнике говорится, что только один процент продукции Западного Берлина направляется в Германскую Демократическую Республику.

Это абсурдное положение, ставящее экономику Западного Берлина на костыли помощи, получаемой извне, вполне устраивает поборников «холодной войны». Авторы сборника выдают болезненное уродство за «экономическое чудо»; они самодовольно пишут о том, что западными державами «был проделан фокус: из половины города создана целая страна».

Но даже и авторы сборника понимают, что их восторги вряд ли будут приняты на веру, и господин Брандт здесь же, приняв обиженный вид, вынужден вступить в полемику с теми, кто называет созданную из половины города «страну» — его вотчину — «бочкой без дна».

А профессор Дейч, путая карты Брандта, идет еще дальше и высказывается вполне откровенно: «В экономическом отношении Западный Берлин существует только по милости широкого ряда субсидий из западных источников». Только с 1953 года город получил, пишет Дейч (подсчеты которого, надо сказать, более чем скромны), пять миллиардов марок от Аденауэра и четыре — от американцев. И хотя Западный Берлин уподобился пивяке, которая уже давно сосет американских и западногерманских налогоплательщиков, бернские власти не должны твердить о «чуде».

Как-то один американский банкир сравнил Берлин с бомбой замедленного действия, в которой уже много лет тикает часовая механизм. Но ни Дейч, ни другие авторы сборника, как явствует из их писаний, даже не помышляют о том, чтобы обезвредить эту бомбу, вынуть из нее взрыватель.

Добродетельная дама, требующая, чтобы ее охраняли, едва ли стоит караульщика, гласит английская пословица. Такой добродетельной даме уподобляется господин Брандт, взывающий к западным державам о том, чтобы оставить в городе гарнизон и сохранить оккупационный режим. Бургомистр Западного Берлина, как и прочие соавторы сборника, хочет, чтобы на «пере-

крестке Европы» по-прежнему продолжал тикать механизм бомбы замедленного действия.

Такой курс весьма опасен. «Желание сохранить оккупационный режим и войска в Западном Берлине — это стремление проводить политику против социалистических стран. Это значит накалывать атмосферу, продолжать проводить политику «с позиции силы», — говорит товарищ Н. С. Хрущев. Создание же демилитаризованного вольного города, который получил бы все гарантии независимости и неприкосновенности, во многом будет способствовать таянию льдов «холодной войны».

Кандидат исторических наук
А. ЕФРЕМОВ.

★

Новая форма социальной демагогии

В последнее время на Западе, и особенно в США, поднят большой шум вокруг так называемого «метода человеческих отношений». Возникнув первоначально в США, он призван был стать спасательным кругом для буржуазии в самый разгар кризиса тридцатых годов и является своеобразным продолжением и развитием систем «научной» организации труда — тейлоризма и фордизма.

«Метод человеческих отношений» с каждым годом становится все более популярным среди бизнесменов. Дело дошло до того, что его изучают во многих университетах и колледжах, причем на экономических факультетах и в так называемых школах деловой администрации — как обязательный предмет.

По этой дисциплине присуждаются ученые степени, устраиваются конференции ученых и предпринимателей, ей посвящаются объемистые издания. Созданы даже специальные «институты человеческих отношений», а в крупных корпорациях — отделы во главе с опытными психологами и политиками. На курсах и семинарах для руководителей предприятий и мастеров этот предмет считается самым важным, ибо, как не раз подчеркивалось, ст сохранения «человеческих отношений» завясят не только разме-

ры прибылей, но и святая святых — сама система частного предпринимательства. Бизнесмены прилежно изучают историю, структуру и тактику профсоюзного движения, различные методы разложения рабочих (участие в прибылях, привлечение к «управлению» производством и тому подобное).

«Человеческим отношениям» посвящена вышедшая в США книга Д. Гловера и Р. Хауэра «Администратор». Этот учебник выдержал уже три издания. Его авторы — профессора высшей школы деловой администрации при Гарвардском университете. Именно здесь и возникла модная доктрина, крестным отцом которой был профессор промышленной психологии Элтон Мэйно.

В книге приведена циничная фраза из передовой лондонского журнала «Экономист»: «Человеко-осел нуждается либо в морковке спереди, либо в палке сзади». В сущности говоря, «метод человеческих отношений» (впрочем, как мы увидим, теоретики «метода» несколько иначе обозначают объект рассматриваемых ими «отношений») сводится к наиболее целесообразной — с точки зрения предпринимателя — комбинации кнута и пряника.

По определению английского философа Хетчингса, «метод человеческих отношений» преследует цель «поставить рабочего на правильное место и выжать из него максимум». Достигается это тем, что на рабочих стремятся оказать не только материальное,

J. Glover, R. Hower. *The administrator. Cases on human relations in business. Homewood. Illinois* (Д. Гловер, Р. Хауэр. *Администратор. Казусы из области человеческих отношений в бизнесе. Хоумвуд. Иллинойс*).

но также идеологическое и психологическое воздействие, побудить их к добровольному увеличению производительности труда, приковать их к интересам фирмы.

Старые способы уже не дают желаемого эффекта. Характерное заявление сделал президент Американского института инженеров по организации производства и труда Дэвидсон: «Мы, по всей вероятности, достигли предела возможного, повышая производительность труда только путем изучения движений, хронометража и тому подобных методов; в дальнейшем производительность труда может быть увеличена лишь при условии улучшения отношений с рабочими».

По мнению Д. Томаса, представителя компании «Юнайтед стил», проблема фабричной организации становится политической проблемой. Помочь ее разрешению и пыгается «Администратор».

Из восьмисот страниц учебника пятьсот отведено под различные «казусы», то есть случаи из практики предприятий. Изучение человеческих отношений путем разбора казусов Гарвардский университет считает своим изобретением. «Я спрашиваю учащихся, что бы они сделали в той или иной ситуации, — описывает свой метод гарвардский профессор по предмету «человеческие отношения» Ретлисбергер. — Большинству легче ответить на вопрос, что сделать, чем на вопрос, как это сделать».

Решение должно быть принято только для данного конкретного случая. «Мы не даем готовых общих теорий! Подальше от удобных, но узких границ Старого Мира Идей!» — восклицают авторы учебника. Все конфликты индивидуальны, случайны, и устранение их — дело ловкости администратора.

Подобная философия вполне соответствует американской официальной доктрине прагматизма (между прочим, его колыбелью также считается Гарвардский университет). Как известно, прагматизм избегает научных обобщений и возводит в принцип делячество и импровизацию. Метод казусов как раз соответствует «буржуазному кругозору, при котором все внимание поглощается обделыванием коммерческих делишек» (Маркс).

Критерием для решения казусов являются интересы фирмы. Впрочем, на курсах администраторов это обеспечивается составом слушателей, не говоря уже о педаго-

гах. Тенденциозны и «наводящие» вопросы к казусам. Описания казусов сделаны в учебнике очень детально, это целые исследования. Некоторые занимают десятки страниц, к ним приложены — где надо и где не надо — таблицы, схемы, диаграммы. Это должно создать впечатление полноты данных.

Но напрасно искать в казусах реальное отражение острых социальных конфликтов, потрясающих американскую промышленность. Недаром Гарвардский университет именуется «академическим филиалом Уолл-стрита». Производственные конфликты в казусах тщательно просеяны и приглажены. Все это небольшие споры, скорее недоразумения, по поводу отдельных нарушений распорядка, прогулов, приема и увольнения, отношений рабочего с мастером, конфликты между отделами фирмы или завода, склоки между администраторами и так далее. В книге нет общеизвестных фактов — стачек, крупных столкновений труда и капитала, массовых увольнений на почве кризиса или автоматизации.

Хозяева предприятий повсюду изображены как вдумчивые люди, полные гуманности, разрешающие, а чаще предупреждающие конфликты в духе «метода человеческих отношений». Рабочие, со своей стороны, уверяют составители учебника, боготворят своих хозяев и советуются с ними даже по чисто бытовым вопросам. Авторы учебника со всей академической старательностью избегают всяких фактов, которые могли бы набросить тень на систему частного предпринимательства.

Целых пятьдесят страниц книги отведено описанию идиллических порядков на заводе «Линкольн электрик» в Кливленде, где из семисот рабочих триста пятьдесят — акционеры, им принадлежит пятнадцать процентов акций. Глава фирмы — Джемс Линкольн (он же автор брошюры «Интеллигентный эгоизм и производство») — «жесток с врагами, но золотая жила для своих рабочих». Здесь нет профсоюза. Изданный фирмой «Спутник рабочего», где изложена «философия Линкольна», утверждает, что заработная плата у Линкольна — одна из самых высоких. Как это достигается?

Дадим слово представителю профсоюза в Кливленде: «Люди сжигают себя живо. Линкольн нанимает людей, готовых работать ужасающе быстрыми темпами. Если

настанет день, когда фирма окажется не в состоянии выплачивать такие премии, или люди поймут, что жизнь дана не только для того, чтобы убивать себя за деньги, компания Линкольна окажется перед трудностями».

Напрасно искать в учебнике слово «подкуп». Но самый «метод человеческих отношений» предполагает подкуп отдельных рабочих с целью их разложения, раскола рабочей солидарности и подмены ее солидарностью с предпринимателем. Вот казус, из которого видно, как можно завоевать дешевую популярность.

Служащий Том Брисбейн (фирма Джералтон) был инвалидом. Получая семьдесят долларов в неделю, он содержал жену и четырех детей. Том всегда был плохо одет. Однажды, когда Том шел на работу, его сшибла автомашина. Врач предположил перелом ребра и рекомендовал сделать рентгеновский снимок. Через неделю Том потребовал у администрации девять долларов для уплаты за рентген, так как самому ему платить было нечем. По этому поводу было созвано совещание администраторов фирмы. Доктор Кэрн заявил, что не дело компании поддерживать инвалидов. Мистер Таунсвил, глава отдела закупок, дал Тому хороший отзыв, но заметил, что Том — любитель пользоваться за счет компании. Директор по кадрам мисс Олбени доказывала, что уплата за рентген установит опасный прецедент. «В этот момент,— торжественно повествует учебник,— вошел мистер Лайонс, президент компании. Услышав, о чем речь, он вынул из кармана девять долларов и предложил забыть об инциденте».

Так, размахнувшись на девять долларов, достойный президент компании прослыл филантропом и создал школьный пример гуманного хозяина, отчески пекущегося о своих рабочих, лишенных — по милости законов США — бесплатной медицинской помощи.

Тема книг, «научных» и художественных, кино, радио и телевидение идеализируют и прославляют лидеров крупного бизнеса. На деньги монополий издаются биографии знаменитых бизнесменов. Этой цели служат и газеты, бесплатно издаваемые предприятиями. В газетах публикуются фотоснимки изображающие предпринимателя с ребенком рабочего на руках или танцующего с уборщицей на заводском вечере. Издаются

альбомы, где рядом с портретами хозяев и управляющих даются фотографии ветеранов предприятия. Все это должно навязать рабочему чувство общности с его эксплуататорами, подавить его классовое сознание.

На страницах деловых журналов США идут споры о практической ценности учебы по методу казусов. Большинство склоняется к тому, что подобная тренировка вполне отвечает потребностям хозяев и сославу учащихся.

Значительное место в «Администраторе» занимают материалы для чтения — отрывки из разных произведений, вкрапленные между казусами. В этих отрывках сосредоточена духовная пища для бизнесменов, помогающая им — притом без большой потери драгоценного времени — овладеть наиболее практичным мировоззрением.

Вот архиеобъективные составители учебника предоставляют слово... Ницше: «Жизнь в основе своей есть присвоение, несправедливость, подчинение чужого и слабого, подавление, жестокость, навязывание в особых формах, поглощение, наконец, мягче всего выражаясь, эксплуатация. Эксплуатация присуща природе всего живущего, как основная органическая функция». Идеи Ницше, полные ненависти к человеку, вполне сочетаются со взглядами буржуа, хотя некоторые современные бизнесмены могли бы кое-чему поучить и самого Ницше.

В роли наставника выступает и Макиавелли. Его поучения сегодня не совсем согласуются со словесной мишурой (но не существом!) «метода человеческих отношений». В отрывке из своей книги «Государь» автор учит нынешних макиавеллистов «не злоупотреблять милосердием»: «Государь, который хочет удержаться, должен научиться тому, как не быть добрым».

Кто только не представлен в учебнике! Гитлер, используя грибуну, отведенную ему между двумя казусами, поносит (по американскому изданию «Мейн кампф») парламентскую систему. В непосредственном соседстве с Гитлером — апостол Павел, внушающий неудачливому бизнесмену оптимизм: «Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены; мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся». Этим двумя строчкам из «Послания к коринфянам» отведена целая страница.

Из Бэкона авторы учебника отобрали как самое практически ценное для своих уче-

ников два отрывка: «О хитрости» и «О пригворстве и лицемерии».

На службу современной коммерции за-вербован и персидский царь Кир, преподавший несколько полезных советов молодым бизнесменам. Оказывается, «все любил персидского царя Кира за то, что он щедро вознаграждал своих военачальников. Он не мешал им обогащаться, ибо это было выгодно ему самому».

Но больше всего цитат из библии.

Целиком перепечатана энциклика 1891 года папы Льва XIII в защиту частной собственности и против классово-борьбы. Приводится также решение всемирного совета церквей (1948 год), направленное против «атеистического марксистского коммунизма». Учебник сильно напоминает книгу по богословию, и не удивительно: религия входит составной частью в «метод человеческих отношений».

Кроме «Администратора», на Западе имеются и другие издания, посвященные этой теме и рассчитанные на более узкий круг читателей. Образцом может служить вышедший в Амстердаме сборник «Человеческие отношения и современное управление». Это совместный труд американских, английских и голландских профессоров. Здесь вопрос поднят на «теоретическую высоту». Правда, авторы сборника не решаются признать «метод человеческих отношений» наукой и определяют его скорее как искусство.

Р. Кан, директор исследовательского центра и профессор психологии Мичиганского университета, критикует систему Тейлора за ее «в основе непсихологический характер» и делится результатами своих исследований в области «мотивизации» поведения рабочих на производстве. Не всегда, поучает он, это поведение определяется экономическими стимулами. Рабочий нуждается в одобрении. Особенно подробно Р. Кан останавливается на роли мастера, который должен учитывать все слабости человеческой души («похлопать по плечу

тоже важно»), чтобы добиться высшей производительности, в которой заинтересована фирма.

Исследовательский центр обследовал десять тысяч рабочих и мастеров «с целью определить» условия удовлетворенности рабочего, особенно те, что связаны с поведением мастера. Все же, сетует Р. Кан, «мы еще не в состоянии предугадать поведение рабочего».

Подлинная цель насадителей «человеческих отношений» — ликвидировать профсоюзы, оставить рабочих беспомощными перед лицом силовых предпринимателей. Эту цель выбалтывает в амстердамском сборнике профессор Янг:

«Некоторые из предпринимателей рассматривают программы человеческих отношений как замену коллективных договоров. Они полагают, что если дирекция найдет способы помогать отдельным рабочим в решении их подлинных или воображаемых проблем, то они не вступят в профсоюз, а если они и принадлежат к профсоюзу, то не будут его поддерживать в основных конфликтах с дирекцией».

Заигрывание эксплуататоров с угнетенными классами столь же старо, как сама классовая борьба. «Метод человеческих отношений», созданный буржуазными идеологами по заказу монополистического капитала, — одна из новейших форм социальной демагогии. Но оригинального в ней мало. Ее черты можно найти и в русской зубатовщине, и в политике Наполеона III или Бисмарка, и в фашизме. «Отеческое» отношение к своим рабочим демонстрировали Крупп, Форд, Батя. «Метод человеческих отношений» шит белыми нитками. Он не в состоянии завуалировать действительные отношения между эксплуататорами и эксплуатируемыми, все более жестоко борющимися за свои человеческие права.

Но чем острее классовая борьба, тем изощреннее становятся формы буржуазного обмана.

С. ЭПШТЕИН.



«КАЖДОМУ ПО ТРУДУ»

На рубеже второго года нашей семилетки Центральный Комитет КПСС обсудил вопрос о дальнейшем развитии сельского хозяйства. Состоявшемуся в конце декабря 1959 года Пленуму Центрального Комитета предшествовало широкое обсуждение насущных проблем производства сельскохозяйственных продуктов и повышения материального благосостояния колхозников.

Этой теме был посвящен и ряд статей, опубликованных в минувшем году на страницах «Нового мира». В частности, в десятой книге нашего журнала напечатана в порядке обсуждения статья В. Рожина «Каждому по труду». В ней были поставлены вопросы о наиболее эффективных возможностях подъема экономически еще слабых колхозов, об упорядочении в них оплаты труда, об изъятии дифференциальной ренты и ее перераспре-

делении. Статья касалась проблем, имеющих большое теоретическое и практическое значение для нашего сельского хозяйства, и понятен интерес, проявленный к ней широким кругом читателей журнала.

В редакцию поступили многочисленные отклики. Часть из них получена до, другая — уже после декабрьского Пленума ЦК КПСС. Во всех без исключения письмах, присланных в редакцию в связи с выступлением В. Рожина, подчеркивается актуальность поднятых вопросов, но высказывания относительно точки зрения автора неодинаковы. Одни соглашаются с автором целиком, другие — только частично, третьи ему возражают, выдвигая свои встречные предложения.

Ниже печатаются полученные редакцией отклики: некоторые отдельными письмами, другие — в общем обзоре.

ДЕЛО НЕ ТОЛЬКО В СИСТЕМЕ ОПЛАТЫ

С большим интересом прочитал я статью В. Рожина. Важность поднятых в ней вопросов трудно переоценить. Предложения автора о проведении в жизнь мер, направленных на выравнивание оплаты труда колхозников и подтягивание ее в экономически слабых хозяйствах к среднему уровню, представляются продуманными и заслуживающими внимания.

Действительно, почему бы в таких хозяйствах не установить на какое-то время определенный, твердый минимум оплаты труда колхозников, гарантированный государством? Допустим даже, что средств, полученных путем изъятия добавочного чистого дохода, образующегося у колхозов, ведущих свое хозяйство на более плодородных или же удобнее расположенных землях, и не хватило бы для фонда гаран-

тированной оплаты. (Тут надо к тому же заметить, что мы еще не научились научно определять, какая часть чистого дохода создается благоприятными условиями, а какая — более производительным трудом.) Быть может, на первых порах государству и пришлось бы дополнительно ассигновать на это некоторые средства. Такой опыт проводится в ГДР, где слабым в хозяйственном отношении кооперативам, не имеющим возможности обеспечить денежную стоимость трудодня в семь марок, государство предоставляет субсидии.

Не подлежит сомнению, что гарантированная государством оплата труда в сочетании с другими формами помощи могла бы в течение известного времени служить одной из мер подъема отстающих хозяйств.

Нельзя, однако, полагать, что введение этой меры автоматически ликвидирует все имеющиеся в таких колхозах недостатки и причины, их порождающие. В этом тоже прав В. Рожин, предлагая и ряд других мер. К ним следует прежде всего отнести дальнейшее совершенствование зональных закупочных цен на сельскохозяйственные продукты. С введением новой системы цен и заготовок экономика колхозов заметно укрепилась. Вместе с тем минувший год показал и известные недочеты этой системы.

Думается, что при установлении ценовых зон нельзя руководствоваться только административным признаком. Это нередко приводит к тому, что районы различных производителей возможностей попадают в одну зону, а районы одинаковых возможностей — в разные зоны и потому вынуждены реализовать свою продукцию по различным ценам. По нашему мнению, при установлении зональных цен правильнее руководствоваться не административным делением, а условиями сельскохозяйственного производства. Необходимо добиться более правильного, более точного, чем сейчас, соотношения цен по зонам, учитывая

себестоимость продукции. Справедливо ли, что громадная разница в себестоимости продукции колхозов, скажем, Краснодарского края и Северо-Казахстанской области при установлении цен почти полностью игнорируется? Думаю, что нет.

Нужен также и другой, более дифференцированный порядок взимания сельскохозяйственного налога. Взимать налог следует с чистого дохода. Но это довольно трудно сделать без всесторонней оценки природно-экономических условий каждого предприятия. Сельскому хозяйству нужен земельный кадастр, построенный на основе тщательного учета условий климата, почв и т. д. Колхозники, руководители района или области должны хорошо знать возможности земли, ее способности к производству. Кадастр и должен стать основой для последующей разработки конкретных экономических мер, обеспечивающих всем хозяйствам страны равные условия производства.

А. АРХИПОВ,

научный сотрудник Института экономики Академии наук СССР.

ИСХОДЯ ИЗ СВОИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Мы считаем, что вопросы, поднятые в статье В. Рожина, заслуживают серьезного внимания и изучения. Хотя с отдельными предложениями товарища Рожина трудно согласиться, его основное положение о необходимости перехода колхозов на гарантированную оплату труда колхозников является абсолютно правильным, отвечающим духу времени. Опираясь на факты, мы постараемся изложить свою точку зрения.

После сентябрьского (1953 г.) Пленума ЦК КПСС колхозы нашего Верхне-Ландеховского района Ивановской области, как и большинство сельскохозяйственных предприятий других районов страны, добились определенных сдвигов к лучшему. Вдвое повысился надой молока, в шестнадцать раз выросло производство мяса, шестеро увеличился денежный доход. Однако из семнадцати колхозов района только четыре-пять можно назвать теперь средними по уровню развития, остальные же и по с-деню отстают, и без принятия дополнитель-

ных экономических мер быстро преодолеть их отставание, кажется, нельзя.

Мы полностью согласны с автором статьи «Каждому по труду», что главной из этих мер должен стать переход от трудодня к гарантированной денежной оплате. Вопрос это не новый. Немало колхозов в стране уже ввело такую оплату труда и убедилось в ее эффективности. Но речь шла до сих пор лишь о переходе на такую оплату экономически сильных хозяйств. Нам же думается, что настало время перевести все колхозы на гарантированную денежную оплату труда. Переход на такую форму оплаты труда колхозников будет иметь не только экономическое, но и политическое значение.

Встает вопрос: как ввести такую оплату в экономически слабых хозяйствах? В. Рожин предлагает установить для них минимум оплаты на уровне средних хозяйств и гарантировать его за счет государства. Так поступать не следует. Это будет чем-то напоминать уравниловку и может поро-

дять в отстающих колхозах вредные, иждивенческие настроения.

Мы предлагаем нечто иное. Каждый колхоз вводит гарантированную денежную оплату труда, исходя из своих возможностей и учитывая перспективы роста общественного хозяйства в течение года. Исходить должно из производственного плана и прихода-расходной сметы. Колхоз планирует производство продукции и доход от ее реализации. Учтя все расходы, он определяет фонд оплаты труда колхозников. Объем работ известен из плана, остается определить нормы и расценки. Это — работа уже чисто бухгалтерская.

Но где экономически слабые колхозы возьмут необходимые средства для ежемесячной оплаты труда? Практика показывает, что даже среднего достатка хозяйства порой бывают не в состоянии регулярно авансировать колхозников хотя бы по одному тому, что доходы от реализации продукции поступают в течение года неравномерно. Нам кажется, что без помощи государства, без государственных ссуд тут не обойтись. Но ссуды должны быть не безвозвратными, как полагает В. Рожин; колхозы обязаны их погасить.

Высказываются опасения, что в таком случае экономически слабые хозяйства смогут гарантировать лишь очень низкую оплату и что она не будет надлежащим образом стимулировать трудовую активность колхозников. Мы же считаем, что она, во всяком случае, будет больше стимулировать развитие колхозного производства, чем трудодень. Она заставит глубже вникать в экономику, на деле осуществлять хозрасчет, беречь каждую копейку.

И именно потому, что во многих колхозах оплата труда на первых порах может оказаться недостаточно высокой, необходимы также и другие меры, прежде всего — дальнейшее совершенствование политики цен в товарообмене между промышленностью и колхозным сектором сельского хозяйства. За последние годы партия и правительство сделали в этом отношении многое, но некоторые промтовары, в особенности техника и другие средства производства (тракторы, сельскохозяйственные машины, удобрения, строительные материалы, запасные части к тракторам и автомашинам), приобретаемые колхозами, еще очень дороги. Если бы государство сочло возможным пересмотреть цены на эти товары, то тем самым образовались бы и дополнительные ресурсы для увеличения фондов оплаты труда в колхозах.

Нельзя не согласиться с В. Рожиним и в том, что следует изменить порядок обложения колхозов налогом. Есть у нас артель имени 8 марта. Ее доход в 1958 году составил семьсот тысяч рублей. Через Госбанк на погашение старых долгов было удержано триста тысяч; пятьдесят тысяч ушло на оплату купленной техники. Колхоз, как говорится, сработал с дефицитом, денег на оплату трудодней не хватило, а подоходного налога было все равно начислено 14 процентов. Нелепость, не правда ли?

В. ПРОИСТИН,

заведующий отделом пропаганды и агитации Верхне-Ландеховского райкома КПСС Ивановской области.

П. ЕРЕМИН,

пропагандист райкома КПСС.

НУЖНЫ ОПЫТНЫЕ ОРГАНИЗАТОРЫ

Вопрос, который поднимает товарищ Рожин, действительно заслуживает серьезного внимания.

Оплату труда в колхозах необходимо совершенствовать, отстающие колхозы поднимать до уровня передовых. В этом одна из главных задач, которую нам необходимо решить в ближайшее время.

Однако предложения товарища Рожина, на мой взгляд, во многом спорны или ошибочны.

Верно, что почвенно-климатические условия играют большую роль в развитии экономики колхозов и материальном вознаграждении колхозников, но мы имеем сотни примеров и фактов, когда в одних и тех же климатических и почвенных условиях колхозы производят разное количество сельскохозяйственной продукции, получают разные доходы, по-разному оплачивают труд колхозников.

Я раньше работал в колхозе «Красный Аксай» Курганинского района Краснодарского края, который считался отстающим. Уже спустя три года колхоз производил столько продукции, что ее хватало не только на то, чтобы выполнять обязательства перед государством, засыпать семена и фураж, но и высоко оплачивать труд колхозников. На грудодни выдавали по четыре-пять килограммов зерна и по три-четыре рубля деньгами.

Граничивший с нами колхоз имени Ворошилова получал низкие урожан, не выполнял планов государственных поставок и выдавал на грудодни по восемьсот граммов зерна, а денег — по 90 копеек.

При чем же здесь почвенно-климатические условия?

Все дело в том, как организован труд, насколько эффективно используются средства производства. Люди, земля. Ведь от этого зависит экономическое состояние колхозов и оплата труда колхозников.

Нельзя также согласиться с предложением товарища Рожина о введении гарантийной оплаты в экономически слабых колхозах за счет, как он выражается, «изъятия части дополнительного чистого дохода» у экономически крепких колхозов, работающих в особенно благоприятных условиях и пользующихся удобным местоположением. Средства из этого фонда, по его словам, «должны направляться в колхозы, работающие на худших землях и поэтому терпящие убытки от своего производства».

Но кого товарищ Рожин имеет в виду, когда говорит об особо благоприятных природно-климатических условиях? Если Среднюю Азию и Закавказье, то, пожалуй, не хватит не только «части чистого дохода», но и половины всех доходов колхозов Средней Азии и Закавказья для обеспечения гарантийной оплаты отстающим колхозам. Причем это создаст обстановку, способствующую не увеличению производства продуктов отстающими и передовыми колхозами, а, наоборот, ее снижению, так как плохо работающие колхозы получают гарантийную оплату за счет хорошо работающих, а передовые колхозы не будут заинтересованы увеличивать производство продукции и снижать ее себестоимость.

Мы таким мероприятием подтянем не от-

стающих к передовым, а, наоборот, передовых «подтянем» до уровня отстающих.

Вместе с тем товарищ Рожин рекомендует усилить помощь экономически слабым колхозам за счет государства. По его мнению, государство должно выделять им средства на финансирование хозяйственного строительства и приобретение основных средств производства с таким расчетом, чтобы экономически слабые колхозы смогли на определенный период полностью или частично освободиться от необходимости отчислять средства на пополнение неделимого фонда и переключить их на увеличение фонда оплаты труда колхозников.

Разве можно такими путями поднимать экономически слабые колхозы? Безусловно, нельзя.

Это только породит в этих колхозах иждивенческие настроения и безответственное отношение к делу.

В решениях декабрьского Пленума ЦК партии дана иная установка: «Нужно обеспечить максимальное увеличение производства продукции в каждом колхозе и совхозе, во всех без исключения районах, областях, краях и республиках. Решающим условием для этого, — подчеркивается в постановлении, — является укрепление отстающих колхозов и совхозов опытными, квалифицированными кадрами, способными организовать дело, обеспечить крутой подъем культуры земледелия и животноводства».

Задача, стало быть, состоит в том, чтобы разобраться по-серьезному в причинах отставания каждого колхоза в отдельности и найти правильные пути поднятия его экономики.

Главное, конечно, не в денежной поддержке. Денег можно дать, их потратят, а произвести продукции на затраченные суммы не произведут. Можно дать второй раз, а дальше где деньги брать? Нет, не деньгами нужно помогать отстающим колхозам, а организационно. Помогать деньгами — ума не нужно.

До тех пор будут отстающие колхозы, пока в каждом колхозе не будет настоящих организаторов колхозного производства.

Н. ФЕДОТОВ,

бригадир колхоза имени Жданова
Усть-Лабинского района
Краснодарского края.

ИСПОЛЬЗОВАТЬ ВСЕ РЕЗЕРВЫ

О современном крупном и многоотраслевом колхозном хозяйстве нельзя судить только по показателям производства продукции, которую дает колхоз, как он выполняет план сдачи ее государству. Теперь настала пора давать оценку каждому колхозу и по себестоимости производимой им продукции и по уровню производительности труда.

Прав товарищ Рожин, упрекая наших ученых экономистов-аграрников в отставании от конкретных задач, стоящих сейчас перед сельским хозяйством. Ведь такая передовая форма оплаты труда, как денежная, была введена в ряде колхозов по инициативе работников, непосредственно работающих в колхозах, а не по рекомендациям представителей нашей сельскохозяйственной науки.

Мне кажется, что для большей ясности обсуждаемого вопроса причины отставания некоторых колхозов следует разделить на две категории: не зависящие от самих колхозов (имеются в виду неблагоприятные почвенно-климатические условия) и зависящие от самих колхозов.

Следует заметить, что хотя В. Рожин в своей статье мимоходом и останавливается на причинах второго порядка, но о них, я полагаю, следует говорить более подробно. Если они будут ликвидированы, экономически слабых колхозов останется значительно меньше.

Основной причиной недостаточно развитой экономики некоторых колхозов и низкой оплаты труда в них В. Рожин считает неблагоприятные природно-климатические условия. В пример он приводит подмосковные колхозы Раменского района, расположенные в одном случае на песчаных почвах и в другом — на пойменных землях. Нет сомнений, что природно-климатические условия сильно влияют на производительность труда в сельском хозяйстве. Но являются ли они решающими?

Недавно мне, в порядке изучения передового опыта организации артельного хозяйства, довелось побывать в колхозе «Большевик» Шосткинского района Сумской области. Об экономике колхоза можно сейчас не говорить — об этом хозяйстве знает вся страна, — хочется только отметить важное обстоятельство: почвы здесь — мало-

плодородные сыпучие пески, а колхозники получают неплохие урожаи.

Или такой пример.

Природа не обидела колхозы нашего Октябрьского района (Белгородская область), все они расположены на плодородных черноземных почвах. Однако уровень развития их экономики далеко не одинаков. За последние пять лет денежные доходы колхозов увеличились в среднем по району в пять раз, в том числе в экономически развитых — в семь с лишним раз, а в экономически слабых — менее чем в четыре раза. А ведь все наши колхозы находятся в одинаковых природно-климатических условиях. Посмотрим теперь, как обстоят дела с себестоимостью продукции. Если в среднем в колхозах района себестоимость одного центнера зерна равна примерно тридцати рублям, то в передовых артелях она составляет двадцать, а в экономически слабых тридцать три—тридцать пять рублей.

Мои соображения сводятся вот к чему: если отставание некоторых колхозов объяснять только причинами, связанными с природно-климатическими условиями, в частности почвенными разностями, и не принимать мер для улучшения плодородия этих почв, то тем самым можно наплодить много иждивенцев, которым придется оказывать экономическую помощь за счет труда колхозников экономически развитых хозяйств. Мне думается, что, если мы поставим экономически слабые колхозы в льготные условия, как это предлагает товарищ Рожин, то некоторые из них могут вовсе забросить дело улучшения плодородия своих бедных почв, и страна от этого будет иметь большой недобор сельскохозяйственной продукции.

Какой же следует искать выход из положения? Я считаю, что специализация колхозов и научно обоснованная система ведения артельного хозяйства по почвенно-климатическим зонам должны помочь в поднятии экономически слабых колхозов. Ведь не обязательно, скажем, чтобы повсеместно в нашем Союзе выращивалась пшеница; там, где нет для этого условий, давайте возделывать другие культуры или развивать в каждом отдельном случае подсобные предприятия, образуясь с местными природными условиями. И должен заметить, что если колхозы таких областей, как Калининская,

Калужская, и подобных им не имеют богатых черноземных почв, как, к примеру, колхозы нашей Белгородской области, то и они все же не обижены природой. Будем откровенны и спросим прямо: используют ли полностью колхозы северных областей дары природы? Ответ, надо полагать, должен быть отрицательным.

Теперь о закупочных ценах на сельскохозяйственную продукцию по республикам и областям. Цены эти надо бы пересмотреть. В настоящее время, когда представляется возможность определять себестоимость продукции в колхозах, этот показатель, по моему мнению, должен стать в какой-то степени мерилom для установления цен на закупаемую государством колхозную продукцию. Однако мы встретимся с некоторыми трудностями. Государству интересно закупать продукцию по более низким ценам и тем самым снижать на нее розничные цены. А как быть с продукцией тех колхозов, где себестоимость ее пока еще высока? Мне кажется, будет целесообразным предоставить право облисполкомам на каждый год дифференцировать закупочные цены на сель-

скохозяйственную продукцию. Эту меру следовало бы применить как временную, для поднятия экономики слабых колхозов.

Для упорядочения оплаты труда в колхозах считал бы необходимым введение в Госбанке специального счета по оплате труда колхозников. На этот счет отчислять соответствующий процент денежных средств, поступающих от реализации продукции колхозом. Использование средств на другие цели с этого счета категорически запретить. Это даст возможность регулярно, в течение всего года, выдавать колхозникам определенную часть денежного дохода.

В каждом колхозе надо бы разработать поощрительную оплату для колхозников, добившихся экономии труда и материальных средств.

Эти меры в какой-то степени тоже окажут свое влияние на поднятие трудовой активности колхозников и укрепление экономики колхозов.

П. ТУЛУПОВ,
агроном Октябрьской
райсельхозинспекции
Белгородской области.

* * *

Как уже говорилось, кроме писем, приведенных выше, редакция получила еще большое количество откликов, которые мы из-за недостатка места вынуждены опубликовать лишь в общем обзоре. Естественно, что большинство этих откликов поступило из районов Центральной нечерноземной зоны, где вопросы, трактуемые в статье В. Рожина, стоят наиболее остро. Это Калининская, Ивановская, Вологодская и другие области. Но письма пришли также и из Сибири, из Краснодарского края, из Белоруссии и т. д.

Итак, что же пишут сторонники мероприятий, предлагаемых В. Рожиним?

Постановка вопроса о введении твердого минимума денежной оплаты труда колхозников, гарантируемого государством, говорится в письме **А. Петрашова**, главного агронома Чагодощенской райсельхозинспекции Вологодской области, «вполне реальна, правильна, и такая оплата безусловно оправдала бы себя». В том же духе высказывается и секретарь парторганизации Карсунского автохозяйства Улья-

новской области **В. Шигаев**: «Гарантированная государством оплата труда должна быть обеспечена всем колхозникам, — пишет он. — Колхозники, как и рабочие, — равноправные граждане нашей страны. Почему же оплата их труда ставится в прямую зависимость от стихии климата, от капризов природы? Почему комбайнер, работающий на колхозном поле, не знает, сколько он заработает, а товарищ его через дорогу, на совхозном поле, знает?»

Ф. Рябинин, бригадир строительной бригады колхоза деревни Ст. Атай Красночетайского района Чувашской АССР, пишет: «Все, что предлагает В. Рожин, я всецело одобряю».

М. Мальцев, из колхоза имени Ленина Верхне-Ландеховского района Ивановской области подкрепляет свою точку зрения, совпадающую с предложением В. Рожина, примером из практики. Еще в 1937—1938 годах на государственном сортухатке по соседству с колхозом имени Ленина был введен гарантийный трудодень, и это дало положительный результат.

С теми или иными оговорками принимают предложения В. Рожина авторы многих других писем.

«Я согласен с автором статьи «Каждому по труду»,— пишет **А. Позднышев** из деревни Кресино Новоторжского района Калининской области,— что на какой-то период времени наиболее действенным средством подъема экономически слабых колхозов явилось бы установление определенного твердого минимума оплаты труда колхозников, гарантированного государством». При этом, оговаривает он дальше, «я думаю, что автор обязательно имел в виду, что вместе с гарантированной оплатой труда в колхоз придет опытный руководитель для наведения в нем должного порядка». Но **А. Позднышев** решительно возражает против создания специального государственного фонда помощи экономически слабым колхозам за счет изъятия части дополнительного чистого дохода колхозов, пользующихся особо благоприятными природно-климатическими условиями, удобным местоположением либо же землями, подвергшимся коренным улучшениям за счет государства.

Необходимость сочетать введение гарантированной оплаты труда в слабых колхозах с другими мерами подчеркивает и **П. Никитин**, председатель Удомельского райплана той же Калининской области. Средн перечисленных им мер он предусматривает прежде всего укрепление этих колхозов кадрами опытных, политически грамотных, деловых, внимательных к людям, обладающих организаторскими способностями руководящих работников.

За гарантируемую государством оплату труда колхозников в отстающих колхозах, но против создания специального фонда для этих целей за счет экономически мощных хозяйств высказывается также тов. **Космин** из Свободинского района Курской области. «Если известный минимум оплаты труда будет гарантирован,— пишет он,— то это, несомненно, удержит многих от ухода из отстающих колхозов, создаст материальную заинтересованность колхозников, будет стимулировать повышение производительности их труда и со временем доведет отстающие хозяйства до среднего уровня. Что же касается того, чтобы осуществлять это за счет сильных колхозов, то автор статьи сам приводит мнения председателей колхозов, с такой постановкой вопроса не

согласных. Это, ясное дело, встретит больше возражения».

Наоборот, справедливой и единственно приемлемой считают именно такую постановку вопроса другие авторы.

«Можно с уверенностью сказать,— пишет **А. Киреев**, научный сотрудник Института экономики Академии сельскохозяйственных наук БССР,— что основная масса экономически слабых колхозов расположена на почвах, обладающих очень низким естественным плодородием. Лучшие почвы, используемые экономически крепкими колхозами, разумеется, приносят им добавочный чистый доход. Иными словами, дифференциальная рента I полностью получается экономически сильными колхозами. Экономически слабые колхозы, хозяйствующие на худших землях, получают чистый доход только за счет дифференциальной ренты II, то есть за счет дополнительного вложения средств и труда в одну и ту же земельную площадь. Поэтому совершенно верно ставит автор статьи «Каждому по труду» вопрос об изъятии части добавочного чистого дохода, образующегося у колхозов, работающих на лучших по плодородию или же более удобно расположенных землях, с тем чтобы обратить его на оказание помощи экономически слабым колхозам».

Аналогичные доводы приводит доцент **Л. Попов** (Воронеж). «У нас имеется большая группа экономически отстающих колхозов,— говорится в его письме,— и наряду с этим группа рентных колхозов, небольшая, но емкая по получению ренты. Прямо внешне выраженной связи между этими двумя группами колхозов нет. Рентные колхозы в карман колхозов, хозяйствующих в худших условиях, как говорится, не залегают. Но при помощи общих цен на продукты различных издержек производства они, даже не подозревая этого, преспокойно изымают миллиарды рублей стоимости, создаваемой в колхозах с худшими условиями. Таким образом, между двумя этими полюсными группами колхозов существует внутренняя связь, как, следовательно, и между высокими и сверхвысокими доходами одних и низкими — у других, высокой и сверхвысокой оплатой труда у первых и крайне низкой — у вторых».

И, наконец, еще одна группа писем. Авторы их тоже высказываются за предложение В. Рожина о введении в отстающих колхозах гарантированного минимума денежной

оплаты труда, но считают, что это надо делать не за счет государства и не путем изъятия части дохода передовых колхозов, а предоставляя отстающим хозяйствам краткосрочные банковские кредиты.

«Чтобы поднять экономику отстающих хозяйств,— пишет **Л. Пеньков**, председатель колхоза имени Мичурина Вичугского района Ивановской области,— надо прежде всего поднять урожайность полей. Этого нельзя в наших местах сделать, не внося в почву достаточного количества удобрений. А удобрений без людей не заготовишь и без денег не приобретешь; люди же в экономически слабых хозяйствах не заинтересованы в артельной работе, ибо не получают за нее справедливого и достаточного вознаграждения. Исправить положение можно, введя регулярную денежную оплату труда колхозников, но для этого необходимы, хотя бы на первое время, пока колхоз не окрепнет, какие-то денежные средства. Где их взять? Думаю, что отстающим колхозам нужно было помочь для этого кредитом, с тем, конечно, чтобы он был через известный промежуток времени погашен». Такого же мнения придерживаются и **М. Морозов** из деревни Голубцово того же Вичугского района, **А. Ячменев** из деревни Каменка Вадинского района Пензенской области и другие.

Теперь о письмах, авторы которых возражают против положений, выдвинутых В. Рожиным.

Вот что пишет экономист **В. Борисов** (Москва).

«Для читателей ясно, что В. Рожин имеет огромное желание найти наиболее эффективные возможности подъема экономически слабых колхозов. Но в поисках таковых он встал на ошибочный путь. Самый метод упорядочения оплаты труда в отстающих хозяйствах не за счет расширения производства, повышения производительности труда и снижения себестоимости продукции, а за счет государства неверен в своей основе. Такая помощь не будет побуждать к расширению производства ни колхозников, ни руководителей колхозов.

Вряд ли стоит повторять уже ставшее бесспорной истиной утверждение о том, что сила либо слабость того или иного хозяйства в первую очередь зависит от его руководителей. Это давным-давно доказано жизнью, и можно привести сотни примеров, когда из двух рядом расположенных и на-

ходящихся в совершенно одинаковых условиях колхозов один преуспевает, а другой недопустимо отстает. Ясно, что истоки этого различия — не в природно-климатических условиях и не в разности плодородия почвы, а в руководителях, в их умении организовать людей, повести их за собой на решение поставленных задач. Дело, что и говорить, нелегкое. Чтобы добиться успеха, приходится нередко затратить даже несколько лет. Но игра стоит свеч.

Еще в 1955 году Черкасская область УССР насчитывала сто пятьдесят три экономически слабых колхоза, а в декабре 1959-го их осталось лишь восемь. Чтобы поднять отстающие хозяйства до уровня передовых, областная партийная организация принимала различные меры. Слабым колхозам предоставляли кредиты на льготных условиях, им в первую очередь отпускали чистосортные семена, минеральные удобрения, машины. Все это оказывало известное действие, но решающего перелома не давало. Отстающими оставались не только отдельные колхозы, но и целые районы. Последнее место занимал в области Дрбовский район. Но вот райком партии послал в колхозы более ста специалистов — агрономов, зоотехников, ветеринарных работников, инженеров и механизаторов; из партийного и советского актива обком и райком направили на работу председателям дрбовских колхозов двенадцать человек. И что же? Урожайность зерновых за пять лет увеличилась в колхозах района вдвое. Производство молока на сто гектаров сельскохозяйственных угодий выросло в семь раз, мяса — втрое, а денежный доход достиг шестидесяти миллионов.

Таких примеров немало и в других областях. Инициатива и организаторский опыт в руководстве хозяйством всегда имели первостепенное значение, они не утратили его и в наше время.

Укрепление отстающих колхозов способными, опытными кадрами — решающее условие дальнейшего развития сельского хозяйства страны».

О том же говорит и **Н. Берсенева** (Москва): «Мы знаем старую истину: нет плохих земель, есть плохие хозяева. В. Рожин предлагает, чтобы государство гарантировало оплату труда колхозников отстающих, то есть плохо хозяйствующих колхозов. Но такой зарплаты нет еще и в про-

мышленности, да ее пока и быть не может. В основе хозяйствования на земле должно лежать наиболее рациональное ее использование. Земля, как и другие средства производства, при правильном сочетании всех отраслей хозяйства, при том условии, что люди честно и добросовестно трудятся и рачительно ведут дело, щедро обеспечит человека, притом не только чернозем, а и всякая иная земля. В этом суть, а не в государственных дотациях. Вспомним, что говорил К. Маркс: «Труд есть отец богатства, земля — его мать». Подъем слабых колхозов надо начинать с хорошо продуманного плана организации хозяйства и мер, которые необходимо осуществить для поднятия плодородия почвы и продуктивности животноводства. Нужно, конечно, краткосрочное кредитование, но отнюдь не безвозвратные субсидии. Вся соль в поднятии производительных сил земли, а не в... собесе».

На этом можно, пожалуй, и закончить обзор. Остальные письма в той или иной форме повторяют уже высказанное другими и ничего нового ни за, ни против положений, выдвинутых В. Рожным, не добавляют. Да тут и неважно число сторонников или же противников. И дело не в количестве тех или иных доводов, а в их доказательности, в силе их аргументации.

В статье В. Рожина «Каждому по труду» были поставлены важные вопросы; его оппоненты, соглашаясь с актуальностью выдвинутой им на обсуждение проблемы, предлагают различные пути к ее разрешению, причем наиболее существенно тут стремление закрыть любую лазейку для иждивенческих настроений, решить вопрос по-государственному, подчеркнуть первостепенное значение проблемы кадров в борьбе за повышение производительности труда, укрепление общественного хозяйства колхозов и дальнейший рост материального благосостояния колхозников.

В своей речи на декабрьском Пленуме товарищ Н. С. Хрушев говорил:

«При определении размеров оплаты труда в колхозах необходимо учитывать и следующее обстоятельство. У нас есть хорошие колхозы, которые дают высокую производительность труда. Надо сделать так, чтобы они и впредь занимали ведущее положение и не были отброшены назад...»

Говоря же об экономически слабых колхозах, Никита Сергеевич напомнил, что «государство помогало и помогает предоставлением им кредитов и ссуд». Он сказал далее:

«Таким образом, по мере роста механизации в сельском хозяйственном производстве, повышения квалификации колхозников, улучшения организации труда целесообразно систематически пересматривать и устанавливать более прогрессивные нормы выработки и расценки оплаты труда в колхозах, подобно тому, как это делается на промышленных предприятиях. Это обеспечит непрерывный рост производительности труда, увеличение накоплений для расширенного воспроизводства общественного хозяйства и повышения материального благосостояния колхозников».

Широкое обсуждение конкретных вопросов, связанных с дальнейшим развитием сельского хозяйства, происходит непрерывно на страницах всей нашей печати. Надо полагать, что и размышления, вызванные статьей В. Рожина, также полезны и плодотворны. Это одно из множества разнообразных явлений, наглядно свидетельствующих о том, что решения Пленума Центрального Комитета КПСС, состоявшегося в декабре минувшего года, лягут, как добрые зерна в хорошо подготовленную почву; за непрерывный подъем сельского хозяйства в нашей стране неустанно борется весь народ.



МАТЕРИАЛЫ И СООБЩЕНИЯ

ПИСЬМА РОЖЕ МАРТЕН ДЮ ГАРА

Роже Мартен дю Гар — автор известных советскому читателю романов «Жан Баруа», «Старая Франция», «Семья Тибо» — не любил принимать участие в литературных спорах, не выступал с эстетическими декларациями. Он жил и работал уединенно, вдали от Парижа и околосредственной суеты, затворив двери для репортеров. В 1958 году, в самом конце жизни, он привел в порядок свой архив и сдал его на хранение в Национальную библиотеку, позаботившись о том, чтобы и после смерти оберечь себя от любопытства современников. Дневники, которые писатель вел с 1919 по 1949 год, должны быть опубликованы, согласно его завещанию, только через двадцать пять лет; «Записки полковника де Момора» — последний труд Мартен дю Гара — через тридцать лет; через три года должны увидеть свет два тома переписки Мартен дю Гара, подготовленные им самим к печати в последние месяцы перед смертью.

Публикуемые письма, относящиеся к двум совершенно разным периодам его жизни, дополняют скудные воспоминания Мартен дю Гара, в которых он с присущей ему сдержанностью рассказывал о своем творческом пути.

Письма 1918 года адресованы Пьеру Маргаритису — близкому другу писателя, талантливому музыканту, умершему в конце 1918 года в военном госпитале. Пьеру Маргаритису посвящена «Семья Тибо». С ним Мартен дю Гар делится новыми литературными замыслами. Ему поверяет свои сомнения. От него ждет совета: не следует ли внять внутреннему голосу, отказаться от «романа идей» и писать о чувствах. Вновь и вновь возвращается он к изданному за пять лет до того «Жану Баруа» — роману, впервые переведенному сейчас на русский язык, — стараясь оценить правомерность и необходимость формы этой книги, в прямые, развернутые диалоги которой он ввел все, что считал «великими проблемами современ-

ности». Такой материал не укладывался в рамки традиционного романа-жизнеописания. Увлечение театром натолкнуло Мартен дю Гара на мысль создать некий синтез пьесы и романа, где сочетались бы широта и свобода повествования, не стесненного временными рамками театрального спектакля, с естественностью и живостью сценического диалога. Мартен дю Гар отказывается от плавного и непрерывного изображения жизни героя. Он ограничивает себя кульминационными эпизодами. Каждая из глав — сцена, когда в беседе с друзьями или в столкновении с противниками происходит сдвиг в сознании Жана Баруа, определяющий его жизнь на годы. Мартен дю Гар почти вовсе отказывается от описаний внешнего мира: они сведены к коротким ремаркам. Зато традиционный романический диалог — условный и искусственно сжатый — заменяется натуральной развернутой речью, со всей аргументацией, со всеми оттенками живого спора.

И все же Мартен дю Гар тяготеет к тому, что значительная часть его книги обращена только к рассудку читателя. Сложный, противоречивый, изменчивый мир эмоций и в самом деле нередко ускользает из романа.

Имя Льва Толстого — о влиянии которого на свое творчество Мартен дю Гар писал и в «Воспоминаниях» — возникает в письмах то как антитеза (непосредственность, эмоциональность «Анны Карениной» Мартен дю Гар противопоставляет педантизму, комплиментарности — как ему кажется в минуту сомнений — своей книге), то как пример возможности создать психологический роман, не отказываясь от интеллектуального материала, ибо огромное идейное богатство «Войны и мира» не сводит это произведение к «роману идей».

Мартен дю Гар не отдает себе отчета в том, что известная перегруженность «Жана Баруа» «сухостоем», чужими мыслями, фактами, извлеченными из газет и научных исследований, связана не столько с формой, избранной им для повествования о своем времени, сколько с отсутствием у него цельной, самостоятельной концепции общественного развития. То, что сам он воспринимает как муки поисков новой формы, на самом деле куда более значительно: это ощущение

потребности в новом художественном методе, который немислим без нового мировоззрения. Без понимания закономерностей действительности нельзя в ней разобраться. Пасуя перед «текучей изменчивостью» окружающего мира, не умея собрать в стройную систему то множество социальных и политических явлений, которое обрушивают на него газеты (обрушивает жизнь!), Мартен дю Гар тщетно ищет выхода в отказе от «интеллектуализма», якобы чуждого и враждебного его таланту, и пытается построить план «Семьи Тибо» на «чисто психологической» основе. Жизнь трех поколений Тибо была спланирована исходя из их темпераментов, вне связи с общественными потрясениями, предстоявшими Франции в то сорокалетие, на которое было первоначально рассчитано действие романа. В начале тридцатых годов Мартен дю Гар ощутил порочность этого плана. В «Лете 1914 года» дана широкая панорама международных событий; поток острых политических и философских проблем разломал рамки семейного психологического романа. И именно здесь Мартен дю Гар ближе всего подошел к тому синтезу «романа идей» и «романа чувств», который казался ему недостижимым в годы переписки с Маргаритисом.

Мартен дю Гар был одним из первых французских писателей, избравших в качестве материала художественного произведения жизнь и деятельность профессиональных революционеров. Социалистическая эмиграция Женевы привлекает писателя своей бескорыстностью, преданностью идее. Однако в то же время эта среда, в которой живет Жак Тибо, бесплодна (недаром она названа «говорильней») — она обречена на поражение в первом же серьезном историческом испытании. Мартен дю Гар показывает предательство вождя II Интернационала, бессилие рядовых социалистов, покинутых руководителями в момент кризиса, остановить лавину войны. И хотя образ Жореса возвышается над «Летом 1914 года» как символ страстной ненависти к войне, Мартен дю Гар понимает, что история требует революционеров иного типа. Какого же? Это не Жак Тибо, испытывающий трагические сомнения перед революционным действием, не догматик Митхерг, не циник Мейнестрель...

Письма к Марселю Лаллеману показывают, сколь драматичны были поиски писателя, как страдал он от незнания своего ма-

териала «в жизни», как отчаялся, чувствуя, что образ вождя жеңевских социалистов выходит из-под его пера лишенным внутренней цельности. В этих признаниях большого художника, задумавшего воссоздать историческую картину переломных дней эпохи и пришедшего, после того как была проделана огромная работа, к выводу, что правдиво нарисовать тех, кому предстоит эту эпоху повернуть на новые пути, он мог бы только, если бы ему «было дано прожить еще одну жизнь в шкуре революционера», — снова раскрывается трагедия (большой частью не осознаваемая теми, кому она выпадает на долю) писателя, чей изобразительный талант и чуткий глаз лишены опоры последовательного революционного мировоззрения. Мартен дю Гар интересуется образом революционера-интернационалиста, он ощущает за ним будущее. Эта фигура влечет его к себе и в то же время отпугивает. По-настоящему разобраться в ней писателю так и не удается. Отсюда сложность, внутренняя разорванность, неоправданная — ни исторически, ни эстетически — противоречивость Мейнестреля, в котором Мартен дю Гар искусственно соединил зрелость социалистической мысли, решительность боевого руководителя, зоркость, твердость, собранность профессионального революционера и наряду с этим подчеркнутое одиночество, замкнутость, надменность, физическую неполноценность. Отсюда парочитый, неубедительный художественно крах Мейнестреля, отказывающегося от борьбы под влиянием личной катастрофы.

Сейчас, когда вокруг литературного наследия Мартен дю Гара завязывается спор, когда одни буржуазные критики утверждают, что проза этого писателя традиционна, устарела, объявляют его эпигоном натурализма, а другие тшятся открыть его близость с моднейшими течениями, отрицающими реализм и стремящимися к воспроизведению «сверхреальности», особенно интересно прочесть эти письма, в которых сам писатель анализирует основы своего новаторства. Он отстаивает необходимость новой формы, ибо его роман посвящен изображению новой действительности — «стремительной, изменчивой, торопливой, кинематографичной». Мартен дю Гар, в противоположность оракулам «нового реализма», не думал отказываться от права литературы на синтез, но он утверждал, что формы ху-

дожественного обобщения должны стать иными. Он ломал старые каноны, но не во имя отрицания формы как таковой и тем более не во имя отрицания реализма, а ради новых принципов композиционной завершенности. Он стремился к передаче неуловимой гаммы ощущений, подспудного драматизма обыденной жизни, но в фокусе его художнической линзы эта изменчивая череда ощущений стягивалась в характер, в индивидуальность, интересную читателю и своими эмоциями и своими мыслями. Письма Мартен дю Гара, датированные далекими днями, воспринимаются сегодня не только как архивный документ, раскрывающий психологию творчества одного из крупнейших писателей двадцатого века, но и как аргумент в споре о характере новаторства современной литературы.

Л. Зонина.

ИЗ ПИСЕМ К ПЬЕРУ МАРГАРИТИСУ

18 января 1918 года.

Я собираюсь написать тебе нечто важное, важное для меня. Это письмо — «консультация». Подумай над ним, обдумай его и сохрани его. Нам, бесспорно, еще придется к нему вернуться.

У меня сейчас один из тех часов нания, когда человеку чистосердечному кажется, что он внезапно увидел себя таким, как он есть, — голеньким, без прикрас, — и понял свою ничтожность.

Как ужасно приближаться к сорока годам и испытывать сомнения в правильности избранного пути; спрашивать себя с невыразимой тревогой, не идешь ли ты не по своей стезе, не уходишь ли от истинного призвания, не уподобляешься ли известному незадачливому слуге, который тупо зарыл в землю талант, данный ему господином, вместо того чтоб пустить его в рост.

Никогда не лишне помнить об опасности боваризма¹. (Быть может, достаточно было какой-нибудь нелепой случайности, и Энгр², забросив свои первые полотна, прозябал бы тридцать лет как тре-

¹ «Боваризм» — сложное понятие, происходящее от имени героини романа Флобера «Госпожа Бовари»: тут и самообольщение, и незнание своей природы, и неверно избранный путь.

² Энгр Жан-Огюст Доминик (1780—1867) — знаменитый французский художник, начинавший как скрипач.

тья скрипка в Гёте-лирик...). Человеку образованному, в особенности художнику, присущ порок искать себя не в том, что он есть на самом деле, испытывать недоверие ко всему, дающемуся с легкостью, не понимая, что чаще всего именно непреднамеренность является естественным признаком дарования таланта, ему свойственным.

Я ощущаю, что меня влечет (и война только углубила эту потребность) к книгам идей, к произведениям тенденциозным, философским, социологическим. Или, если говорить точнее, я ощущаю, что меня влечет к тому, чтоб начинать литературное произведение — роман или пьесу — умозрительными размышлениями на идеологические темы. Меня занимают, и я вижу в этом свое достоинство, все великие проблемы современности; я не перестаю работать в этом направлении, собирать документы; не проходит дня, чтоб я не сделал себе заметок по какому-либо вопросу философии или социологии, не разобрал какой-нибудь книги, трактующей отвлеченные проблемы, не пополнил свои запасы новыми вырезками из журналов и газет. Это — обычное мое занятие, превратившееся за последние 8 или 10 лет в необходимость. «Баруа», гранки которого я правлю уже неделю, в особенности насыщен идеями; это умная, умственная книга, своеобразная энциклопедия; не думаю, чтоб в ней осталась незатронутой хотя бы одна из «проблем» нашего века. Не так ли?

Так вот, в какие-то минуты (впрочем, они становятся все более редкими) меня, как молнией, поражает ослепительное внутреннее прозрение: я вижу тогда, что иду по ложным путем, что задыхаюсь в чужом, взятом напрокат одеянии, что я отворачиваюсь от самого себя. Понимаешь? Что мое подлинное искусство, моя неповторимая индивидуальная ценность («Развивать в себе то, что дано только тебе и никому другому...») — в ином.

И тогда, как в эти последние дни, меня охватывает ужас. Я кажусь себе добровольной упрямой жертвой какого-то обмана, какого-то слепого боваризма; вместо того чтоб раскрыться свободно, дать волю естественному цветению, источать свой аромат, я из кожи вон лезу, извиваюсь, как грешник в аду, чтоб создать нечто, быть может, противоположное моей природе, некий искусственный цветок, старательно сделанный цветок

из крашеной бумаги, лишенный жизни и запаха. Мне кажется, я обнаруживаю, что моя стихия — воссоздавать не идеи, а ощущения, характеры, лица, человеческие существа. Что «взаправду» для меня органично чувственное восприятие, а отнюдь не рассудочное. Что я романист, а вовсе не мыслитель и не социолог; что мое дело эмоции, а не идеи.

Хорошо было бы, если бы у тебя хватило терпения перечитать сейчас все написанное мною и разобраться, на что я гожусь.

В «Баруа» самое лучшее, бесспорно, то, что «трогательно». Это — одряхление Баруа. И не столько одряхление разума, старческие изменения в области сознания, сколько трагические одряхление человека, его тела и его сердца, физический упадок, смертельный ужас перед болезнью, неотвратимым угасанием и смертью (именно это заставило многих думать, будто я и сам утративший все надежды старик). Самое лучшее в «Становлении» — бессилие человека, мнящего себя художником, создать долговечное произведение, победить время; мучительные и глупые страдания умного неудачника, который видит, как день за днем он, все понимая, губит свою жизнь, но ничего изменить не может. Рядом с этими страницами все нагромождение «идей» ничего не весит.

Я — романист. Мне часто говорили, что я обладаю даром воссоздания жизни (даром, который можно совершенствовать, но нельзя приобрести). Я чувствую, что это верно. И вот, вместо того чтоб воспользоваться этим даром, посвятить себя его развитию, вместо того чтоб раздуть божью искру моего таланта в пламя, питая его непосредственными наблюдениями, я корплю над книгами; собираю заметки по абстрактным проблемам метафизики, биологии, политики; я вылуциваю по десять газет в день, тратя силы на поиски в них преходящих истин; наконец, я непрерывно «учусь», как прилежный студент-философ, ящики которого забиты папками: «Религия», «Мораль», «Социология», «Социализм», «Пацифизм», «Прогресс» и т. д.

Я поверяю себя в эти минуты прозрения и открываю в себе бесконечно сильные и гибкие возможности для создания произведений, построенных на вымысле и чувстве; непосредственный порыв, дар схватывать оттенки эмоций, движущие силы характеров, точные силуэты; и в особенности дар видеть и выражать тот подспудный драматизм,

который таится за непроницаемой оболочкой в жизни каждого человека. В то время как для книги идей, для компиляции, теоретических построений и диалектических выкладок я не ощущаю в себе ничего, кроме весьма посредственного ума, подкрепляемого упорством вола в упряжке.

Каким ничтожным, засоренным и педантским кажется мне «Баруа» рядом с такой книгой, как «Анна Каренина», при всей ее тяжеловесности и длиннотах! Так вот — прости меня — мне представляется, что я, быть может, способен в один прекрасный день написать книгу, не столь диаметрально противоположную Толстому, как «Баруа»; книгу, которая (с учетом всех масштабов) будет «того же плана», что «Анна Каренина»... Понимаешь?

Тогда меня охватывает желание сделать рывок, напрячь силы, все переиначить, чтоб выразить свою индивидуальность. (Способен ли я еще на это? Давно пора было решиться.) Меня охватывает желание забросить все мои папки полумыслителя, все эти философские книги, отравляющие меня, забивающие мне голову, сбивающие меня, быть может, с моего настоящего, естественного пути развития; все эти научные книги (книги, вульгаризирующие науку), которые я могу усвоить лишь поверхностно; все эти газеты, открывающие передо мной такую сложную картину общественного бытия, что целой жизни специалиста не достало бы, чтоб охватить ее во всей текучей изменчивости. Мною овладевает желание решительно захлопнуть дверь, уйти от шума толпы; сосредоточить внимание на индивидах, на эмоциональной природе человеческих существ, внимание братское, участливое, быть может заведомо предназначенное для этого. Временами мне кажется, что это и значило бы дать волю врожденным склонностям, что именно так — похоронив, принудив к молчанию мой боваризм. — я смог бы выразить себя с полной искренностью и вновь стать художником, которым я являюсь на самом деле.

Но даже если я ошибаюсь, даже если этот страх стать жертвой какого-то особого боваризма ни на чем не основан, даже если я недооцениваю значимость своих суждений, свою способность к осмыслению проблем современности, — разве я не был бы прав, тем не менее, несмотря на все это отказавшись от всепоглощающих усилий мысли, которые приглушают другие мои качества, бо-

лее индивидуальные, мою способность к созданию художественных ценностей иного рода? Не должен ли я, тем не менее, посвятить себя отныне тому, в чем может проявиться мое истинное дарование?

Разве я не имею права надеяться, что другие мои способности, если таковые существуют, наложат, и без специальных усилий с моей стороны, свой интеллектуальный отпечаток на произведения, говорящие о чувствах?

Разве «Война и мир» не насыщена, не полна до краев мыслью? Однако ее нельзя назвать «книгой идей», как «Баруа»...

Больше нельзя уклоняться от прямого ответа. Я должен выбрать — либо одно, либо другое — и отдаться этому безраздельно. Будет ли то произведение «идей» или «чувств», оно требует возможно скорее полной отдачи.

Роже.

6 февраля 1918.

Старина, возвращаюсь еще раз к твоему письму относительно моей работы. Некоторые пункты нуждаются в уточнении.

Я очень доволен тем, что ты упомянул о газетных статьях, «которые я мусолю». Вот конкретный пример. Ты ошибаешься: мои вырезки вовсе не ворох негодных бумаг. Обычно именно газетная статья рождает у меня мысли; и я ее сохраняю, чтоб эти мысли вспомнить. Мне вполне понятно твое впечатление. Но тебе не известно — нужно, чтоб ты помнил об этом, — что «Баруа» буквально начинена мыслями, которые я таким образом отметил и отложил в сторону. Вот уже 10 лет, как я коплю. Большая часть моих запасов перешла в «Баруа». «Баруа» — это не только три года непрерывной работы, но и десять лет ежедневного сбора заметок, вырезок, систематизации газетных статей в папках с этикетками. Я создавал «Баруа», не покурявая сигареты, а трудясь в поте лица в течение 10 лет, подбирая, фрагмент за фрагментом, разные мысли, сохраняя и перечитывая (потому что я постоянно перечитываю свои архивы) эти статьи, которые на первый взгляд ничего не стоят, но вокруг которых, по воле случая, вырабатывались мои собственные мысли.

Поэтому нужно либо идти прежним путем, либо переменить метод на диаметрально противоположный. Ты ошибаешься, полагая, что достаточно накопить в мене страстно, продолжая все же на-

капливать. Тут либо одно, либо другое. Вот почему мои сегодняшние переживания куда более серьезны, чем это показалось тебе вначале.

Я хорошо знаю, о чем говорю, старина. Я опираюсь на свой личный опыт. Я не ошибаюсь. Дело здесь не в мере. Нужно либо сделать поворот на 180 градусов, либо идти прежним путем.

Ты говоришь — «уметь выбрать», «продолжать перелистывать журнальчики». Хорошо. Согласен. Речь идет не о том, чтоб больше никогда не открывать серьезной книги. Но «перелистывать» — это означает «сделать поворот на 180 градусов». Понимаешь? Потому что я не перелистываю. Я читаю с пером в руке, чаще всего за столом. Я не откладываю книги, не исписываю множества страниц цитатами или заметками, которые рано или поздно оказываются мне полезными.

Так вот, если я хочу создавать повести, писать о чувствах, нужно совсем иное. Мне отлично известно — я разбираюсь в себе и однажды уже прошел через это, — что следует делать. Нужно задумать воспитанника «Эколь де Шарт»¹ и возродить к жизни поэта, которым я был в пятнадцать лет.

24 августа 1918.

Дорогой старина, спасибо за твое письмо о «Баруа». Оно меня глубоко тронуло, потому что оно искренне и потому что я считаю его справедливым. Мне снова пришлось много думать об этой книге. Я достаточно отошел от нее, чтоб судить. Несмотря ни на что, я ею горжусь. Это не однодневка. (Таков итог моих размышлений, и я говорю об этом со всей серьезностью.) Нет, это не однодневка. Это тяжеловесная и растянутая книга, лишенная той непринужденности, которой отмечены гениальные произведения. И все же это вид «шедевра» (разумеется, в историческом смысле слова), мастерский труд, добротная вещь, которую можно рассматривать с любой стороны. Солидная и разумная. Сделанная на совесть. Это книга, в которой нет ничего пленительного, ничего волнующего; которой не суждена радостная слава произведений, покоряющих толпу и живущих в людской памяти. Но это книга уравновешенная, содержа-

¹ «Эколь де Шарт» — высшее учебное заведение, готовящее историков-палеографов, которое окончил Мартен дю Гар.

тельная, крепко сколоченная, организованная,— книга, которая устала и передвинута, как все, что продумано и добросовестно выполнено в соответствии с планом. Она не устарела, несмотря на войну (вопреки тому, что я думал подчас). Она и сейчас того же стоит, чего стоила в 1913 году, и будет того же стоять через 10, через 20 лет для каждого внимательного и объективного читателя, который возьмется за нее, будет изучать и обдумывать. Я все же доволен и горд, что оставляю такую книгу.

От этих утешительных мыслей моя склонность к разумному, упорядоченному, прочному вновь окрепла. Нужно работать именно так. Нужно плевать на ближних, на влияние окружения. Нужно творить одному, доводить свою мысль до конца, не давая сбить себя с пути, слушать только себя, стараться удовлетворить только себя. Маленький пример: книжка эта родилась с названием «Освободиться?». Самые горячие читатели — Галлимар, Ферне, Жид и т. д. — умоляли меня отказаться от этого вульгарного, «примитивного» названия. Они убедили меня. Так вот, сейчас, издавая, хладнокровно взвешивая, я сожалею об этом. Да, то было ее настоящее название, ее имя. Примитивное, и тяжелое, и несколько вульгарное, ну и что же: оно не хуже, не лучше самой книги. Это они погрешили против вкуса, а вовсе не я. Менять название было так же глупо, как вставлять в новую раму строгих линий картину времени Луи-Филиппа, надеясь этим ее украсить и сделать приемлемой. «Жан Баруа» — название безликое, никак не определяющее книгу. «Освободиться?» — единственно нужное слово; это название, написанное теми же чернилами, той же краской, что и книга. Я когда-то покрыл эмалью вольтеровские кресла, в тот год, когда эмаль цвета морской волны вошла в моду. Это один из постыдных поступков в моей жизни (есть еще несколько). Я отношу к ним и то, что продал мое название за «изысканную» обложку «НРФ»¹.

Воскресенье, 1 сентября 1918.

Пишу с трудом из-за повязки на руке. Что-то вроде кисты выросло у меня на тыльной стороне правой кисти. Не знаю,

что это такое. Мне порекомендовали в течение нескольких недель не снимать тугой повязки. (Боли никакой.)

Старина, я получаю от твоих писем особенное удовольствие. Эгоистическое. Теперь-то уж, когда мне это будет необходимо (в будущем), я смогу говорить с тобой о «ремесле», и ты не заявишь мне о своей некомпетентности. То, что ты пишешь о моем стиле, доказывает, что ты поймешь меня полностью и нередко будешь освещать мне путь.

Кстати, одно слово по поводу стиля. Последние дни я размышлял об этом. Я почти принял решение отказаться от конспективного стиля «Баруа». (Он дается упорным трудом, требует неумолимой целеустремленности, беспрестанного усечения детали, подсушивания, но, я считаю — и мне это сотни раз говорили, — приводит в итоге к драгоценным результатам, к сокращениям, импрессионистическим мазкам и воспроизводит жизнь точнее, чем какая бы то ни было другая манера, потому что передает движение, динамику движения, противоречивую и безостановочную смену чувств и т. д.). Я долго раздумывал, я был готов уступить соблазну и позволить себе писать в текучей, повествовательной, красочной и т. д. манере. (Нужно переправить тебе первые две главы моих воспоминаний.)

Но потом, перечитывая «Баруа», обсуждая его с Коппе, я вновь увидел, что этот конспективный стиль (в итоге, мой индивидуальный стиль) имеет свои достоинства. Как он обогащает «Баруа»! (Если бы эта книга была создана русским, в ней было бы по крайней мере шесть томов.) Как умно приспособлен он к современной жизни, которую воссоздает, к жизни стремительной, изменчивой, торопливой, кинематографичной. Как должен он подходить современной публике, которая понимает быстрее, чем прежняя, видит, не нуждаясь в описании: ей достаточно конспективной заметки, если эта заметка точна и метка, потому что современный глаз развился, воспитался. Если в этом стиле находят недостатки, то лишь потому, что к нему еще не привыкли; он нов; он несколько обескураживает, как обескураживали первые импрессионисты (я не сравниваю, разумеется, масштабы!).

И я снова решил не отказываться от моего несравненного приобретения. Всей рельефностью моих персонажей и сцен, в которых они действуют, я обязан

¹ «НРФ» — «Нувель ревью франсез» — журнал, основанный Андре Жидом и его группой в 1909 году. В нем был опубликован «Жан Баруа».

этой конспективной манере изображения. Читатель видит, как они живут. Скоро, когда я буду писать совершенное, читатель будет чувствовать, как чувствуют персонажи, он будет следить за точной и ускользающей игрой их мысли. (Вспомни некоторые сцены: приезд Жана в Бюи в момент, когда умирает его отец. Семейную сцену по поводу девятидневных молитв. Завтрак и вечер этого дня. И столько других: волнения после процесса Золя, пострижение Мари и т. д.).

И мы придем с тобой к одному выводу: от этого конспективного незаменимого стиля отказываться не следует. Но пользоваться им надо куда свободнее, не превращая его в нечто навязчивое, сковывающее. Местами давать волю своему перу — всякий раз, когда задача не в том, чтоб точно нарисовать место действия, сценическую игру, быструю смену чувств, а в том, чтоб передать смутное настроение, колорит, атмосферу, резюмировать эволюцию чувств и мыслей.

Ты меня понимаешь.

Подумай теперь, раз уж мы коснулись этого, о моих настойчивых письмах, в которых я просил тебя зимой, чтоб ты помог мне избавиться от всей этой шелухи идеологии, документов, эрудиции, отяжелевшей «Баруа» и грозившей подавить некоторые мои природные способности. Ощущаешь ли ты, сколь различна ценность (с позиций вечности) таких, например, детально разработанных страниц, как те, которые трактуют о символистском компромиссе, о спорах с аббатом Шерцем (работа аналитика, мыслителя, уместная в журнале по вопросам экзегетики), и тех сцен — чересчур редких в романе, — где сталкиваются чувства в чистом виде, где только и пробивается живая субстанция человеческого существа, — таковы некоторые страницы, посвященные Жану и Сесили, прогулка Жана с аббатом Жозье и их беседа о браке, смерть доктора, поведение Жана, его смятение, когда он узнает, что его дочь верующая, последнее посещение Люсом одряхлевшего Жана, смерть Люса, рассказанная Вольдсмутом, и т. д. и т. д. (Прости за это снисходительное к себе самому перечисление. Оно необходимо, чтобы точно объяснить тебе мою мысль.)

Ты отвечал мне тогда — быть может, не поняв до конца природу моей тревоги: «Брось эти общие вопросы. Все сложности

от них! К чему принимать крайние меры? Разве ты не можешь рисовать чувства, продолжая в то же время затрагивать идеи», и т. д.

Быть может, сейчас тебе понятнее вся серьезность этого спора с самим собой. Я разрешил его. Я всецело романист. Побоку теоретическую философию, социологию, всяческую научность. Я отсекаю это от себя в твердом убеждении, что вырезаю алчный полип, который пожрал бы меня. То, что я могу создать сердцем, поставив ему на службу глаза, так же отличается от того, что я могу сделать, трудолюбиво опираясь на груды заметок, роясь до слепоты в книгах, как отличается живой цветок от цветка бумажного, природное цветение от фабричного продукта. Отныне я принадлежу живым существам, буду глядеть вокруг, вместо того чтоб читать; буду ходить, путешествовать, чувствовать, посещать разные места, вместо того чтоб сидеть взаперти среди книг, делая вырезки. В «Баруа» этих вырезок в сто раз больше, чем нужно. У меня было безумное желание вместилище туда все, что я знаю, все, что я узнал о религиях, обо всем. И если мне удалось придать жизнь таким сценам, как столкновение Баруа с двумя молодыми националистами, то лишь потому (говорю об этом, так как искренне убежден), что мне присущ редкий дар воссоздавать жизнь! И когда я дам волю буйному цветению этого дара, не глуша его ползучими растениями идеологии, я напишу, быть может, произведения, которым суждена долгая жизнь. Книга, которую я задумал, колоссальный роман «Добро и зло» — я уже говорил тебе о нем, — представляется мне романом в чистом виде, полноводным каскадом повествования, сутолокой живых существ, притягательной, как зрелище самой жизни. Разумеется, я не отброшу с презрением все, что мне известно из книг, что является результатом моих размышлений о жизни, но это войдет в мою книгу потому только, что стало моим; я не буду больше ничего вырезать у других, чтоб приколоть на полях своего произведения, отяжеляя и загромождая его. Еще раз — в «Баруа» переходяще именно это. Посмотришь, какая судьба его ждет. Все, что в нем чистая мысль, теоретический спор, устареет, иссохнет, умрет. Но и когда мы состаримся, среди праха руин веч-

но будут цвести отдельные ветви, полные живых соков, страницы, написанные сердцем, а не мозгом. И «Баруа» предстанет нам, как зимний лес, огромная мертвая поросль с облетевшими листьями, в которой то тут, то там зеленеет прекрасное, нетронутое дерево.

(Отныне я хочу сажать в моем саду только вечнозеленые деревья.)

Кончаю, больше писать не могу. Чересчур затекла рука. Доброй ночи.

9 сентября 1918.

Нет, я согласен с тобой не в такой мере, как тебе хочется. (В вопросе о кинематографическом — это точнее, чем «стенографический», — стиле.) Нет.

Я утверждаю, что это вопрос воспитания и что твои возражения — из тех, которые делались каждому... новатору (не нахожу более скромного слова).

«Что до меня, то, по-моему, описание всегда необходимо для того, чтоб увидеть какую-то вещь именно так, как она описана, а не иначе».

Это (сохраняя масштабы) возражение, которое какой-нибудь Мейссонье¹ или Арпиньи² мог бы выдвинуть против Моне или Сислея³. Сначала в картине Моне не видели ничего, кроме мазков, кроме разбросанных конфетти. Но твой глаз, твой глаз 1918 года, уже воспитан, и он без малейшего напряжения осуществляет синтез.

Описание пансона Воке⁴ для читателя, современного Бальзаку, было необходимо. Сегодняшний Бальзак воссоздал бы для сегодняшнего читателя указанный пансон с той же точностью, употребив одну треть слов, описав треть деталей, многие из которых для нас бесполезны, «разумеются сами собой».

Я не боюсь — не слишком боюсь — окануться на скамье подсудимых: я утверждаю, что пятнадцать строчек, которыми дан уголовный суд в начале процесса Золя, оставляют в мозгу современного читателя законченный образ и что три

¹ Мейссонье Эрнест (1815—1881) — французский художник.

² Арпиньи Анри (1819—1916) — французский художник, пейзажист.

³ Моне Клод (1840—1926) и Сислей Альфред (1839—1889) — французские художники, зачинатели импрессионизма.

⁴ Описание пансона вдовы Воке открывается «Отец Горно» Бальзака.

подробные страницы подробных, пространных описаний ничего бы к нему не прибавили. Я утверждаю, что это не эскиз, не набросок. Это весьма разработанное, весьма углубленное описание, относящееся к категории описаний, «которые укладываются прочно». Твое сравнение — набросок и картина — в случае, которым мы занимаемся, не подходит. Потому что конспективное, кинематографическое описание не набросок. Это, напротив, синтез. Чтобы эти пятнадцать строк сделать хорошо, нужно начать с описания на трех страницах, а потом вычеркивать, выбрасывать, сокращать, сжимать, выявлять главное. Некоторые думают, что Каррьер¹ высветляет пятна на темном фоне, в то время как он писал светлые, детализованные картины, где все было на своем месте, все было точно обозначено, а потом, мало-помалу, все затемнял, оставляя лишь самое главное.

14 сентября 1918.

Несколько слов в ответ на твое письмо от 10 сентября относительно Бальзака. (Я боялся, что ты мне выцарапаешь глаза. Все обошлось.)

Я думаю о Толстом, создавшем иных персонажей, чем Бальзак; это уже не «типы» — некие литературные копии жизни (то, что принято именовать «характерами», когда в классе риторики анализируют «Мизантропа»), а подлинно живые существа, которые не могут быть названы типами, поскольку они слишком подлинны, чтоб стать сущностями, абсолютами, чтоб на них можно было наклеить этикетку. И что ж, фантазия не помешала ему упорядочить свое произведение. План в «Войне и мире», в этом месиве событий и людей, изумительный, я его с каждым новым чтением понимаю все лучше, нахожу все более законченным. Какое произведение! Это непревзойденная книга.

Теперь позволь мне воспользоваться «рго домо» тем, что ты говоришь об «условности» (попадание очень точное) и нашей теперешней тенденции бежать от всех условностей, создавая в то же время завершенную форму, а не хаос. Но разве не привычка к условностям заставляет тебя, помимо воли, сожалеть о кинематографическом стиле «Ба-

¹ Эжен Каррьер (1849—1906) — французский художник.

руа»? Разве это не привычка к тому, что атмосфера воссоздается при помощи развернутых и разжиженных фраз, разве это не проявление невольной лени, нежелания сделать усилие, чтоб приспособиться к новой формуле, более стремительной, лаконичной, прямой, но ничуть не менее выразительной, обладающей не меньшими изобразительными возможностями, когда к ней несколько привыкнешь? Подумай об этом. Я заметил одну вещь, чрезвычайно, невероятно важную для меня; чем больше читают «Баруа», тем меньше думают о том, чтобы поставить мне в упрек его форму. При первом чтении все ощущают неловкость; при третьем об этом больше не думают, захваченные непосредственным зрелищем жизни, испытывают на себе преимущества этой манеры — к ней приспособились и извлекают из нее всю выгоду. Я убежден, что должен стоять на своем, совершенствовать ее (быть может, также пользоваться ею не с таким предвзятым постоянством). Но друг, который решится сбить меня с этого пути, должен крепко подумать о своей ответственности... (Если книга еще у тебя, перечитай наугад несколько страниц, которые ты хорошо знаешь. Я думаю, что именно благодаря стилю у тебя создается удивительно непосредственное ощущение жизни.)

Твой Роже.

★

ИЗ ПИСЕМ К МАРСЕЛЮ ЛАЛЛЕМАНУ

Ницца, 29 августа, 1935.

Дорогой друг... Ваше письмо, ваши два письма — от 25 и 26. У меня еще нет рукописи, и уже трижды мною получены ваши замечания. Я в восторге и полностью удовлетворен. Нет сомнения, что я учту в очень большой степени вашу критику. Мне кажется, что до сих пор ни одно из замечаний не идет вразрез с моими задачами романиста, с моими персонажами. Я нахожу опору в вашем опыте, которого — увы! — нет у меня и отсутствие которого я много раз ощущал, доходя до отчаяния, спрашивая себя, имею ли я право продолжать эту безумную затею.

Мысль, что поблизости, за моей спиной, — вы, с вашим дружеским умением все понять, со знанием моего сюжета в самой жизни, будет поддерживать меня в этом мраке.

Сейчас ко мне вернулись мужество и вкус к работе. Последние две недели я много трудился, безостановочно продвигаясь вперед, папка растет каждый день. Не хочу поэтому делать перерыва в текущей работе, необходимого для углубленного пересмотра кусков, на которые вы указываете. Ваши заметки при мне, я спокоен: в нужную минуту я смогу обратиться к вашим советам, к вашим указаниям, чтоб осуществить перделки, подкормленные вами с таким знанием дела. Если в этот момент мне будет необходимо снова обсудить с вами вопрос относительно той или иной детали, я опять прибегну к вашей помощи. До какой степени я ощущаю сейчас вашу правоту по всем пунктам, которые вы затрагиваете и которые, за редким исключением, являются пунктами доктрины...

Ах, дорогой друг, к чему столько предосторожностей, когда вы помогаете мне! Если бы вы только знали, как я непрочен стою на ногах, как часто сомневаюсь, как не доверяю себе! До какой степени готов заранее признать справедливость любой серьезной критики, направленной против меня! Никогда мне не случалось так болезненно ощущать свою ограниченность, как на протяжении трех лет работы над завершением «Семьи Тибо». И если мне не терпится поскорее окончить ее и заняться вещами чисто психологическими, то объясняется это, я полагаю, не моим малодушием: просто в моем возрасте куда разумнее возделывать свой сад, добиваясь от него возможно большего урожая, а не пытаться вечно расширять пределы своих возможностей, ощущая всякий раз их ограниченность. (Я уж не говорю о том, что и в области творчества психологического мне также пришлось бы вскоре натолкнуться на свои естественные пределы и мужественно бороться, чтоб раздвинуть их!..)

...Шлю братский поцелуй и пожелание мира вам и внутри вас! «Да здравствует мир!»¹

Ваш Роже Мартен дю Гар.

¹ По-русски в тексте.

Ницца, 17 сент. 1935.

Дорогой друг,

...Я не смог это отложить, как собирался, и погрузился с головой в ваше письмо и пометки. Я даже осуществил уже часть подсказанных вами поправок, учитывая самым тщательным образом ваши критические замечания, такие мудрые, такие убедительные. Есть среди них одно, обоснованность которого я охотно признаю, но которое мне было бы весьма затруднительно принять полностью. Вполне возможно, очевидно совершенно правдоподобно, что такой человек, как Мейнстрель, узнав об австрийском ультиматуме, мог сказать про себя, потирая руки: «Война — это для нас революция». Но моя книжка построена в известной мере на том, что друзья Жака, революционеры-интернационалисты, — пацифисты, отчаянно борющиеся против угрозы войны. Это верно и исторически: Социалистический Интернационал, за исключением самых крайних среди крайне левого его крыла, был пацифистским, фанатично боролся за всеобщую забастовку и отказ от участия в войне. Так вот, мне необходимо, чтоб Мейнстрель был человеком этого сорта... Ведь именно он (пилот) соглашается пилотировать самолет, на котором Жак предпринимает в начале августа свой безнадежный полет антивоенного пропагандиста над первыми полями эльзасской битвы. (К тому же я убежден, что вы, помимо своей воли, несколько смещаете эпохи и приписываете чересчур поспешно, чересчур категорично современное коммунистическое мировоззрение Мейнстрелю, являющемуся интернационалистом довоенной складки.) Во всяком случае, я уже нашел некий путь компромисса, наполовину удовлетворяющий вашим требованиям и позволяющий мне не ломать моего плана.

Все это время мне хорошо работалось в моем полном — нелюдимом — одиночестве. Вооружитесь терпением и доброй волей, так как после этого первого опыта у меня разгорелся аппетит, и я не устою против того, чтоб примерно через два месяца не прислать вам на просмотр продолжение!

...Преданный вам — и всем вашим, — дорогой друг, со всем постоянством

Р. М. Г.

Ницца, 18 января, 1936.

Дорогой друг. Я погрузился с головой в пересмотр, в окончательную доработку моей рукописи. Работа менее изнурительная, чем та, которая потребовалась для рождения книги, позволяющая сохранять ясную голову на протяжении долгого трудового дня. Вот причина моего молчания. К тому же я полагал, что вам написала жена. Но она, оказывается, хотела прежде прочесть книгу. Я также прочту, так как не знаю ее.

Не хлопчите по поводу сведений, которые я просил. Почти все основное я нашел в Библиотеке и в книгах Зеваеса о французском социализме 1912 года. Сцену в женевской «говорильне», не удовлетворявшую меня, я переделал от начала до конца. На днях pošлю вам страницы с речью Мейнстреля, чтоб вы сказали, не допустил ли я в ней невежественного вранья... Меня не оставляет беспокойство по поводу всего написанного мною о социалистических кругах «Юманите», и мне будет необходимо, чтоб вы проглядели это до опубликования... Какое безумное предприятие, дорогой друг! Никто не узнает, чего мне стоило сплести все эти нити: французскую политическую жизнь, европейскую политическую жизнь и личную жизнь моих персонажей...

...Желаю хорошей работы, кончайте вашу книжку! Нежно целую.

Р. М. Г.

Ницца, 28 янв. 36.

Дорогой друг, SOS!.. Уделите мне полчаса, перечитайте главу XII до того, как мне ее перепечатают.

Я ее полностью изменил, учтя ваши возражения. Вы, может быть, помните: в главе XI Жаку, вернувшемуся с Бемом из Австрии 12 июля 1914 года, поручено предупредить швейцарских товарищей о планах агрессии Австрии против Сербии. Он излагает вопрос. В XII главе (первая редакция) Мейнстрель произнесл речь, чтоб сказать: «Прежде всего — спасти мир! Избежать кровавого столкновения в Европе!» Вы справедливо заметили, что такой человек, как Мейнстрель, не мог быть пацифистом наподобие Жореса; что он ждал войны, надеялся на нее.

Поэтому в новой редакции я заставляю его вести себя совершенно по-иному. Я даю другим уживаться мистикой паци-

физма. Он не мешает им, зная, что война неизбежна, но считает, что, пользуясь предлогом спасения мира, можно извлечь выгоду из всеобщего возмущения и объединения международных организаций.

Мне хотелось бы, чтоб вы разобрались в позиции Мейнстреля и подсказали мне слабые места, а также все, что могло бы уточнить его позицию с точки зрения исторической и психологической правды. Я хорошо сознаю, что продвигаюсь тут на ощупь... Первоначально я представлял себе все по-иному, и мне трудно теперь идти на попятный.

С другой стороны, не забывайте, что содержание всех последующих томов — борьба Жака против угрозы войны (в духе Жореса, Вандервельде и т. д.), и необходимо, чтобы позиция экстремиста типа Мейнстреля была позицией изолированного одиночки (по отношению к «Юманите», Жоресу, Брюссельскому конгрессу).

Поспешите. Заранее благодарю!

Р. М. Г.

(Из письма) 16 мая 1936.

...PS. Сегодня в полдень получил ваши замечания по второму тому.

Вы меня стараетесь приободрить: «Мужайтесь...» Я чертовски нуждаюсь в этом, так как донельзя утратил мужество! Человек, который хотел единолично воздвигнуть пирамиду и которому обмерщик минуту назад дал понять, что он находится всего в нескольких метрах от земли...

Я слишком подавлен, чтоб писать вам. Даже чтоб отблагодарить вас во всю меру моей признательности. Самое поразительное, что ваши критические замечания приходится как раз на те места, где я проявил некомпетентность и где, я надеялся, мне удалось, плохо или хорошо, эту некомпетентность замаскировать. Таким образом, я не вижу выхода. Я взялся за сюжет, в котором ничего не понимаю, в котором никогда ничего не пойму, разве только мне будет дано прожить еще одну жизнь в шкуре революционера. Это неоправдано. Вот о чем я сейчас думаю с отчаянием. Сегодня тяжесть, которую я все время ощущал где-то внутри, раздавила меня. Я совершил самую страшную ошибку, непростительную: захотел говорить о том, чего не знаю... О том, чего изучить нельзя. Моя работа бесплод-

на; заведомо с самого начала обречена на неудачу.

И я устал, переработался. У меня нет сил, чтоб снова поднять эту сизифову скалу, которая валится на меня. Понадобился бы еще год, чтоб переписать все заново и воспользоваться вашими советами. А мою рукопись ждут, она обещана. Она должна быть опубликована весной. Теперь она не сможет появиться раньше октября. А если я наберусь мужества сделать то, что вы намечаете, мне хватит дела до следующей весны! Хоть голову себе размозжил...

Избавляю вас от моих перемигиваний. Но я ужасно страдаю.

Напишу вам вскоре. Благодарю от всей души.

Р.

16 мая 1936.

PPS. Как же вы хотите, чтоб я отказался от того, чтоб Мейнстрель был одиночкой, от того, чтоб он оказался способным уничтожить документы втайне от своих лучших товарищей и соратников? Ведь в этом весь персонаж!

Если бы я сделал Мейнстреля пацифистом, это было бы ложно исторически. А если бы Жак был согласен с Мейнстрелем, все то, что он у меня думает и делает, стало бы невозможным.

Мне ясно видна исходная ошибка.

Я построил книгу, опираясь на ложную идею, что революционеры 14-го года были такого типа, как Жорес: сопротивление войне, чего бы это ни стоило. Я задумал Мейнстреля, как Жореса. Потом, в ходе работы, когда вы предостерегли меня, когда я прочел некоторые книги, я обнаружил ошибку. Тогда я сделал Мейнстреля циником, жаждущим войны, поскольку он видит в ней начало революции. Это совершенно нарушило равновесие, развалило мою книгу. И однако поступить так было совершенно необходимо. Теперь мне не удастся из этого выпутаться. Все распадается. Может быть, лучше было продолжать, упорствуя в своем заблуждении, и по крайней мере создать цельное произведение?

Р.

Ницца, 19 мая 1936.

Дорогой, хороший друг. Как приятно было почувствовать на плече вашу дружескую руку. Это немного подбодрило меня. Благодарю.

Сейчас самым полезным для меня было бы, если б вы написали с ходу, не слишком пытаясь упорядочить свои мысли, что вы имеете в виду, когда говорите об «основном пункте», о трагических сомнениях Жака перед революционным действием. Я довольно хорошо представляю себе — в плане эстетическом — какие-то размышления Жака в начале второго тома. Размышления, когда, предаваясь самоанализу, он говорит себе: «До сих пор моя причастность к революционной партии была, несмотря ни на что, всего лишь игрой. Интеллектуальной игрой, обусловленной тем, что я приходил в отчаяние от нищенских условий, в которых вынуждены жить люди. Но теперь, когда возникла угроза войны, что-то во мне совершенно переменялось...»

Но вот здесь я, Роже Мартен дю Гар, перестаю видеть ясно. Мне не хватает составных частей, опыта. Нет опоры для работы воображения. Вы говорите: «Жак, которого события вынуждают... Показать столкновение идей...» Я вижу, что вы хотите сказать, но слишком неявно, чтоб идти по вашим следам. Вы говорите: «Жак внезапно оказывается перед лицом Революции». Нет... Дело обстоит проще. Перед угрозой европейской войны, от которой встает дымом его врожденный пацифизм, его гуманизаризм чувствительного молодого буржуа. Он обретает цель действия: бороться против войны, любой ценой избежать бойни. Мировоззрение Жака расплывчато. (Не слишком ставьте себя на его место!) Это интеллигент по воспитанию и по врожденной склонности. И буржуазный сынок, как бы он ни старался! Нессоватунка... Он не может вдруг стать похожим на дитя народа, которое уже в силу

своего рождения и юности с колыбели «вскормлено» определенным образом и которому остается только расти среди своих. Жак по природе мятежник, но он натура сложная и лишенная определенности (из-за множественности тенденций, наследственности, противоречивых элементов, которые уживаются в нем). Он способен на энтузиазм, но никак не на веру. В нем вечная разорванность, расплывчатость. Он чересчур много рассуждает, слишком привык взвешивать все «за» и «против». Он ведь брат Антуана — по крови, по прошлому!

Не следует делать из него персонаж наподобие ж.-роменовских¹, с четко очерченными контурами, символизирующий ясную идею. Он что-то подавляет в себе. Энергичный, мужественный, но всегда сомневающийся по складу своего ума. Ему отвратительны крайности. Он не приемлет насилия. И т. д.

Прямая противоположность подлинному революционеру.

Если бы вы могли, принимая во внимание это и все остальное, что вам известно о Жаке, сказать мне, как вы представляете себе шок, полученный им в июле 1914 года, когда, перестав быть интеллигентом-сочувствующим, он охвачен потребностью действовать, чтоб избавить миллионы невинных от убийства на полях сражений, — быть может, мне самому удастся тогда увидеть это яснее...

Глубоко признателен вам, дорогой друг! Никогда не смогу выразить этого полностью. Преданный вам

Р. М. Г.

¹ Ромен Жюль — современный французский писатель, автор цикла романов «Люди доброй воли».



КОРОТКО О КНИГАХ

★

С. ХЕЙНМАН. Как буржуазные экономисты «сражаются» с советскими темпами. Госполитиздат. М. 1959. 104 стр. Цена 1 р. 35 к.

С карандашом в руке, тщательно обосновывая каждую цифру, автор анализирует работы ряда американских и других буржуазных экономистов, извращающих факты советской действительности. Они взялись за нелегкую задачу: среди ясного дня навести тень на плетень, «доказать», что темпы развития советской экономики не таковы, как они есть на самом деле, что, мол, значение этого показателя не столь уж существенно и что якобы неверно считать преимущества социалистической системы хозяйства основным источником высоких темпов роста советской промышленности.

В последнее время, говорит автор, попытки ревизии успехов социалистической экономики ведутся в трех направлениях. Первое из них — стремление искусственно сконструировать такие индексы динамики промышленного производства СССР, которые умаляли бы наши достижения. Далее, подобрать сопоставимые периоды по СССР и по США таким образом, чтобы можно было затушевать бесспорные факты развития отдельных отраслей советской промышленности и увеличения объемов производства. И, наконец, третий «тактический» прием — настолько тенденциозно состряпать объяснения причин высоких темпов нашего индустриального роста, чтобы свести на нет коренные преимущества социализма.

В книге подробно рассматриваются все эти фальсификации.

БЕСЧЕЛОВЕЧНОСТЬ, КАК СИСТЕМА. Перевод с немецкого. Воениздат. М. 1959. 240 стр. Цена 5 р. 60 к.

Очень хотелось бы сказать, что эта книга устремлена в прошлое, но изложенные в ней факты, относящиеся к истории создания и подрывной деятельности так называемой «Группы борьбы против бесчеловечности» — одной из шпионско-диверсионных организаций в Западном Берлине, — это факты и сегодняшнего дня. Формально «Группа борьбы» прекратила свое существование в 1959 году, чтобы при решении проблемы Западного Берлина речь не шла об этом рассаднике шпионов, якобы единственном в Западном Берлине. Но это ши-

то белыми нитками и настолько очевидно, что даже западногерманская газета «Ди андере цейтунг» пишет, что не следует слишком серьезно относиться к слову «ропуск». «Есть достаточно признаков того, что руководство и, возможно, чуть очищенный аппарат группы будут сохранены... Конечно, специалисты яда и взрывчатки разрабатывают несколько более «тонкие» методы работы».

Нельзя равнодушно читать эту книгу, выпущенную издательством Национального фронта демократической Германии «Конгресс-ферлаг». Каждая страница знакомит с преступлениями «Группы борьбы», созданной по прямому указанию американской разведки. Шпионаж, диверсии, террор, дезорганизация деятельности административных учреждений ГДР, вербовка агенты — вот преступные способы, широко практикуемые «Группой борьбы».

Книга строго документирована. В ней приведены, в частности, материалы различных судебных процессов и выступления печати.

В. А. РАЗУМНЫЙ. Этическое и эстетическое в искусстве. Издательство «Искусство». М. 1959. 160 стр. Цена 5 р. 10 к.

«Советское искусство, эстетически решая важнейшие социальные проблемы... превратилось в нашей стране в одно из наиболее действенных средств формирования нравственного мира человека нового общества», — пишет в своей книге В. Разумный.

Автор рассматривает взаимосвязь этического и эстетического в искусстве социалистического реализма, а также воздействие художественной красоты на нравственность. Книга знакомит читателя и с историей эстетической мысли, со взглядами философов разных эпох и разных школ на взаимосвязь красоты и нравственности. Автор критикует труды неокантианцев, позитивистов, «основателей» современной буржуазной эстетики, ратующих за «чистую» эстетическую функцию искусства, проповедующих несовместимость художественности и морально-воспитательной цели.

Книга В. Разумного имеет два раздела: «Этическое в искусстве» и «О нравственно-воспитательном значении искусства». Каждый из этих разделов подразделяется на ряд глав, как-то: «Искусство и мораль»,

«Художник и образ», «Искусство и воспитание личности», «Этическая цель и природа искусства» и другие.

А. Б. ГОЛЬДЕНВЕЙЗЕР. Вблизи Толстого. Гослитиздат. М. 1959. 487 стр. Цена 18 р.

Книга «Вблизи Толстого» была издана впервые в 1922 году и уже давно стала библиографической редкостью. В новое, второе, издание автор внесены некоторые добавления, включены письма, полученные им в девяностые и девятисотые годы от членов семьи Л. Н. Толстого.

Автор воспоминаний, А. Б. Гольденвейзер, талантливый музыкант и педагог, познакомился с писателем, еще будучи студентом консерватории.

Л. Н. Толстой относился к А. Б. Гольденвейзеру с большим доверием и неизменной симпатией, нередко делился с ним своими мыслями, чувствами. Около пятнадцати лет автор книги был частым гостем Ясной Поляны и московского дома Л. Н. Толстого и на протяжении всего этого времени вел дневник.

В дневнике нашли отражение такие события, как выход в свет «крамольного» романа «Воскресение», отлучение Толстого от церкви, поездка писателя в Крым, празднование восьмидесятилетия со дня рождения Толстого, последний его приезд в Москву.

Книга вышла в серии литературных мемуаров.

ИЗ ИСТОРИИ РУССКОЙ ЖУРНАЛИСТИКИ. Статьи и материалы. Издательство Московского университета. 1959. 259 стр. Цена 11 р.

Сборник составлен сотрудниками кафедры истории русской журналистики и литературы факультета журналистики Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова.

Статьи и материалы сборника посвящены различным проблемам истории русской журналистики и литературы XVIII—XIX веков.

В них рассматривается широкий круг вопросов: о роли М. В. Ломоносова в журналистике его времени, об откликах русской печати на так называемое «восстание сипаев» в Индии в 1857—1859 годах, об издательской деятельности студентов Московского университета в период революционной ситуации шестидесятых годов XIX века, об отражении идеологии народничества в журнале «Русское слово» (1863—1866), о политической сатире в журнале «Зритель» 1905 года.

Новые архивные документы и материалы освещают некоторые оставшиеся до сих пор недостаточно известными обстоятельства цензурной истории статьи Д. И. Писарева «Борьба за жизнь». В сборнике опубликованы также две неизвестные статьи Писарева, неизвестное письмо писателя XVIII века В. К. Третьяковского и другие материалы.

ЗАГАДКИ РУССКОГО НАРОДА. Сборник загадок, вопросов, притч и задач. Составил Д. Н. Садовников. Издательство Московского университета. 1959. 336 стр. Цена 10 р.

«Загадка раскрывает красоту... реального мира. Она учит понимать поэзию тысячи превосходных вещей, сделанных руками человека, и окружающего нас мира», — пишет автор вступительной статьи к аннотируемой книге В. Аникина.

Подлинным энтузиастом народных загадок, их неутомимым собирателем был живший в прошлом веке литератор Д. Н. Садовников. Его демократическое мировоззрение, образованность, любовь к народу, участие в общественной жизни России шестидесятых — восьмидесятых годов определили и характер сборника — содержательность и поэтичность. Первый составленный Д. Садовниковым сборник русских загадок вышел в 1876 году в Петербурге. В 1901 году издание было повторено, но небольшим тиражом.

В настоящем издании опущены некоторые устаревшие загадки (главным образом на религиозные темы) и некоторые другие.

В конце книги приложены новые комментарии, также сделанные В. Аникиным.

Весь материал сборника размещен по тематическим группам. Сборник начинается загадками, тему которых Садовников обобщенно назвал «Жилище». Далее идут главы: «Тепло и свет», «Внутреннее убранство», «Домашнее хозяйство», «Пища и питье», «Рукоделья», «Одежда и украшения», «Двор, огород и сад», «Домашние животные», «Упряжь и выезд», «На селе», «Земледельческие работы», «В поле», «Лес», «На пасеке», «Вода», «Мир животных» и т. д.

Уже одно это перечисление показывает, что собранные Садовниковым загадки отражают широкую картину крестьянской жизни, русскую природу, растительный и животный мир.

В. К. ЧИЧАГОВ. Из истории русских имен, отчеств и фамилий. Учпедгиз. М. 1959. 128 стр. Цена 1 р. 75 к.

Само название этой книги привлекает к себе внимание. Действительно, проблема, которую поставил и попытался решить автор, очень интересна, но в советском языкознании мало разработана. Когда, как и почему возникли русские личные собственные имена, прозвища, отчества и фамилии? Какие изменения они претерпели? Эти вопросы занимали В. К. Чичагова на протяжении всей его научной деятельности. К сожалению, смерть прервала осуществление его широко задуманного труда, часть которого представляет данная книга; она подготовлена к печати О. Г. Гецовой.

На материалах исторических документов автор исследует проблему становления и развития русских имен, прозвищ, отчеств и фамилий в XV—XVII веках. Ведь именно в XVII веке начала складываться русская нация и вместе с тем окончательно устанав-

ливается тот способ наименования лиц, который принят в настоящее время.

Еще в X веке, указывает автор, в связи с принятием христианства, получившего в Киевской Руси значение государственной религии, у восточных славян появляются новые имена, в основном греческого происхождения. Они вместе с культом святых вводились принудительно. Но прежние русские имена продолжали бытовать, превратившись в прозвища.

Отдельные главы книги носят названия «Прозвища», «Отчества», «Фамилии». Появление некоторых фамилий иллюстрируют любопытные схемы.

ВОТКИНСКИЕ БЫЛИ (Исторические очерки). 1759—1959. Удмуртское книжное издательство. Ижевск. 1959. 248 стр. Цена 5 р.

В октябре минувшего года исполнилось двести лет со дня основания одного из старейших предприятий нашей страны — Воткинского машиностроительного завода. В приветствии ЦК КПСС и Совета Министров СССР указывалось, что завод «является одним из передовых предприятий машиностроительной промышленности, успешно осваивающим новую технику».

В сборнике «Воткинские были» излагается история этого завода, внесшего большой вклад в развитие народного хозяйства страны. Очерки рассказывают о замечательных мастерах-умельцах, которые еще в XVIII столетии изготовляли специальное сортовое железо для строительства Кремлевского дворца, Зимнего дворца, каркаса шпиля Петропавловской крепости. Изделия Воткинского завода — железо и инструментальная сталь, литые и кованые, паровозы, земледельческие орудия — неоднократно получали высокие оценки на российских и международных выставках.

Подробно рассказывается в книге о деятельности Воткинской социал-демократической организации, которая уже в 1906 году насчитывала четверста членов. Ее представитель был участником IV съезда РСДРП в Стокгольме.

Значительная часть сборника посвящена работе завода в советское время. Заключение главы знакомит с перспективами развития Воткинского машиностроительного завода в семилетке.

ТЕККИ ОДУЛОК. На Крайнем Севере. Якутское книжное издательство. 1959. 168 стр. Цена 3 р. 50 к.

О юкагирах (одулах, как они сами себя называют) — народности, населяющей крайний северо-восток Колымы, — до революции знали лишь специалисты и путешественники.

Одним из первых писателей юкагиров был Николай Иванович Спирidonov, печатавшийся под псевдонимом Текки Одулок.

Его книга «На Крайнем Севере» — интересный рассказ о путешествии по Колыме, Камчатке и Чукотке. В ней дается экономико-географическая и этнографическая характеристика этих отдаленных районов, рассказывается о прошлом юкагиров, об эксплуатации, которой они подвергались со стороны русских, якутских и юкагирских купцов.

Новую жизнь юкагирам принесла Советская власть. Автор описывает их быт и обычаи, охоту на суровой Камчатке, рассказывает историю городов и населенных пунктов.

Книга богата познавательным материалом о Колымском крае.

ПАВЛО ТЫЧИНА. Мы совесть человечества. Стихи. Перевод с украинского. «Советский писатель». М. 1959. 103 стр. Цена 3 р. 10 к.

Павло Тычина — выдающийся украинский поэт старшего поколения. Интернациональной солидарности трудящихся, дружбе народов посвящены многие его стихи и даже целая книга «Чувство семьи единой».

В новом сборнике — «Мы совесть человечества» — поэт развивает ту же тему. Он пишет об освобождении Болгарии Советской Армией и о чувстве дружбы, связывающей наши две страны, о видной деятельности борьбы за мир Сун Цзин-лин, о Конгрессе сторонников мира в Лондоне, о народной Польше и далекой Шотландии. Особенно проникновенно говорит поэт о родной Украине, о ее прошлом и настоящем, о ее природе и людях, о благотворных переменных в ее быту и хозяйстве. Стихи Павло Тычины проникнуты оптимизмом и верой в торжество мира на земле.

С. К. ПОТТЕККАТТ. Новеллы. Перевод с малаялам В. Ефановой и Чандра Секара. Издательство иностранной литературы. М. 1959. 96 стр. Цена 2 р. 45 к.

Автор рассказов, составивших этот небольшой сборник, пишет на языке малаялам. Чаще всего темой его рассказов бывают горькие, а не светлые стороны жизни. Индийскому народу еще не легко избавиться от того страшного зла, которое принесло многовековое колониальное владычество чужеземцев.

Поттеккатт — мастер короткого рассказа. В скупых зарисовках («Маленькая хозяйка», «Бешеная собака», «Певница») он раскрывает не только глубину материальной нищеты, но и большое нравственное богатство простых людей, рисует их самоотверженный героизм в борьбе за национальную независимость («Лошадь Азиза», «Возвращение» и другие).

Книжка рассказов Поттеккатта обогащает наши представления о жизни и литературе Индии.



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ

★

ГОСПОЛИТИЗДАТ

О дальнейшем развитии сельского хозяйства. Постановление Пленума ЦК КПСС, принятое 25 декабря 1959 года. 24 стр. Цена 25 к.

О задачах партийной пропаганды в современных условиях. Постановление Центрального Комитета КПСС. 32 стр. Цена 30 к.

Н. С. Хрущев. Разоружение — путь к упрочению мира и обеспечению дружбы между народами. Доклад и заключительное слово товарища Н. С. Хрущева на четвертой сессии Верховного Совета СССР.

Закон о новом значительном сокращении Вооруженных Сил СССР.

Обращение Верховного Совета Союза Советских Социалистических Республик к парламентам и правительствам всех государств мира. 72 стр. Цена 75 к.

Об итогах выполнения государственного плана развития народного хозяйства СССР в 1959 году. Сообщение Центрального статистического управления при Совете Министров СССР. 32 стр. Цена 35 к.

Н. К. Крупская. О Ленине. Сборник статей. 384 стр. Цена 6 р. 50 к.

Г. М. Кржижановский. Мыслитель и революционер. 32 стр. Цена 35 к.

А. И. Викентьев. Очерк развития народного хозяйства СССР (1951—1958 гг.). 244 стр. Цена 4 р. 60 к.

Дин Шу-хэ, Инь Сью-и, Чжан Бо-чжао. Влияние Октябрьской революции на Китай. 204 стр. Цена 3 р.

История дипломатии. Том I. Издание второе, переработанное и дополненное. 896 стр. Цена 15 р.

Жорж Коньо. Знакомство с Советским Союзом. Перевод с французского. 288 стр. Цена 7 р.

V съезд Португальской коммунистической партии. 320 стр. Цена 6 р.

Я. М. Свердлов. Избранные произведения. Том II. 330 стр. Цена 6 р.

В. Семенов. Проблема классов и классовый борьбы в современной буржуазной социологии. 248 стр. Цена 4 р. 50 к.

А. В. Топчиев. Над чем работают советские ученые. 68 стр. Цена 80 к.

Э. Фалькович. Искусство лектора. 264 стр. Цена 4 р. 20 к.

Фан Чжи-минь. Тюремные записки. 104 стр. Цена 1 р. 25 к.

Уильям З. Фостер. История трех Интернационалов. 620 стр. Цена 10 р. 50 к.

СОЦЭКГИЗ

Великое произведение воинствующего материализма. О книге В. И. Ленина «Материализм и эмпириокритицизм». 496 стр. Цена 12 р. 40 к.

С. В. Кафтанов. К новому подъему духовной культуры. 144 стр. Цена 1 р. 75 к.

Новейшая история стран Западной Европы и Америки. Том I. 1918—1939 гг. 808 стр. Цена 11 р. 60 к.

А. Петрушов. Аграрные отношения в странах Западной Европы после второй мировой войны. 308 стр. Цена 7 р. 40 к.

Применение математики в экономических исследованиях. 488 стр. Цена 14 р. 20 к.

Сельское хозяйство капиталистических стран (статистический справочник). 832 стр. Цена 18 р.

У истоков коммунистического труда. 268 стр. Цена 4 р. 25 к.

И. И. Чангли. Социалистическое соревнование и новые формы коммунистического труда. 184 стр. Цена 3 р. 25 к.

Экономика капиталистических стран в 1958 году. 612 стр. Цена 10 р. 90 к.

Экономическая эффективность капитальных вложений и новой техники. 616 стр. Цена 16 р. 20 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

П. Антокольский. Сила Вьетнама. Путевой журнал. 148 стр. Цена 1 р. 55 к.

О. Баркова. Завтра. Повесть. 288 стр. Цена 5 р. 20 к.

В. Днепров. Проблемы реализма. 352 стр. Цена. 8 р. 40 к.

В. Иванов. Мы идем в Индию. Роман. 620 стр. Цена 10 р. 70 к.

Д. Максимов. Поэзия Лермонтова. 328 стр. Цена 7 р. 55 к.

Л. Никулин. Чехов, Бунин, Куприн. Литературные портреты. 328 стр. Цена 4 р. 55 к.

И. Нонешвили. Горы и сердце. Стихи. Перевод с грузинского. 128 стр. Цена 2 р. 20 к.

В. Поляков. День открытых сердец. Юмористические рассказы. 288 стр. Цена 4 р.

ГОСЛИТИЗДАТ

Антология латышской поэзии. В двух томах. Том I. 486 стр. Цена 8 р. Том II. 495 стр. Цена 8 р.

Жюль Валлес. Инсургент. Перевод с французского. 263 стр. Цена 4 р. 80 к.

Е Шэн-тао. Одна жизнь. Рассказы. Перевод с китайского. 223 стр. Цена 4 р. 90 к.

Итальянские сказки. 207 стр. Цена 1 р. 90 к.

И. Неупокоева. Революционный роман-тизм Шелли. 471 стр. Цена 12 р.

А. Н. Плещеев. Избранное. Стихотворения. Проза. 687 стр. Цена 8 р. 35 к.

А. Т. Твардовский. Собрание сочинений. В четырех томах. Том I. 367 стр. Цена 9 р. Том II. 375 стр. Цена 9 р.

Эсайас Тегнер. Сага о Фритьофе. Перевод со шведского. 223 стр. Цена 3 р. 45 к.

Баграт Шинкуба. Стихотворения. Перевод с абхазского. 218 стр. Цена 3 р. 75 к.

Илья Эренбург. Перечитывая Чехова. 111 стр. Цена 1 р. 50 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО
АКАДЕМИИ НАУК СССР

Великая Октябрьская социалистическая революция. Документы и материалы. Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корниловского мятежа. 696 стр. Цена 25 р.

В. Ф. Зыбковец. Дореволюционная эпоха. К истории формирования общественного сознания. 247 стр. Цена 9 р.

М. А. Ильин. Зодчий Яков Бухвостов. 193 стр. Цена 13 р. 15 к.

Ю. З. Полевой. Зарождение и распространение марксизма в России (1883—1894 гг.). 568 стр. Цена 25 р. 15 к.

Процесс мышления и закономерности анализа, синтеза и обобщения. 168 стр. Цена 5 р. 50 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО
ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Джузеппе Берти. Россия и итальянские государства в период Рисорджименто. Перевод с итальянского. 1500 стр. Цена 40 р. 55 к.

Иоганнес Бехер. В защиту поэзии. Перевод с немецкого. 372 стр. Цена 12 р. 25 к.

Луи Жуве. Мысли о театре. Перевод с французского. 298 стр. Цена 9 р. 75 к.

Долорес Медно. Государственный служащий. Роман. Перевод с испанского. 211 стр. Цена 5 р. 10 к.

Немецкая буржуазная философия после Великой Октябрьской социалистической революции. Перевод с немецкого. 122 стр. Цена 3 р. 85 к.

Джозеф Норт. Кубинская революция. Я видел победу народа. Перевод с английского. 43 стр. Цена 65 к.

Упадок экономики Западного Берлина и пути его преодоления. Перевод с немецкого. 78 стр. Цена 1 р. 45 к.

Герхард Хиллер. Участвуют ли рабочие в прибылях при капитализме. Перевод с немецкого. 262 стр. Цена 5 р. 30 к.

СЕЛЬХОЗГИЗ

М. Д. Агаларханов. Интенсификация колхозного производства. 123 стр. Цена 1 р. 60 к.

Животноводство. 477 стр. Цена 7 р. 85 к.
Книга виноградаря. 630 стр. Цена 11 р. 80 к.

И. С. Кувшинов и другие. Экономика социалистического сельского хозяйства. 429 стр. Цена 8 р. 80 к.

Н. Н. Никольский. Почвоведение. 320 стр. Цена 5 р. 20 к.

А. И. Польщиков. Технический прогресс в сельском хозяйстве. 118 стр. Цена 1 р. 65 к.

Производство белковых кормов. 294 стр. Цена 5 р. 30 к.

Сборник справочных материалов для колхозов. 614 стр. Цена 15 р. 45 к.

А. Н. Энгельгардт. Избранные сочинения. 755 стр. Цена 20 р. 30 к.

Главный редактор **А. Т. Твардовский**

Редакционная коллегия:

Е. Н. Герасимов, С. Н. Голубов, А. Г. Дементьев (зам. главного редактора), **Б. Г. Закс** (ответственный секретарь), **А. М. Марьямов, В. В. Овечкин, К. А. Федин**

Редакция: Москва-Центр, Пушкинская площадь, 5 (почтовый адрес).
Вход с улицы Чехова, 1. Тел. К 5-76-97.

Рукописи объемом до одного авторского листа не возвращаются.

Сдано в набор 19/1 1960 г. Объем 18 п. л. Подписано к печати 18/II 1960 г.
А 00334. Формат бумаги 70 × 108¹/₁₆. 9 бум. л.—21,66 печ. л. Тираж 90.000.
Зак. № 148.

Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР»
имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 7 руб.